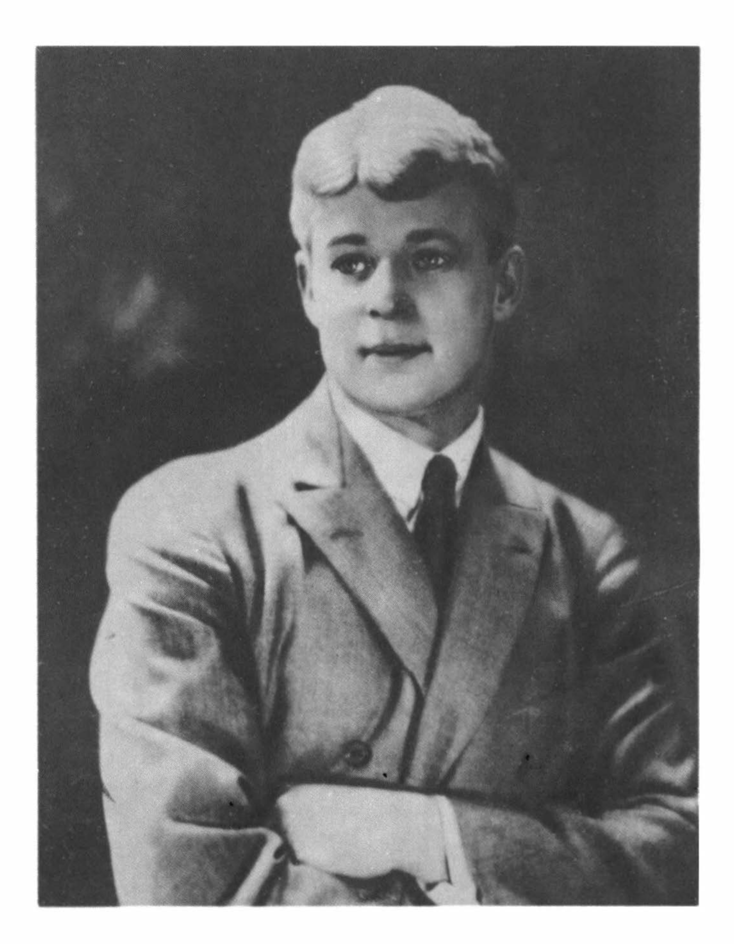
С. А. ЕСЕНИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





С. А. Есенин. 1922 г.



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

С. А.
ЕСЕНИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ББК 84Р7
Е82

Вступительная статья,
составление и комментарии
А. А. КОЗЛОВСКОГО

Рецензент канд. филологич. наук
С. П. КОШЕЧКИН

Оформление художника
В. МАКСИНА

Е $\frac{4702010200-315}{028(01)-86}$ 62-86

БЫЛЬ И ЛЕГЕНДЫ ЖИЗНИ ЕСЕНИНА

Дар поэта — ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

«Мне осталась одна забава...»

Многие воспоминания о Есенине, особенно из числа появившихся вскоре после смерти поэта, вызывали разноречивые толки, а нередко и осуждение современников, по поводу некоторых из них было сказано немало резких слов. «Газетные статейки о нем я все собрал, вероятно — все. Это очень плохо»,— так отозвался о первых откликах на смерть Есенина А. М. Горький [1]. Всем памятны слова В. В. Маяковского о «дряни» посвящений и воспоминаний, «понанесенных» к «решеткам памяти» поэта. И почти в один голос с ним В. Г. Шершеневич: «Посмотрите, сейчас много написано стихотворений памяти поэта, написаны они с любовью, но это не стихи и они нам ничего не могут дать» [2]. Он имел в виду, разумеется, не поэтические достоинства стихов, а то, что Есенин в них оказался не похожим на себя. О ложных слухах, ходивших тогда, говорила Е. А. Есенина. Из числа близких знакомых Есенина, о неправде в воспоминаниях писали Г. А. Бениславская, Н. Н. Никитин и другие. Они говорили не только о фактических погрешностях или об ошибках памяти (случаи в мемуарах нередкие). Главное было в другом — речь шла об искажении облика поэта, о неправде по большому счету.

В чем же дело? Почему многим и многим мемуаристам казалось, что только они рассказывают правду, а остальные во-

[1] Литературная Россия. М., 1965, 1 октября.
[2] Сб. «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». М., 1925, с. 53—54.

льно или невольно ее искажают, оказываются в плену ложных представлений о поэте? В ответе на этот вопрос — один из важных ключей к лучшему пониманию и мемуаров о Есенине, и своеобразия восприятия личности поэта его современниками.

* * *

Всю жизнь Есенина отличала необычайная широта общения. Период его активной литературной деятельности был короток.

В марте 1915 года Есенин приехал в Петроград, по сути дела, никому не известным начинающим поэтом, а когда, спустя неполных два месяца, он уезжал назад к себе в Константиново, его стихи уже печатались в лучших петроградских газетах и журналах, его имя стало известно всему литературному Петрограду. С этих памятных месяцев до конца его жизни прошло всего десять с небольшим лет. Однако, если попытаться даже самым беглым образом очертить круг литературных контактов Есенина за это десятилетие, то они поразят обилием самых разных имен.

В первый петроградский период — это А. А. Блок, С. М. Городецкий, Н. А. Клюев, И. И. Ясинский, А. М. Ремизов, А. А. Ахматова, тут же несовместимый с этими кругами А. М. Горький, и — что можно придумать более полярное? — Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов. Затем, в предреволюционное время и в послеоктябрьские месяцы, к именам А. А. Блока и А. М. Горького добавляются Р. В. Иванов-Разумник и Андрей Белый, здесь же, одновременно с ними, П. В. Орешин, С. А. Клычков и А. А. Ганин. В Москве в 1918 году он сближается с пролеткультовцами М. П. Герасимовым, В. Т. Кирилловым, Н. Г. Полетаевым, В. Д. Александровским. И опять-таки почти в то же самое время возникает имажинистское содружество — А. Б. Мариенгоф, В. Г. Шершеневич, И. В. Грузинов, братья Эрдманы, Г. Б. Якулов и др. Несмотря на это, не порываются, а, напротив, крепнут связи с «мужиковствующими» П. В. Орешиным, А. В. Ширяевцем, А. А. Ганиным. Вновь появляется рядом с Есениным Н. А. Клюев. Тесные дружеские отношения устанавливаются с С. Т. Коненковым и одновременно — с В. Э. Мейерхольдом и А. Я. Таировым, а чуть позже — с В. И. Качаловым. Андрей Белый становится крестным отцом сына Есенина Кости. Затем, после возвращения из зарубежной поездки 1922—1923 годов, круг его литературных контактов еще больше расширяется. В него входят Д. А. Фурманов и Л. М. Леонов, Вс. В. Иванов и Н. Н. Никитин, Б. А. Пильняк и М. М. Зощенко, И. И. Садофьев и Н. С. Тихонов, Б. Л. Пастернак и Н. Н. Асеев, А. К. Воронский и В. В. Казин, П. И. Чагин и И. В. Вардин. На Кавказе в числе его близких

друзей — грузинские поэты Т. Ю. Табидзе, П. Д. Яшвили, Г. Н. Леонидзе, В. И. Гаприндашвили и другие. И все это — не случайные встречи в редакциях или на литературных вечерах. С каждым из перечисленных здесь писателей, поэтов, художников, режиссеров — а перечень этот, разумеется, отнюдь не исчерпывающий — у Есенина устанавливались более или менее интенсивные жизненные и творческие связи. Они не всегда были длительными, но каждый писатель, чей путь так или иначе пересекался с путем Есенина, неизменно отмечал встречу с ним, то сильное впечатление, которое она оставляла.

Многим казалось, что Есенин ничего не таит про себя, с радостью рассказывает о себе, о своем творчестве, о том, что думает по тому или другому поводу. Заразительная искренность, которую, казалось, нес в себе Есенин, располагала к нему. Его общительность и доступность позволяли многим, даже малознакомым людям, обращаться к нему: «Сережа». Невольно думалось: что может таить про себя человек, вся жизнь которого проходит на людях, все дни которого — сплошной круговорот событий и лиц, который как бы в охотку живет в немыслимом многолюдстве и, видимо, смирился с тем, что его поступки, десятикратно перевранные падкими на литературные сплетни обывателями, становятся предметом общих пересудов? Казалось бы, у такого человека все — на виду, все — открыто, все — ясно.

Однако один из самых наблюдательных критиков тех лет, близко и хорошо знавший Есенина А. К. Воронский, пишет: «Биография поэта мало известна: по причинам, ему только ведомым, он скрывал и прятал ее»[1]. И действительно, многое в биографии Есенина и поныне еще далеко не во всем ясно.

Усилиями большой группы исследователей (В. Г. Базанов, В. Г. Белоусов, В. А. Вдовин, С. П. Кошечкин, А. М. Марченко, Ю. Л. Прокушев, П. Ф. Юшин и др.) уточнены и выявлены многие факты его биографии. Начали раскрываться, к примеру, такие важные моменты, как относящиеся к 1913—1914 годам контакты с социал-демократическими революционными кругами; больше стало известно о начальном периоде его творческого пути, уточнилась хронология поездок по стране в 1924—1925 годах и т. п. Но даже в этой внешней, событийной биографии поэта все еще немало сбивчивого и недостаточно проясненного.

В еще большей мере это касается истории его духовного роста, развития его внутреннего мира, где он был особенно замкнут и сдержан, а нередко и сознательно скрывал свои чувства за нарочитым балагурством и шутейностью «озорного гуляки».

---

[1] Воронский А. К. Избранные статьи о литературе. М., 1982, с. 166.

Справедливость замечания А. К. Воронского подтверждается многими примерами, их без труда можно найти и в этой книге воспоминаний. Скажем, вот как М. В. Бабенчиков передает ходившие по Петрограду весной 1915 года разговоры об обстоятельствах появления там Есенина: «О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом... О Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно. Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петербург, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась интереснее, а главное, больше устраивала всех». Мемуарист не преувеличивает, это можно видеть из ряда критических статей, появившихся в петроградской печати. В одном из литературных обзоров, например, говорилось: «Из Рязанской губернии прибыл в столицу светловолосый певец Сергей Есенин — и это была нечаянная радость» [1]. Сейчас-то мы хорошо знаем, что Есенин до приезда в Петроград два года жил в Москве, начал там печататься и появился в столице вовсе не оперным пастушком.

Не приходится говорить о «рокамболических» подробностях имажинистских историй, которые с таким удовольствием живописуют те или иные современники. То одушевление, которое охватывает иных мемуаристов, когда им приходится рассказывать о различных эскападах того времени, заставляет думать, что, по их убеждению, именно в этих историях и заключена истинная жизнь поэта.

Многие подобные россказни начали ходить еще при жизни поэта, и он далеко не всегда стремился их опровергать. И биография его оказалась благодаря этому переплетенной с фантазиями и домыслами, с той полуправдой, где реальность досочинялась и раскрашивалась «под лубок». Иногда и сам Есенин становился источником не слишком точных, а случалось, и вовсе фантастических сведений о себе. Для того чтобы яснее понять причины возникновения подобных легенд, лучше проследить некоторые из них.

* * *

В январе 1918 года Есенин как-то провел целый вечер у А. А. Блока. Разговор шел о самых важных, глубоко волновавших обоих собеседников проблемах — о революции, о восставшем

---

[1] Оксенов И. Литературный год.— «Новый журнал для всех». П., 1916, январь, № 1, с. 59.

народе, об утверждавшейся новой жизни, об отношении художника к происходящему. Они говорили о творчестве, о природе художественного образа, о путях развития литературы и ее общественном долге.

Этими вопросами жили тогда оба поэта. А. А. Блок — поглощенный своей статьей «Интеллигенция и революция» (она появилась в печати через две недели после этой беседы), и Есенин — только что закончивший «Преображение» и «Пришествие», весь во власти образов своей «Инонии», иной страны, страны народного счастья, осуществления мечтаний крестьянства.

В этой беседе Есенин рассказал А. А. Блоку, что он происходит из «богатой старообрядческой крестьянской семьи», и пытался вывести свои творческие принципы именно из старообрядчества.

Спустя три года Есенин повторил рассказ о своих «старообрядческих корнях» в беседе с И. Н. Розановым, которому прямо заявил, что дед его был «старообрядческим начетчиком» и якобы знал «множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них»

Деда своего по отцу — Никиту Осиповича Есенина — он не знал (тот скончался задолго до рождения поэта), и в данном случае речь шла о деде по матери, Федоре Андреевиче Титове. Однако Федор Андреевич, равно как и Никита Осипович, отродясь не был ни раскольником, ни тем паче «старообрядческим начетчиком». Вот как Екатерина Александровна Есенина описывает его привычки:

«После расчета с богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.

— Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! — говорил дедушка. — Нечего деньгу копить, умрем — все останется. Медная посуда. Ангельский голосок! Золотое пение. Давай споем!

Пел дедушка хорошо и любил слушать, когда хорошо поют. Веселье продолжалось неделю, а то и больше».

Не очень-то вяжется с обликом этого веселого и энергичного человека представление о его якобы особом религиозном благочестии. Да когда сам И. Н. Розанов в 1926 году приезжал в Константиново и разговаривал с Ф. А. Титовым, тот прямо отрицал свою причастность к расколу и заметил, что духовные стихи знает плохо, а дядя поэта А. Ф. Титов вообще заметил, что ни в их селе, ни в Спас-Клепиках никогда раскольников не было.

Зачем же Есенину понадобилась эта сказка о деде-старообрядце? За полгода до знаменательной январской беседы с А. А. Блоком, когда впервые появилась на свет эта легенда, Есенин писал А. В. Ширяевцу:

«Бог с ними, этими питерскими литераторами 〈...〉 они совсем с нами разные. 〈...〉 Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники. Им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина.

Тут о «нравится» говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это — *ты.* Им все нравится подстриженное, ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и, боже мой, как их легко взбаламутить».

Есенин тогда был захвачен идеей утверждения иллюзорного крестьянского царства. В громах революции ему мнилось осуществление вековечной мечты крестьянства о некоем вселенском вертограде, «где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сыченою брагой». Эта крестьянская утопия жила в нем издавна, была впитана вместе со сказками и поверьями, со всем традиционным укладом коренной среднерусской крестьянской семьи, в которой он родился и рос. Он по праву ощущал себя певцом этой неведомой, но такой желанной сердцу каждого крестьянина страны. В своем крестьянском первородстве видел неоспоримое право на то, чтобы быть ее пророком. Когда он в эти же месяцы писал:

С иными именами
Встает иная степь —

и к этим «иным именам» причислял А. В. Кольцова, Н. А. Клюева и себя, то в этом было не только осознание родства (полного, нет ли, и родства в чем именно — вопрос другой), но и осознание собственного противостояния и противостояния других, почитаемых соратниками поэтов, всей остальной литературе. «Романцу» и «западнику» А. А. Блоку, по мысли Есенина, не дано быть певцом этой новой, рождающейся в мужичьих яслях Руси, это кровное право его, Есенина.

И вот, видимо, чтобы как можно убедительнее и нагляднее доказать собеседнику это свое право, чтобы и тени сомнения у того не могло возникнуть,— ибо как иначе объяснить подобный поворот в беседе? — выдвигает Есенин легенду о деде-старообрядце,

рисуя тем самым себя выходцем из сверхглубинных слоев народа, наследником мудрости пращуров.

Эту легенду Есенин повторял потом не раз. Некоторые критики, приняв ее на веру, дали ей долгую жизнь рядом с именем поэта. Воздействием деда-ведуна, книжника и церковника, пытались, в частности, объяснить отсутствие острых социальных мотивов в ранней лирике Есенина. На деле же церковность домашнего, детского воспитания Есенина отнюдь не превышала церковности и религиозности обычной, рядовой крестьянской семьи. Разве только родной дом стоял против церкви и бабушка, ради приработка, пускала ночевать «богомазов», работавших там. Товарищ по детским играм Клавдий Воронцов рассказывает, как этот «христолюбивый отрок» устроил явление «чудотворной иконы», стащив из дома обычный образ и поставив его с зажженной свечкой в выкопанной на берегу Оки пещерке. Он же рассказывает о том, как Есенин, еще мальчиком, снял с себя крест и как его ругали «безбожником».

Видя и учитывая все это, нельзя, разумеется, забывать о том, что Есенин в своих ранних стихах называет себя то «ласковым послушником», то «смиренным иноком», что у него мелькают строки вроде следующих: «В сердце почивают тишина и мощи», «Чую радуницу божью», «В елях — крылья херувима», что в его стихах даже петухи на дворе запевают не что-нибудь, а обедню. Но это уже другой вопрос — вопрос об источниках образной системы ранней лирики Есенина, вопрос об ее особенностях.

Если в распространении мифа о деде-церковнике отчасти повинен сам поэт, то вот пример другой легенды, тоже немало лет жившей рядом с его именем, но уже сочиненной без его участия. Речь идет об обстоятельствах военной службы Есенина в Царском Селе, о его якобы близости к монархическим кругам.

Один из его современников писал: «Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился «чудовищный слух»: «наш» Есенин, «душка» Есенин, «прелестный мальчик» Есенин представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге!

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившую тогдашнюю «передовую общественность», когда обнаружилось, что «гнусный поступок» Есенина не выдумка, не «навет черной сотни», а непреложный факт. Бросились к Есенину за разъяснениями. Он сперва отмалчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. Потом куда-то исчез, не то на фронт, не то в рязанскую деревню...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чацкина, очень

богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» — «тараном искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровья «из-за какого-то ренегата».

Опубликованные за последние десять — пятнадцать лет документы позволили довольно полно представить реальные обстоятельства зачисления Есенина санитаром в Царскосельский полевой военно-санитарный поезд № 143, его службы там с апреля 1916 по март 1917 года и выступления на одном из концертов в присутствии Александры Федоровны. Дело обстояло так: призванный, как и тысячи других «ратников второго разряда», Есенин при содействии Н. А. Клюева был зачислен санитаром в военно-санитарный поезд, причисленный к одному из царскосельских лазаретов, находившемуся под патронажем императрицы. В этом лазарете, размещавшемся в так называемом Феодоровском городке — комплексе зданий, возведенных в псевдорусском «петушковом» стиле, который почитался в определенных кругах за истинно национальный, периодически устраивались концерты для раненых.

В одном из таких концертов, состоявшемся 22 июля 1916 года, Есенин читал свои стихи. Потом его водили представляться императрице, которая обронила несколько слов. В этом концерте, как и в других, приняли участие многие известные и не очень известные петроградские артисты. Для всех выступавших это было заурядным событием, одним из очередных концертов. Никто и не вспоминал потом об этом случае.

С санитарным поездом, как и другие служащие, сестры, врачи, Есенин не раз выезжал на фронт. «Многие льготы», о которых он упоминает в одной из автобиографий, состояли разве что в том, что он получал изредка увольнительные в Петроград и мог встретиться кое с кем из литературных знакомых, да раз после операции аппендицита получил увольнительную на две недели и съездил на родину. Рядом с ним служили санитарами и писарями десятки таких же вчерашних новобранцев, которые тянули свою солдатскую лямку. Вот эта вполне ординарная солдатская служба молодого поэта и стала под пером иных современников основой фантастических домыслов.

Глухие отсветы каких-то петроградских разговоров, близкие по духу тому, что приведен, встречаются в воспоминаниях В. Ф. Ходасевича и некоторых других современников. Но самое поразительное, что эта легенда вдруг нашла поддержку у одного

из современных исследователей, попытавшегося на этой основе говорить о «царистских настроениях поэта».

Особенно много подобных россказней в историю есенинской жизни внесли его «собратья» имажинисты. Их мемуары полны всевозможными историями о самых невероятных похождениях, главным героем которых выступает Есенин. При этом ему отводится роль не только участника, но едва ли не организатора и вдохновителя. Пальму первенства здесь удерживает «Роман без вранья» А. Б. Мариенгофа.

Сам весь от альфы до омеги порождение богемы, ее типичнейший и характерный представитель и выразитель, радость, смысл и суть жизни находивший в душной, пропыленной и фальшивой атмосфере околохудожественной жизни литературных кафе, А. Б. Мариенгоф и Есенина в своем «Романе» пытался представить таким же. «Автор — явный нигилист; фигура Есенина изображена им злостно, драма — не понята»,— сурово писал об этой книге А. М. Горький [1]. И многие страницы «Романа» служат подтверждением его слов.

Об этом приходится напоминать, потому что именно к книге А. Б. Мариенгофа восходит немало легенд, которые и посейчас нет-нет да и дают о себе знать. Какие бы объяснения возникновению книги ни давались, они не могут скорректировать тенденциозности взгляда на Есенина ее автора. Особенно это заметно, когда А. Б. Мариенгоф не просто описывает те или иные события, свидетелем или участником которых ему довелось быть, а дает им толкование. Так, например, расхождение Есенина с Н. А. Клюевым в первые послереволюционные годы для А. Б. Мариенгофа не спор о путях строительства новой жизни, не отрицание Есениным консервативных, реставраторских художественных и идейных принципов Н. А. Клюева, а борьба за лидерство, литературная ревность к славе друг друга, спор о том, кто будет возглавлять группу. Разноречие их, мнится А. Б. Мариенгофу, лишь в том, что «Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева». Расхождение Есенина с В. Г. Шершеневичем — лишь обида за давнюю статейку бывшего футуриста, а нынешнего имажиниста, направленную против Есенина. Поэтому же не принимается А. Б. Мариенгофом всерьез критика Есениным буржуазной культуры, а тоска, боль и отвращение, терзавшие душу поэта во время зарубежной поездки, предстают в его изложении таким образом: «...так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть». Он считал, что даже такие поэтические шедевры Есенина, как «Дождик мокрыми метлами чистит...», рождены не

[1] Горький М. Собр. соч., т. 30. М., 1955, с. 37.

естественным чувством, не желанием передать трагедию и боль раненного жизнью человека, а лишь бездушным расчетом. «Тогда совершенно трезво и холодно умом он решил, что это его дорога, его «рубашка»,— писал он об этом и других близких по теме стихах.

Под конец жизни, в 50-е годы, пережив резко отрицательную общественную реакцию, которую вызвал «Роман без вранья», А. Б. Мариенгоф написал новые воспоминания, которые появились посмертно. Хотя в них он пытался иронически судить об имажинизме, говорил, что «славой» они «пышно называли свою скандальную известность», но все равно, как и прежде, стремился подменить идейный конфликт Есенина с группой имажинистов житейским. Здесь А. Б. Мариенгоф постарался отделить не только Есенина, но и себя от имажинистских манифестов. «Декларация,— писал он о первом манифесте, опубликованном в январе 1919 года,— не слишком устроила меня и Есенина. Но мы подписали ее. Почему? Вероятно, по легкомыслию молодости».

Впрочем, на склоне лет и другие имажинисты поспешили отделить себя от имажинизма. Рюрик Ивнев писал, что он и Есенин в этом объединении «были скорее постояльцами, чем хозяевами, хотя официально считались таковыми», и утверждал, что теорией имажинизма занимались именно А. Б. Мариенгоф и В. Г. Шершеневич. Вторит ему и М. Д. Ройзман: «Декларация была подписана Есениным, но на первых же заседаниях «Ордена», он, выступая, начал осуждать эти положения (речь идет о наиболее крайних положениях, содержащихся в первой «Декларации».— *А. К.*), а мы — правое крыло — стали его поддерживать...» В результате получилось, что имажинизм остался без имажинистов.

Подобные подходы, по сути дела, представляют собой попытку преуменьшить значение решительного и резкого осуждения Есениным теорий и поэтической практики имажинистов. «У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова...» — писал он, когда минуло всего два года со времени возникновения группы имажинистов. Это было выношенное, глубокое и чрезвычайно важное для Есенина положение. То внутреннее противостояние, которое изначально было во взаимоотношениях Есенина и имажинистов, которое с каждым годом все ощутимее и явственнее давало себя знать, привело в конечном итоге к их полному идейному разрыву. И прочитываемая в иных мемуарах попытка свести всю сложность и глубину противоречий к личным расхождениям Есенина с теми или иными членами группы — тоже одна из многих легенд, которые усиленно возводились вокруг имени поэта.

Надо, правда, сказать, что именно ее — одну из первых — заметили и опровергли многие современники, которые не были ограничены групповыми пристрастиями и интересами. Об этом

писали Вс. А. Рождественский, А. К. Воронский, Н. Н. Асеев и многие другие. Сумели подняться над групповыми симпатиями и иные из членов имажинистского «ордена». В. И. Эрлих, принадлежавший, правда, к молодому поколению имажинистов, и не к московскому, а к ленинградскому их ответвлению, так определил суть этого течения: «Литературные спекулянты богемы, ее организующие и за ее же счет существующие» [1]. Но далеко не у всех хватило мужества на подобные признания. И легенда продолжала жить, обретая различные модификации.

* * *

У читателя может возникнуть закономерный вопрос: если в воспоминаниях о Есенине столько легенд, столько неправды, то зачем их вообще печатать? Значит, правы те современники, которые неодобрительно относились к мемуарам о нем.

Думается, что такой вывод был бы поспешным и поэтому тоже односторонним.

Во-первых, конечно, не все в воспоминаниях — легенды. Воспоминания донесли до нас немало ценных и важных данных о жизни и творчестве Есенина, свидетельств иногда единственных и неповторимых. К примеру, воспоминания сестер — бесценный источник сведений о семье поэта, о его детских годах, о родном селе. Что по точности и объективности взгляда на зрелого Есенина может сравниться с воспоминаниями А. М. Горького? Интереснейшие свидетельства о путях становления таланта Есенина, о годах его напряженной литературной работы дали С. М. Городецкий и В. С. Чернявский, П. В. Орешин и С. Т. Коненков, И. Н. Розанов и Франц Элленс, А. К. Воронский и Вс. А. Рождественский, П. И. Чагин и В. А. Мануйлов и многие другие. Даже те особенности быта, условий жизни поэта, о которых рассказывают современники, позволяют нам полнее и лучше представить многое в творчестве поэта, придают дополнительную «стереоскопичность» тем событиям в его жизни, которые так или иначе отразились в его творчестве. Во-вторых, некоторые легенды (вроде истории о деде-старообрядце) интересны и показательны сами по себе, ибо позволяют полнее понять характер взглядов Есенина и то, каким он хотел видеть себя в глазах иных собеседников.

* * *

Завершая в октябрьские дни 1925 года свою последнюю автобиографию, Есенин писал: «Что касается остальных автобиографических сведений,— они в моих стихах». Мысль его ясна —

---

[1] Эрлих В. Право на песнь. Л., 1930, с. 51.

он имел в виду прежде всего историю своих творческих, идейно-художественных исканий. Но стихи Есенина родили у многих свидетелей его жизненного пути стремление, намертво прикрепляя его произведения к конкретным событиям жизни, простым отражением этих событий смысл стихотворений и ограничить. И. В. Грузинов, например, запальчиво писал: «Есенин в стихах никогда не лгал... Всякая черточка, маленькая черточка в его стихах, если стихи касаются его собственной жизни, верна. Сам поэт неоднократно указывает на это обстоятельство, на автобиографический характер его стихов».

Относительно верности жизни И. В. Грузинов, конечно, прав. Но из соответствия отдельных строк реальным случаям и обстоятельствам, из совпадения отдельных деталей с житейскими конкретностями делать вывод об «автобиографическом характере» стихов Есенина вряд ли правомерно.

Нет спора, немало строк в стихах Есенина сложилось под впечатлением от тех или иных случаев, в них явственно видны штрихи житейских будней. Примером может служить хотя бы знаменитое «Ах, как много на свете кошек...»,— о случае, легшем в основу этого стихотворения, рассказывает А. А. Есенина. Или строка «Вынул я кольцо у попугая...» из стихотворения «Видно, так заведено навеки...»,— известно, что однажды попугай рыночной гадалки вытащил Есенину кольцо, которое он потом отдал С. А. Толстой. И когда мемуаристы рассказывают о подобных фактах, это придает дополнительную «объемность» стихам поэта, помогает нам лучше понять их.

Однако встречающееся иногда стремление придать подобным случаям чрезмерное значение, вывести из них некие закономерности требует к себе критического отношения. Здесь тоже таится один из источников легенд, сложившихся вокруг творчества поэта. Это касается, в частности, вопроса об адресатах его лирических стихов. С необычайной настойчивостью иные критики пытаются связать различные стихи с конкретными лицами, не замечая при этом, как суживается значение этих стихов, как при таких манипуляциях лирические шедевры сводятся к альбомным банальностям. Анализ показывает, что реальные жизненные коллизии нередко были весьма далеки от того, какое художественное преломление они получали в творчестве поэта. Поэтому с максимальной осторожностью следует относиться к встречающимся в мемуарах сообщениям о том, что те или иные случаи явились основой поэтических творений Есенина.

Всеволод Иванов — писатель, произведения которого Есенин ценил и в последние годы жизни выделял особо, почитая его как мастера творчески себе близкого,— справедливо писал:

«Рапповцы считали себя вправе распоряжаться не только

мыслями Есенина, но и чувствами его, — он смеялся над ними, и ему была приятна мысль вести их за собой магией стиха:

— А я их поймал!

— В чем?

— Это они — хулиганы и бандиты в душе, а не я. Оттого-то и стихи мои им нравятся.

— Но ведь ты хулиганишь?

— Как раз ровно настолько, чтобы они считали, что я пишу про себя, а не про них. Они думают, что смогут меня учить и мной руководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что они совесть сожгут, мне ее жалко, она и моя!»

Мысль Вс. В. Иванова важна для правильного понимания и творчества Есенина, и мемуаров о нем. Мысль о том, что на основе тенденциозного и одностороннего прочтения его стихов или столь же одностороннего толкования иных его поступков поэту стремились приписать самые невероятные настроения и взгляды — от участия чуть ли не в монархическом заговоре до злостного хулиганства.

Приведенные в этой записи слова были сказаны поэтом скорее всего летом 1924 года. Именно тогда резко обострились взаимоотношения Есенина с рапповскими литераторами. В это же время в одном из самых проникновенных своих произведений, в стихотворении «Русь советская», которое по справедливости считается наглядным выражением выхода поэта из кризисов «Москвы кабацкой», он писал:

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Но ведь «лира» Есенина вполне сознательно и до конца была им отдана именно «октябрю и маю», то есть тому новому, что входило в жизнь страны и при взгляде на что после зарубежной поездки, как писал сам поэт, «зрение мое переломилось». И свидетельством того, что лира действительно была без оглядки «отдана», явилось и само это стихотворение, и сопутствующие ему «Возвращение на родину» или «Письмо к женщине», и многие, многие другие произведения того периода. Под этим «не отдам» таилось совсем другое — отказ от рапповских догм, от их приверженности к выспренным, натужным виршам.

Конечно, сейчас, когда мы видим Есенина как одно из вершинных явлений советской поэзии, легко и просто объяснять подобное «не отдам» и временем, и противоречиями эпохи, и дру-

гими причинами. Но в то время, и тем более под пером недоброжелательно настроенных критиков, подобные признания становились источником еще одной из легенд — легенды о бездумном, аполитичном, легкомысленном певце.

* * *

Рассказывая об особенно плодотворных в творческом отношении двух последних годах жизни Есенина, Ю. Н. Либединский замечал: «...вид у него был всегда такой, словно он бездельничает, и только по косвенным признакам могли мы судить о том, с какой серьезностью, если не сказать — с благоговением, относился он к своему непрерывающемуся, тихому и благородному труду». Написано это было спустя три с лишним десятилетия после смерти поэта, когда уже отошли в прошлое вульгарно-социологические наскоки, попытки принизить его творчество, когда сквозь «громаду лет» все полнее и ярче выступало величие его поэтического подвига. При жизни эта каждодневная, напряженная работа поэта многими людьми не замечалась.

Больше любили посудачить о его «моцартианстве», о «легкой походке», о кажущейся «беззаботности». И не задумывались над такими строками:

Пусть вся жизнь моя за песню продана... —

или:

Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Между тем в этих признаниях была большая и суровая правда.

В январе 1914 года на страницах мелкого детского журнальчика «Мирок» впервые увидели свет стихи Есенина. До декабря 1925 года оставалось всего двенадцать лет. И в эти недолгие годы уместился весь творческий путь великого поэта.

Интенсивность его творческого роста невозможно сравнить ни с чем. В истории литературы трудно найти что-либо схожее. При этом рост мастерства, поэтической хватки, владения всеми тонкостями версификации шел одновременно со стремительным ростом сознания.

Время Есенина пересекалось величайшими историческими событиями — первая мировая война, крушение самодержавия, Великая Октябрьская социалистическая революция, начало строительства первого в мире государства рабочих и крестьян. И путь Есенина — это постоянное напряженное размышление над главным вопросом: «Куда несет нас рок событий?»

И если поэт шел в ногу с событиями, то только потому, что сам настойчиво и последовательно усваивал то, чему учила его эпоха, время, люди. Дочь поэта, Т. С. Есенина, так передает суждение о нем его первой жены Анны Романовны Изрядновой: «Сама работящая, она уважала в нем труженика: кому как не ей было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам менял себя внешне и внутренне, сколько вбирал в себя — за день больше, чем иной за неделю или за месяц». В этом простом, казалось бы, абсолютно очевидном наблюдении заключено то очень важное, что нередко ускользало от внимания даже близко знавших поэта людей.

Одним из примеров может служить история с оценкой А. К. Воронским «Стансов» и ряда других стихотворений Есенина второй половины 1924 года. В начале 1925 года, в статье «На разные темы», А. К. Воронский писал о незадолго до того появившихся «Стансах»: «Они небрежны, написаны с какой-то нарочитой, подчеркнутой неряшливостью, словно поэт сознательно хотел показать: и так сойдет...» Он утверждал, что «Стансы» «фальшивы, внутренне пусты, неверны, несерьезны» и т. п.[1]. Позже, хоть и в смягченном виде, но он повторил эти суждения. Почему же критик, настроенный по отношению к поэту бесспорно доброжелательно, не раз с осуждением писавший об отразившейся в «Москве кабацкой» размагниченности, глубокой антиобщественности, даже о распаде личности (см.: Красная новь. М.— Л., 1924, № 1) и весьма одобрительно отметивший «поворот» в поэтическом творчестве Есенина, почему он так сурово отнесся к «Стансам»?

Одна из причин — и причина существенная — заключается, видимо, в том, что стихи «Москвы кабацкой», написанные в основном в период зарубежной поездки поэта, в 1922—1923 годы, стали известны читателям и критикам лишь после его возвращения на родину, во второй половине 1923 года, а сам сборник «Москва кабацкая», где они были объединены в законченный цикл, появился только летом 1924 года, в непосредственной временной близости, по существу в один период с «Русью советской», «Письмом к женщине» и др. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» или «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...» воспринимались как написанные в одно время с «Я посетил родимые места...». В результате то, что для Есенина было разделено полутора-двумя годами, соединилось во времени для А. К. Воронского и других критиков. Отсюда, видимо, и возникло определенное недоверие, сомнение в глубине перемен в творческой позиции поэта.

---

[1] Альманах «Наши дни». М.— Л., 1925, № 5, с. 305—306.

Напряженность своей духовной жизни, стремительность роста Есенин не очень-то хотел демонстрировать публично, он не был особенно расположен делиться этим даже с, казалось бы, близкими людьми, с товарищами и соратниками по литературным баталиям. Он часто поворачивался к собеседнику лишь той стороной, лишь теми чертами своей личности, которые собеседник ждал и хотел увидеть или был способен увидеть.

В воспоминаниях перед нами проходит вся жизнь поэта, от первых детских лет, проведенных в родном Константинове, до последних дней жизни. Она увидена людьми разных вкусов, интересов, жизненного опыта и пристрастий. И в каждом из этих воспоминаний Есенин предстает по-новому. Иногда образ поэта, нарисованный в одном воспоминании, становится не похож на образ, создающийся в другом. И причина здесь не только в естественной разнице взглядов каждого мемуариста, но в стремительности духовного развития поэта. Каждое воспоминание несет в себе только частичку отображения реального облика поэта, и лишь их совокупность может претендовать на воссоздание его облика в целом.

Главное для понимания истории духовной жизни Есенина, для раскрытия процессов становления и развития его таланта дают, разумеется, его стихи. Мемуары лишь дополняют этот первоисточник. И все же из сцен, нарисованных современниками, из отдельных черт его облика, раскрытых в воспоминаниях, из отрывочных записей и картин, из отдельных черт, из живых неповторимых интонаций есенинского голоса, донесенных мемуаристами, перед нами возникает образ замечательного русского поэта, прожившего короткую, но невероятную по интенсивности духовного роста жизнь.

Есенин предстает перед нами как человек, пристально следящий за всеми перипетиями литературной жизни, внимательно фиксирующий самые разные факты литературной полемики, живо на них откликающийся. При этом он неизменно сохранял независимость в своих литературных оценках, устойчивость своих взглядов на вопросы художественного творчества.

На роль его учителей и наставников претендовали многие — Н. А. Клюев и Р. В. Иванов-Разумник, потом имажинисты и «мужиковствующие», пролеткультовцы и «напостовцы», «перевальцы» и представители других литературных группировок. Воспоминания донесли до нас немало сведений о его выступлениях на различных литературных вечерах и диспутах. На многих из них он появлялся на эстраде вместе с теми или иными литераторами, как бы разделяя их платформу или создавая впечатление в публике о своем творческом союзе с ними. Временами подобные союзы действительно отвечали его взглядам.

Когда он, например, в первые месяцы своей петроградской жизни, в 1915—1916 годах выступал вместе с Н. А. Клюевым, появляясь на эстраде в театрализованном костюме, или, напротив, в пору своего сближения с имажинистами потрясал публику буйством и резкостью высказываний,— во всем этом была, конечно, изрядная доля литературной игры, но не только. На первых порах были и подлинные интересы, в каждом случае разные, но не заемные, а свои. Однако интересы Есенина быстро оказывались гораздо более широкими, и поэтому стремительно наступал разрыв с каждым из «наставников».

Казалось, не успели они с Н. А. Клюевым в зимние месяцы 1915—1916 годов заявить о себе как о новых «певцах из народа», а уже в начале 1918 года Есенин пишет, что Н. А. Клюев «сделался моим врагом». В январе 1919 года появилась первая «декларация» имажинистов, а уже в мае 1921 года в статье «Быт и искусство» он выступает с развернутой критикой имажинистских теорий. В этом одно из наглядных доказательств независимости литературной позиции Есенина, устойчивости его основных определяющих взглядов на фундаментальные вопросы литературного творчества.

«Я — реалист»,— утверждал он в одной из своих статей. В этом императиве было не только раскрытие коренных, принципиальных творческих установок, но и сознательное противопоставление себя тем литераторам, которые руководствовались всякого рода модернистскими теориями. Когда он в июне 1924 года писал: «Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить»,— то в этой отвергаемой «затейливости узоров» в равной степени читались и угрюмая ортодоксия «напостовцев», и натужное стилизаторство Н. А. Клюева, и провинциальный эстетизм имажинистов.

Глубоко продуманный характер литературной программы Есенина виден в той настойчивости, с которой он отстаивал ее в спорах с самыми различными оппонентами. Когда в декабре 1924 года в ответ на постоянные наставления Г. А. Бениславской о том, как ему надлежит держать себя в литературе, где печататься, а где — нет, он бросает в письме: «Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная — я сам»,— то это было не самомнением избалованного вниманием и славой поэта. За этим стояло другое. Ему действительно были узки рамки любой литературной группы или школы. Он вырастал из всевозможных манифестов и деклараций быстрее, чем они создавались. Поэтому с большой осторожностью надо относиться к встречающимся в мемуарах суждениям о приверженности Есенина к тем или иным литературным группам, здесь тоже немало домыслов и легенд ходило и ходит вокруг его имени.

* * *

Есенин называл себя в стихах забиякой, сорванцом, скандалистом, разбойником, говорил о себе: «Я такой же, как ты, хулиган», «и по крови степной конокрад». Таких строк немало. И на поверхностный взгляд, в самой жизни поэта было такое, что оправдывало и объясняло их появление. Любители литературных сплетен разносили стократно разукрашенные и перевранные истории.

Но вот свидетельство писателя, которого никак нельзя заподозрить в стремлении навести «хрестоматийный глянец» на образ Есенина, человека, близко его знавшего и нередко с ним общавшегося,— Андрея Белого: «...меня поразила одна черта, которая потом проходила сквозь все воспоминания и все разговоры. Это — необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так он был повернут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня поражала эта повышенная душевная чуткость» [1].

О душевной чуткости Есенина вспоминал не только Андрей Белый. Немало свидетельств его внимания к людям, деликатности, заботы, помощи в литературных делах донесли до нас воспоминания Д. Н. Семеновского и В. С. Чернявского, Вл. Пяста и Вс. Рождественского, Ю. Н. Либединского и В. И. Эрлиха и многих других.

«Есенин часто хлопотал то об одном, то о другом поэте»,— рассказывает И. В. Евдокимов. О тяге молодых поэтов к Есенину вспоминала С. С. Виноградская: «Их много приходило к нему, и в судьбе многих из них он принял немалое участие. Это было участие не только советом, он оказывал многим жизненную поддержку. При своей неустроенной, безалаберной, бесшабашной жизни он находил все же время заняться этими младшими друзьями, учениками. Бездомные, без денег, они находили у него приют, ночлег, а ко многим он настолько привязывался, что втягивал их в свою жизнь. Они уже тогда являлись не только его учениками, но и необходимыми атрибутами его личной жизни, поездок, хождений по редакциям...» [2]

Эта тяга к Есенину рождалась, конечно, прежде всего его творчеством, тем светом, который несла в себе его поэзия. Но немалую роль в этом играла и сама личность поэта. Он создавал вокруг себя огромное напряжение, своего рода силовое поле, воздействию которого не могли противостоять люди. Особенно это чувствовалось во время его выступлений. О том, какое заворажи-

---

[1] Литературная Россия. М., 1970, 2 октября.
[2] Виноградская С. Как жил Сергей Есенин. М., 1926, с. 21.

вающее впечатление производило чтение им своих стихов, пишут все очевидцы.

«Что случилось после его чтения, трудно передать,— вспоминает Г. А. Бениславская.— Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь».

Вот свидетельство Вл. Пяста о другом вечере: «По мере того как поэт овладевал собою (влияние волшебства творчества!) все более, он перестал забывать свои стихи, доводил до конца каждое начатое. И каждое обжигало всех слушателей и зачаровывало! Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде и так обступили, все оскорбленные и завороженные им, кругом это широкое возвышение в глубине длинно-неуклюжего зала, на котором покачивался в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог».

Сила и обаяние таланта Есенина многократно усиливалась впечатлением, которое оставлял он как человек. Его характер был контрастен. Бельгийский поэт Франц Элленс писал, что сила его характера неотделима от удивительной нежности. И в этом сочетании на первый взгляд несочетаемого виделась ему разгадка особенностей лирики поэта, особенностей его творчества. В этом есть своя справедливость.

Спора нет, в характере Есенина было немало трудного. В хронике его жизни отнюдь не все дни были отмечены благостным покоем и безмятежностью. Было в ней разное. В памяти современников остались эпатирующие эпизоды, случавшиеся и на эстраде, и в быту. Естественно, не свободны от них и мемуары. Особенно часто об этом писали в первых по времени к смерти Есенина воспоминаниях. С жадным любопытством иные читатели выискивали именно эти страницы. Невольно приходят на память слова А. С. Пушкина: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении: *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы, он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе» [1].

Есенин не нуждается в извинительных интонациях или стыдливых замалчиваниях, в поверхностной и неловкой гримировке. Когда он в одном из своих последних стихов написал: «Пусть вся жизнь моя за песню продана»,— это была не поэтическая поза, не красивая и эффектная фраза, долженствующая разжалобить читателя. В этих словах заключена суровая и тяже-

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. X. М.— Л., 1951, с. 191.

лая правда. Он служил всю свою жизнь поэзии, отдавая этому великому делу все свои силы, всю энергию своей души. Точно и полно это выразил М. Горький: «...невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком». Поэтому главное — умение увидеть в рассказах о нем за картинами будней творческое горение великого русского поэта.

А. Козловский

С. А.
ЕСЕНИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Т. Ф. ЕСЕНИНА

О СЫНЕ

Родился в селе Константиново. Учился в своей школе, в сельской. Кончил четыре класса, получил похвальный лист. После отправили мы его в семилетку. Не всякий мог туда попасть, в семилетку, в то время. Было только доступно господским детям и поповым, а крестьянским нельзя было. Но он учился хорошо, мы согласились и отправили. Он там проучился три года. Стихи писал уже. Почитает и скажет:

— Послушай, мама, как я написал.

Ну, написал и кладет, собирал все в папку.

Читал он очень много всего. Жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить ему огонь, чтобы он лег, уснул, но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Дочитается до такой степени, что рассветет и не спавши он поедет учиться опять.

Е. А. ЕСЕНИНА

В КОНСТАНТИНОВЕ

Наш дедушка, Никита Осипович Есенин, женился очень поздно, в 28 лет, за что получил на селе прозвище «Монах». Женился он на 16-летней девушке Аграфене Панкратьевне Артюшиной, которая потом, по дедушке, прозывалась Монашка.

Я до школы даже не слышала, что мы Есенины. Сергей прозывался Монах, я и Шура — Монашки.

Дедушка Никита Осипович много лет был сельским старостой, умел писать всякие прошения, пользовался в селе большим уважением как трезвый и умный человек.

Женившись, дедушка разделился со своим братом. Ему досталась часть родовой усадьбы Есениных. Но эта усадьба столько раз делилась наследниками, так раздробилась, что теперь на ней даже маленькую избушку можно было построить с трудом. В это время дедушке удается приобрести у одного из односельчан небольшой клочок земли.

Скоро исполнится сто лет с тех пор, когда Никита Осипович Есенин купил двадцать восемь квадратных саженей усадебной земли и построил дом на месте, где теперь находится наша усадьба.

Сохранились документы на приобретение дедушкой вышеуказанной усадьбы.

«1871 г. Декабря 15 дня.

Мы, нижеподписавшиеся Рязанской губернии и уезда Федякинской волости, села Константинова временнообязанные г. Ануфьевой крестьяне Евмений Гаврилов Беликов, Никита Осипов Есенин, заключили сие условие в следующем:

1. Я, Беликов, отдал ему, Есенину, в вечное и потомственное владение свое усадебѐнное место, доставшееся мне по разделу с братом моим Кузьмой Беликовым, данное

по уставной грамоте мерки в длину по улице три с половиной, а глубину шесть с половиной сажень.

2. Я, Есенин, должен на отданной мне Беликовым усадьбе учредить по моему желанию всякого рода постройки, до которых мне Беликову препятствия не иметь.

3. В случае моей, Есенина, смерти, то все устроенное на оной усадьбе строение с находящимся в оном имуществом должно поступить в вечное и потомственное владение жены моей Аграфены Панкратьевой и наследникам моим по конец...»

На этой усадьбе, кроме избы и двора для скотины, ничего больше дедушка построить не смог. Не осилил он сразу купить огород. По сохранившейся расписке, приложенной к договору о покупке усадебной земли, дедушка уплатил за пятьдесят шесть квадратных метров пятьдесят три рубля серебром. Для того времени это было очень дорого. Земля у нас ценилась высоко. Село наше в те годы было стянуто мертвой петлей: с одной стороны — земля федякинского помещика, с другой — земля нашего духовенства, с третьей — непрерывной лентой следуют другие деревни (Волхона, Кузьминское) и четвертая сторона — Ока. Поэтому наше село не имело возможности расширять свои строения.

Земля, принадлежащая крестьянам, находилась вдалеке от села.

Избы в нашем селе лезли одна на другую. Крыши у всех соломенные, и частые пожары были бичом крестьян.

Умер дедушка Никита сорока двух лет от роду. После смерти дедушки бабушка Аграфена Панкратьевна осталась с малолетними детьми: два сына и две дочери. Основным доходом ее стали жильцы: художники, работавшие в нашей церкви, и монахи, ходившие по деревням с чудотворными иконами. Я не видела этих квартирантов, но в детстве Сергея они были: мать с Сергеем вспоминали о них.

Отец наш, Александр Никитич Есенин, мальчиком пел в церковном хоре. У него был прекрасный дискант. По всей округе возили его к богатым на свадьбы и похороны. Когда ему исполнилось двенадцать лет, бабушке предложили отдать его в рязанский собор певчим, но он не согласился, и вместо собора его отправили в Москву в мясную лавку «мальчиком».

Через два года бабушка проводила в Москву и второго сына — Ваню. Он стал жестянщиком, делал коробки из жести для конфет.

Через шесть лет отец наш стал мясником. Ему было восемнадцать лет, когда он приехал в село жениться. Матери нашей — Татьяне Федоровне — не было еще и семнадцати лет, когда она вышла замуж. Вскоре после свадьбы отец уехал работать в Москву, жена его осталась в деревне со свекровью. Через два года женился дядя Ваня. В доме стало две снохи. Начались неприятности. Дядя Ваня ничего не присылал домой. Отец же присылал все, что заработает, Аграфене Панкратьевне. Из-за этого между ней и нашей матерью были ссоры. Отец очень любил свою мать и не хотел даже слышать о разделе с нею. Тогда наша мать ушла из дома Есениных и не жила с отцом пять лет.

В 1904 году мать вернулась в дом Есениных, но мира не наступило, и так было до 1907 года, пока братья не разделились.

«*1907 г. Марта 4 дня.*

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Рязанской губернии и уезда Кузьминской волости села Константинова братья Александр и Иван Никитичи Ясенины, по общему нашему и матери нашей Аграфены Панкратьевны Ясениной согласию разделили оставшееся по смерти нашего родителя Никиты Осиповича Ясенина движимое и недвижимое имущество, как-то: дом и все надворное строение, 2 коровы, 1 теленок, 1 свинья и 9 шт. овец, и 1 самовар, и родовая усадьба и на ней построенною ригою.

1. Я, мать, Аграфена Панкратьевна, взяла на свой пай дом и все надворное строение, 1 корову и 1 овцу.

2. Остальное имущество мы, братья, разделили между собою поровну. Усадьба, находящаяся между Андреем Хоботовым и Яковом Осипом Ясениным, должна поступить в вечное и потомственное владение отдельному брату от матери. Усадьба же, находящаяся между Иваном Архиповым Хрековым и Иваном Беликовым, и имуществом должна поступить и по смерти матери в вечное и потомственное владение брату, оставшемуся при матери.

Рига же, построенная на родовой усадьбе, должна быть все время общей, т. е. нераздельной. Огород же на родовой усадьбе должен быть разделен пополам. В случае же каких-либо недоразумений с усадьбой Беликова, то брат, построившийся на родовой усадьбе, не имел бы никаких препятствий построиться и другому брату. Если же на усадьбе построиться будет нельзя по каким бы то ни было причинам, то мы обязуемся купить совместно другую усадьбу, но ценою не свыше — 60 руб.

2 души земли разделили поровну, по 1-й душе на брата, так, чтобы каждый брат нес повинности за свою душу отдельно.

Я же, оставшийся сын при матери, обязуюсь кормить, поить ее и обувать, одевать по гроб ея жизни и по смерти похоронить.

В том и подписуюсь оставшийся сын с ней Александр Никитич Ясенин.

Я же, отдельный сын Иван Никитич Ясенин, должен выйти из дому не позже 1-го апреля 1907 г.

При сем находились свидетели крестьянин Иван Архипов Хреков.

Сергей Ионов Софронов.

Григорий Филиппов».

С 1907 года мы живем в доме, построенном нашим дедушкой Никитой Осиповичем Есениным, одни. Дом этот несколько необычен для нашего села. Он значительно выше окружающих его изб. Нижний этаж его не имеет ни одного окна. Он служит нам амбаром, ибо ни риги, ни отдельного амбара, ни других хозяйственных помещений построить на усадьбе невозможно.

В нижнем этаже нашего дома летом мы спим и туда же на лето выносим все сундуки с добром. У всех людей есть для летней поры амбары, где от пожара хранят все имущество, а у нас нет. У людей есть сады и огороды за двором, а у нас тоже нет. За нашим двором чужой огород, хозяин которого живет в Кронштадте, и этот огород арендует сосед, самый богатый мужик в нашем селе. Кур наших бьют там чем попало, если они пролезут в этот огород. У нас на старой усадьбе есть половинка огорода, там у нас есть и половинка риги, но ведь курица не знает, где наш огород. Это почти на краю села, и мы таскаемся с картошкой, с рожью вдоль села, другого хода у нас нет к избе.

Но из окон нашей избы есть на что посмотреть. Прямо перед глазами заливные луга, без конца и края, до самого леса. По лугу широкой лентой раскинулась Ока. Синее небо чашей опрокинулось над нами. Тишина, простор.

Вся округа знала Федора Андреевича Титова (нашего дедушку по матери).

Умен в беседе, весел в пиру и сердит в гневе, дедушка умел нравиться людям.

Он был недурен собой, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды. Он был одним из четырех сыновей константиновского крестьянина. В нашем малоземельном краю четырем молодцам в одном доме нечего было делать, поэтому наш народ всегда занимался отхожими промыслами. С началом весны у нас почти половина мужского населения уходила в Питер на заработки. Там они нанимались рабочими на плоты или на баржи и плавали по воде все лето.

Потом мужики объединились в артель. Почти все члены артели приобрели собственные баржи, и каждый стал сам себе хозяин.

Дедушка со своими баржами был очень счастлив. Удача ходила за ним следом. Дом его стал полной чашей. Семья его состояла из трех сыновей и одной дочери (нашей матери). В доме был работник и работница, хлеба своего хватало всегда до нови. Лошади и сбруя были лучшие в селе.

В начале весны дедушка уезжал в Питер и плавал на баржах до глубокой осени.

По обычаю мужиков, возвращающихся домой с доходом, полагалось благодарить бога, и церковь наша получала от мужиков различную утварь: подсвечники, ковры, богатые иконы — все эти вещи мужики покупали в складчину. Дедушка был очень щедрым на пожертвования и за это был почитаем духовенством. В благодарность богу за удачное плавание дедушка поставил перед своим домом часовню. У иконы Николая Чудотворца под праздники в часовне всегда горела лампада.

После расчета с богом у дедушки полагалось веселиться. Бочки браги и вино ставились около дома.

— Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! — говорил дедушка.— Нечего деньгу копить, умрем — все останется. Медная посуда. Ангельский голосок! Золотое пение. Давай споем!

Пел дедушка хорошо и любил слушать, когда хорошо поют. Веселье продолжалось неделю, а то и больше. Потом становилось реже, в базарные дни по вторникам, а к концу зимы и вовсе прекращалось за неимением денег. Тогда наступали черные дни в Титовом доме. То и дело слышались окрики дедушки:

— Эй, бездомовники! Кто это там огонь вывернул?

И начиналась брань за соль, спички, керосин.

Все затихало в доме Титовых, когда дедушка был

сердит. Своего младшего сына он навсегда сделал несчастным. Сын его (дядя Петя) был еще в детстве напуган коровой. Ему было лет восемь, когда он провинился и, боясь гнева дедушки, не пошел кланяться ему в ноги, а спрятался на чердаке. Дедушка от такой дерзости рассвирепел. Он сам влез на чердак и, найдя сына, притаившегося в темном углу, взял его за шиворот и сбросил вниз.

Рядом с необузданностью у дедушки уживалась большая доброта и нежность по отношению к детям. Уложить спать, рассказать сказку, спеть песню ребенку для него было необходимостью. Сергей часто вспоминал свои разговоры с ним. Вот один из них.

Дедушка с Сергеем спали на печке. Из окна на печку светила луна.

— Дедушка, а кто это месяц на небе повесил?

Дедушка все знал и, не задумываясь, отвечал.

— Месяц? Его туда Федосий Иванович повесил.

— А кто такой Федосий Иванович?

— Федосий Иванович сапожник, вот поедем с тобой во вторник на базар, я тебе покажу его — толстый такой.

Часто Сергей напевал припев одной из детских песенок, которую пел ему дедушка:

Нейдет коза с орехами,
Нейдет коза с калеными.

Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, но послал в город добывать хлеб себе и сыну, за которого он приказал ей высылать три рубля в месяц.

С Питером у дедушки в это время все было кончено. Две баржи уничтожил пожар, а остальные утонули во время половодья. Дедушка был разорен, так как баржи не были застрахованы.

Теперь в доме Федора Андреевича наступил другой порядок. Старшего сына, дядю Ваню, он оставляет навсегда в городе, но жена его живет у дедушки. Среднего сына, дядю Сашу, он женит и оставляет дома, в деревне. Младший сын, дядя Петя, припадочный, для тяжелой работы не годится, он помогает по дому.

Хозяйствует сам дедушка. Он не гнушается никакой работой: возит барское сено, сам косит на покосах, молотит рожь и делает все, что нужно для дома. Каждое воскресенье он идет в церковь к обедне. В этот день отдыхает вся семья.

Пять лет Сергей жил у дедушки Федора. Дядя Петя был первым другом Сергея, он учил его плести корзины, выре-

зать красивые палки, делать свистки. Жена дяди Вани и дедушка рассказывали ему сказки. Дядя Саша посылал за лошадьми и брал его с собою в лес и в поле. Бабушка учила молиться богу и старалась покормить послаще.

Мать судилась с отцом, просила развод. Отец отказал в разводе. Она просила разрешения на получение паспорта, отец, пользуясь правами мужа, отказал и в паспорте. Это обстоятельство заставило ее вернуться к нашему отцу.

После смерти бабушки Аграфены, в 1909 году отец и мать решили построить себе новый дом (старый требовал большого ремонта). Теперь мы живем в новом доме. Я помню Сергея с той поры, когда он ходил в школу.

Утром я редко видела Сергея дома. Скучно тянулся день. Я играла в куклы, забавлялась с кошкой — матери некогда было интересоваться мною, она даже в избе мало бывала. Подруг у меня еще не было. Если я выходила гулять, то только около избы, недалеко от матери.

Каждый день я ждала Сергея из школы: тогда мать придет в избу собирать обед, будет разговаривать с ним. и мне веселее будет.

Сергей никогда не играл со мной, он всегда дразнил меня, и все-таки я любила, когда он был дома. Весной и летом Сергей пропадал целыми днями в лугах или на Оке. Он приносил домой рыбу, утиные яйца, а один раз принес целое ведро раков. Раки были черные, страшные и ползали во все стороны. Рассказывал, где и с кем он их ловил, смеялся, и мать становилась веселей.

Неожиданно приехал отец из Москвы, привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист [1] и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ.

Потом позвали в гости отца Ивана и тетю Капу. За столом шла беседа о том, куда определить Сергея. Отец Иван и тетя Капа посоветовали учить его дальше и указали. где надо учиться. Отец наш пробыл три дня у нас и опять уехал. После отъезда отца мать часто ходила к Поповым [2], что-то шила, принесла маленький сундучок и уложила туда вещи Сергея. Потом к нашей избе подъехала лошадь, вошел чужой мужик, молились богу, и мать с Сергеем уехали,

оставив меня дома с соседкой. Сергей уехал учиться во второклассную учительскую школу в Спас-Клепики [3].

Зимой жили мы вдвоем с матерью. Мать много рассказывала мне сказок, но сказки все были страшные и скучные. Скучными они мне казались потому, что в каждой сказке мать обязательно пела. Например, сказка об Аленушке. Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось невмочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать. Мать много рассказывала о святых, и святые тоже у нее пели.

К рождеству на каникулы приехал Сергей, он показался мне очень высоким и совсем не таким, как раньше. Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку.

Как всегда, он почти не говорил со мной, а читал или говорил с матерью. Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него, в избе никого не было, в это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

— Ты что смеешься-то?

— Да так, смешно, — ответил Сергей.

— И ты часто так смеешься, один-то?

— А что? — спросил Сергей.

— Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А отчего? Все книжки. Дьячок-то какой был!

Сергей засмеялся.

— Я вот смотрю, ты все читаешь и читаешь. Брось ты свои книжки, читай, что нужно, а пустоту нечего читать.

Прошли каникулы. Сергей неохотно стал собираться в Спас-Клепики. Мать наказывала терпеть, слушаться учителей и советовалась после его отъезда с хромой Марфушей.

— Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся.

— Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий, — говорила Марфуша.

Матери становилось легче.

Вскоре после каникул Сергей приехал с нашими мужиками обратно. Сначала он сказал, что распустили всю школу, а на другой день заявил матери, что больше учиться не будет.

Мать очень перепугалась: как отец на это посмотрит? Они долго думали и наконец решили написать обо всем

отцу. Сергей с надеждой, что скоро вернется, поехал в школу.

Школа Сергея в Спас-Клепиках, казалось мне, стоит где-то посреди воды, и в половодье дорога там очень опасна.

— Ах ты, господи, страсть-то какая, как они будут переправляться через воду? Спаси его господи, перенеси, царица небесная, через эту напасть! — ахала мать, зажигая лампадку.

Сергей приезжал к пасхе домой. В Спас-Клепиках у Сергея был большой друг Гриша Панфилов,[4] и он рассказывал матери о семье Панфилова, о своих школьных товарищах.

Наконец через три года школа закончена. К осени отец вызвал Сергея к себе в Москву и устроил его работать в конторе у своего хозяина.

Из Москвы Сергей часто приезжал домой.

Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но из этого ничего не выходило.

Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный, костюм, отправлялся к Поповым, мать не отрывая глаз смотрела в окно до тех пор, пока Сергей скрывался в дверях дома Поповых. Она была довольна его внешностью и каждый раз любовалась им. Много девушек заглядывалось на наш небольшой уютный дом.

— Если ты женишься в Москве и без нашего благословения, не показывайся со своей женой в наш дом, я ее ни за что не приму,— наставляла мать.— Задумаешь жениться, с отцом посоветуйся, он тебе зла не пожелает и зря перечить не будет...

Спал Сергей в амбаре. Ключ от него он носил с собой всегда. Потом и я стала спать в амбаре.

Один раз я долго играла с ребятами и поздно пошла спать. Сергея не оказалось в амбаре: он ушел к Поповым. Ночь была чудесная, лунная, я села у амбара и стала ждать. Вишни и высокие плети картошки были серебристо-голубого цвета. Мне было жутко одной, вдалеке от жилья, но небо с миллионами звезд было так прекрасно, что мне на всю жизнь запомнилась эта ночь. Наконец заскрипела калитка.

— Ты давно здесь? — спросил Сергей.

Потом он сел на мое место, и я заснула под насвистывание какой-то нежной песенки.

Я любила Сергея. С ним у нас дома было веселее, и сам он был красивый, нарядный. Но, мне казалось, он меня не любил. Сестру Шуру любили все. Когда ей было три-четыре

года, Сергей с удовольствием носил ее к Поповым и там долго пропадал с ней.

Он плел ей костюмы из цветов (он умел из цветов с длинными стеблями делать платья и разных фасонов шляпы) и приносил ее домой всю в цветах. Я охотно бежала смотреть, как играют у Поповых в крокет, но, стоило появиться Сергею, — он немедленно прогонял меня.

— Я не пойду домой, — заявляла я.

— Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой, — тихо говорил он.

Иногда, жалея его, я уходила. Я понимала: ему стыдно, что у него такая сестра. Одевала нас мать в одинаковые платья с Шурой. Но моя беда в том, что платья эти часто висели на мне лохмотьями, а Шура всегда была опрятна и нарядна.

Кусты акаций каймою облегали невысокий старинный дом со створчатыми ставнями. Направо — церковь, белая, и стройная, как невеста, налево — дом дьякона, дальше — дьячка. Большие сады позади этих домов как бы сплелись между собою и, полные разных яблок и ягод, были соблазнительно хороши. В старинном доме с акациями жил наш священник, отец Иван. Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце Иване.

Больше пятидесяти лет отец Иван служил в нашей церкви. Он приехал к нам совсем молодым с маленькой дочерью. Несмотря на вдовство, мужики никогда не могли упрекнуть его в волокитстве за бабами. Правда, случалось, что иногда задерживалась обедня из-за того, что поп наш еще из гостей не приехал, но мужики понимали и не взыскивали с него.

Семья отца Ивана состояла из двух человек: дочери Капиталины Ивановны, девицы, и сына умершей сестры Клавдия. В доме отца Ивана всегда было еще много людей, которые ввиду долголетней службы у него считались тоже вроде своих.

Молоденькая девушка Настя, исполнявшая обязанности горничной, из-за бедности родителей выросшая в доме отца Ивана, хромая Марфуша-экономка, Тимоша Данилин (сын нищей вдовы), при содействии отца Ивана ставший студентом Московского университета, кухарка и работник.

Утонувший в зелени дом был очень удобен. Он состоял

из трех частей. Первой частью была горница. Вторая часть называлась «сени» — это самое веселое место в доме, здесь зимой и летом до утра играли в лото, в карты, играли на гармонии и гитаре. Здесь рассказывали были и небылицы, здесь спевались певчие — словом, вся жизнь протекала в сенях.

Сергей был почти ежедневным посетителем Поповых сеней, дома он только спал и работал, весь свой досуг проводил у Поповых. В саду у отца Ивана был еще другой дом, и Сергей иногда ночевал там вместе с загулявшейся до свету молодежью, которая, как пчелы к улью, слеталась к отцу Ивану со всех концов.

Просторный дом отца Ивана всегда был полон гостей, особенно в летнюю пору.

Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц — учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей — сын и две дочери, и они по целому лету жили у Поповых. Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны).

Мать наша через Марфушу знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

— Ох, кума,— говорила Марфуша,— у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. «Пойду,— говорит,— замуж за Сережку», и все это у нее так хорошо выходит.

Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:

— Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: «Ты что же замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь». Умора, целый вечер они трунили друг над другом.

Однажды к именинам тети Капы готовили домашний спектакль. Сергей должен был играть возлюбленного молоденькой учительницы. Но сам он ни о чем дома не говорил, а Марфуша, как всегда, доложила матери.

— Ты приди, кума, поглядеть, уж есть хорошо, есть хорошо у них получается, оба они молодые, красивые. Сначала все целоваться стеснялись, а потом понравилось.

Я заранее стала приставать к матери, чтобы она и меня взяла с собой посмотреть представление.

Настал день именин. Санки, одни за другими, подъезжали к дому Поповых. Я сидела и смотрела в окно, как гости вылезали из санок. Вечером весь дом у Поповых

засветился, и я очень боялась, что представление начнется без нас, а мать медлила, ей не хотелось, чтобы я шла с нею.

Наконец мать собралась идти. Мы пришли на кухню, где мать решила побыть до начала представления, чтобы не попасть на глаза Сергею. Когда началось представление, Марфуша повела нас в горницу.

В горнице было много народу, все сидели на стульях и смотрели в спальню тети Капы. В спальне горели две лампы, на стене были намалеваны деревья. Вдруг я увидела красивую девушку с длинными черными косами. Девушка играла в большой мяч и что-то пела. Я забыла обо всем, забыла, где я, и жадно смотрела на красивую девушку. Неожиданно мать потянула меня за руку, я оглянулась и увидела сердитого Сергея.

— Сейчас же уходите домой,— потребовал Сергей.

— Мы тебе что, мешаем? — спросила мать.

— Уходите сейчас же, иначе я уйду отсюда,— говорил Сергей.

Мы пошли домой. На крыльце встретилась Марфуша.

— Прогнал нас Сергей. Стесняется. Молодой,— сказала мать.

Много хороших дней в юности провел Сергей у Поповых. С годами он стал бывать у них реже. Но в каждый свой приезд в село он обязательно, как и в старое время, первым долгом направлялся к ним.

Однажды у нас шел разговор о колдунах. Разговор зашел потому, что бабы стали бояться ходить рано утром доить коров, так как около большой часовни каждое утро бегает колдун во всем белом.

— Это интересно,— сказал Сергей,— сегодня же всю ночь просижу у часовни, ну и намну бока, если кого поймаю.

— Что ты, в уме! — перепугалась мать.— Ты еще не пуганый? Рази можно связываться с нечистой силой. Избавь боже. Мне довелось видеть раз и спаси господи еще встретить.

— Расскажи, где ты видела колдунов? — попросил Сергей.

— Видела,— начала мать.— Я видела вместе с бабами, тоже к коровам шли. Только спустились с горы, а она тут и есть, во всем белом скачет на нас. Мы оторопели, стоим, ни взад, ни вперед; глядим, с Мочалиной горы тоже бабы идут. Мы кричать, они к нам бегут, ну, мы осмелели, броси-

ли ведры да за ней. Она от нас, а мы с шестами за ней, догнали ее до реки, а она там и скрылась в утреннем тумане.

Вечером Сергей пошел к часовне. Мать упросила его взять с собой большой колбасный нож, на всякий случай. На рассвете Сергей вернулся домой, бабы-коровницы разбудили его у часовни, так он и проспал всех колдунов.

Этим же летом случилась еще оказия. По селу прошел слух, что к кому-то летает огненный змей. Каждую ночь бабы видят его летящим над барским садом. Разговору по этому поводу было много. Перебрали всех молодых вдовых баб.

— Господи, и какие бесстрашные, принимают нечистую силу, и хоть бы что.

— А ты узнаешь, что это нечистая сила-то?

— Ну, знать-то, понятно, все знают, только ты вот что скажи, не скоро справишься с ней.

И бабы рассказывали:

— Вот к Авдотье-то летал почти целый год. И если бы тетка Агафья не увидела, пропала бы совсем. Она встала на двор, только собралась выходить из избы-то, как вдруг все окна осветились; она к окну и видит, что у них в проулке он весь искрами рассыпался и идет прямо к Авдотье в избу, ну ни дать ни взять Микитка ее.

Отец Нюшки Меркушкиной в это время караулил барский сад. На следующий день Нюшка позвала меня за яблоками. Был уже глубокий вечер, когда мы направились с ней к барскому саду. Высокий забор не служил нам преградой. Привыкшие ко всяким приключениям, мы с ней не уступали в ловкости мальчишкам. Спустившись в сад, мы оказались в другом царстве. Высоко-высоко горели звезды. Яблони, поникшие под тяжестью плодов, казалось, дремали, невдалеке пылал костер. Семка, брат Нюшки, и его товарищ пекли картошку, отец в шалаше спал. «Вон яблоки, выбирайте из того вороха»,— указал Семка. Набрав яблок, мы уселись около костра и за разговорами не заметили, сколько прошло времени. «Петухи-то кукарекали, ай нет?» — спросил Семкин товарищ. «Рано еще»,— сказал Семка, и они продолжали спокойно лежать у костра на рваной дерюге. Вдруг петухи запели. Семкин товарищ поднялся, надел рукавицы и вытащил из костра горевшую головню. Повертев ею над головой, он закинул ее высоко в небо. Головня взвилась, падая, она ударялась о верхушки яблонь и рассыпалась искрами.

— Видела? — обратилась ко мне Нюшка.— Вот тебе змей огненный.

— А вы — ни гугу,— погрозил кулаком Семка,— мы хоть теперь уснем, а то бабы как чуть, так в сад лезут.

Дома я рассказала, как видала огненного змея.

Сергей хохотал до слез:

— Вот молодцы, додумались, и караулить не надо.

А мать ворчала:

— Паршивые, чего придумали, людей пугать понапрасну.

На троицын день мать разбудила меня к обедне. Нарядившись и собрав букет цветов, я пошла в церковь.

В церкви я стояла недолго. За время обедни я вместе с моими сверстницами лазила в барский сад за цветами. Потом мы долго гуляли, и, когда кончилась обедня, я со всеми вместе пошла домой.

Дома у нас все было убрано березой. В открытые окна вместе с весной лился праздничный звон с нашей колокольни.

Мать ждала конца обедни, чтобы собрать завтрак.

Самовар уже кипел давно.

Весна была чудесная, день был солнечный, и праздник был в избе и на улице. В окно я увидела, что к нам прямо из церкви идет Хаичка *. Мать не поверила, когда я сказала:

— Хаичка к нам идет.

— Это она к Ерофеевне. К нам ей незачем,— проговорила мать.

Но Хаичка пришла к нам.

— Здравствуйте, с праздником вас,— сладко заговорила Хаичка.

— Поди, здорово,— отвечала мать, с любопытством глядя на Хаичку.

— Уж есть хорошо вы живете-то,— запела Хаичка,— и изба хорошая, и храм божий рядом.

— Ты проходи, садись,— приглашала мать.— Да, у нас хорошо,— ответила она на хвалу.

— А где же, Таня, у тебя еще-то твои? — усаживаясь, спросила Хаичка.

— Мы все тут,— улыбнулась мать, оглядывая нас.— Сергей спит в амбаре.

— Хорошо, хорошо вы живете. Сынка-то женить не думаешь?

— Да нет, рано еще, не думали.

* Прозвище бабы, которая жила у нас в селе.

— Ну где же рано, ровесники его давно поженились, пора и ему.

— Не знаю, мы волю с него не снимаем, как хочет сам.

— А вы не давайте зря волю-то, женить пора. Вот Дарье-то желательно Соню к тебе отдать,— прибавила она другим тоном,— и жени! Девушка сама знаешь какая. Что красавица, что умница. Другой такой во всей округе нет.

— Девка хорошая, что говорить. Я поговорю с ним,— сказала мать.

— Ты поговори, а потом мне скажешь.

— Ладно, поговорю. Давай чай пить с нами.

Хаичка отказалась от чая.

После ее ухода мать послала меня будить Сергея. Сергей уже проснулся. Дверь амбара была открыта, и он, задрав ноги на кровати, пел. «Уж и жених»,— мелькнуло у меня в голове.

— Иди чай пить,— сказала я.

— Как? Обедня отошла уже? — спросил он.

— Давно,— ответила я и побежала домой.

За столом мать сказала Сергею о посещении Хаички.

— Я не буду жениться,— сказал Сергей.

Когда я пошла на улицу, мать остановила меня:

— Ты смотри, ничего никому не говори.

Хаичке мать ответила:

— Отец не хочет женить сейчас, еще, говорит, молод. Годок подождать надо.

Началась война. Сергея призвали в армию.

Худой, остриженный наголо, приехал он на побывку. Отпустили его после операции аппендицита [5].

— Какая тишина здесь,— говорил Сергей, стоя у окна и любуясь нашей тихой зарей.

В армии он ездил на фронт с санитарным поездом, и его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых. Много тяжелых и смешных случаев с ранеными рассказывал он. Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги.

Сергей рассказывал, что это был красивый и совсем молодой офицер. Под наркозом он пел «Дремлют плакучие ивы». Проснулся он калекой...

Через несколько дней Сергей уехал в Питер.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я снова здесь, в семье родной...».

После операции Сергей не мог ехать на фронт. Его оставили служить в лазарете в Царском Селе. Дважды он приезжал оттуда на побывку [6]. Полковник Ломан, под начальством которого находился Сергей, позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Поездки в деревню, домой, тоже были поблажкой полковника Ломана. Отец и мать с тревогой смотрели на Сергея: «Уж больно высоко взлетел!» Да и Сергей не очень радовался своему положению. Поэтому его приезды домой, несмотря на внешнее благополучие, оставили что-то тревожное.

Но вот и до нашего отца дошла очередь идти в солдаты. Он приехал из Москвы домой на призыв. Простившись с нами, отец уехал в Рязань на медицинскую комиссию. В Рязани отец наш случайно оказался вместе с отцом Гриши Панфилова, который тоже был призван в армию. Отец Гриши, услышав знакомую фамилию, спросил его, не родня ли он Сережи Есенина. Встреча нашего отца с отцом Гриши Панфилова совпала с решающим моментом в жизни Сергея: ему было предложено написать стихи в честь Николая II. Это было в конце 1916 года. Канун революции. Сергей не мог писать стихи в честь царя и мучительно искал предлог для отказа [7]. И в этот момент он получил от отца письмо, в котором тот сообщал о встрече с отцом Гриши Панфилова. С Гришей у Сергея были связаны все его свободолюбивые, революционные мечты, и это напоминание о Грише явилось «перстом указующим» в принятом Сергеем решении.

И вот в Константиново пришло письмо:

«Дорогая мамаша, свяжи, пожалуйста, мне чулки шерстяные и обшей по пяткам. Здесь в городе не достать таких. Пошли мне закрытое письмо и пропиши, что с Шуркой и как учится Катька. Отец мне недавно прислал письмо, в котором пишет, что он лежит с отцом Гриши Панфилова. Для меня это какой-то перст указующий заколдованного круга. Пока жизнь моя течет по-старому, только все простужаюсь часто и кашляю. По примеру твоему натираюсь камфарой и кутаюсь.

Сергей Есенин».

Открытка эта была последней из Царского Села. На следующий день мать пошла в Кузьминское послать посылку. Мы долго не получали ничего от Сергея, но в начале весны 1917 года он приехал домой на все лето [8]. Из армии он с началом революции самовольно ретировался.

Барский сад с двухэтажным домом занимал у нас часть села и подгорье почти до самой реки. Вся усадьба была огорожена высоким бревенчатым забором, и ничей любопытный глаз не мог увидеть, что делается за высокой оградой. Высокие деревья, росшие по краям ограды, делали усадьбу красивой и таинственной. В годы моего детства владельцем этой усадьбы был Иван Петрович Кулаков, хозяин богатый и строгий. Ему принадлежал лес и половина наших лугов.

«Барин», «барское», «Кулаково» — то и дело склонялось мужиками и бабами. Для детей Кулаков был страшнее черта. Красная рябина, свисавшая через забор, соблазняла и манила сорвать ее. Смельчаки залезали на забор за рябиной, но, стоило кому-нибудь крикнуть: «Кулак, Кулак, лови», отважные похитители кубарем ссыпались с забора. Мне Кулаков казался чудовищем с черными длинными руками, и, когда кричали: «Кулак, лови», у меня мороз пробегал по спине. И вдруг новость: Кулак умер. Нам с Нюшкой очень хотелось видеть хоть мертвого барина, и мы в день похорон с утра дежурили у церкви. Было холодно и скучно. Мы внимательно осмотрели могилу барина, выложенную всю кирпичом, и не могли понять, для чего могилу сделали, как погреб. «Это чтобы дольше не сгнил»,— объяснила мне потом мать.

После Кулакова барская усадьба перешла по наследству к его дочери Кашиной Лидии Ивановне. При молодой барыне усадьба стала гораздо интересней. Каждое лето Кашина с детьми приезжала в Константиново. Мужа с ней не было. Говорили, что муж ее очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить [9]. Молодая красивая барыня развлекалась чем только можно. В усадьбе появились чудные лошади и хмурый, уродливый наездник. Откуда-то приехал опытный садовник и зимой выращивал клубнику.

Кучер, горничная, кухарка, прачка, экономка и много разного люда появилось в усадьбе. К молодой барыне все относились с уважением. Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу.

Каждый день после полдневной жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле. Рядом с ней ехал наездник.

Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми.

Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме [10].

Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у нее дети.

— Ты нынче опять у барыни был? — спрашивала она.

— Да,— отвечал Сергей.

— Чего же вы там делаете?

— Читаем, играем,— отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: — Какое тебе дело, где я бываю!

— Мне, конешно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты,— продолжала мать,— нашла с кем играть.

Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом.

Однажды за завтраком он сказал матери:

— Я еду сегодня на яр с барыней.

Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струей хлестал по стеклам. Мать забеспокоилась. «Господи,— вырвалось у нее,— спаси его, батюшка Николай Угодник».

И как нарочно в этот момент послышалось за окнами: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать бросилась из избы. Мы остались вдвоем с Шурой. На душе было тревожно и страшно. Чтобы отвлечься, я стала сочинять стихи о Сергее и барыне:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Этой строфой начиналось и заканчивалось мое стихотворение.

Две средние строфы говорили о том, что бог послал нарочно бурю, чтобы разогнать Сергея и Кашину в разные стороны.

Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат и паро́м понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нем не было. Желая развеселить мать, я прочитала свое стихотворение. Оно ей понравилось.

Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина еще не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги, и Сергей с барыней поехали вдвоем.

— Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, все бы спокойней было,— ворчала мать.

Поздно ночью вернулся Сергей.

Утром мать рассказала ему о моем стихотворении. Сергей смеялся, хвалил меня, а через несколько дней написал стихотворение, в котором он как бы отвечал на мои стихи:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной «Зеленая прическа...» [11].

Настала осень. Уехал Сергей, и мы опять погрузились в длинный зимний сон.

Весной этого же года я окончила нашу сельскую четырехклассную школу. Все лето я занималась с Тимошей Данилиным, который готовил трех мальчиков из нашего села для поступления в разные учебные заведения.

Сергей старался, насколько возможно, оградить меня от домашней работы, чтобы я имела время приготовить уроки. Он радовался моим успехам больше всех. Теперь я приехала в Москву. Осенью отец устроил меня в частную гимназию.

Я тосковала по дому и часто во сне видела себя дома, в деревне, и вслух говорила с матерью.

— Ты сегодня опять во сне капризничала с матерью, не хотела есть кислые сливки,— говорил отец.— Набаловала она вас, совсем испортила.

Оставшись одна, я молилась богу: «Господи, сделай так, чтобы я вернулась домой!»

Жили мы с отцом очень скучно. Отец не знал, о чем со мной говорить, а я боялась его строгого взгляда. Наконец появился Сергей.

— Ну, ты не плачь. Я буду часто теперь ездить к вам,— говорил он.— Я знаю, трудно с отцом. А ты что-нибудь пишешь?

Я показала ему сказку о Кощее Бессмертном, написанную мною в стихах. Сергей похвалил меня. Он стал часто приходить к нам.

Ожидания Сергея сблизили нас с отцом.

— Ну вот, сегодня Сергей придет, а я масло принес, будем жарить картошку,— говорил отец, и лицо его становилось светлым.

За чаем мы все трое говорили и смеялись. Разговор был только о деревне, о наших людях.

— Да, как волка ни корми, он все в лес тянет,— говорил отец.— Тридцать лет с лишним, как я живу в Москве, а все не дома. И ты тоже, Сергей, приехала Катька, запахло домом, деревней, бежишь теперь к нам.

В сундуке у отца хранились вещи Сергея. Однажды отец открыл сундук и развернул чудесный ковер. На белом атласном коне сидел прекрасный юноша. Переднюю ногу коня обвила зеленая змея. Юноша занес копье над головой змеи. Ковер был сделан из шелка, атласа и бархата.

— Это называется панно,— объяснил мне отец.— Картина означает «Святой Георгий побеждает зло».

Пришел Сергей и унес с собой это панно.

— Подарок замечательной художницы,— сказал он.

Вскоре панно украли у Сергея. У отца даже слезы брызнули, когда он узнал о пропаже картины. Сергею он ничего не сказал, только горестно поник головою.

Еще у отца в сундуке лежало несколько книг Сергея. Это были Библия, Пушкин и Гоголь с хорошими иллюстрациями.

Однажды Сергей пришел в неурочное время и застал меня за игрой в куклы.

Я быстро сгребла куклы со стола, но было поздно. Сергей улыбнулся:

— Ты все еще играешь в куклы?

— Да,— ответила я,— не говори, пожалуйста, отцу.

— А что ты читаешь?

— У меня нет книг, и я ничего не читаю,— ответила я.

Через день Сергей принес мне целый узел лоскутов для кукол. Лоскутья были всех цветов, и шелк, и кружево, и бархат — все было там. И еще он принес чудесную книгу — «Сказки братьев Гримм».

Теперь из школы я бежала скорей домой. Меня ждали сказки и ленты.

В 1918 году гимназию, в которой я училась, закрыли. В нашей же школе, в Константинове, открыли пятый класс, и отец посоветовал мне учиться в пятом классе, чтобы не забыть, что знала. «А там видно будет»,— сказал он.

Пятый класс вела у нас Софья Павловна Прокимнова, молодая учительница, дочь священника из соседнего села

Кузьминского. Учились в пятом классе одни мальчишки. Я была единственная девочка. Потом к нам в класс пришла еще одна девочка — Редина Маня. Она была моложе всех нас, очень маленького роста.

Однажды Софья Павловна предложила нам во время каникул устроить самодеятельный концерт для ребят. Она хорошо играла на гитаре. Вместе с ней мы разучили хоровые песни, подготовили сцену из «Мертвых душ» — приезд Чичикова к Коробочке. Мне поручили роль Коробочки.

В назначенный день нашего выступления в большом классе устроили сцену, сшили из чего-то занавес. И при открытии занавеса я одна сижу за столом в широкой черной юбке и в кофте с длинным узким рукавом. На голове у меня какой-то белый капор с кружевом. Лицо мне Софья Павловна сделала такое, что мать родная не узнала бы. Публика не скупилась на аплодисменты.

Спектакль был рассчитан только для учеников, но — боже мой! — мужики и бабы торчали на всех подоконниках. Класс был битком набит взрослыми. Ободренные успехом, мы поставили еще два спектакля.

Видя, с каким успехом проходят наши школьные спектакли, молодежь села под руководством Клавдия Петровича Воронцова решила организовать свой кружок самодеятельности. Под зрительный зал была оборудована огромная барская конюшня. Все было хорошо, но в кружок вошли только три девушки. Причем ни одна из них не хотела играть старух. Тогда кружковцы поручили эти роли мне. Моя мать очень удивилась и сначала не хотела пускать меня (мне еще не было и четырнадцати лет), но ребята ее уговорили.

Наши спектакли шли с таким успехом, что нас стали приглашать в другие села. Однажды на репетицию к нам зашел наш деревенский коммунист Мочалин Петр Яковлевич. После репетиции он похвалил нас и предложил всем кружковцам вступить в комсомол. Все согласились, но я не могла сделать этого без разговора с матерью, да и годов мне не хватало.

Мать подумала и сказала:

— Раз такое дело, иди со всеми вместе, а богу молиться не обязательно в церкви, ты про себя молись, бог ведь знает, что теперь делается на белом свете.

На каждое комсомольское собрание обязательно приходил Мочалин.

После собрания мы пели песни и, довольные, расходились по домам.

Наши спектакли шли свои чередом.

В Октябрьские дни и Первого мая мы, комсомольцы, ходили с флагами по селу, пели «Варшавянку», частушки Демьяна Бедного:

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов!
Залезем мы на небо,
Разгоним всех богов.

Бабы качали головами и ругались нам вслед: «Антихристы проклятые!» Мужики молча отворачивались и отходили в сторону при нашем приближении. Но нам в ту пору ничего не было страшно.

1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.

— Долой буржуев! Долой помещиков! — неслось со всех сторон.

Каждую неделю мужики собираются на сход.

Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторитетом. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.

Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».

В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех,— приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками.

Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею:

— Она тебя просила, что ль, заступиться?

— Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? Растащат, разломают все, и никакой пользы, а сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас! — говорил Сергей.

— А я вот что скажу — в драке волос не жалеют. И добро это не наше, и нечего и горевать о нем.

Наутро пришла ко мне Нюшка.

— Эх ты, чего вчера на собрание не пошла? Интересно было.— И Нюшка, волнуясь, с удовольствием продолжала: — Знаешь, Мочалин говорит: надо буржуйское гнездо

разорить так, чтобы духу его не было, а ваш Сергей взял слово и давай его крыть. Это, говорит, неправильно, у нас нет школы, нет больницы, к врачу за восемь верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно! Ну и пошло у них.

Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория, а барскую конюшню переделали в клуб.

Все наши бабы везут своим мужикам в Москву продукты.

И меня мать послала к отцу вместе с бабами. Ехать в Москву надо пароходом, о поезде думать нечего, не сядешь.

Уселись мы в самом проходе, где отдают причал, мест больше нет нигде. Это третий класс. Ветер свищет и оттуда и туда. Пароход ползет как черепаха. Ночь. Люди спят кто как может, а нам не до сна. Сквозит кругом, замерзли. Сидим на своих продуктах, как совы, сгорбатились, глазами хлопаем. До Москвы еще целые сутки плыть.

День кажется невероятно долгим. На утро следующего дня — Москва. Отец бесконечно рад моему приезду. Теперь каждый месяц я еду с кем-нибудь в Москву с продуктами. Врач советует отцу уехать из Москвы в деревню. Астма и сердце плохое.

— Последний раз съезди и скажи отцу, чтобы ехал домой. Как-нибудь проживем. Люди-то живут,— сказала мне мать.

Теперь отец дома, в Константинове. Он устроился работать в волисполком делопроизводителем. Кроме жалованья ему дают тридцать фунтов муки. С хлебом и у нас теперь плохо — неурожай.

В селе у нас организовали комитет бедноты. Председателем выбрали Ивана Владимировича Уколова. Отца выбрали секретарем комитета бедноты.

Мать наша недовольна работой отца в комитете бедноты.

— Это что же? Людям по два-три пуда даешь муки, а мы тридцать фунтов получаем?

— Мы получаем хлеб за мою работу в волости, у нас есть корова, поэтому мы считаемся середняками. Хлеб дают многодетным, беднякам, бескоровным...

Весной организовали коллективный огород на бывших землях федякинского помещика. Я работала вместе с бабами на этом огороде. Отец вел весь учет. Он следил за

очередью лошадей, он отмечал, кто сколько дней работал, выписывал семена и распределял урожай.

— Вот это хорошее дело,— говорил он,— каждый делает, что может, на что способен. Так жить можно!

Решили купить лошадь и заняться хозяйством. Достали заветный мешочек с деньгами (керенки, что прислал Сергей), сложили кофты, сарафаны и последнее поношенное пальто отца на барашковом меху с каракулевым воротником (подарок купца Крылова со своего плеча). Все это отдали за лошадь. Лошадь привели молодую, красивую. Вскоре выяснилось, что она не любит женщин: только мать подойдет, лошадь прижимает уши и косит глазами. Значит, не подходи — укусит.

— Ох, чтоб тебя вихор поднял! — вздыхала мать.

Поехал отец в косу, хворосту на плетни привезти, лошадь наша до горы довезла, около горы встала и ни с места. И били и ругали. Ничто не помогало, пока не подъехала другая лошадь с возом дров. Лошадь с дровами поехала в гору, наша за ней. Так мы у горы и ждали всегда попутчика. С пустой телегой наша лошадь бежит хоть куда, с возом она не любит сворачивать с дороги, кроме как домой.

Однажды отец послал меня отвезти в поле навоз. До нашей доли я доехала хорошо, но дальше лошадь не пошла. Я отдала ей весь хлеб, что дал мне для нее отец, я била кобылу изо всей мочи кнутом, я ревела и опять била, ничто не помогало — кобыла стоит. Били ее все прохожие мужики и бабы, кобыла ни с места.

— Сваливай, Катя, навоз у дороги, отец сам потом возьмет его,— посоветовал сосед.

Только Маня, так звали кобылу, увидела, что телега пустая, она стала послушной, и я, как на рысаке, примчала домой.

Осень. Все убрали и в поле и в лугах. Отец с карандашом в руках сидит за тетрадью и что-то колдует.

— Ничего не выходит,— сказал он, поднявшись из-за стола.

— Чего не выходит-то? — спросила мать.

— Не хватит у нас до весны ни хлеба, ни кормов скотине. Надо срочно продавать лошадь. Вот съезжу еще за дровами — и с богом, в Рязань, на базар.

В следующую субботу я с матерью еду на телеге продавать Маню. Завтра базар. Остановились ночевать у своих деревенских. Утром мы на сенном рынке. Рынок большой, лошадей много продают.

— Ты постой тут, а я похожу, приценюсь, почем лошади,— говорит мать.

Ко мне подходят люди, спрашивают, сколько стоит лошадь, но я ничего не могу ответить до матери. Вернувшись, мать назначает цену. Есть покупатель, но он хочет попробовать лошадь, как она ходит в гору.

— Погоди немного, сейчас хозяин придет,— говорит мать покупателю.

Покупатель отходит. Мать думает вслух:

— Как же быть? Может, эта дура с пустой телегой пойдет в гору-то?

Запрягли нашу Маню, ударили кнутом, она и пошла шарахаться в разные стороны, но только не на гору.

Наконец лошадь продали.

Вечер. Отец сидит у окна, не отрывая глаз от улицы. Управится со скотиной и опять к окну.

— Тоскует о лошади, вот голова-то! — укоризненно говорит мать, когда отец пошел в ригу.

Отец по-прежнему работает секретарем комитета бедноты, это хорошо для него, он хоть какую-то пользу приносит людям, и люди уважают его. К нам часто заходят мужики. Они ведут с отцом беседы о странной, непонятной жизни, иногда просят его написать какое-нибудь ходатайство в сельсовет.

Почтальон Поля Царькова опять прошла мимо наших окон. Значит, ничего у нее для нас нет.

— Хоть бы ты, отец, в Москву к Сергею съездил, что же это — ни слуху ни духу нет от него? — сказала мать.

— Легко сказать — в Москву. Поезда переполнены, а Сергей, как ветер, поймаешь ли его в Москве,— говорит отец.

— Поймаешь не поймаешь, ехать надо,— ответила мать.— Может, он больной валяется, а мы тут прохлаждаемся.

Отец уехал в Москву.

Прошло три дня. По пыльной дороге, следом за чьей-то тощей клячей, сгорбившись, шагал наш отец домой.

— Пресвятая богородица, что же это? Ай что с Сергеем? — испуганно говорит мать, уставясь в окно глазами.

Мы с Шурой тоже прилипли у окна. Никто из нас не вышел отцу навстречу. Лошадь свернула с дороги к нашему дому. Мать как угорелая побежала к отцу.

— Сергей уезжал из Москвы, потому и не отвечал нам,— говорил отец,— а его письмо, должно быть, пропало на почте.

На следующий день мать допрашивала отца:

— Мерингофа-то ты видал?

— Видел,— отвечал отец.— Ничего молодой человек, только лицо длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея.

В конце лета 1920 года Сергей приехал домой [12]. Это был самый длительный перерыв между его приездами в Константиново.

После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но как всегда после бури вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи, как хочешь. Все обносилось, а купить негде.

Здоровье отца пошатнулось крепко, душит астма. Он теперь не работает в учреждении, ухаживает за своей скотиной и делает все, что придется, по общественным делам.

За чаем Сергей спрашивает отца:

— Сколько надо присылать денег, чтобы вы по-человечески жили?

— Мы живем, как и все люди, спасибо за все, что присылал, если у тебя будет возможность, пришли сколько сможешь,— ответил отец.

Как на грех, привязался дождь. Вторые сутки хлещет как из ведра. После чая Сергей долго стоял у окна, по стеклу которого струилась дождевая вода. Потом он пошел к Поповым. Отца Ивана (священника) разбил паралич. Исчезли со стола медовые лепешки, замолкли песни, как вихрем унесло родных и гостей.

Дедушку Сергей застал на печке. Он хворает и ругает власть:

— Безбожники, это из-за них господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над богом, вот и живете, как кроты.

У Софроновых подряд умерли дед Вавила и дед Мысей. Мрут люди. У Ерофевны Ванятку убили на фронте. Тимоша Данилин тоже убит на фронте.

На другой день Сергей опять ходил к Поповым и долго беседовал с тетей Капой, она теперь сама топит печку и убирает по дому, но не унывает.

— Не все коту масленица, будет и великий пост. Вот мы и дожили до поста,— шутила она.— Никто из прежних людей у нас не бывает. Все друзья-приятели до черного дня. Тяжело сейчас всем, не до нас!

На третий день, перед отъездом, Сергей сказал мне, а скорее самому себе:

— Толя говорил, что я ничего не напишу здесь, а я написал стихотворение.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я последний поэт деревни...».

После обеда я пошла с отцом провожать Сергея на пароход. Шли подгорьем, вдоль берега Оки. Прыгая через лужи, мы смеялись. День прояснился, и на душе стало светло...

Вскоре после отъезда Сергея и я распрощалась с Константиновом. Сергей взял меня к себе в Москву учиться.

⟨1957—1965⟩

А. А. ЕСЕНИНА

РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ

Родина наша — село Константиново Рыбновского района Рязанской области.

Широкой прямой улицей пролегло наше село, насчитывающее около шестисот дворов, вдоль крутого, холмистого правого берега Оки. Не прерывая этой улицы, подошла вплотную к Константинову деревня Волхона, а дальше — большое село Кузьминское. Проезжему человеку, не живущему в этих местах, не понять, где кончается одно село и где начинается другое. Эта улица тянется на несколько километров.

В Кузьминском один раз в неделю бывали большие базары. Сюда съезжались крестьяне со всех окрестных деревень. Здесь можно было купить все, начиная от лаптей и глиняных горшков до коров и лошадей; можно узнать, где продается дом, кто в соседнем селе умер, кто женился, кто разделился. Вторник — всему миру свидание. На базар ходили и купить, и продать, и просто прогуляться, узнать новости.

В Кузьминском был волостной Совет. После революции в доме помещика открыты амбулатория и больница, ветеринарный пункт. Здесь же находится почта, аптека, библиотека, магазины, и если у жителей соседних деревень есть дела в этих учреждениях, их переносят все на вторник. В настоящее время в Кузьминском построена ГЭС, дающая электроэнергию многим колхозам, расположенным от Кузьминского на десятки километров.

В Кузьминском находится правление колхоза имени Ленина и сельский Совет.

Село очень большое. Было здесь два общества и две церкви. Большинство домов хороших, так как почти все кузьминские мужики работали плотниками.

Жители Кузьминского были более зажиточны, и народ здесь был трудолюбивее нашего, и, несмотря на то что эти села слились, жизнь в них протекала по-разному, и сами люди отличались друг от друга, особенно бабы. Кузьминские бабы и косили, и пахали, они всегда куда-то торопились, и походка у них семенящая и качающаяся, они крикливы, и выговор их отличался от нашего, особенно у пожилых, которые дольше наших сохранили и старинные наряды — поневы и на голове повойники, и старинный выговор, и выражения, как например «чаго», «каго»; ругая ребятишек, они кричали: «У-у, ранный тя удырь» или «Я те дам чуртов сын» и т. п.

У нас говорили «чаво», «каво», вместо «чуртов» говорили «чертов», а выражение «ранный тя удырь» вообще не употреблялось.

Наши бабы не умели ни косить, ни пахать, они ходили неторопливой походкой и меньше кричали. На их долю выпало меньше работы, но они не так и ловки, как кузьминские, и наши девки замуж в Кузьминское шли неохотно.

Наше Константиново было тихое, чистое, утопающее в зелени село. Основным украшением являлась церковь, стоящая в центре. Белая прямоугольная колокольня, заканчивающаяся пятью крестами — четыре по углам и пятый, более высокий, в середине, купол, выкрашенный зеленой краской, придавали ей вид какой-то удивительной легкости и стройности.

В проемах колокольни видны колокола: большой, средний и четыре маленьких. Стройные многолетние березы с множеством грачиных гнезд служили убранством этому красивому и своеобразному памятнику русской архитектуры.

Вдоль церковной ограды росли акация и бузина. За оградой было несколько могил церковнослужителей и константиновского помещика Кулакова. За церковью на высокой крутой горе — старое кладбище.

В правом углу кладбища, у самого склона горы, среди могильных камней, покрытых зеленоватым мхом и заросших крапивой, стояла маленькая каменная часовня, крытая тесом. Рядом с ней лежал старинный памятник — плита. На этой плите любил сидеть Сергей. Отсюда открывался чудесный вид на наши приокские раздолья.

С церковью, с колокольным звоном была тесно связана вся жизнь села. Зимой, в сильную метель, когда невозможно было выйти из дома, когда «как будто тысяча гнусавейших дьячков, поет она плакидой — сволочь-вьюга», разда-

вались редкие удары большого колокола. Сильные порывы ветра разрывали и разбрасывали его мощные звуки. Они становились дрожащими и тревожными, от них на душе было тяжело и грустно. И невольно думалось о путниках, застигнутых этой непогодой в поле или в лугах и сбившихся с дороги. Это им, оказавшимся в беде, посылал свою помощь этот мощный колокол.

Этот же колокол извещал и о другой беде — о пожаре, но не в нашем, а в соседнем селе. Тогда удары его в один край часты и требовательны. Но люди наши, привыкшие к частым пожарам, не особенно страшатся их. Выйдя из дома посмотреть, какое село горит, постоят, поговорят с соседями и, если видно, что пожар несильный, спокойно расходятся по домам. На помощь в соседние села бегут только при сильных пожарах и в том случае, если там живут родственники.

В воскресные и праздничные дни этим колоколом сзывали народ к обедне и всенощной.

О пожаре в нашем селе извещал колокол средний. Звук его какой-то жалобный, беспокойный. Чтобы бить в него, не нужно подниматься на колокольню, к его языку была привязана веревка, спадающая вниз, на землю. В сильные пожары били попеременно то в большой, то в средний колокол, и такие удары создавали большую тревогу.

Этим же колоколом, но редкими ударами, сзывали народ к обедне и вечерне в будние дни, церковный сторож отбивал часы, но отбивал он их неправильно и нерегулярно, и нередко можно было насчитать вместо двенадцати тринадцать, четырнадцать ударов.

Медленным, грустным перебором всех колоколов провожали человека в последний путь.

Церковь тогда выполняла обязанности загса. Здесь при крещении получал имя каждый новорожденный, венчались новобрачные и здесь же отпевали умерших.

Влево от церкви, напротив церковных ворот, в глубине села стоял один из двух домов нашего священника. Обитый тесом, крытый железом, выкрашенный красной краской, с белыми ставнями, он мало был виден со стороны села, так как был окружен яблонями и высокими вишнями. Зимой в доме никого не было, но летом здесь весело и шумно проводила свой отдых учащаяся молодежь, которую любил и охотно принимал у себя священник Иван Яковлевич Смирнов, или, как его многие звали, отец Иван Попов.

Завсегдатаями в доме отца Ивана были две сестры Сардановские, Анна и Серафима, и их брат Николай, род-

ственники отца Ивана, две сестры Северцевы, Тимоша Данилин — сын константиновской вдовы-нищенки, благодаря хлопотам отца Ивана поступивший в рязанскую гимназию и получавший стипендию, Клавдий Воронцов — круглый сирота, племянник отца Ивана, и наш Сергей. Кроме того, сюда частенько приходила молодежь из соседних сел — Кузьминского и Федякина.

На линии села, посеревший от времени, с такою же серой тесовой крышей, немного вросший в землю, окруженный палисадником, заросшим большими кустами сирени и жасмина, стоял второй — основной дом отца Ивана. Рядом с ним — дом дьякона, далее дьячка, а затем крестьянские дома.

За церковью, внизу у склона горы, на которой расположено старое кладбище, стоял высокий бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживающий чуть ли не одну треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Л. И. Кашиной. Имение ее вплотную подходило к церкви и тянулось по линии села.

Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа...», а слова в поэме «Анна Снегина»

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад —

относятся к имению Кашиной.

До 1911 года это имение принадлежало отцу Кашиной — И. П. Кулакову. Это его могила находилась за церковной оградой. Имение было очень красивое, но небогатое и небольшое, хотя владелец его был очень богатым человеком, имевшим свои ночлежные дома в Москве на Хитровом рынке и получавшим от них огромные доходы. Ночлежные дома Кулакова описывает В. А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи».

На опушке леса, на крутом песчаном берегу Старицы, отделяющей луг от леса, стоял еще небольшой хутор, также принадлежавший Кулакову. Этот хутор назывался Яр. Он послужил названием повести Сергея.

После смерти Кулакова принадлежавший ему хутор Яр и леса, протянувшиеся на десятки километров в глубь Мещеры, достались в наследство его сыну, а имение на селе и заливные луга — дочери Л. И. Кашиной.

Белый каменный двухэтажный кашинский дом утопал в зелени. На сравнительно маленьком участке разместились липовые аллеи, фруктовые сады, причем один из них, видимо, был опытным, так как посажен он был в искусственной низине, а со стороны села его защищал высокий земляной вал. Сосны, тополя, березы, дубы, клены, ясени — каких только деревьев здесь не было!

Богатый деревьями, кустарниками, густыми травами, сад привлекал к себе неисчислимое множество пернатых жителей. Летом целыми днями за забором слышалась неугомонная щебетня и посвисты хлопотливых пичуг, а по ночам на все село раздавались истошные крики сов, дикий хохот филинов и искусные соловьиные трели.

Барская часть подгорья была также очень красива. Все горы были засажены деревьями, и всюду росла буйная трава.

Внизу, между четырьмя горами,— пруд, над которым задумчиво склонились березы и ивы. Вода в этом пруду была прозрачна и холодна, так как поступала в него из родников.

Нам, деревенским ребятам, это имение казалось сказочным. Дух захватывало при виде огромных кустов расцветшей сирени или жасмина, окружающих барский дом, дорожек, посыпанных чистым желтым песком, барыни, проходившей в красивом длинном платье, или ее детей в соломенных шляпах с большими полями, резвящихся на этих дорожках.

Но видеть все это удавалось не часто. Высокие ворота и калитка редко открывались, а бревна высокого забора так плотно прилегали друг к другу, что трудно было найти щелочку для глаза. Из мальчишек иногда находился смельчак, который залезал на этот забор, но стоило кому-либо крикнуть: «Кулак, Кулак, лови, лови», как храбрец кубарем скатывался вниз. Лишь одно упоминание имени прежнего владельца имения — Кулакова — оказывало магическое действие еще долгие годы после его смерти.

Приезжая летом в деревню, Сергей бывал в барском доме: он дружил с Л. И. Кашиной. Из барского сада он приносил домой букеты жасмина и сирени.

На противоположной стороне села выстроились в ряд ничем не примечательные, обыкновенные крестьянские

избы, за дворами которых тянулись узкие полоски приусадебных огородов или садов. В числе этих домов, против церкви, стоял и наш дом. Вот в этом селе мы родились и жили, здесь прошли молодые годы Сергея.

Жизнь на селе начинается рано. Летом, задолго до восхода солнца, часа в два-три, в тишине слышится позвякивание ведер. Это бабы отправляются доить коров. Коровы у нас, как только схлынет половодье и можно натянуть канат на паром, переводятся за реку на все лето, до самых морозов. Дождь, непогоду, стужу, жару — все переносят они под открытым небом, а вместе с ними переносят все это и бабы, по два-три раза в день переезжая Оку доить их.

Только недели на две-три коров переводят домой и пасут в поле, которое потом запахивают под озимые хлеба. В это время стоит самая сильная жара и нестерпимо жалит овод. Переводят коров по решению общего собрания крестьян. Но бывало и так, что собрание еще не собирали, а овод не дает коровам никакого житья. Тогда какая-нибудь менее терпеливая корова бросается вплавь, за ней другая, третья, и, смотришь, все стадо переплывает широкую реку. Остаются только самые несмелые, которых потом перевозят на пароме.

Перевозить переплывших коров снова за реку нет смысла — они завтра же переплывут обратно и пастухи их не смогут удержать.

За рекой каждый хозяин для своей коровы городит загон (плетневую клетушку без крыши с маленькой дверкой). В эти клетушки и загоняют коров вечером, а утром, подоив, выпускают на луг. В полдень все стадо подгоняют к реке.

Бабы переезжают доить коров на четырехвесельных лодках-плоскодонках, вмещающих человек по 30 каждая. Переезжать с бабами в лодке интересно. Это устная газета; здесь сообщаются все новости: кто уехал, кто приехал, кто что привез, что купил, кто кого сосватал, кто с кем подрался. Река широкая, и, пока переедут, о многом успевают посудачить.

Рано утром розоватая вода в реке теплая, как парное молоко. Разговоры баб в эту пору особенно гулко разносятся далеко по воде.

Часа через полтора-два, с восходом солнца, возвращаются домой. Но спать уже некогда. Нужно выгнать в стадо овец, накормить свиней, принести воды, истопить печку. Да мало ли у бабы дел по хозяйству.

Истопив печку, будят всю семью завтракать, а позавтра-

кав, все отправляются на работу, в поле. Дома остаются только дряхлые старики да малые дети.

Для бабы полевые работы начинаются с прополки. До этого только картошку посадят, а начиная с прополки полевые работы тянутся как по веревочке одна за другой до глубокой осени.

Лет с шести-семи девочек приучают к работе — носить воду, нянчить детей, мести полы, а с девяти-десяти лет они ходят полоть и жать вместе со взрослыми, копают картошку, привыкают доить коров. Мальчики ездят в ночное или, если лошади в табуне, переезжают за ними вместе с бабами-коровницами за реку. Их дела мужские — на пашне и около лошади, и дел у них меньше, чем у девочек.

С этих же лет приучали к труду детей и в нашей семье. Как-то легко, исподволь мы привыкали к работе. В одиннадцать — двенадцать лет и сестра Катя, и я были уже помощницами матери. Мы умели жать, полоть, доить коров, носили воду, полоскали белье на речке, словом, всюду нас можно было послать в эти годы.

У Сергея все обстояло иначе. В своей автобиографии он пишет, что ездил с мальчишками в ночное поить лошадей на Оку. Но его помощь в работе нужна была, пока он жил у дедушки Титова. Вернувшись домой, он оказался без дела. У нас не было лошади. Единственно, где он мог помогать,— это в лугах на сенокосе. И эту работу Сергей очень любил. Каждый год, приезжая на лето домой, в сенокосное время он целые дни проводил в лугах, помогая косить сначала деду, а когда отец стал заниматься сельским хозяйством, то отцу. Иногда он не приходил домой по неделе, живя вместе с мужиками в шалашах.

Раздольны и изумительно красивы наши заливные луга. Вокруг такая ширь, «такой простор, что не окинешь оком». На горе, как на ладони, видны протянувшиеся по одной линии на многие километры села и деревни. Вдали, как в дымке, синеют леса; воздух чист и прозрачен. В траве, в кустарниках, в синем небе на разные голоса поют, заливаются птицы. Вот торопливо пролетела, часто махая крылышками и беспокойно крякая, испуганная кем-то стая уток; вот выпорхнула из-под ног перепелка и, совсем близко спрятавшись в густой траве, уговаривает нас, что нам «спать пора»; вот любопытные чибисы, издалека завидев нас, допытываются: «Чьи вы?» И хоть мы и кричим им насколько хватает голоса, что мы константиновские, они все равно не отстают от нас и задают один и тот же вопрос: «Чьи вы?»

С весны до глубокой осени нас, ребят, манят к себе своими богатствами луга. Вошла в берега Ока, спали вешние воды, чуть зазеленела трава, и уж мы в лугах. Первое, за чем мы туда бегаем,— щавель. Мальчишки лазят по озерам в поисках утиных яиц. Пройдут две-три недели, подрастет трава, появится скорода, за скородой — купыри, за ними — луговая клубника, растущая на наших лугах в изобилии. Целыми ведрами мы набираем эту нежную, ароматную ягоду, но беда в том, что, когда она вызревает, приходится выдерживать целый бой с перевозчиками. Нас не пускают в луга, не дают нам лодки, так как трава большая, а мы, собирая ягоды, безбожно приминаем ее, и после наших набегов косить трудно. Но переехать мы все-таки умудряемся.

Но вот настала сенокосная пора. Это самая горячая и самая веселая работа. Первыми на сенокос отправляются мужики, переводятся лошади, запряженные в телеги. На телегах покосные домики — шалаши, сундуки с одеждой и продуктами, косы, грабли. Шалаши размером почти все одинаковы: должны поместиться на телеге, но вид их разный. Вот шалаш, плетенный из хвороста и крытый соломой, вот весь тесовый, а вот тесовый, крытый железом. Строят шалаши не на один год, в них приходится ежегодно прожить две-три недели, потому и старается каждый жилье свое сделать лучше.

В течение всего сенокоса мужики и мальчишки живут в лугах в этих шалашах и домой не приезжают. Но бабам приходится ежедневно уходить домой. Нужно приготовить обед на следующий день, убрать скотину, подоить коров. Часто печи топят вечером, так как готовка большая и утром времени не хватит. Ведь в шесть-семь часов нужно снова бежать в луга.

Как правило, в сенокос питаются хорошо. Хлопот хозяйке много. Нужно напечь блинов, драчен, пирогов, наварить хороших щей. К покосу, как к празднику, запасают яйца, сало, творог, покупают мясо или режут своего барана или теленка. Причины усиленного питания две: во-первых, работа тяжелая, во-вторых, обедать приходится на лугу у всех на виду и никому не хочется показать, что он беднее другого. Вот и получается: нагрузит баба полную корзинку — «севалку» еды, перевяжет ее за спину, да еще в руках ведро с молоком или кувшин со щами, и тащит километра три-четыре. Измучается, а отдыхать некогда: нужно разжигать костер, кипятить чайник, варить в котелке кашу-разварушку на завтрак.

Скоро должны вернуться мужики, которые с рассвета косят.

Позавтракав, мужики ложатся отдыхать, а бабы отправляются шевелить и огребать сено.

Часов в двенадцать наступает обеденное время. Поднимаются отдохнувшие мужики, возвращаются с работы бабы. Снова загораются костры на стане, расположенном на берегу одного из многочисленных озер. Каждая семья располагается у своего шалаша обедать.

Но самое веселое — это послеобеденное время. Шутки, смех, песни, пляски, купание молодых. Есть у нас такой обычай — молодоженов, поженившихся в течение года, считая от прошлого сенокоса, купать в озере. С шутками, со смехом подступают к молодой или молодому, хватают их, раскачивают и одетых, в чем они есть, бросают в воду. Барахтанье молодых в илистом заросшем озере вызывает дружный смех, и довольные такой шуткой люди долго не расходятся. Конечно, такое купание неприятно, но обижаться нельзя, таков обычай — купают всех молодоженов, и, предвидя это, они всегда берут с собой запасное платье.

Часа в три-четыре бабы отправляются копнить сено. Приятно посмотреть на баб, рассыпавшихся на лугу в ярких, пестрых нарядах. На сенокос у нас одеваются по-праздничному, особенно молодежь. Раскрасневшиеся, слегка растрепанные, ловко орудуя граблями, складывают они одну копну за другою. Работая у всех на виду, нужно показать себя в работе ухватистой, особенно девкам на выданье. К ним пристально присматриваются будущие свекор или свекровь.

Ни на какой другой работе не проводится короткий отдых так весело, как на сенокосе, и усталь нигде не проходит так быстро. Вспоминая покосное время, люди забывают о том, как ломило от тяжелого труда поясницу, как прилипали к спине рубахи, покрывшиеся от пота солью.

И у Сергея, испытавшего этот труд, остаются в памяти картины яркие и дорогие:

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей,
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей [1].

Все село наше делилось на выти. В каждую выть входило по пятьдесят — шестьдесят дворов, и все полевые и луговые земли делились вначале по вытям, а затем уж по душам.

В сенокосное время каждая выть ставила стан на своих участках, причем участки отводились по жребию.

Луга наши делились на несколько частей, и каждая из них имела свое название: Белоборка, Журавка, Долгое, Первая пожень и другие.

Обычно уборка сена начинается с Первой пожени, расположенной ближе к селу, сразу за косой, которая лежит поперек луга от самой реки до Старицы и отделяет покосные луга от Заречья, где пасется скот до сенокоса. Окончив уборку здесь, вся выть перебирается на другой, более дальний участок. На новом месте устанавливаются шалаши — удлиняется бабья дорога.

Для уборки сена крестьяне объединяются по два-три двора. Лошадные принимают в пай безлошадных, но они должны за лошадь предоставить людскую рабочую силу или доплатить деньгами. Объединение это вызвано тем, что ни у одного хозяина с одного участка не наберется сена столько, чтобы можно было сметать стог, а стога у нас мечут большие. Вся выть мечет стога в одном месте и сообща огораживает их жердями от скота, который после сенокоса будет пастись здесь.

Причудлив вид с горы на покосные луга в сумерки. Разбросанные то тут, то там покосные станы походят на цыганские таборы. Мерцают вдали огоньки многочисленных костров, и в тихую погоду дым от них, расстилаясь по всему лугу, голубой вуалью окутывает копны, которые издали кажутся шапками огромного войска, а стоящий вдали лес, застланный снизу дымом, как будто плывет по воздушному морю.

Бескрайне широки и поля наши. Всюду, куда ни глянешь, граничат поля с горизонтом, и, кажется, не обойти, не измерить их, не счесть богатств, которые соберутся с них. Но густо заселен наш край. В редкой деревне насчитывается менее сотни дворов, а в больших селах, как Федякино, наше Константиново или Кузьминское, их по шестьсот — семьсот. В каждом таком селе живет около двух тысяч человек. И режутся эти поля на узкие полоски, как в бедной многочисленной семье режут праздничный пирог.

Земля на полях не одинакова по своему плодородию, поэтому каждое поле делится на три-четыре части, и в каж-

дой из них семья получает свою «долю». Доли эти так малы, что измеряются ступней или лаптем.

Из-за недостатка земли и малоурожайности суглинистой почвы крестьяне наши, чтобы прокормить семью, вынуждены были искать дополнительных заработков. Каждое село в большинстве своем занималось одним ремеслом. Так, в Сельцах портняжничали, и селецкие портные обшивали всю округу; в Шехмине, расположенном в лесу, плели кошелки и лапти; старолетовские, живущие около железнодорожной станции, занимались извозом, и не только при своей станции, многие уезжали на заработки в Москву, в Рязань и другие города. Кузьминские мужики плотничали, наши, константиновские, шли больше по торговой части в Москву, Петербург, устраиваясь чуть не с детских лет в «мальчики» в пекарнях, в магазинах, в трактирах. Некоторые девушки также уезжали в города, поступали в домашние прислуги, другие уходили с весны до поздней осени на торфяные разработки, где зарабатывали себе деньги на приданое и получали злую придачу — малярию и ревматизм.

Крестьяне, не имевшие приработков со стороны, находили их в селе. Мужики обзаводились лошадьми и нанимались пахать к безлошадным, возили и продавали дрова.

Женщины нанимались на сенокос, жать, полоть, доить коров. Чаще на эти работы шли вдовы. Жизнь многодетных вдов и одиноких стариков была очень тяжелой. За обработку земли, покоса заплатить нечем, приходилось отдавать за это половину земельных и покосных наделов лошадным. Собранного хлеба с оставшейся половины надела хватало только до рождества, и многие вынуждены были просить подаяния. Так обманчивы были приволье и ширь наших полей. Все они измерены русским лаптем, пропитаны соленым крестьянским потом.

Вот здесь, на этих просторах, протекало детство Сергея. На этих лугах, в зарослях озер босоногим мальчиком он вылавливал утиные выводки, здесь «рвал цветы, валялся на траве». Эти места имел он в виду, когда писал строки: «Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий».

С ранних детских лет наша мать приучала нас к труду, но не заставляла, не неволила и к неумению нашему относилась очень терпеливо.

Помню, как она приучала меня полоть картошку. Уходя на огород, она не звала меня с собой. Через час-другой

я сама прибегала и вертелась около нее. Вот тут-то она и скажет: «А ты рви травку, рви. Видишь, вот это картошка. Ее нужно оставлять, а травку рвать, а то она не дает никакого хода картошке».

И невольно принимаешься за работу: идешь в бой с врагом. За вырванную случайно картофельную плеть мать никогда не ругала, а спокойно говорила: «Ну что ж, бывает».

Если идешь с ней копать картошку, то она копает, а я выбираю. Пока копошусь в земле, отыскивая картофелины, она терпеливо стоит и ждет и укажет, где еще нужно искать.

Помню, как приучала ходить за водой; из консервных банок из-под сгущенного молока она сделала мне ведра, выстругала сама маленькое коромысло. И я была горда и довольна тем, что тоже хожу за водой. Но с непривычки «ведра» качались из стороны в сторону, и вода выплескивалась из них чуть не до половины, а принесешь домой хоть кружку воды, мать и за это похвалит: «Вот умница».

Когда мне было одиннадцать лет, мать научила меня доить корову. Мне очень нравилось доить коров, ездить с бабами за реку в лодках. Утром и вечером Ока так красива. Податлив характер Оки. Она настолько подчинена окружающему, что даже цвета своего не имеет, а отражает в себе, как в зеркале, все цвета неба и берегов.

Хорошо летом часа в два-три выйти на высокий берег ее. Часами здесь можно просидеть, смотря вдаль. Тишина. Лишь слышится гул комаров, толкущихся над головой, и однообразная трескотня кузнечиков, пристроившихся в зарослях крапивы. Слышен негромкий разговор баб, спускающихся с соседних гор, стук и всплеск весел отплывающей лодки.

Не гаснут летние зори. На далеком горизонте «заря окликает другую». Еще горит вечерняя, продвинувшись на север, а, подойдя вплотную к ней, уже загорается утренняя. Темной стальной полосой течет внизу спокойная река. Направо вдали мерцают огоньки Кузьминского шлюза и слышится слабый шум падающей воды.

Еще темно, неясны дали, и о приближении утра можно догадаться лишь по соединившимся зорям да по прохладному легкому предутреннему ветерку. Но пройдет час-полтора, подоив коров, возвращаешься на это же место и видишь другую картину. На ярко-розовом фоне востока темнеют контуры леса, в сизой дымке луга, заблестели озера. Солнце

еще не взошло, но его золотые лучи веером пробились из-за леса. На розоватой речной глади серебрится чуть заметная рябь. Под ногами в траве перламутром играют капельки росы.

С первыми лучами пробуждается все живое. В садах, едва проснувшись, на разные голоса запели отдохнувшие за ночь птицы. Нестройным хором закукарекали на селе петухи, поодиночке, изредка галдя, пролетают в луга грачи. Баба, вернувшись от коров, уже торопится, бежит за водой; из-за реки мужики тянут паром с лошадьми. Тихое бодрое утро каждый встречает по-своему.

В такое тихое утро река течет спокойно, неторопливо, и зеркальная поверхность ее играет всеми утренними красками. Но бывает она и другой. В ненастные дни озорной, разгулявшийся ветер шумит по деревьям, качает из стороны в сторону гибкий хворост, в косе гнет почти до земли луговую траву и с разбойным свистом налетает на широкую реку. Потревоженная, посеревшая от низко нависших туч, она покрывается огромными волнами с белыми гребнями. В такую погоду переехать через нее трудно даже на пароме. Разгневанная, она не раз обрывала толстый пеньковый канат, и если не успевали поймать и удержать один из его оборванных концов, то паром уносило далеко от перевоза и прибить его к берегу удавалось уже в Волхоне или в Кузьминском.

А к зиме, когда уберут щиты Кузьминского шлюза, река становится уже и мельче, спокойно дает морозу заковать себя толстым синеватым льдом, оставляя лишь редкие полыньи.

По ровному заснеженному льду пройдут первые разведчики — пешеходы, за ними неторопливо проедут первые розвальни, и, смотришь, уже проложена прямая, как стрела, дорога в луга и лес, прорублены конурки, из которых берут воду, и прорубь, где бабы полощут белье. Вдоль дороги, поперек реки и в лугах расставлены соломенные вешки на случай непогоды. Раздольно здесь буйному ветру. Кажется, со всего света он собрал сюда снег и крутит и вертит его, охапками сбрасывает с высоких крутых гор, сплошной стеной гонит по опустевшим лугам, вдоль реки, заметая проруби, полыньи и дороги.

Заметает пурга
Белый путь.
Хочет в мягких снегах
Потонуть.

Ветер резвый уснул
На пути;—
Ни проехать в лесу,
Ни пройти...

Но пройдут и эти суровые дни. Солнце начнет пригревать все сильней и сильней, побегут к реке «с гор потоки день и ночь», становясь все говорливее и быстрее; взломаются окрайки, вздуется лед на реке, потемнеет и со страшным грохотом расколется на части. Тогда многие идут на высокий берег смотреть, как лед идет.

Необъятно широка Ока во время разлива. Уйдут под воду обрывистые, с тысячами ласточкиных гнезд берега ее, сольются многочисленные озера, разбросанные по лугам, исчезнут крутые речные повороты и Старица вместе с кустарниками, растущими по берегам ее. Все сольется в одно бескрайнее море. Лишь где-то далеко, за много километров, чернеет лес, вырисовываясь на чистом небосклоне острыми пиками елей.

Шумит река, крутит воронками мутную воду, вертит, как легкие щепки, огромные льдины, сталкивая их друг с другом и с треском кроша одна о другую.

Радуется наш народ большому половодью. Помимо захватывающей красоты, большая вода несет буйный рост луговых трав.

Лед, движущийся вначале сплошным полотном, с каждым днем и часом становится мельче, подвижнее и реже. Через несколько дней вода очистится от него, станет спокойнее и медленно начнет спадать, как будто нехотя освобождая от своего плена кустарники, возвышенности и до краев заполненные озера.

Скоро вновь здесь зазеленеет обмытая трава, замычат обрадованные простором коровы, зазвенят, как колокольчики, птичьи голоса, и снова с сумками под кислый щавель появится босоногая детвора.

Я родилась в 1911 году. Я не помню своих бабушек, из которых одна, по отцу, бабушка Груша, умерла еще до моего рождения, в 1908 году, а вторая, по матери, бабушка Наталья,— когда меня качали в люльке. Дедушка Никита умер рано, когда нашему отцу было двенадцать лет, и о нем мы, дети, знали только по рассказам отца. Дедушка Федор, отец нашей матери, умер в 1927 году, пережив Сергея почти на два года. Об этих семьях я могу рассказать только то, что слышала от старших.

Дедушка наш, Никита Осипович Есенин, был человеком набожным и в молодости готовился уйти в монастырь, за что и получил прозвище «Монах». Это прозвище перешло на все его потомство да так и осталось за нашей семьей. До самой смерти Сергея нас почти не называли по фамилии, мы все были Монашкины. Да и теперь, когда в нашем селе стало много Есениных, объясняя, из каких мы Есениных, говорят: «Это тетки Тани Монашкиной».

Прожив холостым до двадцати восьми лет и так и не собравшись уйти в монастырь, дедушка женился на шестнадцатилетней девушке.

После женитьбы дедушка отделился от своих родных и в 1871 году купил небольшой приусадебный участок земли без огорода против церкви. Приобрести огород он не смог до самой своей смерти, и его прикупал уже наш отец.

Покупая усадьбу, дедушка наш одновременно составил завещание: «В случае моей, Есенина, смерти, то все устроенное на оной усадьбе строение с находящимся в оном имуществом должно поступить в вечное и потомственное владение жены моей Аграфены Панкратьевой и наследникам моим по конец...»

Последним наследником усадьбы дедушки Никиты.стал Сергей. С открытием в нашем доме мемориального музея за ним «по конец» и осталась эта усадьба, расположенная на одном из красивейших мест села.

На приобретенном участке дедушка выстроил двухэтажный дом, верх которого был жилым помещением, а низ складским, так как даже амбара дедушке поставить было негде. Этот дом простоял примерно до 1909—1910 года. Затем за ветхостью его сломали, а на его месте выстроили новый. Из нашей семьи в старом доме родились отец, Сергей и моя сестра Катя.

Прожил дедушка Никита недолго, оставив бабушку с кучей маленьких детей, из которых старшей девочке было четырнадцать, нашему отцу двенадцать лет. И еще двое ребят были моложе нашего отца.

Растить такую ораву ребятишек без мужа бабушке было трудно, поэтому, когда нашему отцу исполнилось тринадцать лет и он окончил трехклассную сельскую школу, бабушка через знакомых определила его в «мальчики» в один из московских магазинов. Затем и его младшего брата Ивана она вынуждена была отправить на заработки.

Но помощи от них бабушка не имела, так как «мальчикам» жалованья не платили и работали они только за хлеб и одежду. Чтобы прокормиться с остальными детьми,

бабушке пришлось пускать к себе на квартиру живописцев, каменщиков, маляров, которые работали в это время в церкви и часовне, стоявшей против церкви среди села, наискосок от нашего дома.

Через три-четыре года бабушке было уже легче. Подросшие сыновья стали высылать ей свое небольшое жалованье, а те, что остались дома, помогали ей в работе.

Наши родители поженились очень рано, когда нашему отцу было восемнадцать, а матери шестнадцать с половиной лет.

Сыграв свадьбу, отец вернулся в Москву, а мать осталась в доме свекрови. С первых же дней они невзлюбили друг друга, и сразу же начались неприятности. Полной хозяйкой была бабушка. В доме ее по-прежнему жили постояльцы, их было много, и для них нужно было готовить, стирать, носить воду, за всеми убирать. Много работы легло на плечи матери, а в награду она получала ворчание и косые взгляды свекрови. По-прежнему наш отец высылал свое жалованье бабушке.

Вскоре положение еще более осложнилось: женился второй сын бабушки, Иван. Его жена Софья сумела поладить со свекровью и была ее любимицей.

Вспоминая свою жизнь в эти годы в доме Есениных, мать рассказывала о том, как бабушка иногда даже молока не давала ее детям, и мать, чтобы купить молоко, продавала вещи из своего приданого.

Так продолжалось около восьми лет. За это время у нашей матери родилось двое детей, одним из которых был Сергей. Но первый ребенок прожил недолго и умер. Когда Сергею было около четырех лет, забрав его, наша мать вернулась в родительский дом.

На другом конце села, носящего название Матово, жил наш дедушка по матери Федор Андреевич Титов. Он был умный, общительный и довольно зажиточный человек. В молодости он каждое лето уезжал на заработки в Питер, где нанимался на баржи возить дрова. Проработав несколько лет на чужих баржах, он приобрел в конце концов свои и стал получать от них приличный доход.

Семья у дедушки была довольно большая: жена — наша бабушка Наталья, дочь Татьяна — наша мать и три сына — наши дяди: дядя Ваня, дядя Саша и дядя Петр.

Дедушка наш был человеком с большим размахом, любил повеселиться и погулять. Возвращаясь из Питера, он устраивал гулянье на несколько дней. Ведрами выставлялось вино — пей сколько хочешь и кто хочет. И пьет

и гуляет чуть не все село. Игра на гармонях, песни, пляски, смех не смолкали иной раз по неделе. Но потом, когда отгуляет, дедушка начинал подсчитывать каждую копейку и, по словам нашей матери, ворчать, что «много соли съели, много спичек сожгли».

Наша мать была единственной девочкой в доме Титовых и поэтому была любимицей. Она была стройна, красива, лучшая песенница на селе, играла на гармони, умела организовать веселую игру. Вообще в доме Титовых молодежь жила весело, и сам дедушка поощрял это веселье. Мать рассказывала, что одних гармоний у них стояло несколько корзин (гармони тогда были маленькие — «черепашки»).

Совершенно иной жизнью в своей семье жила бабушка Наталья. Она была человеком тихим, кротким, добрым и ласковым. Была она набожна и любила ходить по церквам и монастырям. Часто она брала с собой и Сергея.

В одной из своих автобиографий Сергей писал: «Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастья даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого.

К тому времени, когда в эту семью вернулась наша мать, женились дядя Ваня и дядя Саша и у дяди Саши уже были дети. Чтобы не быть обузой, мать оставила Сергея дедушке, а сама ушла на заработки. В это время дедушка наш был уже разорен. Две его баржи сгорели, а другие затонули, и все они были не застрахованными. Теперь дедушка занимался только сельским хозяйством.

Неграмотная, беспаспортная, не имея специальности, мать устраивалась то прислугой в Рязани, то работницей на кондитерской фабрике в Москве. Но несмотря на трудную жизнь, на маленький заработок, из которого она выплачивала по три рубля в месяц дедушке за Сергея, она все время просила у нашего отца развод. Любя нашу мать и считая развод позором, отец развода ей не дал, и, промучившись пять лет, мать вынуждена была вернуться к нему. Через год у матери народилась моя сестра Катя.

Когда вернулась наша мать в дом Есениных, семья разделилась. Бабушка Груша осталась с нашим отцом, и дом достался им, а дядя Ваня со своей семьей выстроил себе новый дом на другой усадьбе.

Мое появление на свет было не особенно обременительным, так как из всех моих старших братьев и сестер осталось в живых только двое — старший пятнадцатилетний Сергей и пятилетняя Катя.

Матери нашей, когда я родилась, было тридцать шесть лет. Жила она дома только с Катей, отец работал мясником в Москве, а Сергей учился в спас-клепиковской школе.

Из своего детства я помню лишь отдельные эпизоды, примерно лет с четырех. В эти годы меня прозвали «купчихой». Прозвище это я получила из-за пальто. Мать наша, приезжая к отцу в гости, часто стирала белье, мыла полы, прибирала в доме у хозяйки. В уплату за труды ей часто давали всякие детские обноски, и так как купеческие дети были постарше меня, то эти обноски шли мне. Среди таких обносков было почти совсем новое зимнее пальтишко. Я до сих пор очень хорошо его помню: синее, расклешенное, на шерстяной вате и на чудесной шерстяной подкладке в клетку. В этом пальто я ходила за французскими булками, которые выпекал наш односельчанин дядя Илья. В этом пальто, в новых валеночках, с румяными булками в руках я действительно походила на купчиху.

Я рано научилась петь. Я пела все, что пела наша мать, а она во время любой работы пела часто, и песни ее были разнообразные. Это были и русские народные песни, и романсы, а в предпраздничные вечера и праздничным утром она пела молитвы из церковной службы. Она, как и бабушка, много ходила по церквам и монастырям и все службы знала наизусть.

Может быть, я не запомнила бы, что я рано научилась петь, но в моей памяти сохранился отцовский смех, когда однажды, приехав домой в отпуск, он услышал, как я, играя на печке в куклы, распевала совершенно правильно: «Бродяга, судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах...» А мне в это время было четыре-пять лет.

Очень ясно запомнился мне приезд Сергея в 1915 году. Он приехал с одним из своих товарищей, имя которого показалось мне необыкновенным — Леонид. Я никак не могла решиться выговорить это имя и называла его «Эй, ты». Мать делала мне замечания, смеялся Сергей, улыбался Леонид, а я старалась не обращаться к нему, а когда мама посылала меня позвать его к обеду или еще зачем, я снова называла его «Эй, ты» и старалась убежать и спрятаться.

В этот приезд свой Сергей привез мне огромный разноцветный мяч в сетке, а Кате много ярких разноцветных

шелковых лент и бусы. Я была обрадована этими подарками. Я видела шелковые ленты и раньше, но в основном красные да по одной штуке, а тут их было не меньше десятка, и все разных цветов. Видела я кое у кого из ребят и мячи, но то были черные, «араповые», маленькие, а вот такого большого, красивого, покрытого лаком, не было ни у кого. И когда я появилась с ним на улице, вся соседская детвора окружила меня и кто-то попросил поиграть. Но где там поиграть! Я сама-то не решалась вынуть его из сетки.

Вышли из дому Сергей и Леонид. Сергей, улыбаясь, предлагает: «Давай поиграем». Я отдаю ему мяч и с ужасом смотрю, как он бросает его высоко-высоко. Мяч становится маленьким и каким-то темным, летит все выше и выше, и я боюсь, что он не вернется. Потом на какое-то мгновение мяч как будто повисает в вышине, затем начинает опускаться. С замиранием сердца я жду его возвращения. Вот мяч совсем уже близко, но, ударившись со звоном о землю, он снова подпрыгивает и так несколько раз, с каждым разом делая прыжки все ниже и ниже. Наконец он покатился по земле, я с радостью хватаю его и проверяю: не разбился ли. Убедившись, что мяч целый, я потихоньку, осторожно начинаю играть им.

Целыми днями я не расставалась с мячом, однако счастье мое продолжалось недолго. Дня через три я играла в мяч около крыльца. Выскользнув из моих рук, мяч закатился под крыльцо. Я полезла за ним и, уже вылезая обратно, проткнула его торчащим из доски гвоздем. Мяч сильно зашипел, и вместо него в руках у меня осталась какая-то круглая чаша.

В это время Сергей возвращался от Поповых и, увидев меня удивленную и растерявшуюся, громко расхохотался. Я настолько была потрясена случившимся, что, видимо, нельзя было удержаться от смеха. А потом, когда я расплакалась от горя, Сергей стал уговаривать меня, что поедет в Москву и пришлет мне такой же мяч. Но второго мяча я так и не получила. Скоро я успокоилась и забыла о нем, и Сергей, вероятно, тоже забыл о своем обещании.

Делая нам подарки, Сергей всегда равнял нас с сестрой, и благодаря его подаркам мы часто имели такие вещи, каких не было ни у кого из наших сверстников.

Я помню, как-то он привез нам с Катей по платью: Кате розовое из крепа с затейливой каймой, а мне из белого зефира с кружевной кокеткой и с большим голубым шелковым поясом, который завязывался бантом. Привозил он нам

сандалии, чулки в резиночку, которых в деревне тогда не было: все носили тряпичные тапочки кустарной работы и чулки своей вязки.

Помню приезд Сергея в мае — июне 1917 года. Была тихая теплая лунная ночь. Дома на селе, освещенные полной луной, казались какими-то обновленными, а на белой церковной колокольне четко отпечатались густые узорные тени от ветвей берез. Все спали. Не было видно ни одного освещенного окна, а мы еще сидели за самоваром. Напившись чаю, Сергей вышел погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала наша керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с другой — луна. В барском саду громко пел соловей. В ночной тишине казалось, он совсем рядом. Захваченный чудесной песней, Сергей стал ему подсвистывать. Эта картина мне хорошо запомнилась.

Я росла довольно тихим и бесхитростным ребенком. Сверстницы мои часто меня обманывали, выманивая у меня игрушки, сладости, и часто били: я совершенно не умела защищаться. После очередной взбучки я с ревом бежала домой, а мать отправлялась ругать обидчицу. За это мне попадало еще больше. В том, что я не могла постоять за себя, была доля вины матери. С ранних лет она твердила мне, что драться нельзя, что я должна быть послушной, вежливой, а я с моим податливым характером боялась ослушаться ее.

Очень любила я играть в куклы. Мы делали их сами.

Были у нас они без рук, без ног, вместо лица просто белая тряпица, а мужчины от женщин отличались лишь цветом одежды да тем, что голову женщин покрывали платком и сзади на голове делали прическу — «пук».

Чаще в куклы играли зимой и осенью. Летом нас занимали другие игры на улице, где действующими лицами были мы сами. Из палочек, вбитых в землю, мы городили себе по нескольку комнат с коридорами, с дверями и окнами. Были у нас коровы — кирпичи, и мы их доили: терли один кирпич о другой, и кирпичный порошок был у нас молоком. Покупали селедки — листья от ветел, из глины пекли пирожки.

Летом же играли в лапту, в «кулички» (прятки), в «чикалки» (классики), качались на релях (качелях). После дождей с удовольствием бегали вдоль села по лужам, изображая пароходы.

Но играла я недолго. В 1918 году, когда мне исполнилось семь лет, меня отдали в школу. Я полюбила книги,

и уже не хватало времени на игру. Спать зимой мы ложились часов в семь-восемь, так как керосина не было, по вечерам горели коптилки, а с коптилкой долго не просидишь.

Небольшая деревянная школа стояла среди села недалеко от нашего дома. Она была разделена на две половины: одну половину занимали учителя — Иван Матвеевич и Лидия Ивановна Власовы, муж и жена, во второй половине размещались друг против друга два класса — маленький и большой. В большом обычно занимались первый и третий классы вместе, в маленьком занимались второй и четвертый. После революции учились в две смены. Переоборудовали под класс помещение, которое раньше было учительской кухней.

В 1904 году, когда Сергею исполнилось 9 лет, он начал учиться в этой школе. Учился он хорошо, но за шалости в третьем классе был оставлен на второй год. Окончил он школу в 1909 году и за отличную успеваемость был награжден похвальным листом. Этот похвальный лист много лет висел у нас на стене в застекленной раме.

В этой же школе, у тех же учителей училась и Катя, в нее же теперь пришла и я.

Первый год я училась у тех же учителей, которые учили Сергея и Катю: у Ивана Матвеевича и Лидии Ивановны, которые учительствовали в нашей школе более тридцати лет, но учиться у отца Ивана мне уже не пришлось, так как закон божий, который он преподавал, был отменен.

Иван Матвеевич был очень строгим учителем и суровым человеком. В классе у него была тишина, и за малейшую провинность он драл учеников за уши, ставил в угол на колени. Ученики его боялись, но любили. У него не было дружбы с ними, и смотрел он на всех свысока. Вообще от людей он держался в стороне. Среднего роста, брюнет, с небольшими усами и клинышком бородкой, он всегда был опрятно одет в черный костюм и сорочку с галстуком. Со всеми держался надменно, и я не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался. Здоровался с людьми он еле заметным кивком головы с недовольным видом, при ходьбе туловище держал прямо, «как аршин проглотил», и смотрел только вперед. Ходил он всегда медленно, важно и как-то странно: наступит на одну ногу, немножко попрыгает на ней, потом уж наступит на вторую.

Лидия Ивановна была тоже строга. Тоже наказывала больно, отдерет, бывало, за ухо или ударит линейкой по затылку. Она была вспыльчива, но отходчива. Держала она

себя тоже с важностью, но все-таки со всеми была значительно проще, чем Иван Матвеевич.

В годы гражданской войны к нам в село привезли детей-сирот и в барском доме открыли детский дом. Ивана Матвеевича и Лидию Ивановну направили туда работать, а к нам прислали других учителей.

Мне и моим сверстникам довелось учиться в самые тяжелые для нашей страны годы, когда разрушалось старое и еще не было опыта и возможностей наладить новое. Преподавателей не хватало. Вместо опытных педагогов к нам стали присылать совсем юных, только что окончивших, а то и не окончивших семь-восемь классов, совершенно не знавших ни жизни, ни методов преподавания.

Не имея программы, учителя учили нас тому, что лучше знали сами.

Современным ученикам трудно себе представить, как можно учиться без учебника или тетради, а мы писали на бумаге, кто какую сумеет достать, вплоть до газеты. Вместо чернил писали свекольным соком, а промокашкой нам служил чистый песок с Оки.

Революционных событий в деревне я не помню, так как Советская власть пришла к нам без боев и выстрелов. Помню только, как разгородили барское подгорье и все, кто ходил на перевоз по нашей горе, стали ходить теперь новой дорогой. Она была длиннее, но привлекала людей тем, что была более красивой и после векового запрета теперь была открыта для всех.

Помню наступивший голод. Страшное время. Хлеб пекли с мякиной, лузгой, щавелем, крапивой, лебедой. Не было соли, спичек, мыла, а об остальном уж и думать не приходилось.

К довершению бед зимой вспыхнула эпидемия сыпного тифа, пробравшегося почти в каждый дом и скашивающего иногда целые семьи. Скот болел сибирской язвой, а от скота иногда заражались люди.

В это тяжелое время еще не был налажен порядок в селе. Неустойчиво было административное управление. То нас приписывали к Кузьминской волости, то организовывалась новая — Федякинская, и мы были Федякинской волости.

К власти наряду с честными людьми пролезли «лабути», имеющие длинные руки. Жилось этим людям совсем неплохо.

Одного из таких «работников» судили всей волостью самосудом и приговорили к замурованию в каменный

столб. Гневен русский народ, но и отходчив. Услышав крики жены и инвалида-дочери осужденного, его помиловали, а через короткий срок он снова работал в волости.

С приездом молодых учителей, при помощи сельской революционно настроенной молодежи на селе широко развернулась художественная самодеятельность. Главными организаторами самодеятельности были: Клавдий Воронцов, учительствовавший в то время в нашей школе, С. Н. Соколов и наш односельчанин Ф. А. Райский (Гришин), который был сверстником Сергея, вместе с ним окончил сельскую школу, а затем вплоть до революции колесил где-то по России, играя второстепенные роли в бродячих провинциальных театрах.

Вернувшись домой, Райский привез с собой жену, начинающую актрису, хрупкую, похожую на птичку. Рядом с ним, рано облысевшим, некрасивым, она выглядела ребенком. Оба, не приспособленные к крестьянской работе, не привыкшие к тихой однообразной жизни, они с радостью принялись за организацию самодеятельной труппы. И сельская молодежь приняла горячее участие в этом новом деле.

Сначала спектакли ставили в барской конюшне, затем в школе, а после закрытия детского дома был открыт клуб в барском доме. Я не помню всех пьес, которые игрались этой труппой, но помню, что ставили «Лес» Островского, где Аркашу играл Райский, и эта роль ему очень подходила, «Мертвые души» Гоголя, было инсценировано стихотворение Некрасова «В деревне».

Активное участие в постановке спектаклей принимала моя сестра Катя. В «Мертвых душах» она играла Коробочку, в стихотворении «В деревне» — мать погибшего охотника. В это время Катя училась в Кузьминском, где была открыта школа-семилетка.

Я хорошо помню, как эта тринадцатилетняя «мамаша», сидя у топившейся лежанки с книгой в руках, разучивала роль и плачущим голосом произносила:

Умер, Касьяновна, умер, сердешная,
Умер, и в землю зарыт!

Были организованы кружки: художественного чтения, струнный, хоровой, и иногда вместо спектаклей устраивались самодеятельные концерты. В 1922—1923 годах в кружке художественного чтения участвовала и я. На одном из концертов я читала стихи Сергея «Поет зима — аукает» и «Товарищ».

Много, очень много труда было вложено участниками, а главным образом организаторами самодеятельности, в это прекрасное дело. Это было начало ознакомления крестьян с культурой. На эти спектакли, концерты, пусть слабые и, может быть, наивные, потянулись жители села. В переполненном зале, в духоте, мокрые от пота, так как раздеться было негде и сидели все в шубах (представления давались в основном зимой), люди с жадностью следили за действием на сцене и не расходились до его окончания.

Этим же коллективом самодеятельности в школе у нас, кажется, впервые за время ее существования, в 1919 году была организована для учащихся елка.

Высокая, почти до потолка, украшенная множеством блестящих стеклянных и цветных картонных игрушек, опутанная серебряной мишурой, освещенная разноцветными свечами, она казалась нам сказочной.

На этой же елке нам впервые показали и туманные картины. Правда, теперь без смеха нельзя вспомнить, что нам показали цветные портреты царской семьи. На голубом каком-то светящемся фоне стояли царь, царица, царские сын и дочери. И все это в 1919 году!

Но это одна сторона нашей жизни в те годы. Рядом с новой жизнью еще легко уживалась и другая, старая.

В вечернем сумраке раздается первый неторопливый удар колокола. Ровно, торжественно уходит звук его все дальше и дальше... С шумом и криком поднимаются в воздух сотни напуганных грачей и галок, гнездящихся под церковной крышей, в дуплах лип аллеи бывшего барского сада, на деревьях, стоящих вблизи от церкви. Когда потонул вдали звук первого удара, тогда раздается второй, за ним, с таким же интервалом, третий, и затем уже звучат более частые удары. Это предпраздничный вечер. Колокол сзывает народ ко всенощной. К этому времени все стараются закончить свои работы. Уставшие за неделю люди рады тому, что работать «грех». У всенощной в простую субботу народу немного — старики, которые идут по привычке, на всякий случай, «может, пригодится», девчата, которым в субботний вечер делать нечего, и детвора, которую выпроваживают из дому родители.

Как и в старину, отмечали большие праздники, посты, на святки гадали, ходили по монастырям.

В церкви нашей две половины, соединяющиеся большой, высокой аркой. В каждой половине по алтарю, так как у нас два престола — основной Казанской божьей матери,

в честь которой в XVIII веке была построена церковь, и второй — великомученицы Софии, выстроенный позже. В праздники служба происходит в алтаре Казанской, в будние дни — в алтаре Софии-мученицы.

Очень удачна архитектура нашей церкви, в ней много света, и она очень уютна. На стенах изображения святых нарисованы светлыми, яркими красками. На потолках первого и второго отделения изображено звездное небо. Висят огромные позолоченные паникадила с лампадами, ярко освещавшими церковь во время всенощных. Лица святых на иконах были изображены добрыми, приветливыми, а лепные позолоченные украшения стен алтарей были похожи на сказочные дворцы. В первой половине молились обычно почтенные мужики, во второй — все прочие. Направо у входа — церковный ящик-бюро, где церковный староста продает свечи, налево — в самом темном углу — места девок. Нет, не молиться сюда они приходили, и не для этого угла происходила церковная служба. Сначала, когда девок немного, слышится осторожный шепот. По мере прибавления их шепот нарастает, а к середине службы уже стоит гул, как в пчельнике. Частенько церковный сторож становится позади девичьих рядов, подкарауливая неосторожных шептуний, и, выследив, награждает громким подзатыльником. Был у него и другой метод угомонить разболтавшихся девок, подойдя к их рядам, он начинал стыдить их:

— Эх вы, бессовестные тараторки. Вы зачем сюда пришли? Как вам не стыдно, ведь вы не на базаре.

Голос его гораздо громче батюшкиного гулко разносится по всей церкви. Девки смолкают, но через несколько минут шепот снова нарастает.

Девчонки-подростки подкрадываются одна к другой, дергают за косы, стаскивают с головы друг у друга платки, а когда очень надоедает стоять в церкви, выходят на паперть или в сени. Тут уж совсем весело, разговаривай сколько тебе угодно. Здесь место веселых сборищ подростков. Шутки, смех, возня.

Еще более вольно вели себя мальчишки в церкви. А летом во время обедни за церковью на кладбище они играли в бабки. Так же «молился» и Сергей. В одной из своих автобиографий он писал: «В бога верил мало. В церковь ходить не любил. Дома это знали и, чтобы проверить меня, давали 4 копейки на просфору, которую я должен был носить в алтарь священнику на ритуал вынимания частей. Священник делал на просфоре 3 надреза и брал за

это 2 копейки. Потом я научился делать эту процедуру сам перочинным ножом, а 2 коп. клал в карман и шел играть на кладбище к мальчишкам, играть в бабки».

Каждый большой праздник вносил в сельскую жизнь какое-то разнообразие.

Пасха. Перезванивают все колокола. Некоторые мужики и ребята были просто виртуозами колокольного перезвона. Они на колоколах наигрывали определенные мотивы. Всю неделю целыми днями, почти не умолкая, звонили колокола, и, когда под вечер кончался перезвон на колокольне, до самого сна он стоял в ушах.

На пасху всю неделю катали яйца. Целые дни проводили любители за этой незатейливой игрой. Если пасха была ранняя и из-за снега или грязи нельзя было катать их на улице, то катали у кого-нибудь в риге на току. Ходили в гости друг к другу родственники, христосовались и обменивались крашеными яйцами. Ребятишкам, особенно крестникам, полагалось дарить яйцо.

Следующее воскресенье после пасхи — красная горка. В этот день венчали молодых. Иногда бывало по нескольку свадеб, так как перед красной горкой весь пост и пасху свадьбы не разрешались. Любопытных посмотреть на венчанье очень много. Обсуждали наряды невест, следили за тем, кто первый из молодых встанет на коврик, постеленный под ноги им, так как существовала примета — кто первый встанет на него, тот и будет иметь верх в семейной жизни.

Через семь недель после пасхи — троица. Это, пожалуй, самый красивый праздник — праздник весны. К троице перед каждым домом подметались улицы, и молодая зеленая трава становилась как будто еще зеленее. Оконные наличники и двери домов украшались березовыми ветвями, в церковь ходили с букетами цветов, на которые во время какой-то молитвы полагалось плакать, девушки одевали белые или светлые платья. И хотя многие из нас, молящихся, не знали происхождения и значения этого праздника, все равно готовились к нему. Накануне ватагами отправлялись за ландышами на «пасеку» (большой, заросший кустарником овраг, отделяющий территорию подгорья нашего села от федякинского), нарубали березовые ветви. Село в этот день, особенно утром, когда еще не поникли и не засохли березовые ветви, казалось умытым и нарядным. Под впечатлением этого праздника Сергей написал стихотворение «Троицыно утро, утренний канон...».

8 июля старого стиля шумно праздновался праздник Казанской божьей матери. Но Софьин день — второй престольный праздник нашего села — был веселее, так как праздновался он 30 сентября. Скорее это был праздник окончания полевых работ. К этому празднику к нам в село привозили карусель, и молодежь с песнями, плясками под гармошку проводила здесь свое время в течение нескольких дней. Бойко шла торговля арбузами, которые привозили к нам только к этому празднику. Продавались они кусками, так как цена была высока и покупать целыми не было охотников. В эти дни был большой спрос на семечки. Почти у каждой девушки в руках был узелок с семечками, и вся площадь вокруг карусели была ими заплевана.

По-прежнему праздновалось рождество, на святки, как и в старину, гадали, на крещение ходили на реку, где святили в иордани воду, отмечался великий пост.

До начала 20-х годов ходили по монастырям. Правда, в эти годы мало кто ходил далеко, как наши бабушки: к Сергию Троице, к Николаю-угоднику, но в Богословский монастырь в 20-х годах ходили очень многие, и не одни старики и старухи, а все, кто мог выбрать свободное время.

Эти хождения по монастырям вызывались не только желанием поклониться святым местам и замаливанием грехов, об этом мало думали, но служили поводом хотя бы к краткому отдыху от домашней обстановки, позволяли увидеть что-то новое. Ходили по монастырям обычно летом, группами в несколько человек.

В начале 20-х годов в таких походах в Богословский монастырь участвовала и я. Живя безвыездно в своей деревне, мы мало видели мир. А как манили нас чудесные дали. Хотелось все посмотреть, везде побывать, и единственная возможность выполнить это желание — поход в монастырь.

Богословский монастырь расположен от нас в десяти километрах. Его высокая колокольня, стоящая среди полей, хорошо видна у нас, особенно в солнечные дни. В пути нас все интересовало, ко всему мы жадно приглядывались, многое нас поражало.

С замиранием сердца я подходила в первый раз к ветряной мельнице, стоящей у дороги. Когда она работала, было видно, как вертятся ее крылья. Издали она казалась мне сказочной, и так хотелось побыть около нее, посмотреть ее вблизи. Теперь это желание исполнялось, но я была поражена тем, что она такая высокая и большая.

Поразил меня и монастырь. От нас видно только одну колокольню и кругом немного зелени, но когда мы пришли, то я увидела, что здесь две церкви, рядом с монастырем расположено большое село, а кругом холмы, заросшие лесом. Здесь я впервые увидела кусты орешника, кедры, которые у нас не росли. Впервые отсюда я смотрела на свое село издали, и оно мне казалось совсем иным.

Интересна была и необычна ночевка. В одной небольшой избе за небольшую плату размещались человек десять, а то и больше. Спали вповалку на полу, на сене или на соломе, а то и так, на чем бог послал.

Собирались в дом обычно поздно, после вечерней службы. Всухомятку, на собственных коленях ужинали и размещались на покой. Но долго не засыпали, прислушиваясь к чужим разговорам. Иногда находились рассказчики интересных легенд о жизни святых или о разбойниках.

А утром, чуть забрезжит рассвет, раздаются удары колокола, сзывающего к заутрене, и из-за необычности обстановки встаешь легко.

Необычна для нас и церковная служба, исполняющаяся монахами. Странно смотреть на послушников, снующих по церкви в длинных подрясниках, подпоясанных черными широкими ремнями с пряжками и в шапках-камилавках, похожих на копны сена. Глядя на них, мне всегда вспоминался гоголевский Хома из «Вия».

В перерыве между ранней и поздней обеднями ходили вокруг монастыря, рассматривая нарисованные на его стенах картины из жизни святых. Одна из них произвела на меня особенно сильное впечатление: святая Мария лежит в гробу. Вокруг ангелы с мечами, охраняющие гроб. Какой-то грешник руками пытается свалить гроб, но ангел-хранитель отрубает ему кисти обеих рук. Этот грешник, стоящий на коленях перед гробом, и его отрубленные руки меня привели в смятение. Я не могла примириться с тем, как мог кроткий ангел поступить так жестоко.

Ходили умываться и пить воду из «чудотворного родника» (его вода считалась святой, целебной), расположенного в овраге за монастырской стеной. Поднявшись на гору, любовались чудесными далями. Отсюда в ясные дни хорошо была видна Рязань.

После поздней обедни пристраивались где-нибудь в тени и, усталые, но обогащенные новыми впечатлениями, отправлялись по пыльной дороге домой.

Все эти годы, вплоть до 1921-го, Сергей приезжал домой почти каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино.

Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и мылось, всюду наводили порядок. Он был у нас дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось. Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому не на едва трусцой семенящей лошаденке, а на лихом извозчике, которые так и назывались «лихачи», а то и на паре, которая, изогнув головы, мчится как вихрь, едва касаясь земли и оставляя позади себя тучу поднявшейся дорожной пыли. С его приездом в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу раскрытые чемоданы, на окнах появлялись книги, со стола долго не убирался самовар. Даже воздух в избе становился другим — насыщенным папиросным дымом, смешанным с одеколоном.

На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводился Сергею для работы, а в амбаре он спал. В комнате матери, из которой выносили кровать, или в прихожей устраивали столовую. В «зале» Сергей переставлял все по-своему, и, хотя особенно переставлять было нечего, комната все же как-то сразу преображалась. Снимали и выносили стеклянный верх посудного шкафа. Накрыв нижнюю часть шкафа пестрым шелковым покрывалом, Сергей устраивал что-то вроде комода. По-своему переставлял стол. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумаги, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов. В его комнате всегда был идеальный порядок.

Остались в моей памяти некоторые песенки, которые он, устав сидеть за столом во время работы, напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».

Помню, как однажды он ездил с рыбаками ловить рыбу и так загорел, что через несколько дней, расположившись на лужайке перед домом, Катя снимала у него со спины лоскуты кожи величиною с ладонь.

Помню, как Сергей ходил легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизне-

радостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать он называл коротко — ма, отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша», так как обычно так называли отцов деревенские жители и даже мы с Катей звали отца папой.

Я не могу сказать, что Сергей уделял в эти приезды много времени нам, домашним, он всегда был занят работой или уходил в луга, к Поповым, но одно сознание, что он дома, доставляло нам удовольствие.

10 мая 1922 года Сергей уехал за границу, а в августе этого же года сгорел наш дом.

Часты и страшны были пожары в наших местах. Приусадебные участки у нас очень малы, дома тесно прижались друг к другу, иногда даже можно увидеть два дома под одной крышей. Крыши домов преимущественно соломенные, поэтому каждый возникший пожар уничтожал по нескольку, а иногда и нескольку десятков домов. Причины возникновения пожаров были разные. То хозяйка не обмела вовремя трубу, и загоревшаяся сажа огненной галкой села на соломенную крышу, то ночью вышли во двор со спичками и не обратили внимания на отлетевшую спичечную головку, то поссорившиеся мужики подпустят один другому «красного петуха», то оставшиеся без присмотра дети разложат во дворе или в сенях костер, чтобы испечь картошку.

С пожаром бороться было трудно: не хватало воды. Прудов у нас мало, а для того чтобы привезти воду из реки, нужно минут тридцать, а привезут — бочку в двадцать ведер. Поэтому главная сила — это люди. На каждом доме висели знаки: у кого топор, у кого багор, у кого лестница или ведро. Это указывало, с чем хозяин дома должен бежать на пожар.

Особенно страшны пожары летом, когда сухие соломенные крыши воспламеняются как порох, и ночью, когда со сна перепуганные огнем люди теряются и не знают, что им делать. Заслышав ночью частые удары среднего колокола, люди выскакивают из дома в чем попало на улицу. Схватит баба соломенный матрац, на котором спала, выскочит из горящего дома и с криком бежит раздетая вдоль села. Люди забывают о том, что надо спасать имущество, а иногда не успевают даже выгнать со двора скот.

Пламя ночью кажется ближе, ярче и поэтому вносит большую тревогу. Напуганный скот, орущий на разные голоса, обгоревшие куры, вылетающие из горящих дворов, усиливают эту тревогу.

Но вот побежден, погашен огонь. Лишь изредка пробегают огненные зайчики по разваленным бревнам. Постепенно расходятся люди. Замолкает гомон, и на пожарище остаются лишь измученные, перепуганные хозяева. Они растерянно бродят вокруг обгоревших бревен и подпольных ям, собирая в одну кучу сохранившееся после пожара свое добро.

Пожар, происшедший 3 августа 1922 года, был одним из самых больших и страшных пожаров, которые мне приходилось видеть. Стояла жаркая солнечная погода. Знойный ветер не приносил прохлады, а лишь поднимал волны сухого, горячего воздуха, выдувал остатки влаги из земли, палил растения, высушивал ручьи и пруды.

Пользуясь сухой погодой, крестьяне торопились с уборкой хлеба, и почти все трудоспособное население было в поле. В такие дни к полудню на селе становится тихо и безлюдно.

Тишину нарушает лишь поскрипывание колес и фырканье лошадей, медленно везущих телеги, нагруженные ржаными снопами. Все живое прячется от нестерпимо палящих лучей во дворы, в дома. Лишь куры с открытыми от жары клювами с удовольствием зарываются в раскаленную мягкую дорожную пыль или, разбросав крылья, нежатся на солнцепеке около двора.

Ребятишки толпами отправляются на речку купаться и барахтаются в воде до тех пор, пока не посинеют. В такие горячие дни на реке часто тонут.

У реки в эти часы спасается от жары и скот. Коровы, стоя по брюхо в воде, лениво жуют свою жвачку, спугивая хвостом назойливых мух и оводов. Овцы собираются в кружок и прячут свои головы друг под друга. Свиньи, вырыв носом яму поближе к воде, принимают грязевую ванну.

Вот в такой знойный день 3 августа нерадивый хозяин, сгружая в ригу снопы, обронил искру от самосада.

За несколько минут его рига превратилась в гигантский костер. Огненные языки, колеблемые ветром, метались из стороны в сторону, злобно набрасываясь на все окружающее. Густой черный дым со снопами искр и пуками горящей соломы высоко поднимался к небу и, подхваченный порывом ветра, далеко разносился вдоль села. Подгоняемые ветром пуки соломы рассыпались, падали на крыши,

попадающиеся им на пути, и с шипением и свистом возникал новый очаг пожара.

Даже в тихую погоду во время пожара поднимается ветер, а в ветреную поднимается буря, разбрасывающая огонь во все стороны. Такая буря поднялась и 3 августа.

Погасить огонь люди были не в силах, и за два-три часа, шагая в шесть рядов, он уничтожил около 200 построек. Горели дома, амбары, наполненные хлебом риги.

Непрерывные удары колоколов, вопли баб, крики детей, треск и грохот разваливающихся стен и крыш, беготня людей, пытающихся спасти свои вещи и бесцельно пытающихся остановить огонь, тучи дыма, выедающего глаза и застилающего солнце, нестерпимая жара, не дающая дышать, все это представлялось мне адом.

Вещи, которые кое-кто успел вытащить из домов, горели на улице, и подойти к ним было невозможно. Огонь распространялся с такой быстротой и силой, что многие, прибежав с поля, заставали свои дома уже догорающими. Как разъяренный зверь, разбушевавшийся огонь наступал до тех пор, пока на его пути не осталось построек.

А на следующее утро, когда ночная прохлада остудила раскаленную землю, с красными глазами от слез и едкого дыма, который еще просачивался из недогоревших и потрескивающих бревен, бродили по пожарищам измученные и похудевшие за одну ночь погорельцы, собирая оставшийся после пожара железный лом: ухваты, петли и ручки от дверей и окон, изуродованные кастрюльки и миски, горелые гвозди и ножи. В хозяйстве все пригодится. Хозяйки разыскивали в стаде овец, не нашедших своего дома и ночевавших неизвестно где, собирали уцелевших и сразу одичавших кур.

В это утро по своему пожарищу бродили и мы. Вместо нашего дома остался лишь битый кирпич, кучи золы и груды прогоревшего до дыр, исковерканного и ни на что не пригодного железа.

Мы так же собирали и стаскивали в одну кучу оставшиеся вынесенные из дому и на улице обгоревшие от жары вещи, среди которых были книги и рукописи Сергея (часть их находится сейчас в Институте мировой литературы).

В этом доме были проведены самые благополучные и спокойные годы жизни нашей семьи. С этим домом у нас связаны лучшие воспоминания, и, вспоминая нашу прошлую жизнь, мы всегда представляем ее себе именно в этом доме.

Это была простая деревенская изба, размером в 9 кв. ар-

шин. Ее внутреннее расположение было удобно, а с улицы она выглядела очень красивой. Наличники, карниз и светелка на крыше были причудливо вырезаны и выкрашены белой краской; железная крыша, водосточные трубы и обитые тесом углы дома, срубленного в лапу, выкрашенные зеленой краской, делали ее нарядной. Три передние окна выходили в сторону церкви, и в пролет между церковной оградой и поповским домом из наших окон был виден синеющий вдали лес, излучина Оки и заливные луга.

В доме у нас было чисто и уютно. Двери, перегородки, оконные рамы и наличники выкрашены белой краской, на окнах белые, с кружевными прошивками шторы.

В передней комнате, так называемом «зале», стоял посудный разборный шкаф, с деревянными дверками внизу и стеклянными наверху, стол с откидными крышками и шесть венских стульев. На стенах висели семейные портреты, похвальный лист Сергея, зеркало, часы с боем фирмы Габю, на полу веером расстелены полосатые домотканые половики.

В переднем «красном» углу висели иконы и перед ними лампада. В предпраздничные вечера ее зажигали, и, когда все вымыто и вычищено, тусклый свет от нее придавал особенный покой.

В правой стороне этой комнаты стояла голландка, или, как ее у нас называют, «лежанка». Она и рядом с ней посудный шкаф отделяли зал от спальни. В спальне стояла лишь одна большая кровать, больше ничего, пожалуй, не уставилось бы. Войти в эту комнату можно было через «зал» и через кухню. Слева от входной двери была прихожая. Здесь вполне можно было отгородить еще одну комнату, но почему-то это не было сделано. Иногда зимой в ней помещали новорожденных телят и поросят.

Этот дом, выстроенный на заработанные тяжелым трудом деньги, очень любил наш отец. Более тридцати лет, с тринадцатилетнего возраста до самой революции, отец проработал мясником у купца. Нелегка работа мясника. Нужно обладать большой физической силой, чтобы поднимать мясные туши и целыми днями махать десятифунтовой тупицей, разрубая эти туши на маленькие куски.

Исключительно честный, он был вежлив и выдержан с хозяином и покупателями, пользовался большим уважением и был назначен старшим продавцом. Дом был его единственной собственностью, куда он, прожив всю жизнь в людях, вкладывал каждую копейку. Он вез из Москвы венские стулья, часы, рамки для портретов, чайную посуду. Он на-

деялся спокойно дожить свою жизнь в этом доме. Так оно и случилось. Во время революции лавка купца Крылова перешла в государственную собственность, и отец остался в ней работать продавцом. Но наступила гражданская война. Начался голод, мяса не было, и лавку закрыли. В городе отцу больше делать было нечего, и он вернулся в деревню.

С приездом его в доме у нас появилась железная кровать, выкрашенная серебряной краской, низенькая, с прутиками на спинках, без матраца и сетки, светлый, покрытый лаком сундук и икона с изображением двенадцати праздников. Это было все, что смог отец нажить за долгие годы тяжелого труда. Впрочем, на дне сундука лежал один десятирублевый золотой, который отец впоследствии продал соседу, а на вырученные деньги купил лошадь.

Слабосильный, с молодых лет страдающий астмой, с детских лет переносивший житейские невзгоды, он вернулся домой больным человеком.

Нелегка жизнь для него была и в деревне. Прожив всю жизнь в городе, приезжая домой только в отпуск, он не знал крестьянской работы, а привыкать к ней в этом возрасте было уже нелегко. Он не умел ни косить, ни пахать, ни молотить. Даже лошадь запрячь не умел. Да и сил у него не было. Все сильнее и сильнее его мучила астма, он тяжело дышал, и его бил отчаянный кашель. Дважды он покупал лошадей и пытался работать на них, но, не умея выбирать их, одну он купил еле передвигающую ноги, а вторую чересчур бойкую, которая вылезала из оглобель и везла телегу задом. Да и работать отцу на лошади было трудно. Он мог лишь ухаживать за скотиной. Давал коровам и овцам корм, менял подстилку, зимой водил коров на речку поить. Животные так привыкли к нему, что больше признавать никого не хотели и без него их загнать из стада во двор было трудно.

Сознавая свою неприспособленность и слабосилие, отец чувствовал себя не на своем месте и ходил всегда грустный. Целыми часами сидел он у окна, опершись на руку, и смотрел вдаль.

Мать наша, прожившая почти всю жизнь в деревне, всегда занятая домашними делами, не могла понять, как можно сидеть вот так без дела и о чем-то думать. Заметив его, сидящего у окна, она часто потихоньку ворчала: «Опять утюпился в окно». Ее раздражала задумчивость и молчаливость отца, а он, часто отойдя от окна, вдруг запоет: «Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоем...» Он не был особенно верующим и в церковь ходил

очень редко. Шутя он как-то сказал: «Что такое: как ни приду в церковь, все «Христос воскресе» поют».

Образование у нашего отца было только сельское, трехклассное, читал он в основном газеты, книги же читал редко. В творчестве Сергея отцу было не все понятно, особенно стихи периода имажинизма и маленькие поэмы революционных лет.

Однажды в разговоре с Сергеем он задал ему вопрос: «Кому нужны твои стихи? Кто их понимает?» Улыбнувшись, Сергей ответил: «Э, папаша, меня поймут через сто лет».

Отец во всем любил порядок и был очень чистоплотен. Ему не нравилось, когда трогали его вещи, вплоть до мелочей, вроде чернил или карандаша. Для каждой вещи он отводил свое место, и, если кто-нибудь перекладывал что-либо, отец очень сердился. У него был отдельный сундук, который он всегда запирал, и ключ носил в кармане. Прожив много лет среди чужих людей, у него это вошло в привычку.

Отец наш был худощавый, среднего роста. Светлые волосы и небольшая рыжеватая борода были аккуратно подстрижены и причесаны. В голубых выразительных глазах отца всегда можно было прочитать его настроение. Он не был многословным человеком, но его глаза всегда выражали то, что он думает. Он редко и кратко ругал нас и никогда не бил, если мы провинимся, но так посмотрит, что лучше бы побил.

Тяжелая жизнь наложила на эти глаза глубокий отпечаток, и в них иногда было столько грусти и тоски, что хотелось приласкать его и сделать для него что-либо приятное. Но он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами как со взрослыми и не допускал никаких непослушаний. Но зато когда у отца было хорошее настроение и он улыбался, то глаза его становились какими-то теплыми, лучистыми, и в углах глаз собирались лучеобразные морщинки. Его улыбка была заражающей. Посмотришь на него улыбающегося — и невольно становится весело и тебе.

Такие же глаза были у Сергея.

Отец очень хорошо и красочно умел рассказывать разные истории или смешные случаи из жизни и при этом смеялся только глазами, в то время как слушающие покатывались от смеха.

Иногда он пел. У него был хороший слух, и мальчиком лет двенадцати — тринадцати он пел дискантом в церков-

ном хоре на клиросе. Теперь у него был слабый, но очень приятный тенор. Больше всего я любила слушать, когда он пел песню «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой...». Слова этой песни, мотив, отцовское исполнение — все мне нравилось. Эту песню пела у нас и мать, пели ее и мы с сестрой, но отец эту песню пел лучше всех. Слова этой песни Сергей использовал в «Поэме о 36». В песне поется:

Может статься и случиться,
Что достану я киркой,
Дочь носить будет сережки,
На ручке перстень золотой...

У Сергея эти слова вылились в следующие строки:

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой...

В 1922—1923 годах Сергей был за границей. Без его денежной помощи родители наши построить новый дом не могли. Отсутствие отцовского заработка, болезнь отца и неприспособленность к крестьянской жизни, голод 1920—1921 годов и, наконец, пожар привели наше хозяйство к сильному упадку. А Сергей из-за рубежа не мог помочь нам. В письме к Кате он писал: «Во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег послать очень трудно...» И в конце: «Отцу и матери тысячу приветов и добрых пожеланий. Им я буду высылать тоже посылки...»

Отец с матерью, получив страховку за сгоревший дом, купили маленькую шестиаршинную избушку и поставили ее в огороде, чтобы до постройки нового дома иметь хоть какой-нибудь, но свой угол. В этой избушке мы прожили до начала 1925 года, так как строиться стали только после приезда Сергея из-за границы.

Все здесь было бедно и убого. Почти половину избы занимала русская печь. Небольшой стол для обеда, три стула, оставшиеся от пожара, и кровать. Но стоило распахнуть

маленькое оконце — и перед глазами вставала чудесная картина. Кругом яблони и вишни. Сидя у окна, чувствуешь себя как в сказке. Отойдешь, и еще какое-то время тебя не покидает это сказочное ощущение.

Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика. Но по обе стороны нашего огорода у соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви на наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям: им нужна земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и вспахивание его сохой или плугом. В стихотворении «Письмо к сестре» Сергей описывает эти переживания:

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад,
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Но цепкие растения с каждым годом ползли все дальше и дальше, упорно отвоевывая себе право на жизнь. Стоявший на огороде амбар кругом зарос вишневыми кустами, а за ним была уже целая вишневая роща, сквозь которую трудно было пробраться.

Непередаваемо хороши были эти сады, когда они цвели. Бывало, выйдешь из дому в сумерки или ранним утром — все бело на розовом фоне заката или утренней зари. Тишина. Залюбуешься этой красотой и забудешь о всех житейских невзгодах и заботах. Тебя охватывает какая-то грусть, не тяжелая, и нет желания уйти от нее.

Но неприятно и страшно в этих садах ненастными темными осенними ночами. Ветер, качающий деревья, не только шумит, а как-то воет, и того и гляди, что в этой тьме кромешной повстречаешься с нечистой силой.

Жили мы по-гоголевски — с чертями, колдуньями, с приметами, поверьями. Говорили, если сбросишь нож в вихревой столб пыли, то когда пронесется вихрь — нож найдешь весь в крови. Вихрь — это игра нечистой силы.

Если к тебе в дом идет колдунья,— воткни нож под крышку стола, и она ни за что не войдет.

Но колдуньи наши были не злые, а скорее веселые озорницы. Мать говорила: «Не приведи бог в полночь оказаться на перекрестке дорог, в это время они все с распущенными волосами, в длинных белых рубашках собираются и пляшут на перекрестках и, если попадешься им, защекочут насмерть. Ночью, подходя к перекрестку, читай молитву: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Тогда ни одна колдунья тебя не тронет. Боятся они этой молитвы».

Сергей этим сказкам, конечно, не верил, и мама рассказывала, как однажды, будучи еще совсем молодым, он захотел доказать ей, что никаких колдунов нет. Летним вечером он надел ее поддевку и отправился ночевать к соседскому амбару. У этого амбара скрещивались дороги: одна, идущая вдоль села, и другая — от церкви к Алексеевке (Алексеевка — это поселок за селом, через который проходила дорога к кладбищу). Мама уговаривала его не ходить на такое страшное дело, но никакие уговоры не помогли. А утром, на заре, когда бабы шли к коровам, он, прозябший, улыбающийся и невредимый, вернулся домой.

Вероятно, под впечатлением этих легенд Сергеем было написано стихотворение «Колдунья»:

Косы растрепаны, страшная, белая,
Бегает, бегает, резвая, смелая.
Темная ночь молчаливо пугается,
Шалями тучек луна закрывается.
Ветер-певун с завываньем кликуш
Мчится в лесную дремучую глушь.
Роща грозится еловыми пиками,
Прячутся совы с пугливыми криками.
Машет колдунья руками костлявыми.
Звезды моргают из туч над дубравами.
Серьгами змеи под космы привешены,
Кружится с вьюгою страшно и бешено.
Пляшет колдунья под звон сосняка.
С черною дрожью плывут облака.

И как-то непонятно, зачем нашей матери нужно было запугивать нас нечистой силой. Вероятно, по традиции, так как сама она не боялась ни чертей, ни колдунов, ни даже

воров, которые в те времена очень часто забирались в дома и грабили. Живя одна с маленькими детьми, заслышав ночью подозрительные шорохи в сенях или на чердаке, вставала с постели, зажигала керосиновую лампу и выходила проверить, нет ли там кого-либо.

Как-то раз я спросила ее: «Как ты не боишься лезть на чердак, ведь тебя могут ударить по голове и убить». Она, улыбаясь, ответила: «Меня нельзя убить, я с лампой. Будет пожар».

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили втроем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печи, ухаживали за скотиной, убирали дом, носили воду. «Грустно стучали дни, словно дождь по железу...» Редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них. Мать не любила давать что-нибудь в долг, так как знала, что возьмут и сломают или совсем не вернут, и сама обращалась с просьбами только в крайних случаях. Я много раз слышала от нее пословицу «Ложись без хлеба, вставай без долга». Этой пословицы она и старалась придерживаться.

Она не была строга, хотя никогда и не ласкала нас, как другие матери: не погладит по голове, не поцелует, так как считала это баловством. И когда у меня были уже свои дети, она часто говорила мне: «Не целуй ребенка, не балуй его. Если хочешь поцеловать, так поцелуй, когда он спит». Нищему она не подаст больше гривенника, но если к человеку пришла беда, то она одна из первых придет к нему на помощь.

В годы гражданской войны в селе свирепствовали тиф и холера. В редком доме не было больных. Люди не ходили туда, где кто-нибудь болел, умерших в церковь не вносили, а отпевали в часовне, при закрытых гробах.

Мать наша не думала в то время о себе, она навещала больных и помогала, чем могла. Для больного у нее всегда находилось что-нибудь сладкое или кисленькое. Кому даст варенья, кому клюквы, кому сдобный сухарь. Все это она всегда берегла «про всякий случай». Сама не съест, а отдаст больным. Для них она ничего не жалела. И удивительно, как будто за ее доброту, нас минула беда: в нашей семье никто не заболел в те годы.

Очень жалела мать сирот и часто кормила и обмывала их.

Живя долгие годы только с маленькими детьми, она привыкла разговаривать вслух. Ее привычка всегда смешила отца, и как-то он сказал мне: «Пойди послушай, как мать с чертом разговаривает».

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже будучи пожилой женщиной, она пыталась ходить в ликбез, но старческие руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, а если мы читали художественную литературу, она ворчала: «Опять пустоту листаешь. Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься». И сама же она бессознательно прививала нам любовь к литературе. С раннего детства мы слышали от нее прекрасные сказки, рассказывать которые она была большая мастерица, а когда мы подрастали, то выясняли, что часто пела она переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов. Она обладала хорошей памятью, и, слушая, как разучивают стихи ее дети, она запоминала их и иногда читала вслух.

До сих пор я помню, как, сидя на донце за куделью, она читала мне стихотворение:

Вышел внук на пашню
К деду босиком,
Улыбнулся и промолвил:
— Здравствуй, дедушка Пахом... [2]

или:

Лесом частым и дремучим
По тропинкам и холмам
Ехал всадник, пробираясь
К светлым невским берегам... [3]

В конце мая 1924 года Сергей снова приехал в деревню. Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спускались с горы к перевозу. В воскресные дни в хорошую погоду мы ходили к коровам раньше, чем в будние. Хорошо наше подгорье, и приятно идти по нему не торопясь.

На полдороге к реке нас догоняет новая группа соседок, и одна из них, обращаясь ко мне, говорит:

— Шура, сейчас приехал ваш Сергей. На паре!

От неожиданности я останавливаюсь и не знаю, что мне делать. В этот момент я пожалела о том, что у нас две коро-

вы. Одну подоить легко было бы попросить кого-нибудь, а двух — это сложнее, можно опоздать в последнюю лодку и долго просидеть на том берегу.

К счастью, одна из Катиных подруг сама предложила мне подоить коров. Она поняла мое состояние, так как знала, что Сергей не был дома уже около трех лет, а его приезд для нас большой праздник. Я с радостью передала ей ведро и бегом поднялась в гору. По дороге я подумала: «Значит, приехала и Катя». Поднявшись в гору, я не увидела пары лошадей. В голове молниеносно пронеслась мысль: «А вдруг это ошибка. Вдруг не они приехали, а кто-то другой».

Но, вбежав в дом, я застаю радостную суматоху, и мать уже со щепками и спичками в руках хлопочет у самовара. Так всегда, едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати — тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами — Сахаров.

С Александром Михайловичем Сахаровым у Сергея была дружба в течение нескольких лет. Встречались они и в Москве, и в Ленинграде, где жил Сахаров. Александр Михайлович был издательским работником и в 1922 году в петроградском издательстве «Эльзевир» он издал пьесу Сергея «Пугачев».

Позже, когда я жила в Москве, я видела Александра Михайловича у нас в доме довольно часто, и он запомнился мне, как человек спокойный, с медлительными движениями, любящий пошутить. Но все это я узнала позже, а сейчас мне было не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею то одному, то другому.

— А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! — восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

Это понятно: он уехал, когда мне было десять лет, теперь мне тринадцать. За эти годы я очень выросла. Я смущаюсь под пристальным взглядом Сергея, а тут еще Катя, которая тоже не была дома целый год, говорит ему:

— Вот видишь, какая вымахала.

По-видимому, у них был разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней углей для самовара, достать чистое полотенце, дать гостям умыться. Приказаний много, и я охотно их выполняю.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол. Задача ей выпала нелегкая — рассадить шесть человек за нашим маленьким столиком.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей. Сергея — жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье. Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед приехавшим гостем. Но Сергей, любивший свою родину «до радости и боли», счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни эта теснота. Лишь позже с большой болью он пишет в стихотворении «Возвращение на родину»:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать...

Да, в таком доме мы еще никогда не жили, но, на наше счастье, уцелел амбар, и теперь Сергей там может спать. Но мать мучает вопрос: где же уложить спать гостя?

За разговорами, за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы «Анна Снегина»:

Беседа окончена...
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень...—

я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

Об этой вечерней беседе идет речь в этих строках. Мимо нашего плетня, сплетенного неумелыми руками отца, проходил Сергей с овчинной шубой в руках на сеновал, и вместо сирени лицо его задевали наши цветущие вишни.

В этот свой приезд Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда — в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде и за это время написал там поэму «Песнь о великом походе».

Летний зной, городская сутолока, напряженная работа — от всего этого Сергей устал, и его снова потянуло в Константиново. 26 июля он пишет Гале Бениславской в Москву: «Дней через 6—7 я приезжаю в Москву. Еду в Рязань (имелось в виду Константиново) с Никитиным. Уж очень, дьявольски захотелось поудить рыбу...»

И в начале августа Сергей снова в Константинове.

По неизвестным причинам Н. Н. Никитин (ленинградский писатель) с Сергеем не приехал, а нашим гостем на этот раз был молодой, лет двадцати, коренастый, широкоплечий, с черными глазами и густыми черными волосами поэт Иван Приблудный.

Он был бесшабашный, озорной, находчивый весельчак, умеющий и посмеяться, и пошутить, и спеть. Но всего лучше он читал стихи. Особенно хорошо у него получались «Гайдамаки» Шевченко и «Петух» собственного сочинения. Читал он как-то удивительно просто, жестикулируя правой рукой или изредка поправляя черную шапку волос, но в его хрипловатом голосе было столько выразительности, что трудно забыть такое чтение. Был он, как говорится, без роду, без племени, но в его внешности и поведении было много цыганского. Его безобидное озорство иногда удивляло. Идем с ним по улице, спокойно разговариваем. Вдруг он становится на руки и идет на руках или, увидев впереди двух молоденьких девушек, идущих навстречу, поравнявшись с ними, резко бросается в сторону, и те от неожиданности шарахаются в другую. Пройдя несколько шагов, он оглянется, улыбнется им и продолжает путь как ни в чем не бывало.

Живя у нас в деревне, он исходил все окрестности, пропадая целыми днями. Ночами он тоже где-то бродил. В это время стояли чудесные лунные ночи.

Однажды, возвращаясь под утро домой, он увидел начинающийся пожар. Заснувшее село как будто вымерло, а он, не зная о существовании веревки, привязанной к коло-

колу для набата, и найдя закрытым вход на колокольню, стал собирать около церкви камни и бросать их в колокол. Правда, его удары мало походили на набат, но людей он все-таки разбудил.

В этот свой приезд Сергей спал в амбаре. Ему снова нужно было работать, а в риге нельзя было курить, опасно зажигать лампу. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу, их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье, и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

И несмотря на трудности, он упорно работал над «Поэмой о 36».

Здесь же им было написано стихотворение «Отговорила роща золотая...».

В работе над этим стихотворением у него была замечательная помощница — наша рязанская природа, с пролетающими в поля косяками журавлей, с костром рябины красной, стоящей перед нашим боковым окном.

Работа, работа, работа... Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, поразивших меня колокольчиками, привязанными к тонкому кончику каждой из удочек. При малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный серебряный звон. Я сначала не могла понять, что это такое, и когда Сергей объяснил мне, что это удочки, я стала просить его взять и меня с собой на рыбалку.

— А ты что, тоже хочешь ловить рыбу? — удивленно спросил он и засмеялся: — Ну что ж, пойдем.

И вот мы втроем: Сергей, Катя и я, переехав реку, направляемся к Макарову углу.

Макаров угол — это место, где Ока давно, еще в XVIII веке, изменив течение, оборвала один из своих поворотов и образовала угол. Из оборванного Окой поворота образовалась Старица, а часть его заволокло песком и избавило наших крестьян от второй переправы, через которую раньше нужно было переезжать в луга.

Дорога уводит нас далеко вправо от избранного нами места лова. Но ничего не поделаешь, лежащее поперек луга озеро Тишь только в одном месте прерывается и дает возможность перебраться через него. Дорога здесь вся изрыта коровьими копытами, и идти по ней очень трудно. Ил, высохший на солнце, больно колет ноги. К счастью, озеро

узкое и, перебравшись через него, на гладкую дорогу ступаешь, как на мягкий ковер.

Впереди коса с маленькими озерками, с высокими валами чистого речного песка, нанесенного сюда в половодье, в котором по щиколотку утопают ноги, с частыми, еле проходимыми зарослями ежевики, черемухи, шиповника, смородины, хвороста.

Жарко идти по чистому, ровному лугу, но, войдя в косу, тебя обдает новой волной еще более горячего воздуха от раскаленного песка, и от такой жары по всему телу проходит приятная дрожь.

Густо заселена коса трудолюбивыми веселыми пернатыми жильцами. Каждый год половодьем смывает их затейливые домики, но, как только сойдет полая вода, проснутся от долгого зимнего сна жуки и мошки, они уже здесь и снова с пением принимаются за строительство. От зари до зари слышатся их разнообразные звонкие песни, а в мае — июне по ночам коса оглашается соловьиными трелями. И как будто аккомпанируя всем пернатым певцам, день и ночь дружно трещат кузнечики.

Пройдя косу, минут через десять мы у обрывистого берега реки. В летнем безмолвии спокойно несет свои воды Ока. На ее гладкой поверхности отражаются израненные хлопотливыми ласточками отвесные берега, задумчиво склоненные над водой кустарники, бездонное голубое небо, позолоченное яркими солнечными лучами.

Маленькая пичужка, сидя на ветке куста, как будто поражаясь красотой природы и безмолвием, звонко и долго твердила: «Удивительно, удивительно», да и на противоположной стороне реки, в прибрежных зарослях кустарника, как будто предвидя нашу неудачную рыбалку, кто-то еще из пернатых давал нам совет: «Купить, купить».

Сергей рассмеялся и задал пичуге вопрос: «А где? — И тут же храбро добавил: — Ничего, сами наловим...»

В Макаров угол, подальше от села, обычно ходили настоящие рыболовы. Вот и мы с Сергеем, как заправские рыбаки, переезжали на лодке Оку и приходили сюда же. Но от правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили из дому мы часов в девять-десять, добирались до места и рыбачить начинали уже почти в полдень. Не могли мы похвастаться и хорошим уловом. Ерш, окунь, плотва — вот основная наша добыча. Но мы не унывали, с радостью вытаскивали очередного ершишку или

окунька и довольны были тем, что по количеству их у нас было много. Я должна была опускать в садок пойманную рыбу и вести счет.

И вот однажды нам повезло. Наконец-то попалась большая хорошая рыба. Это был голавль, примерно на четыреста — пятьсот граммов. Дрожащими руками Сергей стал снимать голавля с крючка, а я побежала за садком. Прибежав с садком, я не успела его еще раскрыть, а Сергей уже выпустил из рук голавля. Рыба, упавшая в воду, на несколько секунд замерла, не веря тому, что она на свободе, затем стремительно ушла в глубину реки. Такой неудачи ни Сергей, ни я не ожидали, и он вдруг вскипел: «Вот дурная, что ж ты наделала? Лезь вот теперь за ней». А я даже не пыталась оправдываться, что вина-то не только моя, и растерянно стояла в воде, держа в руках раскрытый садок.

Сергей был так огорчен, что разбудил Катю, которая не любила терпеливо сидеть с удочкой и обычно, пока мы ловили, спала в прибрежных кустах. Рассказывая ей о случившемся, он обвинял во всем меня. А через короткое время он уже весело подшучивал надо мной. Однако вину с меня он не снял. Это был единственный случай, когда Сергей накричал на меня. Вот теперь, спустя уже много лет, я вспоминаю и удивляюсь умению Сергея и выдержке, которые он проявлял, воспитывая нас. Ведь сам-то он был еще так молод. Я не помню случая, чтобы он когда-нибудь меня обидел. И если я делала что-нибудь не так, он обычно, как и в этот раз, восклицал: «Вот дурная, что ж ты наделала?» — и терпеливо объяснял мне мои ошибки.

У Сергея я многое переняла. Он рано научил меня любить книги. Каждое лето он приезжал домой в деревню, но не отдыхать, а работать. Чемоданы, привезенные им, в основном были заполнены книгами. Сидя за столом, с керосиновой лампой, он читал целыми ночами до самого рассвета. Уезжая из деревни, он не брал с собой привезенные книги, и таким образом у нас дома собиралась своя библиотека, благодаря которой еще девочкой десяти — двенадцати лет я знала очень много стихов Некрасова, Никитина, Пушкина, Кольцова, Тютчева, Фета, Майкова и многих других. Из писателей я особенно любила Гоголя. Он был мне близок и понятен.

Почти все свое свободное время теперь Сергей проводил с Катей и со мной. Часто вечерами выбирались мы со своего огорода, шли на село, за церковь на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером. На западе частыми зарницами

освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются как в зеркале.

Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно и победоносно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

После долгого трудного дня спокойно спит все село. В редком доме виднеется тусклый свет керосиновой лампы. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет «страдание» да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Ходим мы обычно от церкви до Питеряевки и обратно. Питеряевка — это маленький поселок или, вернее, улица в конце села, расположенная за оврагом, на дне которого небольшая плотина. Дома на Питеряевке стоят вдоль плотины, поперек села. В этом конце села тише.

После пожара, произошедшего в 1922 году, дотла уничтожившего этот конец села, дома выстраиваются медленно, и здесь еще их немного. То тут, то там, на месте, где должен стоять дом, чернеет еще подпольная яма или стоит сруб, как у нас. Над некоторыми ямами дома больше не выстроятся, так как из-за перенаселенности многим погорельцам отвели усадебные участки за селом, на Новом поселке, и некоторые из них уже построились там. На Новом поселке отводятся усадьбы и молодоженам, отделившимся от своих родителей.

Над уснувшим селом величаво плывет луна, освещая его своим бледным светом. Блестящими монетами рассыпались по светлому небу звезды, их немного, и кажется, что они совсем близко. Дорога и тропинки, освещенные луной, на близком расстоянии видны отчетливо, но дальше серыми змейками уползают в ночной сумрак.

Недолго ходим мы по селу молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько,

«себе под нос», напевать какую-либо мелодию. А уж если запоет один, то как же умолчать другим. Каждый из нас знает, что поет другой, и невольно начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, «складно». У нас небольшие голоса, да мы и не стараемся петь громко, так как наши песни требуют от исполнителей больше чувства, а не силы. Мы поем лирические песни и романсы, грустные, как, например, «Ночь» Кольцова, у которой грустный мотив и такое же грустное содержание. Разве можно спеть громко такие слова из романса «Нам пора расставаться», как: «О друг мой милый, он не дышит боле. Он лежит убитый на кровавом поле...»

Поем мы и переложенные на музыку в то время стихи Сергея: «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Письмо к матери», поем «Вечер черные брови насопил», мотив к которому мы подобрали сами.

Иногда, напевшись вволю, мы с Катей начинаем озорничать. Зачинщицей всегда бывает она: начнет петь какое-нибудь грустное стихотворение Сергея на веселый мотив, вроде плясового. Я, конечно, не отстаю от нее и подпеваю. Сергей сначала смеется, а потом начинает сердиться.

Ближе к полуночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своим делом.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды кончала от нечего делать четвертый класс и год уже не училась. В том, что я должна учиться дальше, не было сомнений, но у Сергея не было своей комнаты.

Однажды, обсуждая вопрос обо мне с матерью, он решил отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно потому, что там был интернат, и долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо. Сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей. Но она видела, что путь, избранный им, вывел его на широкую дорогу, и целиком доверила меня Сергею.

Раннее осеннее московское утро. Мирно спят еще жители города. Негустой, сероватый туман, смешанный с сизым дымом, освещенным лучами багрового солнца, сиреневым покрывалом повис над городом. Тихо. Медленно, будто нехотя, слегка покружившись в воздухе, падают с деревьев желтые листья и спокойно ложатся на серые

камни булыжной мостовой. Важно, не торопясь, как-то по-хозяйски бродят по мостовой жирные сизые голуби и серым облачком с громким азартным чириканьем торопливо перепархивают с места на место стайки озорных воробьев.

В тишине гулко раздаются редкие твердые шаги отца и частые торопливые мои. У нашего отца удивительная походка, он идет как будто не торопясь, но догнать его трудно.

В это октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно жила у Гали Бениславской в Брюсовском переулке (теперь улица Неждановой), так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята приехавшей к ним дочерью с ребенком. В эту комнату мы с Катей поселились лишь осенью 1925 года.

От Казанского вокзала к Чистым прудам мы идем пешком. Здесь, в Архангельском переулке (ныне Телеграфный), в доме № 7 помещался детский дом, заведующей которого была П. Г. Беликова, крестница нашего отца и какая-то дальняя наша родственница. У нее-то я и должна была жить до тех пор, пока освободится комната, которую снимала Катя.

Напившись у крестницы чаю и немного отдохнув, отец провожает меня к Гале и Кате. Первый раз в жизни я еду в трамвае.

Через несколько дней после приезда в Москву меня устроили в школу.

У крестницы отца я прожила недолго. Кате не понравились условия, в которых я жила, и меня тоже взяли в Брюсовский переулок.

Два больших восьмиэтажных корпуса «А» и «Б», носящие название «дома «Правды», стояли во дворе дома за номером 2/14 друг против друга. В основном в этих домах жили работники газет «Правда» и «Беднота».

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелся Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента реки Москвы и золотились купола Ново-Девичьего монастыря. От домов же, расположенных на ближайших узких улицах и переулках, мы видели лишь одни крыши.

Соседи у Гали были молодые, всем интересующиеся, особенно литературой. Очень любили здесь стихи и удач-

ные новинки декламировались прямо на ходу. Стихи вплетались в жизнь. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из «Повести о рыжем Мотэле» Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,
Эти странные часы?
Ой, как
Сердце в них колотится!
Ой, как косы их усы!..

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет!..

При встрече со мной часто декламировали строчки из «Крокодила» Чуковского. Эту сказку вся квартира знала почти наизусть, а Галя очень любила Блока, и часто от нее можно было услышать: «Что же ты потупилась в смущеньи» — или какие-либо строки из поэмы Блока «Двенадцать» вроде: «Стоит буржуй, как пес голодный, и в воротник упрятал нос»...

Но главное место у нас занимали стихи Сергея. В это время он очень часто присылал нам с Кавказа новые стихи. Ему там очень хорошо работалось.

И хотя не было с нами Сергея, жизнь наша тесно была связана с его интересами, с его успехами. Благодаря его письмам, новым стихам, которые он присылал нам, он как бы незримо присутствовал с нами. Галя и Катя вели его литературно-издательские дела в Москве, и он часто давал им письменные указания, где, как и что нужно напечатать, как составить вновь издающийся сборник.

В связи с изданием книг Сергея к нам домой часто заходили разные издательские работники.

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею: «От Вас получили из Батума 3 письма сразу. Стихотворение «Письмо к женщине» — я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им — до чего хорошо...»

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными черными косами и черными сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Галя была еще совсем маленькой, когда разошлись ее

родители, и девочку удочерили ее тетя по матери — Нина Поликарповна Зубова и ее муж Артур Казимирович Бениславский.

Отец у Гали был француз, мать — грузинка.

В 1917 году Галя закончила в Петербурге гимназию и поступила в Харьковский университет на естественное отделение. Но закончить университет ей не удалось, так как в 1919 году Харьков был захвачен белогвардейцами, и Галя, бросив занятия в университете, перешла фронт и приехала в Москву. Некоторое время она работала в ВЧК, а затем поступила в редакцию газеты «Беднота».

В 1920 году на одном из литературных вечеров в Политехническом музее Галя познакомилась с Сергеем, и у них завязалась дружба [4].

В это время Сергей жил с А. Мариенгофом в Богословском переулке (ныне ул. Москвина), где они занимали две комнаты.

2 мая 1922 года Сергей женился на американской балерине Айседоре Дункан, приехавшей в Россию по приглашению А. В. Луначарского и организовавшей в Москве балетную школу. 10 мая 1922 года Сергей и Дункан уехали за границу, где они пробыли до августа 1923 года.

В то время, когда Сергей был за границей, Мариенгоф женился на актрисе Камерного театра — А. Б. Никритиной. Вместе с ними жили мать Никритиной и их ребенок.

Вернувшись из-за границы, Сергей разошелся с Дункан, но жить ему было негде, стеснять Мариенгофа он не хотел.

Тогда Галя предложила Сергею поселиться временно у нее, хотя в это время с ней жила ее подруга — Назарова Аня.

Вот так оказались и мы с Катей в Брюсовском переулке.

Но сам Сергей у Бениславской жил недолго. С конца декабря до конца января или начала февраля Сергей лечился в больнице на Б. Полянке.

В один из февральских вечеров, возвращаясь домой, он поскользнулся на узком, покатом, обледеневшем тротуаре у дома № 4 по Брюсовскому переулку и, падая, выбил оконное стекло полуподвального этажа. При падении он старался защитить лицо и очень сильно порезал запястье левой руки. Рана была большая и глубокая, были повреждены связки. Пришлось лечь в Шереметевскую больницу (ныне институт им. Склифосовского). После лечения в Шереметевской больнице Сергея перевели в Кремлевскую больницу, где он пролежал до конца марта.

Шрам от этого пореза остался у Сергея до конца его жизни, и он забинтовывал руку черной шелковой лентой.

После смерти Сергея в своих воспоминаниях о нем Мариенгоф этот несчастный случайный порез объяснял как попытку Сергея к самоубийству.

Начиная с апреля 1924 года Сергей все время в разъездах. То он в Ленинграде, то в Константинове. Осенью же он уехал на Кавказ и прожил там всю зиму. Лишь в конце февраля он приезжал на один месяц в Москву и жил вместе с нами.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами. По утрам я готовила уроки, днем уходила в школу, а вечером читала или Галя помогала мне решать задачи, так как вначале я отставала от класса по арифметике.

Бывали случаи, когда Галя приносила домой из редакции «Бедноты», где она работала, много писем, присланных читателями. «Беднота» была ежедневной крестьянской газетой, которая доступным языком доводила до широких крестьянских масс новые политические вопросы, касающиеся перестройки деревни, широко освещала все нужды и запросы крестьян, завоевала к себе большое уважение и доверие и получала от читателей массу писем. Писем и отделов, в которые они направлялись, было так много, что разместить их на столе было трудно, и Галя обычно располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко рассказывала Гале содержание его, и она красным или синим карандашом в верхнем углу письма ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой 1924 года из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя — Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Гале деревянную коробку, которую в детстве Галя очень любила и называла ее «Мечта». Коробка эта была очень красивая, на верхней крышке и по бокам ее были выжжены и раскрашены зимние деревенские пейзажи и мчащаяся лихая тройка, а внутри она была обтянута красным атласом. Кроме этой коробки Нина Поликарповна подарила Гале старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Все эти вещи нам очень пригодились. Коробку приспособили под косметические принадлежности, а когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, из этого самовара мы пили чай, так как у нас не было большого чайника.

Теперь стала широко известна фотография, на которой Сергей сфотографирован с мамой за этим самоваром. Снимок был сделан в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мама тогда приезжала навестить нас, и Сергей читал ей поэму «Анна Снегина», над которой он в то время работал. Она, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, не перебивая его, ни о чем не расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала стихи сына и многие из них запоминала во время его чтения.

В эту зиму постепенно заменялась и Галина мебель. Были куплены шесть венских стульев, обеденный стол, платяной шкаф, приобреталась новая посуда.

Живя в одиночестве, Галя мало беспокоилась о домашнем уюте, и обстановка у нее была крайне бедна. Вместо обеденного — стоял кухонный столик, письменный — заменял ломберный, на котором была бронзовая, на черной мраморной подставке настольная лампа. Стояла еще покрытая плюшем василькового цвета тахта с провалившимися пружинами, за что получила прозвище «одер», шведская железная кровать с сеткой, две тумбочки, два старых венских стула и табуретка. Но чистота всегда была идеальная.

Теперь хозяйство наше постепенно налаживалось, но, для того чтобы вести его по-настоящему, ни у кого не было ни времени, ни умения. Пришлось взять прислугу Ольгу Ивановну.

Ольга Ивановна в прошлом много лет проработала у издателя И. Д. Сытина. Была она строгая, постарше своих хозяек и, видя их неопытность и нерасчетливость, поматерински отчитывала их. В шутку Катя с Галей прозвали ее «мамкой».

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для человека, и поняла Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Он любил нас с сестрой, любил своих детей, всюду возил с собой их фотографии. Его всегда тянуло к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома.

В декабре 1924 года Галя писала Сергею на Кавказ: «Что Вы писали насчет того, что если будете в Питере, то жить удобнее у Соколова, а не у Сашки? Это тот Соколов, который в «Стойле» бывал? Он или другой?

Впрочем, не это важно. Важно вот что: Вам нужно иметь свою квартиру. Это непременно. Только тогда Вам будет удобно, а Сашка, Соколов и т. д.— это Вас не может

устроить. Вы сами это знаете, и я сейчас особенно поняла. Не с чужими и у чужих, а со своими Вам надо устроиться: уют и свой уют — великая вещь...» [5]

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он, в сущности, так и не имел до конца своей жизни. Зато много было рано свалившихся на него забот о близких ему людях.

С переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому «наставнику» и самому-то было двадцать три — двадцать пять лет. Но он исключительно добросовестно о ней заботился.

Уехав в 1922 году за границу, почти в каждом письме к своим друзьям, оставшимся в Москве, он просит о том, чтобы ей помогли. Ровно через месяц после отъезда из России он просит Шнейдера* в письме из Висбадена найти Катю и помочь ей [6]. 13 июля 1922 года он пишет Шнейдеру из Брюсселя: «К Вам у меня очень и очень большая просьба: с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте, ради бога, денег моей сестре. Если нет у Вас, у отца Вашего или еще у кого-нибудь, то попросите Сашку и Мариенгофа, узнайте, сколько дают ей из магазина.

Это моя самая большая просьба. Потому что ей нужно учиться, а когда мы с Вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей...»

В этом письме речь идет о книжной лавке художников слова, открытой осенью 1919 года группой имажинистов на кооперативных началах на Б. Никитской улице (ныне ул. Герцена), рядом с консерваторией, в доме № 15. В Москве в те годы группами поэтов и писателей на кооперативных началах было открыто несколько таких книжных магазинов, причем для рекламы часто поэты и писатели торговали книгами сами.

Осень и зима 1924 года. Сергей на Кавказе, очень много работает и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: «...Я очень соскучился по Москве, но, как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но нерадостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура? Как Екатерина и что с домом?..»

---

* Илья Ильич Шнейдер — журналист и театральный работник. В то время был переводчиком у Дункан. Вместе с Дункан в 1922 году он должен был поехать в Америку, но его поездка не состоялась.

В это время наши родители строили новый дом, а я приехала в Москву учиться, и Сергей беспокоился, что мне негде жить.

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи с тем, чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илья был сыном брата нашего отца. Ему было лет двадцать, родители у него умерли. Теперь Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас, был привязан к Сергею и стал, в сущности, членом нашей семьи. В общежитие он уходил ночевать, да и то только потому, что у нас в Брюсовском уже негде было лечь.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой, и немалой. Но он безропотно нес этот крест. И если, случалось, срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но, вспылив, он тотчас же отходил — сердиться долго не мог.

Сергей был опрятным человеком, по утрам подолгу полоскался в ванной и очень часто мыл голову. Любил хорошо одеваться, и его нельзя было застать неряшливо одетым в любое время дня. Эту же черту любил и в других людях, особенно в окружающих его. Ему доставляло удовольствие смотреть на Катю, когда она была хорошо одета. Он любил ее, а Катя в те годы была недурна собой, стройная, и внешностью ее Сергей был доволен.

У нас никогда не было лишних похвал, таких слов, как «милочка», «душенька», а слово «голубушка» чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит свою руку к тебе на шею или на плечо и от прикосновения этой руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от каких ласковых слов.

Он был человеком очень общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много. Любил поделиться с близкими людьми своими мыслями, своими новыми стихами, подчас и теми, над которыми еще работал. Я очень хорошо помню приезд Сергея с Кавказа в Москву в конце февраля 1925 года [7]. С его приездом от нашей тихой жизни не осталось и следа. Редкий день теперь проходил у нас без посторонних людей. Сергей прожил в Москве всего лишь

один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. Все жили с ним одними интересами. Если это поход в театр или кино, то идут все, кто в этот момент присутствует, если это вечеринка, то все веселятся, если это деловой разговор, то в нем принимают участие все кто есть.

Вечерами у нас было шумно и весело. Читали стихи, рассуждали о литературе, пели песни, чаще всего русские народные, которые Сергей очень любил.

Обычно запевалами были мы с Катей. Почти все песни, которые мы пели, были грустные, протяжные. Сергей любил песню «Прощай, жизнь, радость моя...» и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Но еще чаще мы пели песню:

Это дело было
Летнею порою.
В саду канарейка
Громко распевала.
Голосок унывный
В лесу раздается.
Это, верно, Саша
С милым расстается.
Выходила Саша
За новы ворота,
Простояла Саша
До самой полночи.
Говорила Саша
Потайные речи:
— Куда, милый, едешь,
Куда уезжаешь.
На кого ж ты, милый,
Сашу покидаешь.
— На людей, на бога.
Вас на свете много.
Не стой предо мною,
Не обливай слезою,
А то люди скажут,
Что я жил с тобою.
— Пускай они скажут,
Я их не боюся.
Кого я любила,
С тем я расстаюся.

Как и в деревне, пели мы «Ночь» Кольцова и старинный забытый романс который всем слушающим очень нравился, и о нем я упоминала ранее:

Нам пора расстаться,
Мы различны оба.
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба.

Вы не понимали
Ни моей печали,
Ни моей печали,
Ни моих страданий.

Прочь, прочь. Ни слова.
Не буди, что было.
В жизни я другого,
Не тебя любила.

О друг мой милый,
Он не дышит боле.
Он лежит убитый
На кровавом поле.

Свой край спасая,
Не боясь разлуки,
Он стоял, рыдая,
Молча жал мне руки.

Вы не понимали
Ни моей печали,
Ни моей печали,
Ни моих страданий.

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей.

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на всевозможные выдумки, умел и любил шутить. Дома он часто шутил над Катей и особенно надо мной. Ему доставляло большое удовольствие смутить меня чем-нибудь, например: у меня были непослушные волосы. Катя с Галей забирали мои вихры на затылок и плели из них косичку, которая вплеталась в общую косу, подбирающую все остальные волосы. При такой прическе уши у меня всегда были открыты. И вот как-то утром за завтраком Сергей, глядя на меня, вдруг по-озорному улыбнулся и проговорил: «Ну-ка, поверни немного голову, посмотри в окно». Видя

его лукавую улыбку, я сразу поняла, что он что-то заметил у меня, над чем можно посмеяться, и неохотно повернула голову в сторону окна.

А Сергей вдруг раскатисто захохотал.

— Да у тебя же разные уши,— еле проговорил он, громко смеясь.

Я не особенно поверила ему. Галя с Катей, ежедневно заплетая мне косы, никогда не замечали, что уши мои разные, но цели своей Сергей все-таки достиг, за столом все хохотали, и я была очень смущена.

После завтрака, посмотрев в зеркало, я убедилась, что Сергей прав, уши у меня действительно немного разные по форме, но такую разницу мог заметить только Сергей.

Очень трудно нам было жить в одной комнате. Особенное неудобство доставляла я. Мне нужно было готовить уроки, а заниматься негде, да и вечерами ежедневное мое присутствие при гостях было неуместно.

В одной квартире с нами жила молодая женщина-врач — Надежда Дмитриевна Юдина. Она была одинокая, вечерами редко уходила из дому и часто звала меня к себе.

Вначале я готовила у нее уроки, а затем она занималась со мной раскрашиванием картинок. Рисовать мы с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-либо картинки из книги или журнала и затем раскрашивали красками. Но раскрашивали мы довольно неплохо.

Из нашей комнаты в комнату соседей была дверь. Эта дверь была завешена огромным шелковым шарфом. Однажды, придя из школы, я увидела, что к шарфу, висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: «Выставка А. Есениной», а ниже на другом листе красным карандашом извещалось: «Все продано».

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку. Я была очень удивлена и смущена от сознания, что обманула его: ведь он, вероятно, счел эти картинки не переведенными, а рисованными мною. Я хотела разъяснить это Сергею, но он ходил по комнате такой довольный своей выдумкой, что мне жаль было разочаровывать его.

Надпись к этой «выставке» сохранилась.

Но все шутки, смех и веселье бывали в дни и часы отдыха. Во время работы Сергея мы, чтобы не мешать ему, уходили из комнаты. Часами он сидел за ломберным столи-

ком или за обеденным столом. Устав сидеть, он медленно расхаживал по комнате из конца в конец, положив руки в карманы брюк или положив одну из них на шею. На столе он не любил беспорядка и лишних вещей, и если это был обеденный, то на чистой скатерти лежали только лишь бумага, его рукопись, карандаш и пепельница. Сам он сосредоточен, и, если войдешь к нему в комнату,— он смотрит на тебя, а мысли его где-то далеко, он весь напряжен, губы сомкнуты, и на щеках ходят желваки.

Очень много Сергей читал. Он следил за всеми литературными новинками. На ломберном столе, на тумбочке у нас всегда лежали последние номера журналов «Красная новь», «Красная нива», «Прожектор», альманах «Круг».

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он подолгу с ними разговаривал..

Были у нас и трудные дни. Они бывали, когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от таких «друзей» и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками [8].

Вина Сергей выпивал мало, он очень быстро хмелел, а захмелев, становился раздражительным, неспокойным. Один же Сергей никогда не пил. Лишь изредка, по какому-либо случаю в доме у нас появлялась бутылка кахетинского или цинандали, которую распивали все вместе.

Оберегая Сергея от встреч с такими «друзьями», Катя и Галя старались по возможности одного Сергея не выпускать из дома. Когда же почему-либо они не могли пойти с ним — ходила я. Однажды днем, возвращаясь с Сергеем домой из издательства «Красная новь», находящегося в Кривоколенном переулке, мы шли мимо Иверских ворот и увидели в руках молодого вихрастого парня маленького рыжего щенка. То ли от холода, то ли от страха щенок дрожал всем своим маленьким телом, озираясь, поворачивал голову, слушая непривычные для него выкрики рядом стоящих с ним китайцев, ломаным русским языком рекламирующих свои товары: «А вот, не бьется, не ломается, вечно кувыркается» — или оглашающих проезд визгом надуваемых резиновых шариков: «Уйди, уйди, уйди».

Перепуганный щенок с удовольствием убежал бы отсюда, но сильные руки хозяина крепко держали его, поворачивая из стороны в сторону. Предлагая каждому проходящему: «Не надо ли собачку? Купите породистую собачку».

— С каких же это пор, парень, дворняжки стали считаться породистыми? — спрашивает проходящий мимо рабочий.

— Это дворняжка? Да у какой же дворняжки ты встречал такие отвислые уши? Понимал бы ты, так не говорил бы чего не следует.— И, протягивая Сергею щенка, проговорил: — Купи, товарищ, щеночка. Ей-богу, породистый. Смотри, какие у него уши. Разве у дворняжек такие бывают? Недорого продам, всего за пятерку. Деньги нужны и стоять мне некогда.

Сергей остановился. В его глазах показалась какая-то грусть. Он осторожно погладил голову и спину дрожащего щенка. Почувствовав нежное прикосновение теплой руки, щенок облизнулся, заскулил и стал тыкаться носом в рукав Сергеева пальто.

Выражение лица у Сергея моментально переменилось. Вместо грусти в его глазах и на всем лице сияла озорная улыбка.

— Давай возьмем щенка,— обратился он ко мне.

— А где же его мы будем держать-то? Ведь здесь нет ни двора, ни сарая.

— Вот дурная. Да ведь породистых собак держат в комнатах. Ну и у нас он будет жить в комнате.

— А вместе с этой собакой нас с тобой из комнаты не погонят? — робко предупреждала я о возможном недовольстве нашей покупкой со стороны Гали и Кати.

Снова пробежала по лицу его тень грусти, но тут же он снова улыбнулся и стал успокаивать меня:

— Ну, а если погонят, так мы его кому-нибудь подарим. Это будет хороший подарок. Возьмем.

И, уплатив пять рублей, Сергей бережно взял из рук парня дрожащего щенка, расстегнул свою шубу и, прижав его к своей груди, запахнул полы. Так он и нес его до самого дома.

Войдя в комнату, осторожно опуская щенка на пол и по-озорному улыбаясь, он говорил: «Идем мимо Иверских. Видим: хороший щенок, и недорого. Хорошую собаку купить теперь не так просто, а эта — настоящая, породистая. Смотрите, какие у нее уши».

Он был немножко неспокоен, понимая, что, живя вчетвером в одной комнате, трудно держать собаку, и, чтобы оправдать нашу покупку, торопился доказать ее породистое происхождение. Но сказать, какой она породы, он так и не мог. К его удивлению, щенка встретили дома хорошо. Все понимали, что принес его Сергей не

потому, что он породистый, а просто ему было жаль щенка.

Вот так и появился у нас рыжий щенок, которому Сергей даже имя свое дал, и звали мы его Сережка.

Сергей был очень доволен своей покупкой и показывал его всем, кто к нам заходил, расхваливая пса на все лады.

Но прошло несколько дней, и Сережка стал вести себя как-то странно. Он скулил и лапами теребил свои длинные, отвислые уши. Когда же стали выяснять причину беспокойства пса, то выяснилась сразу и его порода: он был чистокровной дворняжкой, а уши у него отвисли потому, что были пришиты. Долго мы смеялись над этим жестоким, но остроумным жульничеством, и Сергей хохотал до слез.

Рос Сережка бестолковым, но удивительно игривым. Мы все его очень полюбили, и Сергей, иногда оторвавшись от работы, тоже любил поиграть с ним. К лету он уже был большим псом, но научить его ничему не удалось. Люди для него и свои и чужие были одинаковы, и не было смысла держать в комнате такую собаку.

Тогда Галя отправила его к своим знакомым в Тверскую губернию. Но и там его не смогли продержать долго. Он был очень озорной и дурашливый, играя, однажды откусил у коровы хвост, за что был изгнан из Тверской губернии.

Что же с ним делать? Прогнать? Пристрелить? На это никто не мог решиться. Он принадлежал Сергею, а Сергея в это время уже не было в живых. И решено было переселить его в Константиново.

Приняв собаку, отец и мать назвали его Дружок. Много неприятностей он доставлял им своей необузданной резвостью. С его появлением трудно стало загонять овец во двор, врассыпную разбегались куры. На цепь его посадить было невозможно, он не привык к ней, отказывался есть и выл дни и ночи не переставая. Так и бегал он свободно по селу, гоняясь за овцами, курами, свиньями, вызывая их поиграть с ним.

Но перепуганные животные мчались от него во весь дух к себе во двор, а рассерженная хозяйка бежала со скандалом к нам в дом. Отец с матерью терпеливо выслушивали справедливые жалобы, сочувствовали, но сделать ничего не могли. Собака была Сергея, и они полюбили ее за ее игривый, беззлобный характер.

Так и жил Сережка-Дружок у них года два. Однажды, бегая по селу, он захотел поиграть с человеком, который нес заряженное ружье. Человек не понял его намерений и пристрелил его.

В середине июня 1925 года Сергей переехал на квартиру Софьи Андреевны Толстой в Померанцевом переулке.

В 1925 году Софье Андреевне было двадцать пять лет. Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку — Льва Николаевича; властная, резкая в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении. «Душка», «душенька», «миленькая» были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке, где жизнь была простой, но шумной, здесь в мрачной музейной тишине было неуютно и нерадостно. В Померанцевом все напоминало о далекой старине: в массивных рамах портреты толстовских предков, чопорных, важных, в старинных костюмах, громоздкая, потемневшая от времени мебель, поблекшая, поцарапанная посуда, горка со множеством художественно раскрашенных пасхальных яичек и — как живое подтверждение древности — семидесятипятилетняя горбатенькая работница Марфуша, бывшая крепостная Толстых, прослужившая у них всю свою безрадостную жизнь, но сохранившая старинный деревенский выговор: «нетути», «тутати».

Серый, мрачный шестиэтажный дом. Сквозь большие со множеством переплетов окна, выходившие на северную сторону, скупо проникал свет. Вечерами лампа под опущенным над столом абажуром освещала людей, сидящих за столом, остальная же часть комнаты была в полумраке.

Квартира была четырехкомнатная. В одной из комнат жила жена двоюродного брата Сони с двумя маленькими детьми, которых редко выпускали в коридор, чтобы не шумели. Другую комнату занимала двоюродная тетя Сони, женщина лет пятидесяти, которая ходила всегда в старомодной длинной расклешенной юбке и в белой блузке с высоким воротом. Она почти не выходила из своей комнаты, и, бывая в этой квартире в течение нескольких месяцев, я лишь раза два слышала, как Соня с этой тетей обменялись несколькими фразами на французском языке.

В этой квартире жили люди кровно родные между собой, но внутренне чужие друг другу и почти не общались.

Иногда к Соне приходила ее мать — Ольга Константиновна — красивая брюнетка с проседью, с черными,

как маслины, глазами [9]. Говорила она мало и тихим голосом, как будто боясь спугнуть устоявшуюся здесь тишину.

Сергей очень любил «уют, уют свой, домашний», о котором писала ему Галя, где каждую вещь можно передвинуть и поставить как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью. Здесь, может быть, было много ценных вещей для музея, но в домашних условиях они загромождали квартиру. Сергею здесь трудно было жить.

Перебравшись в квартиру к Толстой, оказавшись с ней один на один, Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь. И чуть ли не в первые же дни женитьбы он пишет Вержбицкому:

«Милый друг мой, Коля!

Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ!

До реву хочется к тебе, в твою тихую обитель на Ходжорской, к друзьям...

С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено «великим старцем», его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня...»

Один из друзей Сергея, Юрий Николаевич Либединский, в своей книге «Современники» вспоминает: «Когда я зашел к нему, он на мой вопрос, как ему живется, ответил:

— Скучно. Борода надоела...

— Какая борода?

— То есть как это какая? Раз — борода,— он показал на большой портрет Льва Николаевича,— два — борода,— он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе со Львом Николаевичем.— Три — борода,— он показал на копию с известного портрета Репина.— Вот там, с велосипедом,— это четыре — борода, верхом — пять... А здесь сколько.— Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было несколько фотографий Льва Толстого.— Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью».

В первой половине июля Сергей уезжает в деревню, или, как мы говорили, «домой» [10]. Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома, то на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на два дня уезжал с рыбацкой артелью, километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови, удача!..», которое было написано там же, в деревне.

Вернувшись из деревни, под впечатлением этой поездки он написал стихи: «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Спит ковыль, равнина дорогая...» и «Я помню, любимая, помню...».

Находясь в деревне, Сергей написал стихотворение «Видно, так заведено навеки...», относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой.

Кольцо, о котором говорится в этом стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя, Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера, и носить такое кольцо было трудно. Но Софья Андреевна сжала его и надела между двумя своими кольцами. Красоты в этом кольце не было никакой, однако проносила она его много лет.

В конце июля Сергей и Соня уехали на Кавказ и вернулись в начале сентября.

Не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он вернулся весной. Тогда он приехал бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то, что много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания там. Но работа не утомила его, а, наоборот, прибавила энергии. Теперь он вернулся таким же, каким и уехал: усталым, нервным.

У Софьи Андреевны же было как-то тихо и чуждо. Вечера мы проводили одни, без посторонних людей, только свои: Сергей, Катя, Соня, я и Илья. Чаще других знакомых к нам заходил Наседкин и коротал с нами вечера. В то время он ухаживал за Катей, к нему хорошо относился Сергей, и Наседкин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сони и Сергея, у нас не было никого посторонних. Были все те же — Илья и Василий Федорович.

В этот вечер за ужином немного выпили вина, а затем играли в какие-то незатейливые игры. Одной из этих игр была «буриме». Игра эта заключалась в следующем: дава-

лись рифмующиеся попарно четыре или восемь слов. Нужно было составить стихотворение, окончанием каждой строки которого должно было быть одно из данных слов.

После первой попытки мы установили, что игра нам не удалась, и, посмеявшись, мы прекратили ее. Софья Андреевна со свойственной ей манерой все собирать часть этой игры сохранила в своем архиве.

Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне относился как к ребенку, ласково и нежно.

В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий.

Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза.

Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие ему показалось забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути.

Путь от Остоженки до Театральной площади довольно длинный, особенно когда едешь на извозчике. И мы принялись считать. Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался.

Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры — все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, он прогово-

рил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят...»

Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.

А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда...» и «Я красивых таких не видел...»

Однажды Сергей встретил меня с довольной улыбкой и сразу же потащил в коридор к вешалке.

— Пойди посмотри, какое я пальто купил,— говорил он, натягивая пальто на себя.

Я осмотрела Сергея со всех сторон, и пальто мне не понравилось. Я привыкла видеть брата в пальто свободного покроя, а это было двубортное, с хлястиком на спине. Пальто такого фасона только входили в моду, но именно фасон-то мне и не нравился.

— Ну и пальто! Ты же в нем похож на милиционера,— не задумываясь, высказала я свое удивление.

— Вот дурная! Ты же ничего не понимаешь,— с досадой ответил он.

Разочарованный, Сергей вернулся в комнату и о пальто не сказал больше ни слова.

С этим пальто у меня связано еще одно воспоминание. Это было уже в октябре. Все чаще и чаще шли дожди. В такую пору я однажды явилась к Сергею в сандалиях. У него были Сахаров и Наседкин. Я почувствовала себя неудобно и тихонько уселась на диване, стараясь убрать под него ноги. Но мое необычное поведение не ускользнуло от внимания Сергея, и он, приглядевшись ко мне, понял, почему я притихла.

— Подожди, подожди. Почему ты ходишь в сандалиях? Ведь уже холодно!

Пришлось сознаться, что ботинки, которые мне купили весной, стали малы.

— Так чего ж ты молчала? Надо купить другие.

И, словно обрадовавшись появившейся причине выбраться из дома, он предложил пойти всем вместе и купить мне ботинки.

Возражений не было, мы отправились в магазин «Скороход» в Столешниковом переулке. Из магазина я вышла уже в новых «румынках» на среднем каблуке. Довольная такой обновкой, я шла не чуя под собой ног.

Настроение было у всех хорошее, никому не хотелось

возвращаться сразу домой, и мы решили немножко погулять. Спускаясь вниз по Столешникову переулку, все подшучивали надо мной, расхваливали мои ботинки.

Катя с Сахаровым разыгрывали влюбленных. Так с шутками и смехом мы дошли до фотоателье, и тут кто-то предложил зайти сфотографироваться. В таком настроении мы и сфотографировались. Сахаров обнимает Катю, а мы с Сергеем играем в «сороку».

Было сделано несколько снимков, на одном из которых Сергей в шляпе и в том пальто, о котором шла речь выше. Эти снимки оказались последними в жизни Сергея.

В 1925 году мне было четырнадцать лет, но в семье меня считали еще ребенком. Такое отношение ко мне было особенно у Сергея. Я помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно».

Оберегая меня, от меня скрывали разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила, в доме было тихо и спокойно, только немножечко скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дома, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней так относится, так как обычно в таком состоянии Сергей был нетерпим к людям, которые его раздражали. И для меня было совершенной неожиданностью, когда после долгих уговоров сестры Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему.

26 ноября Сергей лег в клинику для нервнобольных, помещавшуюся на Б. Пироговской улице, в Божениновском переулке. Клиника эта скорее походила на санаторий: внизу в вестибюле стояли цветы, всюду чистота, на натертых паркетных полах лежали широкие ковровые дорожки. Отношение врачей к Сергею было очень хорошим. Ему отвели отдельную светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Кроме того, ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды ему носила Катя, но в основном это была моя обязанность.

С первых же дней пребывания в клинике Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.

В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Мариенгоф и Никритина. Я впервые видела их, так как долгое время Сергей с Мариенгофом были в ссоре и лишь незадолго до того, как Сергей лег в клинику, они помирились. Сергей не ждал их прихода, был смущен и немного

нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно.

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но уже через две недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял окончательное решение не возвращаться к Софье Андреевне и уехать из Москвы в Ленинград.

7 декабря он послал телеграмму своему другу — ленинградскому поэту В. Эрлиху: «Немедленно найди двe-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. *Есенин*».

По его планам в эти две-три комнаты вместе с ним должны были переехать и мы с Катей.

19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был очень доволен этим сообщением, он уважал Василия Федоровича и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.

И тогда же ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами. Там же, в Ленинграде, было решено отпраздновать и их свадьбу.

Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из клиники, были и раньше, но выпускали его с врачом, и он в тот же день возвращался в клинику обратно. Но на этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту.

Два дня Сергей ходил по редакциям и издательствам по делам и проститься с друзьями. Вечерами же был в Доме Герцена.

23 декабря под вечер мы сидели втроем у Софьи Андреевны: она, Наседкин и я. Часов в семь вечера пришел Сергей с Ильей. Сергей был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать как попало в чемодан. Уложенные вещи Илья, с помощью извозчиков, вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свидания», Сергей вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь.

Мы с Софьей Андреевной сразу же выбежали на балкон. Был теплый, тихий вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снег. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавли-

вали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих... После того как были размещены на санках чемоданы, Сергей сел на вторые санки. У меня вдруг к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула:

— Сергей, прощай!

Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой, помахал рукой, и санки скрылись за углом дома. Мне стало как-то невыносимо тяжело в опустевшей квартире.

Через день у меня наступили каникулы, и мы с Катей уехали домой в деревню.

Много дней подряд не переставая шел снег. В безветрии он ровным глубоким слоем лег на поля, на сельские улицы, на крыши домов. Сплошные серые облака были так низко, что, казалось, сползают на землю. Но 28 декабря как-то вдруг налетел порывистый ветер, закрутил и поднял вверх вихревыми столбами еще не слежавшийся снег с земли, а с крыш сбрасывал на землю. В воздухе все перемешалось и поднялась снежная буря.

Тоскливую, жалобную песню тянули телеграфные провода, неспокойно скрипели качающиеся деревья, временами монотонно, тревожно бил на колокольне большой колокол, помогая путникам выбраться к жилью.

Вечером этого дня отец, мать, Катя и я были дома. На улице все еще бушевала метель, с визгом бросая в стекла окон снежную пыль, но в доме у нас было тихо и тепло, керосиновая лампа мягко освещала белую лежанку, иконы в переднем углу, золотящиеся бревна стен нашего еще нового дома. Было уютно и спокойно.

Забравшись с вечера на печку, мы с Катей так там и улеглись спать. А 29-го утром мама долго будила нас. Мы никак не могли проснуться, словно предчувствуя навалившееся на нас тяжелое горе. На улице все еще бушевала метель.

Часов в одиннадцать нарочный с почты принес нам первую настораживающую телеграмму: «Сергей болен еду Ленинград *Наседкин*».

Сергей болен. Что могло случиться за пять дней, в течение которых мы не видели его? Стало тревожно, но успокаивало то, что теперь рядом с ним Василий Федорович, свой человек.

Через три часа к нам снова пришел нарочный с почты и на этот раз принес нам еще две телеграммы: одну из

Москвы от Анны Абрамовны Берзинь, которая писала: «Случилось несчастье приезжайте ко мне», и вторую от Василия Федоровича из Ленинграда с сообщением о смерти Сергея.

Дом наш наполнился плачем и суматохой. Нужно было немедленно выезжать, хотя поезд уходил с нашей станции поздно вечером, но наступали уже сумерки, а за последние дни на дороги намело горы снега, через которые нужно было пробираться до станции. Лошадь, везущая нас, по брюхо увязала в сугробах.

На следующее утро мы приехали к Анне Абрамовне втроем: мама, Катя и я. Папе пришлось остаться дома, так как нужно было найти человека, который на время похорон остался бы у нас в доме.

Приехав в Москву и узнав подробности, мы дали ему телеграмму: «Похороны завтра тридцать первого».

Смерть Сергея поразила своей неожиданностью многих людей. И сразу же стало понятно, как велика любовь народа к его творчеству. К прибытию поезда из Ленинграда с телом Сергея несколько тысяч человек пришли на Каланчевскую площадь, чтобы участвовать в траурной процессии.

Гроб с телом Сергея был установлен в главном зале Дома печати (ныне Дом журналистов) на Никитском бульваре. На решетке ограды Дома печати было протянуто большое полотно, на котором черными большими буквами написано: «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».

Всю ночь, до самого рассвета, нескончаемым потоком шли люди проститься с Сергеем. Звучит похоронная музыка, щелкают аппараты фотокорреспондентов, художники делают зарисовки, сменяется почетный караул.

По постановлению Совета Народных Комиссаров расходы по похоронам Сергея были приняты на государственный счет. Для организации похорон была избрана комиссия. В похоронах принимали участие все литературные организации, и ими был установлен маршрут, по которому следовала траурная процессия.

Туманным утром 31 декабря под звуки траурного марша на руках близких друзей гроб с телом Сергея был вынесен из Дома печати, установлен на катафалк и многотысячная процессия направилась на Страстную площадь (ныне площадь Пушкина) к памятнику Пушкину.

Участник похорон Ю. Н. Либединский в своих воспоминаниях о Есенине писал: «Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали,— это был достойный преемник пушкинской славы».

От памятника Пушкину, правой стороной Тверского бульвара, процессия направилась к Дому Герцена, где в то время были сосредоточены все литературные объединения Москвы. Здесь была вторая остановка. Председатель Союза писателей Вл. Кириллов произнес короткую прощальную речь.

Третья остановка была у Камерного театра. Струнный оркестр татар исполнил траурный марш, а артист Церетелли возложил на колесницу венок.

От Камерного театра процессия направилась к Ваганьковскому кладбищу.

После угомонившихся многодневных вьюг и метелей в этот день было тихо и по-весеннему тепло. Под ногами хлюпал талый снег. К полудню рассеялся туман и выглянуло яркое солнце, но от его тепла не растаяло наше горе.

⟨1960—1979⟩

К. П. ВОРОНЦОВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Словно гром раздался, так разнеслась по селу Константиново весть о трагической смерти нашего дорогого односельчанина Сергея Александровича Есенина.

Он происходил из крестьян села Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда и губернии. До начала ученья в сельской школе он жил с матерью у деда, отца матери. Его отец в это время находился на заработках в Москве. Позже его мать перешла жить в дом матери мужа, потому и он перешел туда. Жили они, нельзя сказать чтобы особенно бедно, но и не богато, а, вернее, ниже среднего.

В то время, когда он учился в сельской школе, учился в ней и я. Здесь и завязалась у нас с ним дружба, которая прервалась лишь с его смертью.

Среди учеников он всегда отличался способностями и был в числе первых учеников. Когда кто-нибудь не выучит урока, учитель оставлял его без обеда готовить уроки, а проверку проводить поручал Есенину.

Он верховодил среди ребятишек и в неучебное время. Без него ни одна драка не обойдется, хотя и ему попадало, но и от него вдвое. Его слова в стихах: «средь мальчишек всегда герой», «И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот», «забияки и сорванца» [1] — это быль, которую отрицать никто не может. Помню, как однажды он зашел с ребятами в тину и начал приплясывать, приговаривая: «Тина-мясина, тина-мясина». Чуть не потонули в ней. Любимые игры его были шашки, кулючки (хоронички), городки, клюшки (котлы). Увлекаясь разными играми и драками, он в то же время больше интересовался книгами. В последнем классе сельской школы была у него масса прочитанных книг. Если он у кого-нибудь увидит еще не читанную им книгу, то никогда не отступится. Обманет —

так обманет, за конфеты — так за конфеты, но все же выманит.

После окончания сельской школы и учитель, и другие настаивали, чтобы Сергея отдали в среднее учебное заведение. Отца с матерью уговорили, и они решили отдать его учиться во второклассную школу в село Спас-Клепики.

Когда он в летнее время приезжал на каникулы, то увлекался ловлей руками из нор в Оке раков и линей. В этом он отличался смелостью, ловил преимущественно в глубине, где никто не ловил, и всегда налавливал больше всех. В жаркое летнее время он просиживал в воде целыми днями. Не меньше чем этим он увлекался ловлей утят руками. За это ему один раз чуть было не попало от помещика Кулакова. Однажды пошли мы с ним ловить утят, как вдруг появились сын помещика и управляющий. Они бросились за ним, а Сергей в это время только поймал утенка и не хотел отдавать его им. Пришлось нам с ним голыми бежать по лугу, чтобы скрыться. Бывали и такие случаи, когда ребята ловят утят и никак не поймают, а он разденется, кинется в воду, и утенок его. За это ему от ребят попадало. Помню, как его товарищ Цыбин К. В. за это побил его [2]. Не был Сергей и против ловли рыбы бреднем. В этом ему тоже везло. Как ни пойдет ловить, так несет, в то время как прочие — ничего. Иногда днем приметит, кто где расставил верши (это снасти, которыми ловится рыба), а вечером оттуда повытаскает все, что там есть. Одним словом, без проделок ни на шаг.

Вечерами иногда мы игрывали в карты, в «козла». Эту игру он любил больше, чем другие картежные игры. В летнее время дома у себя он и не бывал. Как только поест или попьет, так и утекает. Спали мы с ним в одном доме, который никем не был занят. Там бывала и игра в карты.

Во время учебы во второклассной школе Сергей стал сочинять стихи, но не публиковал их. Мне в то время стихи его нравились, и я просил его, чтобы он больше писал. Помню, например, такое стихотворение:

Милый друг, не рыдай,
Не роняй слез из глаз
И душой не страдай:
Близок счастья тот час [3]
и т. д.

Стихов в то время у него было много. Они до настоящего времени не печатались.

Когда он учился в Спас-Клепиках, мне часто приходи-

лось вместе с ним ездить из дома. Я оставался в Рязани, а он, переночевав, уезжал на пароходе.

Окончив второклассную школу, он стал на жизнь смотреть серьезнее. Существовавший строй ему был не по душе. Поэтому он всегда вступал в споры против религии и в политическом отношении, надо сказать, считался неоспоримым. Еще в 1912, 1913, 1914 годах он снял с себя крест и не носил его, за что его ругали домашние. Если кто его называл «безбожником», а это слово в тогдашнее время было самым оскорбительным, он усмехался и говорил: «Дурак».

Спустя немного времени после окончания школы Сергей уехал в Москву. Поступил на службу в издательство Сытина корректором. Жизни его в Москве я не знал, но он мне писал и присылал в подарок книги [4].

Приезжал он из Москвы в последнее время в 1924 и 1925 годах и всегда посещал родных и товарищей.

Односельчане считали Сергея Есенина умным, талантливым человеком. Он отличался энергичностью, смелостью. Очень любил музыку, в особенности гармошку. Приехал однажды я к нему в Москву, как помню, в день Парижской коммуны в 1925 году. Так он почти всю Москву обегал, доставая мне гармонику, чтобы я ему сыграл. Это я говорю к тому, что к музыке деревенской он был неравнодушен. Есенин страшно любил луга и был недоволен, что луга бывшего помещика не передали гражданам села Константиново.

⟨Январь 1926⟩

Н. А. САРДАНОВСКИЙ

«НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ»

⟨...⟩

Приходилось мне во время каникул жить в доме дальнего моего родственника — священника села Константинова, Ивана Смирнова. ⟨...⟩ Необычайная приветливость его хозяев очаровывала всякого, кто туда попадал. Вот в такой-то обстановке впервые я увидел приятного и опрятного одиннадцатилетнего мальчика — Сережу, который был на два с половиной года моложе меня. Тихий был мальчик, застенчивый, кличка ему была — Серега-монах. ⟨...⟩

Примерно спустя год после нашего знакомства Сергей показал мне свои стихотворения. Написаны они были на отдельных листочках различного формата. Помнится, тема всех стихотворений была — описание сельской природы. Хотя для деревенского мальчика подобное творчество и было удивительным, но мне эти стихи показались холодными по содержанию и неудовлетворительными по форме изложения.

В то время я сам преуспевал в изучении «теории словесности», а поэтому охотно объяснил Сергею сущность рифмования и построения всяческих дактилей и амфибрахиев. Удивительно трогательно было наблюдать, с каким захватывающим вниманием воспринимал он всю эту премудрость.

И зимой и летом в каникулярное время мы с Сережей постоянно и подолгу виделись. Много времени проходило в играх: лото, крокет, карты (в «козла»). Летом он часто и ночевал с нами во втором, новом, доме дедушки. Приходилось вместе работать на сенокосе или на уборке ржи и овса. Особенно красочно проходило время сенокоса. Всем селом выезжали в луга, по ту сторону Оки; там строили шалаши и жили до окончания сенокоса. Сенокосные участки дели-

лись на отдельные крупные участки, которые передавались группам крестьян. Каждая такая группа носила название «выть» (Сергей утверждал, что это от слова «свыкаться»). ⟨...⟩

Возвращаясь с сенокоса, переедем на пароме Оку и — купаться. Отплывем подальше, ляжем на спину и поем «Вниз по матушке, по Волге...». Пел Сергей плоховато.

В числе товарищей его были: Клавдий, приемыш дедушки, и Тимоша Данилин — сын бедной вдовы, который при содействии дедушки был принят на стипендию в Рязанскую гимназию Зелятрова. Все любили этого Тимошу. Бесконечно добродушный, с широкой, нескладной фигурой, с исключительно темным цветом лица, густыми, курчавыми, черными волосами, с мясистыми губами и курносым носом, Тимоша все же был очень мил. ⟨...⟩

И другая картина мне представляется. На высоком берегу Оки, за ригой, в усадьбе дедушки, на маленькой, узенькой скамеечке в летний вечерний час сидим мы трое: в середине наш общий любимец дедушка, по краям мы с Сергеем. Необыкновенно милый старик нас поучает: «Бывает так, что мысль свою человек выскажет простыми словами, а иногда скажет человек такое слово, о котором много лет раздумываешь...» ⟨...⟩

Любили мы в то время читать произведения писателя А. И. Куприна. Дедушка выписывал журнал «Нива», а к этому журналу приложением было Полное собрание сочинений А. И. Куприна. Сергей обратил мое внимание на следующие строки в рассказе «Суламифь»: «И любил Соломон умную речь, потому что драгоценному алмазу в золотой чаше подобно хорошо сказанное слово»[1].

Сам Есенин, как видно, очень пристально следил за разговорной речью окружающих. Неоднократно он высказывал свое восхищение перед рассказчиками сказок, которые ему приходилось слушать ночами во время сенокоса. Помню и его восторг, когда получалась неожиданная игра слов в нашей компании. ⟨...⟩

В юношеские годы Сергей Есенин поражал необыкновенной памятью на стихотворные произведения: он мог наизусть прочесть «Евгения Онегина», а также свое любимое «Мцыри» М. Ю. Лермонтова.

Незадолго до начала войны с немцами (1914 г.) река Ока была запружена в Кузьминском. Течение реки прекратилось, и она сделалась намного шире. Решили мы первыми переплыть реку. На праздник Казанской (8 июля старого стиля) произвели мы пробу — как долго мы можем

продержаться на воде, произвели соответствующие расчеты, а на другой день поплыли с правого берега на левый. Плыли трое: московский реалист Костя Рович, Сергей и я. Костя был спортсмен-пловец, а мы с Сережей плавали слабо. Условия проплыва были неважные: дул небольшой встречный ветер, и вдобавок на правом берегу возле риги стоял дедушка и не особенно приветливо махал на нас дубинкой. Костя перемахнул реку легко и быстро. Вторым был Сережа, а я кое-как плыл с малой скоростью. Переплыв реку, я увидел, что Сергей сидит на отлогом песчаном откосе и отплевывается кровью, по-видимому, переутомился. Но в общем настроение было радостным. К вечеру увидел я, что он сидит между дверьми в новом доме дедушки и на гладкой сосновой притолоке что-то пишет. Оказалось, что он писал стихотворение о нашем проплыве. Стихотворение имело размер тяжелого трехстопного анапеста.

Первые строчки неплохо рифмовались так:

. . . . жизни картиновой
. . . . понесло Константиново.

А конец был такой:

Сардановский с Сергеем Есениным,
Тут же Рович Костюша ухватистый
По ту сторону в луг овесененный
Без ладьи вышли на берег скатистый.

Но, поскольку у нас, мальчишек, всегда был дух соревнования, я, недолго думая, написал пониже свое четверостишие:

То не легкие кречеты к небу вспарили,
Улетая от душного, пыльного поля.
На второй день Казанской Оку переплыли
Рабы божии — Костя, Сережа и Коля.

Исход соревнования пока был неясен, и Сергей написал еще ниже:

Когда придет к нам радость, слава ли,
Мы не должны забыть тот день,
Как чрез реку Оку мы плавали,
Когда не с... еще олень [2].

По народному поверью, на Ильин день (20 июля старого стиля) какой-то легендарный олень легкомысленно ведет

себя по отношению ко всем водоемам, так что после этого купаться уже нельзя. ⟨...⟩

В моем представлении решающим рубежом в жизни Сергея был переезд его в Москву.

Это произошло в 1913 году — на восемнадцатом году его жизни [3]. В этом же году и я, окончив среднюю школу, поступил в Московский Коммерческий институт (ныне Институт им. Плеханова). Сергей работал корректором в типографии И. Д. Сытина на Пятницкой улице и жил в маленькой комнатке в одном из домов купца Крылова — Б. Строченовский пер., д. 24. Приходилось нам с ним живать в одной комнате, а когда жили отдельно, то все же постоянно виделись друг с другом [4]. Городская жизнь, конечно, была значительно бледнее, чем деревенская.

В свободное время от работ часто бывал он у своего отца, который жил в другом доме на том же дворе. Там была «молодцовская», то есть общежитие для работников хозяина — Крылова. Отец Есенина был старшим и по молодцовской. В маленькой комнатке Есенина мы могли лишь с восторгом вспоминать о раздолье на константиновских лугах или на Оке.

Время проводили в задушевных беседах. То он с упоением рассказывал, как видел приезжавшего в типографию Максима Горького [5], то описывал, как изящно оформлял свои рукописи модный в то время поэт Бальмонт.

Часто он мне читал свои стихи и любил слушать мое любимое стихотворение «Василий Шибанов» А. К. Толстого. А мою незатейливую игру на скрипке он мог слушать без конца и особо восторгался мелодичной «Славянской колыбельной песней» композитора Неруды. Впоследствии он неоднократно предлагал мне «работать» вместе, то есть он составлял бы стихи, а я делал бы к ним музыку. ⟨...⟩

В начале своей деятельности поэта Сергей обдумывал, какое наименование ему лучше присвоить. Вначале он хотел подписываться «Ористон» (в то время были механические музыкальные ящики «Аристон») [6]. Потом он хотел называться «Ясенин», считая, что по-настоящему правильная его фамилия от слова «ясный».

Он считал, что поэт — это самая почетная личность в обществе. Горячо доказывал мне, что А. С. Пушкин бесспорно самый выдающийся человек в истории России и потому он пользуется самой большой известностью. Мне приходилось несколько охлаждать пыл своего приятеля,

и я высказывал соображения, что подчас и довольно ничтожные личности имеют большую известность, вот, к примеру, царь Николай. Обратились с вопросом к его квартирной хозяйке Матрене Ивановне, и, к нашему полному недоумению, оказалось, что про Пушкина она ничего не знает [7].

Мне помнится, что первое его стихотворение было напечатано в петербургском детском журнале «Проталинка» [8]. Полученный гонорар он целиком истратил на подарок своему отцу. Вообще в этот период я наблюдал, что отношения Сергея с отцом были вполне хорошими.

Конечно, вначале Александр Никитич неодобрительно относился к литературным занятиям Сергея, но свое мнение он высказывал без всякой резкости, а потом у него стало проскальзывать даже довольство тем обстоятельством, что его сын стал получать известность. В первые годы своей московской жизни Есенин вел довольно простой образ жизни. Частенько проводил время в молодцовской, где резался с ребятами в «козла». Любил он и наши студенческие компании. Обычно в неучебные дни мы, студенты, собирались небольшой компанией и проводили время главным образом в пении хоровых украинских песен. ⟨...⟩

К этому же времени относится учеба Сергея в университете Шанявского (этот университет назывался, кажется, народным). Мне Сергей говорил, что он посещал там исключительно лекции по литературе. Этот предмет читали наиболее видные профессора того времени: Айхенвальд, автор книги «Силуэты русских писателей», и Сакулин. Однажды взволнованный Есенин сообщил мне, что он добился того, что профессор Сакулин обещает беседовать с ним по поводу его стихов. Вскоре Сергей с восторгом рассказывал мне свои впечатления о разговоре с профессором. ⟨...⟩ Особенно одобрил он стихотворение «Выткался на озере алый свет зари...».

Между прочим, я, неспециалист в этом деле, услыхав это стихотворение, почувствовал впервые, что в стихах Есенина появляется подлинная талантливость. Однако я долго недоумевал, как мог профессор одобрить стихотворение Есенина, которое поэт посвятил мне ⟨...⟩:

Упоенье — яд отравы.
Не живи среди людей,
Не меняй своей забавы
На красу бесцветных дней [9]

и т. д. ⟨...⟩

Последняя картина моих воспоминаний такая.

В Константинове, на усадьбе дедушки, за ригой, на высоком берегу реки Оки, все на той же узенькой скамеечке сидим мы с дедушкой вдвоем. Старик одет в ветхое полукафтанье, на голове потертая бархатная скуфья, как видно, немного уже осталось жить ему на свете. «Вот, Никола,— говорит он мне,— подолгу сижу я здесь. Все вспоминаю, что было. И что будет. Всегда ношу я с собой вот эту книжицу — поминание. Всех своих родных и знакомых усопших записал. Вот записан твой отец, вот мать твоя — моя племянница Вера, братишка твой Володя, твоя сестра Анюта. А в конце, ищи и читай, записан твой приятель». Беру я это потрепанное поминание, перелистываю потемневшие странички, закапанные воском от свечей, и на одной из последних страниц читаю написанное неровным старческим почерком: «Раб божий Сергей. Сын Александра Никитича и Татьяны Федоровны Есениных. Был писателем. Скончался в Петербурге, в гостинице. На Ваганьковском кладбище похоронен». Далее дедушка добавляет: «Не стал я писать, какою смертью-то он умер. Нехорошее это дело, прости ему, господи». Что-то дрогнул голос старика, и прозрачная слезинка тихо покатилась по морщинистой щеке и затерялась в белоснежных волосах бороды. ⟨...⟩

С. Н. СОКОЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Знакомство мое с Сергеем Александровичем Есениным относится к 1910 году. Я в то время жил в соседнем селе Кузьминском. В селе Константинове я дружил с Клавдием Воронцовым, сиротой, который воспитывался в доме константиновского священника Смирнова — человека интересного и самобытного.

Как-то зайдя к Клавдию Воронцову, я застал его оживленно спорящим с бойким, задорным пареньком лет тринадцати — четырнадцати. Это и был Сергей Есенин. Припоминаю, что по внешнему виду Есенин тогда мало чем отличался от прочих константиновских ребят. Ходил он обычно в белой длинной рубахе с открытым воротом. Кепку носить не любил. В руках или под рубахой у него почти всегда была какая-нибудь книга. Это последнее обстоятельство выделяло его среди сверстников.

Встречались мы в те годы с Есениным и во время наших поездок из Константинова на учебу. На лошадях вместе ехали до Дивова, затем поездом до Рязани. Я тогда учился в Рязанской духовной семинарии. В Рязани мы расставались. Сергею надо было ехать дальше по узкоколейке в Спас-Клепики, где он занимался в церковно-учительской школе.

В 1912 году, по окончании школы в Спас-Клепиках, Есенин уехал в Москву. В это время, вплоть до 1919 года, мне с ним встречаться не приходилось. В августе 1919 года я переехал из села Кузьминского в село Константиново учительствовать.

С тех пор я встречался с Есениным почти каждое лето, когда он приезжал в село навестить отца и мать и отдохнуть в родных местах (не был он в Константинове только в 1922—1923 годах, когда выезжал за границу).

Первые годы после революции, приезжая к себе домой, Есенин был весь какой-то просветленный. Пробыв обычно несколько дней с домашними, он наведывался ко мне в школу «на огонек». Ходил по школе, вспоминая ребячьи похождения, забредал в свой класс. С любовью рассказывал о своих первых учителях Лидии Ивановне и Иване Матвеевиче Власовых.

Твердого распорядка дня Сергей Александрович не придерживался. Любил он и один побродить по лугам, и вместе с артелью порыбачить на Оке. А то пропадет: день, другой его нет. Укроется в своем любимом амбарчике (он и сейчас сохранился за домом Есениных) и пишет. Работал он, когда приезжал в Константиново, с увлечением. Здесь им были написаны многие замечательные стихи. Часто напишет новое стихотворение, просит послушать. Хорошо помню, как он читал отрывки из «Поэмы о 36»[1].

Много в нем было энергии. Любил он веселую шутку, любил нашу русскую песню. Помнится, в 1924 году как-то вечером я сидел и играл на рояле (был у нас в школе инструмент, конфискованный в революцию у каких-то помещиков). Смотрю, кто-то лезет в окно. Ба, Есенин! Спрашиваю: «Ты чего это, брат, в окно? Или дверь забыл, где находится?» А он смеется: «Так от моего дома окно ближе, чем дверь». Потом подсел ко мне. Попросил играть, а сам запел... Пел он негромко, как бы для себя, но вкладывал в песню всю душу. В этот вечер он долго пробыл у нас. Настроение у него было хорошее. Играл с моим сыном Александром. Взял его на руки и долго пестовал. В шутку сказал ему: «Вот подрастешь к будущему году, я приеду, и мы с тобой около берез побегаем». (Сыну моему тогда шел седьмой месяц.)

При встречах мы часто засиживались с Есениным допоздна. Он расспрашивал о жизни односельчан, о школе, вспоминал годы, проведенные в Константинове...

Мне приходилось неоднократно бывать свидетелем трогательной заботы Есенина о своих родителях и сестрах. В одну из моих поездок в Москву, кажется, это было в 1920 году, отец Есенина Александр Никитич просил передать письмо сыну. Я разыскал Есенина на квартире, в Богословском переулке. Он там жил вместе с Мариенгофом. Когда я пришел, Есенин усадил меня пить чай и стал расспрашивать о жизни в деревне, об отце и матери. Мариенгоф все время молчал. Его явно тяготило мое присутствие. Я передал Есенину письмо от отца[2]. Он

его тут же прочитал. Было видно, что он рад весточке от родителей. Есенин сразу написал ответ отцу. Вместе с письмом он передал деньги, которые просил ему вручить.

Вторично в Москве моя встреча с Есениным произошла на квартире у Галины Бениславской (в Брюсовском переулке) в день Парижской коммуны — 18 марта 1925 года. В этот день мы, трое односельчан — я, Клавдий Воронцов и Сергей Брежнев, приехав в Москву, решили навестить Есенина. Предварительно позвонили ему по телефону. К телефону подошла Екатерина Александровна. На мой вопрос, дома ли Есенин, она сказала, что его дома нет, и поинтересовалась, кто его спрашивает. Когда же узнала, что звонят константиновские, то попросила подождать минутку. Через некоторое время к телефону подошел Есенин. Он очень обрадовался нам и велел немедленно приезжать и обязательно захватить с собой гармошку. При всем желании гармошки нам разыскать не удалось, мы пришли без нее. Есенин встретил нас в коридоре. Обнимая, провел в комнату и начал хлопотать вместе с сестрами, как бы лучше угостить земляков.

Пока мы сидели, подошли Леонид Леонов, Всеволод Иванов и какие-то дамы. В необычной для нас обстановке мы почувствовали себя немного стесненными. Это быстро заметил Есенин и все внимание уделил землякам, стремясь сделать наше пребывание у него по-домашнему простым. Есенину в тот вечер очень хотелось попеть и послушать гармошку. Он позвонил кому-то, и вскоре гармошку привезли. Долго в этот вечер мы пели русские песни и наши рязанские частушки.

Последний раз мы встречались с Есениным летом 1925 года. В один из погожих дней мы отправились веселой компанией в Кузьминское, на шлюз. Были тут и однокашники Есенина по Константиновской школе, и наши учителя, и просто отдыхающие дачники. Шумная процессия растянулась по дороге. Есенин приотстал. Я подошел к нему, и всю дорогу до шлюза мы шли вместе. Есенин был сосредоточен и, как мне показалось, чем-то удручен. Какие-то заботы и грустные думы одолевали его.

Разговор зашел о литературе, о писательской среде. Есенин заговорил о недоброжелательном отношении к его творчеству со стороны некоторых критиков и части писательской среды. «Все травят меня, донимают мелочными укусами, не дают спокойно работать. Что я им сделал?» —

говорил он. Потом заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах и даже процитировал:

Тяжелое детство мне пало на долю.
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачки людской [3].

Есенин слушал внимательно, а потом сказал:

— Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин — вот истинно русская душа, вот где вершины поэзии.

Было немного странно смотреть на этого до глубины души русского человека, шагающего в модном заграничном костюме по пыльной деревенской дороге.

И еще осталось от этой беседы ощущение того, что жизнь нашего земляка в столице — не из легких.

В Кузьминском мы пробыли до вечера. Возвращались домой всей гурьбой. Есенин дурачился вместе с нами, пел частушки. Чувствовалось, что в эту минуту грустные думы отлегли у него от сердца.

Запомнилась еще одна встреча в этот приезд Есенина. Как-то под вечер мы сидели у Клавдия Воронцова. Пришел и Есенин. Мы попросили его почитать стихи. Он охотно согласился, ибо такими просьбами односельчане его редко донимали. Как это ни покажется сейчас странным, но так получалось, что Есенин, стихи которого уже тогда переводились на иностранные языки, в своем родном селе был как поэт мало известен. Все здесь смотрели на него как на односельчанина, наезжающего летом погостить из города. Нам, местным учителям, даже не пришло в голову шире познакомить константиновцев с поэзией Есенина. Ни разу не устроили мы и литературного вечера, когда он бывал в селе. Говорить об этом теперь приходится с болью, сожалением и грустью. Кто знает, может быть, видя такое «внимание» к своему творчеству со стороны нас, односельчан, Есенин временами с грустью думал о том, что:

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен [4].

⟨1956⟩

Е. М. ХИТРОВ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Всем интересующимся современной литературой должно быть известно имя поэта Сергея Есенина. По силе и яркости таланта Есенин занял почетное место среди первоклассных современных поэтов и первенствующее положение в изображении деревни, сельского быта и природы. Он еще молод (ему не должно быть более тридцати лет), и нам неизвестны границы развития его таланта. Но уже сделанные им заслуги перед русской литературой заставляют остановиться над его биографией, позволяющей проследить за ходом и условиями его художественного роста.

Мне лично известен тот период его жизни, когда он учился в Спас-Клепиковской второклассной школе, где я как учитель русского языка следил за его работой и руководил его литературными занятиями. Учился он в нашей школе с 1909 по 1912 год — всего три года. Отличительною особенностью его характера было — жизнерадостность, веселость и даже какая-то излишняя смешливость и легкомыслие. Усидчивостью и аккуратностью в исполнении школьных работ не отличался, а постоянными разговорами и смехом среди урока вызывал часто неудовольствие и порицания. Но обижаться на него было нельзя. Шутки его были невинны, к тому же всякое порицание он обезоруживал чистосердечным раскаянием и общею мягкостью и нежностью своего характера. Вдобавок в искупление своей вины — глядь, уже несет какое-нибудь свое стихотворение на просмотр.

Стихи он начал писать с первого года своего пребывания в школе. Я удивлялся легкости его стиха. Однако в первые два года мало обращал внимания на его литературные упражнения, не находя в них ничего выдающегося. Писал он коротенькие стихотворения на самые обыденные темы.

Более серьезно занялся я им в третий, последний год его пребывания в школе, когда мы проходили словесность.

Стихи его всегда подкупали своею легкостью и ясностью. Но здесь уже в его произведениях стали просачиваться и серьезная мысль, и широта кругозора, и обаяние поэтического творчества. И все-таки я не предвидел того громадного роста, которого достиг талант С. Есенина... Мешало рассмотреть и то, что в нашей школе у Есенина среди его товарищей-однокурсников были сильные соперники в поэтическом творчестве. Из них наиболее выдающимся был некто Е. Тиранов, рабочий с Великодворского завода. У Тиранова муза была мрачная, скорбная, стих тяжеловатый, занимали его более гражданские темы. Произведения его были обширны по объему, простираясь до поэм, но мысли в них кипели, чувство клокотало. Помещая здесь несколько стихотворений, написанных Есениным в стенах нашей школы, я привожу заодно самое короткое по объему стихотворение Тиранова для сопоставления [1]. Для школьных работников такое сопоставление может представлять интерес. Не знаю, где теперь Тиранов и как сложилась судьба его. Говорят, что он уехал куда-то в Сибирь и слуху о нем нет.

Есенин же, как мне кажется, попал в условия благоприятные для развития его таланта. До меня доходили слухи, что он в Москве или в Ленинграде, то он работает в университете Шанявского, то в типографии при редакции журнала «Нива» [2]. Скоро он выделился как писатель особенно даровитый. Уже через четыре года по окончании нашей школы, а именно в 1916 году, он прислал мне первый сборник своих стихов, названный им «Радуница» [3], и этот сборник был встречен критикой очень сочувственно [4]. Затем последовали другие сборники, и теперь он уже общепризнанный выдающийся поэт-крестьянин.

Среди трех помещаемых ниже стихотворений Есенина одно написано им по случаю посещения нашей школы епархиальным наблюдателем Рудинским. Факт сам по себе незначительный. Обыкновенная казенная ревизия казенного человека. Казенная похвала молодого поэта, сделанная по просьбе нас, учителей. Стихотворение это показывает, какой отзвук эта похвала вызвала в душе Есенина. К нам, постоянным своим учителям, он уже привык, и на него мало действовали наши похвалы и порицания. Но отзыв свежего, стороннего человека проник до глубины души его.

Просматривая сейчас списки выпускного класса спас-клепиковской второклассной школы за 1912 год, не могу удержаться, чтобы не сообщить, как наша школа официально аттестовала Есенина. Аттестация у него была самая

элементарная, без всяких характеристик, лишь при помощи цифр пятибалльной системы. И вот мы видим, что в 1912 году вместе с Есениным окончили курс нашей школы шестнадцать человек. У четверых почти все пятерки, у двоих почти все четверки, и у остальных десяти четверки чередуются с тройками. Есенин принадлежит ко второй группе. У него все четверки, кроме пения и церковнославянского языка [5]. Большое значение имела графа «поведение». С четверкой в поведении кому-либо мы ни разу не составляли журнала: все равно журнал не получил бы утверждения со стороны епархиального учительского совета. В ведомости выпускного класса 1912 года в графе «поведение» все ученики имеют круглые пятерки за исключением одного Сергея Есенина, у которого стоит пять с двумя минусами.

25 февраля 1924 г.

В СПАС-КЛЕПИКОВСКОЙ ШКОЛЕ

⟨...⟩ Село Спас-Клепики — торговое. Здесь еженедельно собирались большие базары. Родители учеников, желая повидаться со своими детьми, обычно приноравливали поездки к базарным дням. В такие дни наши ученики один за другим отпрашивались «на базар», то есть повидаться с родственниками. Есенин, приезжал ли кто к нему или не приезжал, непременно шел на базар и там пропадал надолго.

За школьной усадьбой протекала маленькая речка Совка, и наши ученики зимой устраивали на ней каток. Есенин любил кататься. Как только кончались уроки, он направлялся на каток и там оставался до ночи, пропускал обед, чай — все забывал.

Стихи Есенин начал писать в первый год своих занятий. Об этом говорили его товарищи по классу. Но мне он стал приносить их только со второго года обучения. В школе было много стихотворцев, некоторые были чрезвычайно плодовиты, закидывали меня ворохами своих «произведений». Часто приходилось принимать особые меры, чтобы умерить их пыл, особенно когда чувствовалась охота смертная, да участь горькая. Поэтому и Есенина я слегка поощрял, но относился к его стихам поначалу сдержанно. Стихи его были короткими, сначала все на тему о любви. Это мне не особенно нравилось. А на другие темы стихи

были, как мне казалось, бессодержательными. К тому же главные свои занятия по литературе и стилистике я относил к третьему году обучения.

Вот тогда Есенин и выдвинулся среди других школьных стихотворцев.

Он стал особенно усердно заниматься литературой. Занятия его были шире положенной программы. Он много читал. Особенно он любил слушать мое классное чтение. Помню, я читал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие произведения в течение нескольких часов, но обязательно все целиком. Ребята очень любили эти чтения. Но, пожалуй, не было у меня такого жадного слушателя, как Есенин. Он впивался в меня глазами, глотал каждое слово. У него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном. Сам я очень любил Пушкина. Пушкиным больше всего занимался с учениками, читал его, разбирал и рекомендовал как лучшего учителя в литературе. Есенин полюбил Пушкина. В начале года он подражал разным писателям, ни на чем долго не останавливаясь. Мне долго казалось, что его произведения легкомысленны, представляют собой лишь набор рифмованных предложений без поэтического значения. Но уже одно то, что он легко справлялся с рифмой и ритмом, выделяло его из среды товарищей.

Первое произведение, которое меня поразило у Есенина, было стихотворение «Звезды». Помню, я как-то смутился, будто чего-то испугался. Несколько раз вместе с ним прочел стихотворение. Мне стало совестно, что я недостаточно много обращал внимания на Есенина. Сказал ему, что стихотворение это мне очень понравилось, что его можно даже напечатать.

Вскоре к нам в школу приехал со своей обычной ревизией епархиальный наблюдатель Рудинский. Я показал ему стихотворение Есенина. Рудинский в классе, при всех расхвалил поэта и дал ему несколько советов. В результате этого у Есенина появилось новое стихотворение «И. Д. Рудинскому».

Обладая хорошими способностями, Есенин порой к занятиям готовился на ходу, прочитывая задания в перемену. За хорошими ответами не гонялся. Большинство же его товарищей были более усидчивы и исполнительны. Вот над теми, кто был особенно усерден и прилежен, он часто прямо-таки издевался. Иногда дело доходило до драки. В драке себя не щадил и часто бывал пострадавшим. Но никогда не жаловался, тогда как на него жаловались часто. Бывало,

приходят и говорят: «Есенин не дает заниматься». Вхожу в класс поговорить с ним. Где он? Никто не знает. Проходит некоторое время. Все уже успокоились. Но вот в моей квартире отворяется дверь, и тихо входит кто-то. Оказывается, это Есенин с листком бумаги. На листке стихи. Конечно, мое дело начать с «проборции»: «Стихи стихами, а зачем людям заниматься мешаешь?» Смиренно молчит, всегда молчит. В конце концов мы примиряемся, и он вылетает из квартиры снова радостный, светлый.

У нас был обычай: выпускной класс фотографировался вместе с учителями на память. У меня таких снимков много. Но нет фотографии выпуска 1912 года. Класс был недружный. Однако Есенин снялся с выпуском 1911 года, то есть за год до своего окончания. Эта фотография у меня сохранилась.

Есенин приносил мне много своих стихотворений, которые я складывал в общий ворох ученических работ. Все они были написаны на отдельных листках. Перед окончанием Есениным нашей школы я попросил его переписать стихи в отдельную тетрадь. Есенин принес мне одну тетрадь с четырьмя стихотворениями. Я сказал, что этого мало. Тогда он принес еще тетрадь с пятью стихотворениями. Эти две его тетради у меня сохранились [6]. Есть в них и поразившие меня когда-то «Звезды».

Когда Есенин окончил курс и мы с ним расставались, я ему советовал поселиться в Москве или в Питере и там заниматься литературой под чьим-нибудь хорошим руководством. Совет мой он принял и выполнил, и я довольно скоро имел удовольствие читать его стихи в «Ниве» [7]. Еще большее удовольствие он мне доставил тем, что прислал мне первый свой сборник стихов «Радуница» с надписью: «Доброму старому учителю Евгению Михайловичу Хитрову от благодарного ученика, автора этой книги». Но я оказался слишком невежлив и неделикатен. Он от меня не получил ни ответа ни привета. Как это случилось — до сих пор не даю себе отчета... Есенин, конечно, обиделся на меня. И все-таки в 1924 и 1925 годах он присылал мне поклоны с кем-нибудь из знакомых. Обещал даже приехать в Спас-Клепики. Летом 1925 года он приезжал к себе на родину в село Константиново и, когда уехал оттуда, снова прислал мне поклон и сожаление, что не заехал в Спас-Клепики.

А. Р. ИЗРЯДНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Познакомилась я с С. А. Есениным в 1913 году, когда он поступил на службу в типографию товарищества И. Д. Сытина в качестве подчитчика (помощника корректора). Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов (умер в 1914 году), писал ему хорошие письма, ободрял его, просил не бросать писать.

Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать — они нехорошие. Посещали мы с ним университет Шанявского. Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить.

Первые стихи его напечатаны в журнале для юношества «Мирок» за 1913—1914 годы [1].

В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. «Москва неприветливая — поедем в Крым». В июне он едет в Ялту, недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одно другого грознее письма [2], что делать, я не знала. Пошла к его отцу просить, чтобы выручил его, отец не замедлил послать ему денег, и Есенин через несколько дней в Москве. Опять безденежье, без работы, живет у товарищей.

В сентябре поступает в типографию Чернышева-Кобелькова, уже корректором. Живем вместе около Серпуховской заставы, он стал спокойнее. Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете «Новь», журналах «Парус», «Заря» и других [3].

В конце декабря у меня родился сын [4]. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: «Ты пой ему больше песен». В марте поехал в Петроград искать счастья. В мае этого же года приехал в Москву, уже другой. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал: «Еду в Петроград». Звал с собой... Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго».

В январе 1916 года приехал с Клюевым. Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаха и желтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: «Под пятой, пятой хоть яйцо кати». Читали они стихи в лазарете имени Елизаветы Федоровны, Марфо-Марьинской обители и в «Эстетике» [5]. В «Эстетике» на них смотрели как на диковинку...

В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

— У тебя есть печь?

— Печь, что ли, что хочешь?

— Нет, мне надо сжечь.

Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?»

Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он в своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным. Когда все сжег, успокоился, стал чай пить и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уже много работал.

...Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: «Что? Почему?» — говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Просил не баловать, беречь сына.

⟨1926⟩

Г. Д. ДЕЕВ-ХОМЯКОВСКИЙ

ПРАВДА О ЕСЕНИНЕ

⟨...⟩

Нужно оставить вздорный вымысел, утверждающий, что Есенин пришел в Питер прямо из рязанских сел.

Поэт, прежде чем попасть в цепкие лапы питерских барынь, испытал горькую долю крестьянского самородка-писателя.

Появился он в Москве весной 1912 года.

Он приехал из деревни, без гроша денег и пришел к поэту С. Н. Кошкарову-Заревому.

Сергей Николаевич тогда был председателем Суриковского кружка писателей.

Привело Есенина к т. Заревому, близкому другу и ученику т. Бонч-Бруевича, желание найти пути в литературу.

Литературная буржуазная Москва встретила холодно белокурого смельчака.

Некоторое время он жил у Кошкарова и посещал собрания кружка писателей.

В 1912 году кружок являлся самой мощной организацией пролетарско-крестьянских писателей ⟨...⟩

Деятельность кружка была направлена не только в сторону выявления самородков-литераторов, но и на политическую работу.

Лето после Ленских расстрелов было самое живое и бурное. Наша группа конспиративно собиралась часто в Кунцеве, в парке бывшем Солдатенкова, близ села Крылатского, под заветным старым вековым дубом.

Там, под видом экскурсий литераторов, мы впервые и ввели Есенина в круг общественной и политической жизни.

Там молодой поэт впервые стал публично выступать со своим творчеством.

Талант его был замечен всеми собиравшимися.

Решено было его устроить куда-либо на службу.

После ряда хлопот его устроили через социал-демократическую группу в типографию бывшую Сытина на Пятницкой улице [1].

Сережа был очень ценен в своей работе на этой фабрике не только как работник экспедиции, но и как умелый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы [2].

Заработок дал ему возможность окрепнуть и обосноваться в Москве.

Первые его литературные опыты поместили в детских журналах «Мирок» и «Доброе утро».

Фабрика с ее гигантскими размахами и бурливой живой жизнью произвела на Есенина громадное впечатление. Он был весь захвачен работой на ней и даже бросил было писать. И только настойчивое товарищеское воздействие заставляло его время от времени приходить в кружок с новыми стихами.

Правда, стихи его по содержанию были далеки от общественного движения. В них было много сказочного, былинного, но не было революционного порыва. Вот, примерно, одно из неизданных его стихотворений:

Пряный вечер. Гаснут зори.
По траве ползет туман.
У плетня на косогоре
Забелел твой сарафан.

В чарах звездного напева
Обомлели тополя.
Знаю, ждешь ты, королева,
Молодого короля [3].

и т. д.

У Есенина образ крестьянского плетня переплетался с образами «королев и королей». Он удивительно был заражен, очевидно, в детстве литературой из этой области.

Главными мотивами его стихов все же были деревня и природа.

Он удивительно схватывал картины природы и преподносил их в ярких образах.

В течение первых двух лет Есенин вел непрерывную работу в кружке.

Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник. В годы 1913—1914 он был чрезвычайно близок кружковой общественной работе,

занимая должность секретаря кружка. Он часто выступал вместе с нами среди рабочих аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны с значительным риском.

В это же время в кружок вошел и другой талантливый поэт Ширяевец [4]. Он писал нам из далекой Южной Азии, где он работал в почтовой конторе одной из станций железной дороги в качестве телеграфного монтера, и стремился в Москву.

Не имея лишних средств, кружок все же решил в это время заняться издательством. 〈...〉

Издательская работа подвигалась трудно. Есенина волновало последнее обстоятельство. После ряда совещаний мы написали теплые письма известному критику, тогда социал-демократу Л. М. Клейнборту, приложив рукописи Есенина, Ширяевца и ряда других товарищей [5].

Л. М. Клейнборт откликнулся. Обещал активное содействие молодым писателям и поместил обстоятельную статью в «Современном мире» [6]. 〈...〉

В конце 1914 года было решено издавать журнал «Друг народа», который должен был повести борьбу с человеческой бойней, борьбу за интернациональное объединение трудящихся [7].

В августе социал-демократическая группа выпустила литературное воззвание против войны. Есенин написал небольшую поэму «Галки», в которой отобразил ярко поражение наших войск, бегущих из Пруссии, и плач жен по убитым.

Есенин был секретарем журнала и с жаром готовил первый выпуск. Денег не было, но журнал выпустить необходимо было. Собрались в редакции «Доброе утро». Обсудили положение и внесли по 3—5 руб. на первый номер.

— Распространим сами,— говорил Есенин.

Выпущено было воззвание о журнале, в котором говорилось: «Цель журнала быть другом интеллигента — народника, сознательного крестьянина, фабричного рабочего и сельского учителя...» Этим хотели привлечь всех тех, кто, как нам казалось, хотя в малой степени был настроен против войны.

Есенина тяготило безденежье кружка. Он стал выказывать некоторую нервозность. Сданная в печать его поэма «Галки» была конфискована еще в наборе [8].

Из Ленинграда ему слали хвалебные письма. Но все же первый номер «Друг народа» был выпущен.

В нем поэт поместил стихотворение «Узоры», в котором вылилась вся накипевшая грусть поэта по убитым:

Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых — красные цветы...
и т. д.

После выхода первого номера, в конце декабря 1914 года на одном из литературных собраний Есенин встречается с петроградскими писателями [9]. Они учли способность Есенина, и, к нашему огорчению, наш молодой поэт, забрав у нас «на дорогу», «махнул» в Питер — искать «счастья». ⟨...⟩

⟨1926⟩

Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ

ЕСЕНИН

Я познакомился с Есениным зимой 1915 года в Московском народном университете им. Шанявского.

Университет Шанявского был для того времени едва ли не самым передовым учебным заведением страны.

Широкая программа преподавания, лучшие профессорские силы, свободный доступ — все это привлекало сюда жаждущих знания со всех концов России.

И кого только не было в пестрой толпе, наполнявшей университетские аудитории и коридоры: нарядная дама, поклонница модного Юлия Айхенвальда, читавшего историю русской литературы XIX века, и деревенский парень в поддевке, скромно одетые курсистки, стройные горцы, латыши, украинцы, сибиряки. Бывали тут два бурята с кирпичным румянцем узкоглазых плоских лиц. Появлялся длинноволосый человек в белом балахоне, с босыми ногами, красными от ходьбы по снегу.

На одной из вечерних лекций я очутился рядом с миловидным пареньком в сером костюме. Он весь светился юностью, светились его синие глаза на свежем лице с девически-нежной кожей, светились пышные волосы, золотистыми завитками спускавшиеся на лоб.

Лекция кончилась. Не помню, кто из нас заговорил первый, но только через минуту мы разговаривали, как старые знакомые.

Юноша держался скромно и просто. Доверчивая улыбка усиливала привлекательность его лица.

Он рассказал, что работает корректором в издательстве Сытина, пишет стихи и печатается в журналах для детей. В доказательство он раскрыл пахнущий свежей краской номер журнала. Стихи мне понравились. Были в них какие-то необычные изгибы и повороты поэтической фразы. Под стихами стояла подпись: «Сергей Есенин».

Вокруг нас, двигаясь к выходу, шумела публика. Мы тоже вышли из аудитории и продолжали разговор в коридоре.

Есенину было лет девятнадцать с чем-то, он был моложе меня только года на полтора, но казался мне почти мальчиком. ⟨...⟩

Из шанявцев-литераторов Есенин, по его словам, никого не знал.

— Познакомился здесь только с поэтом Николаем Колоколовым,— говорил он,— бываю у него на квартире. Сейчас он — мой лучший друг.

Когда Есенин назвал фамилию Колоколова, у меня мелькнула мысль, не тот ли это Николай Колоколов, вместе с которым два года назад мы были исключены из Владимирской духовной семинарии за забастовку? [1]

Действительно, это был он, в чем я убедился, отправившись на другой день по адресу, который дал мне Есенин.

Когда нас уволили из семинарии, Колоколову было шестнадцать лет. За полудетский облик товарищи назвали его Колокольчиком. За два года он почти не изменился и даже не вырос,— по крайней мере, семинарская тужурка с выцветшим голубым кантом была ему еще впору. По-прежнему задорно торчал над его лбом клок белокурых волос. Прежними оставались в нем и холодноватые голубые глаза, которым противоречил горячий характер.

Маленькая, узкая комнатка, которую занимал Колоколов, была завалена дешевыми журналами, рукописями, полосками бумаги.

— Вот поступил учиться в университет Шанявского,— весело рассказывал он,— только все некогда на лекции ходить. Много пишу.

И начал показывать номера журналов со своими стихами, рассказами, литературными обозрениями, рецензиями:

— Берут все и даже деньги платят!..

Пришел раскрасневшийся от холода Есенин, разделся и повесил пальто на гвоздик. Было видно, что здесь он чувствует себя своим человеком.

Перед этим Колоколов получил гонорар и решил по случаю встречи устроить маленький пир. На столе красовались разные вкусные вещи, лежали хорошие папиросы.

За окном глухо гудела и возилась огромная многолюдная Москва, а у нас по-домашнему мурлыкал самовар, располагая к дружеским разговорам. Колоколов и я вспомнили Владимир, семинарию, товарищей. Есенин сказал:

— А знаете, ведь и я — семинарист.

До приезда в Москву из Рязанской губернии он тоже учился в семинарии, только не в духовной, а в учительской. И говорил он по-рязански мягко, певуче.

Перелистывая книжку «Журнала для всех», Есенин встретил в ней несколько стихотворений Александра Ширяевца,— стихи были яркие, удалые. В них говорилось о катанье на коньках, на санках, о румяных щеках и сахарных сугробах. Есенин загорелся восхищением [2].

— Какие стихи! — горячо заговорил он.— Люблю я Ширяевца! Такой он русский, деревенский!

Оказалось, что Есенин печатается не только в детском «Мирке» и «Добром утре». Он писал лирические стихи, пробовал себя в прозе и, по примеру Колоколова, тоже печатался в мелких изданиях.

Говорили о журналах, редакторах и редакторских требованиях. Самой жгучей темой тогдашней журнальной литературы была война с Германией. Ни один журнал не обходился без военных стихов, рассказов, очерков. Не могли остаться в стороне от военной темы и мои приятели.

Наутро Колоколов накупил в соседнем киоске свежих газет и журналов. В одном еженедельнике или двухнедельнике мы нашли статью Есенина о горе обездоленных войной русских женщин, о Ярославнах, тоскующих по своим милым, ушедшим на фронт [3]. Помнится, статья, построенная на выдержках из писем, так и называлась: «Ярославны». Кроме нее в номере были есенинские стихи «Грянул гром, чашка неба расколота...», впоследствии вошедшие в поэму «Русь», тоже проникнутую сочувствием к солдатским матерям, женам и невестам [4].

Искренние и сердечные строки молодого поэта выгодно отличались от ура-патриотических стихов многих именитых авторов. ⟨...⟩ Органически, кровно Есенин был связан с тем миром, из которого он вышел, с полевым привольем, с деревней. И живя в большом городе, впитывая его культуру, Есенин оставался певцом этого родного ему мира. Он писал о сенокосах, цветистых гулянках, рекрутах с гармошками. Говорил:

— Напишу книжку стихов под названием «Гармоника». В ней будут отделы: «Тальянка», «Ливенка», «Черепашка», «Венка».

Как-то среди разговора о стихах Есенин сказал:

— Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси.

И спросил меня:

— А ты как?

Мои тогдашние стихи тоже были о деревне, о родине. Стихи Есенину были близки. Нас роднила любовь к на-

родному творчеству, к природе, к меткому и образному деревенскому языку.

Комната Колоколова на некоторое время стала моим пристанищем. Приходил Есенин. Обсуждались литературные новинки, читались стихи, закипали споры. Мои приятели относились друг к другу критически, они придирчиво выискивали один у другого неудачные строки, неточные слова, чужие интонации. Оба горячились, наскакивали друг на друга, как два молодые петуха, готовые подраться!

По-прежнему встречал я Есенина и в университете, а иногда мы с ним бродили по улице. С просторной Миусской площади, где находился наш университет, к Тверской вели тихие улицы и переулки с галками на седых деревьях за заборами и с ярлычками о сдаче комнат в окнах домов. Было приятно шагать по нешироким тротуарам, дышать зимним воздухом и разговаривать.

Чуть ли не в самом начале нашего знакомства Есенин сказал мне о своем намерении переселиться в Петроград. Мы шли по Тверской, мимо нас мчались лихачи, проносились, отсвечивая черным лаком, редкие автомобили. Есенин говорил:

— Весной уеду в Петроград. Это решено.

Ему казалось, что там, в центре литературной жизни, среди борьбы различных течений, легче выдвинуться молодому писателю. Звал с собой и меня:

— Поедем? Вдвоем в незнакомом городе легче, веселее. А денег достанем, заработаем...

Он словно предчувствовал свой будущий успех. Было жаль расставаться с этим славным юношей, с которым у нас завязались такие хорошие отношения. Но Петроград нисколько не манил меня,— и я промолчал. Есенин же, должно быть, принял мое молчание за согласие и стал всерьез считать меня товарищем предстоящего путешествия за славой и признанием.

Запомнилось, как в другой раз, сойдясь в университете, мы с Есениным пошли в буфетную комнату, где всегда было много народу. Помешивая ложечкой чай, Есенин говорил кому-то из подсевших к нам знакомых:

— Достану к весне денег и поеду в Петроград. Возьму с собой Семеновского...

Здесь, в буфетной комнате, я читал Есенину свою поэму.

Была она не лучшим моим творением, но я гордился тем, что ее перепечатала из «Старого владимирца» какая-то другая провинциальная газета. Есенину поэма, должно

быть, тоже нравилась, по крайней мере, при удачных строках он издавал одобрительные восклицания и его глаза сияли.

К этому времени Есенин знал, кажется, всех литераторов-шанявцев. То были люди разных возрастов, вкусов, взглядов.

Самым авторитетным среди них считался автор социальных поэм Иван Филипченко, человек в пенсне, с тихим голосом и веским словом. Молодой брюнет с живыми, улыбчивыми глазами на матовом тонком лице, Юрий Якубовский был художником и поэтом. Писали стихи: сибиряк Янчевский и приехавший из Баку Федор Николаев, сын крестьянина с Урала Василий Наседкин и дитя богемы, голубоглазая, с желтыми локонами, падавшими из-под бархатного берета, Нелли Яхонтова.

Среди этой компании Есенин сразу получил признание. Даже строгий к поэтам непролетарского направления Филипченко, пренебрежительно говоривший о них: «Мух ловят»,— даже он, прочитав за столиком буфетной комнаты свежие и простые стихи Есенина, отнесся к ним с заметным одобрением.

Обаяние, исходящее от Есенина, привлекало к нему самых различных людей. Где бы ни появлялся этот симпатичный, одаренный юноша, всюду он вызывал у окружающих внимание и интерес к себе. За его отрочески нежной наружностью чувствовался пылкий, волевой характер, угадывалось большое душевное богатство.

Жил Есенин у дальних родственников.

Однажды вечером мы с Колоколовым зашли за ним, чтобы куда-то вместе пойти. 〈...〉

Понизив голос и опасливо поглядывая на дверь, которая вела в хозяйскую половину, Есенин говорил, что давно уехал бы отсюда, но хозяева заняли у него крупную сумму денег и не отдают.

— Вот и живу тут!..

Втроем мы ходили фотографироваться. По дороге Есенин оживленно говорил:

— Нам надо издать коллективный сборник стихов. Выпустим его с нашими портретами и биографиями. Я берусь это устроить.

Снялись мы пока на общей карточке, отложив фотографирование для задуманного сборника на будущее.

Сборники писателей из народа с портретами и биографиями авторов были тогда в ходу. Издавали их сами авторы в складчину. Наиболее крупным объединением писателей

из народа был литературно-музыкальный кружок имени Сурикова. Выяснилось, что Есенин хорошо знаком с суриковцами.

Он повел меня к ним и познакомил с председателем кружка поэтом С. Кошкаровым, дородным мужчиной в очках с золотой оправой.

Был солнечный мартовский день — и мы от Кошкарова пошли к жившему в Замоскворечье гусляру-суриковцу Ф. А. Кислову.

— Хороший старик,— говорил по пути Есенин.— Я у него бывал. Ласковый такой!..

Дул влажный, совсем весенний ветер. По-весеннему гулко гремели и звонили трамваи.

На извозчичьих стоянках стаи голубей клевали вытаявший навоз. Разомлевшие от горячего солнца извозчики в толсто наверченных длиннополых кафтанах, сидя на облучках санок, лениво переговаривались, а их взлохмаченные лошадки дремали над подвязанными к мордам торбами с овсом.

Есенин разрумянился от ходьбы, от весеннего воздуха. Расстегнув верхние пуговицы зимнего пальто и сдвинув на затылок круглую шапку с плисовым верхом, он щурился от солнца, от ослепительно блестевшего снега с синими тенями и что-то напевал.

На крыльце одноэтажного дома мы позвонили. Нас встретил седобородый старичок в длинном сюртуке. Он весь лучился добротой, радушием. Увидев Есенина, обрадовался:

— Сережа, милости просим!..

Раздевшись в прихожей, мы попали в небольшой зал. Солнце пробивалось сквозь кисейные занавески и листву комнатных цветов, клало на стены и крашеный пол золотые пятна. От рисунчатых изразцов по-зимнему натопленной печи веяло жаром. Гусли были большие, стояли на черной лакированной подставке. Музыкант уселся на табуретку, старчески негнувшимися пальцами прикоснулся к зазвеневшим струнам, взял аккорд и слегка дребезжащим голосом запел:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Песни, которые исполнялись Ф. А. Кисловым, Суриковский кружок издал отдельной книжечкой с портретом старого гусляра на обложке.

Добрый старик дал нам по книжечке на память.

Перебирая струны, он предложил Есенину:

— Хочешь, Сережа, научу тебя играть на гуслях?

Были в репертуаре гусляра и старинные русские песни, и плач Иосифа Прекрасного, и псалом царя Давида, переложенный в стихи Димитрием Ростовским. Была в книжечке и песня о гуслярах, написанная, видимо, кем-то из поэтов-суриковцев:

Гусли-самогудочки звонко-голосистые,
Спойте-ка мне песенку, что былой порой
Струны ваши тонкие, звуки ваши чистые
Разносили по полю, по земле родной...

Пока мы слушали музыку, в соседней комнате, где блестели серебряные оклады божницы, румяная старушка, жена гусляра, ставила на стол чайную посуду, тарелки с нарезанным пышным и румяным пирогом...

Простившись с хлебосольными хозяевами, мы вышли на улицу и вскочили на подножку проходящего трамвая.

В почти пустом вагоне Есенин встретил знакомого, тоже, кажется, суриковца — везло нам в этот день на встречи с ними. Это был юноша рабочего вида, поэт Устинов. Сидя напротив нас, он доверительно рассказывал Есенину о своих делах. Напечатал первую книжку стихов, и тут же за нецензурность она была конфискована. Удалось спасти только несколько экземпляров.

Есенин посочувствовал поэту. А в вагоне так пахло хмельным воздухом весны, что и сам Устинов не мог долго печалиться о конфискованной книжке. С улыбкой махнул рукой и пошел к выходу.

Он сошел, а мы поехали на Арбат. Пустой вагон мотался и гремел, за полуоттаявшими окнами проплывали здания, вывески, фонари, прохожие.

Мы решили навестить Юрия Якубовского. Жил он вместе с молодой женой Марианной и недавно родившейся дочкой.

В студенческой комнате Якубовских было много развешанных по стенам рисунков работы хозяина, занимавшегося живописью, и совсем мало мебели. Все же кое-как уселись. Марианна видела Есенина впервые и захотела познакомиться с его стихами. Есенин начал читать. И оттого ли, что в его сердце все еще звенела весенняя радость, или от сочувственного внимания слушателей, читал он охотно и много. Его не приходилось упрашивать. Прочитав одно стихотворение, Есенин тут же переходил к другому.

— Он пел, как птица,— говорил потом Якубовский, вспоминая наше посещение.

Ходили мы на творческие собрания сотрудников журнала «Млечный Путь». Этот маленький литературно-художественный журнал, издававшийся поэтом-приказчиком А. М. Чернышевым, стал для многих начинающих авторов путем в большую литературу.

Алексей Михайлович Чернышев был замечательным человеком. Весь свой заработок он тратил на журнал. Сам тоже писал стихи. Его брат, художник Николай Михайлович, украшал журнал рисунками и был одним из виднейших знатоков фрески.

Сотрудники журнала получали корреспондентские билеты с русским и французским текстом.

Печатались в журнале молодые безымянные писатели. Среди них Есенин был едва ли не самым юным, и все собиравшиеся в редакции «Млечного Пути» относились к нему особенно любовно и ласково.

Сидя за большим столом, поэты и беллетристы читали свои произведения. Читал и Есенин:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло [5].

Светла была душа поэта. Верилось, что ни одно облачко не омрачает ее.

Подчас Есенин казался проказливым мальчишкой. Беспричинное веселье так и брызгало из него. Он дурачился, делал вид, что хочет кончиком галстука утереть нос, сочинял озорные частушки.

То ли в шутку, то ли всерьез ухаживал за некрасивой поэтессой, на собраниях садился с ней рядом, провожал ее, занимал разговором. Девушка охотно принимала ухаживания Есенина и, может быть, уже записала его в свои поклонники.

Но однажды мы вчетвером — Есенин, Колоколов, я и наша поэтесса — сидели в гостях у поэта Ивана Коробова. Хозяин зачем-то вышел, оставив в комнате нас одних. Мы знали, что наша спутница считает себя певицей и кто-то из нас попросил ее спеть. Девушка запела. Слушать ее было невозможно. Голос у певицы был носовой, слух отсутствовал.

Мои приятели, прячась за стоявший на столе самовар и закрывая лицо руками, давились от смеха.

Я боялся, что их неуместная веселость бросится певице в глаза. Но, увлеченная пением, она ничего не замечала — и романс следовал за романсом.

Через несколько дней девушка пригласила поэтов «Млечного Пути» к себе.

— Завтра у меня день рожденья, приходите!

Пошли Есенин, Колоколов, Николаев и я.

Сидели за празднично убранным столом. Старшая сестра поэтессы познакомилась с нами и скромно ушла в соседнюю комнату. Бутылка легкого вина повысила наше настроение. Виновница торжества светилась радостным оживлением, мило улыбалась и обносила гостей сладким пирогом. С ней произошла волшебная перемена. Куда девалась ее некрасивость! Она принарядилась, казалась женственной, похорошевшей.

Футурист-одиночка Федор Николаев, носивший черные пышные локоны и бархатную блузу с кружевным воротником, не спускал с нее глаз. Уроженец Кавказа, он был человек темпераментный и считал себя неотразимым покорителем женских сердец. Подсев к девушке, Николаев старался завладеть ее вниманием. Я видел, что Есенину это не нравится.

Когда поэтесса вышла на минуту в комнату сестры, он негодующе крикнул Николаеву:

— Ты чего к ней привязался?

— А тебе что? — сердито ответил тот.

Произошла быстрая, энергичная перебранка. Закончилась она тем, что Есенин запальчиво бросил сопернику:

— Вызываю тебя на дуэль!

— Идет,— ответил футурист.

Драться решили на кулаках.

Вошла хозяйка. Все замолчали. Посидев еще немного, мы вышли на тихую заснеженную улицу. Шли молча. Зашли в какой-то двор с кучами сгребенного снега, смутно белевшими в ночном сумраке.

Враги сбросили с плеч пальто, засучили рукава и приготовились к поединку. Колоколову и мне досталась роль секундантов.

Дуэлянты сошлись. Казалось, вот-вот они схватятся. Но то ли снежный воздух улицы охладил их пыл, то ли подействовали наши уговоры, только дело кончилось примирением.

После этой несостоявшейся драки я понял, что ласково улыбавшийся рязанский паренек умеет и постоять за себя. 〈...〉

Переселение Есенина в Петроград совершилось без меня. Мы встретились уже после революции. 〈...〉

Приехав в начале 1919 года в Москву, я решил зайти

в издательство ВЦИК, чтобы повидаться с работавшим там Б. А. Тимофеевым.

Был яркий морозный денек. Москва тонула в сугробах. На улице попадалось много народу. Пестрели полушубки, солдатские шинели, шапки-ушанки, мешки. Плотно утоптанный снег звонко скрипел под ногами прохожих. Зеркальные стекла витрин на Тверской разрисовал мороз.

В издательство я попал к концу рабочего дня. Тимофеев сидел за своим секретарским столом и писал. Его студенческую шинель сменила кожаная куртка. В годы войны он работал в санитарном фронтовом отряде. Написал первый в русской литературе роман о мировой войне «Чаша скорбная». После февральского переворота ездил в Иркутск освобождать ссыльных революционеров. Вернувшись в Москву, участвовал в октябрьских уличных боях.

После первых же приветственных слов Тимофеев протянул мне книгу в пестром ситцевом переплете:

— Это, брат, мы выпустили «Пролетарский сборник». Тут есть и твои стихи [6].

И послал меня получать гонорар. Из-за позднего времени денег мне не выдали, и Тимофеев повел меня к себе на квартиру. Дорогой сказал, что живет вместе с Гусевым-Оренбургским и Сергеем Есениным. На мои расспросы о Есенине ответил, что он нигде не служит и живет стихами.

В переулке, выходившем на Тверскую, мы вошли в подъезд большого дома и по лестнице поднялись наверх. На звонок дверь открылась, и я увидел Есенина. Это он и впустил нас в квартиру. Есенин сразу узнал меня, несмотря на мою кроличью шапку, валенки, башлык и короткую ватную тужурку, в которой я имел вид какого-то рекрута.

— Ты одеваешься под деревенского парня,— одобрительно сказал Есенин.

— А это что за крест у тебя на щеке? — спросил он о давнишнем шраме, будто впервые заметив его.

Сам он очень возмужал. Широкогрудый, стройный, с легким румянцем на щеках, он выглядел сильным и здоровым. Есенин показал мне свою комнату. В ней стояли койка, стул с горкой книг на сиденье. На стене я увидел нашитый на кусок голубого шелка парчовый восьмиконечный крест. Служил ли он простым украшением или выполнял другое назначение, я не спрашивал.

Тогдашние стихи Есенина были насыщены церковными словами. Он пользовался ими для того, чтобы говорить о революции. Тут были и Голгофа, и крест, и многое другое.

Скоро в стихах Есенина появились иные метафоры, и, может быть, крест на стене был последним его увлечением церковностью.

Тимофеев оставил нас вдвоем. Мы вспомнили знакомых поэтов. Я спросил о Сергее Клычкове. Есенин сообщил, что с Клычковым жил в одной комнате. Рассказал о приезжавшем в Москву Николае Колоколове. Он находился теперь в родном селе, откуда я иногда получал от него письма с новыми стихами.

Я напомнил Есенину о его юношеской повести «Яр», печатавшейся в 1916 году в журнале «Северные записки». Мне хотелось спросить Есенина, откуда он так хорошо знает жизнь леса и его обитателей? Но Есенин только рукой махнул и сказал, что считает повесть неудачной и решил за прозу больше не браться.

— Читать люблю больше прозу, а писать — стихи.

— Что же ты сейчас читаешь?

— Моление Даниила Заточника.

Разговор перешел на Иваново, на мои дела.

— Говорят, что ты ругал меня в ивановской газете? — спросил Есенин.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю вот.

Оказалось, что в Иванове живут родственники жены Есенина, от них он и узнал о моих писаниях в «Рабочем крае». В рецензии на «Голубень» я писал, что строчка: «Смерть в потемках точит бритву» — вызывает у меня представление о парикмахерской. Впрочем, должно быть, моя критика не задела Есенина.

— А кто это у вас написал на меня пародию? — спросил он.

Автором пародии был тоже я.

— А ну, почитай!

Я начал:

Слава в вышних богу,
Деньгам на земле!
Стало понемногу
Туже в кошеле.

Есенин обиженно перебил:

— Неужели ты думаешь, что я пишу из-за денег?

Я продолжал:

Разве я Есенин?
Я — пророк Илья.
Стих мой драгоценен.
Молодчина я!

Читая, чувствовал, что моей пародии не хватает остроты.

Во время чтения в прихожей раздался звонок. К Есенину пришел гость, поэт Анатолий Мариенгоф.

По просьбе Есенина я еще раз прочитал пародию. Прослушав ее, Мариенгоф сказал:

— Нет, Сережа, трудно тебя пародировать. Ты — сам на себя пародия.

Он звал Есенина в кафе, где по вечерам поэты выступали со стихами. Есенин сначала было согласился, но потом раздумал:

— Лучше я посижу сегодня дома, поработаю.

Мариенгоф ушел. Стемнело. Включили свет.

Есенин сидел за столом и готовил для издательства ВЦИК сборник стихов. Он наклеивал страницы своих прежних книжек на чистые бумажные полосы и складывал их в стопку.

Работа спорилась. Я смотрел, как Есенин с угла на угол проводит кисточкой с клеем по изнанке страницы и, наложив мокрый листок на чистую бумагу, разглаживает его ладонью.

Он хотел дать новому сборнику длинное стилизованное название: «Слово о русской земле» и еще как-то дальше [7].

Покончив с работой, Есенин взял лежавшую на столе книжку. Это был сборник стихов Н. Клюева «Медный кит». Он прочел первые попавшиеся на глаза строки:

Низкая, деревенская заря,—
Лен с берестой и с воском солома.
Здесь все стоит за царя
Из Давидова красного дома.

Есенин усмехнулся:

— Ах, Николаша! Никак он не может обойтись без царя!

Закрыв книжку, он заговорил о том, что теперь, после революции, нельзя писать по-старому. О новом нужно говорить новыми словами.

— Вот и Клычков пробует писать по-новому,— сказал Есенин. 〈...〉

Мы простились, и я отправился на вокзал.

И снова я около четырех лет не видал Есенина. 〈...〉

〈1958〉

Н. Н. ЛИВКИН

В «МЛЕЧНОМ ПУТИ»

Впервые я встретился с Есениным в 1915 году в редакции московского журнала «Млечный Путь». Это был ежемесячный журнал, где охотно печатали молодых. Больше всего там было стихов. Отнес туда три своих стихотворения и я, тогда студент Московского университета. Стихи были напечатаны, и я был включен в список постоянных сотрудников.

Редактором и издателем «Млечного Пути», первый номер которого вышел в январе 1914 года, был Алексей Михайлович Чернышев. Самоучка, не получивший в школьные годы даже начального образования, он рано начал писать стихи. Самостоятельно занимаясь своим образованием, он вступил в кружок «Писатели из народа», а затем стал выпускать свой журнал, вкладывая в него бескорыстно порядочные средства и все свое свободное время.

В 1915 году в литературном отделе журнала сотрудничали: И. Бурмистров-Поволжский, Спиридон Дрожжин, Николай Колоколов, Иван Коробов, Надежда Павлович, Дм. Семеновский, Евгений Сокол, Игорь Северянин, П. Терский, Илья Толстой, Федор Шкулев. Еще в 1914 году с рассказом «На вахте» в журнале выступил А. С. Новиков-Прибой, в 1915 году Н. Ляшко опубликовал в «Млечном Пути» свои короткие рассказы «Казнь», «На дороге», «Степь и горы». Свое доброе слово журнал сказал о молодом Маяковском.

В начале 1915 года в «Млечном Пути» появляется стихотворение Есенина «Кручина» [1], а затем — «Выткался на озере алый свет зари».

Молодежь, группировавшаяся вокруг журнала, весьма охотно посещала литературные «субботы» «Млечного Пути». Они проходили обычно живо и интересно.

За столом писатели, поэты, художники, скульпторы, артисты. Все, кто хотел, могли прийти на эти «субботы», и всех ждал радушный прием. Читали стихи и рассказы, обменивались мнениями, спорили, беседовали о новых книгах, журналах, картинах.

На одной из «суббот» меня познакомили с очень симпатичным, простым и застенчивым, золотоволосым, в синей косоворотке пареньком.

— Есенин,— сказали мне.

Я уже читал его стихи, напечатанные в «Млечном Пути», и они мне понравились.

В этот вечер Есенин принес новые стихи. Читал тихо, просто, задушевно. Кончив читать, он выжидающе посматривал. Все молчали.

— Это будет большой, настоящий поэт! — воскликнул я.— Больше всех нас, здесь присутствующих.

Есенин благодарно взглянул на меня.

Однажды, поздно вечером, мы шли втроем — я, поэт Николай Колоколов и Есенин — после очередной «субботы». Есенин возбужденно говорил:

— Нет! Здесь в Москве ничего не добьешься. Надо ехать в Петроград. Ну что! Все письма со стихами возвращают. Ничего не печатают. Нет, надо самому... Под лежачий камень вода не течет. Славу надо брать за рога.

Мы шли из Садовников, где помещалась редакция, по Пятницкой. Остановились у типографии Сытина. В 1913—1914 годах Есенин работал здесь помощником корректора. Говорил один Сергей:

— Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет...

Мы расстались. А на следующий день он уехал. И все вышло так, как он говорил. Славу он завоевал... Блок, а затем Городецкий оценили его стихи с первой встречи, помогли «встать на ноги». Уже в апреле 1915 года стихи Есенина появились в столичных журналах. За первыми публикациями последовали другие, а затем и отдельный сборник «Радуница».

Мне трудно вспомнить сейчас, при каких обстоятельствах однажды в моих руках оказался «Новый журнал для всех», издаваемый в Петрограде, где было стихотворение Есенина «Кручина», до этого напечатанное в «Млечном Пути».

Должен заметить, что в те годы я относился к «Новому журналу для всех» особенно ревностно. Еще в 1910 году, когда я, ученик реального училища далекого провинциаль-

ного городка Уральска, напечатал в местной газете свои первые стихи, мне выписали «Новый журнал для всех». Я читал его запоем. Он очень много дал мне для общего развития и литературной учебы. Я мечтал, чтобы мои стихи напечатали в этом журнале. Как-то я набрался смелости и послал их. Ответ пришел скоро. В нем был подробный отзыв о моих стихах и указаны недостатки. Шло время. Я приехал в Москву, поступил в университет, стал печататься в журналах и альманахах «Сполохи», «Огни», «Млечный Путь», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» и в других. Но по-прежнему не оставлял я свою мечту о «Новом журнале для всех», продолжая посылать туда свои стихи. Увы! Безрезультатно! Когда я увидел в этом журнале стихи Есенина, уже знакомые мне по «Млечному Пути», я сгоряча, ни о чем толком не подумав, заклеил в конверт несколько своих и чужих стихотворений, напечатанных в «Млечном Пути», и послал их в редакцию «Нового журнала для всех». При этом я написал, что это, очевидно, не помешает вторично опубликовать их в «Новом журнале для всех», так как напечатанные в нем недавно стихи Есенина тоже были первоначально опубликованы в «Млечном Пути». К сожалению, в тот момент я думал только о том, чтобы мои стихи попали наконец в дорогой моему сердцу журнал. И совсем упустил из виду, что вся эта история может подвести Есенина. В то время вторично печатать уже опубликованные стихи считалось неэтичным.

И действительно, мое письмо поставило Есенина в несколько стесненное положение перед редакцией «Нового журнала для всех», он был мной незаслуженно обижен.

Можно было бы не вспоминать об этом прискорбном для меня случае, если бы не одно важное обстоятельство.

Я уже забыл о злополучном своем письме, проводил летние каникулы в родном Уральске. Вдруг получаю письмо от редактора «Млечного Пути» А. М. Чернышева, поразившее меня, как гром. В это время, при активном содействии Чернышева, готовилась к изданию моя первая книга стихов — «Инок». Анонсы о ней уже появились в журналах и газетах.

Узнав о выходе моей книги, Есенин прислал Чернышеву письмо, в котором сообщал, что если Ливкин и дальше, после своего неблаговидного поступка, будет оставаться в «Млечном Пути», то он печататься в журнале не будет и просит вычеркнуть его имя из списка сотрудников [2].

Еще более взволнованно и резко по поводу моей необдуманной выходки он говорил с Чернышевым при встрече

в Москве. Правда, в конце разговора он немного отошел. Обо всем этом и сообщил мне Чернышев. «Есенин,— писал он,— очень усиленно убеждал меня не издавать в М. П. («Млечном Пути».— *Н. Л.*) Вашу книгу, но, когда натолкнулся на мое решительное противодействие, перестал меня убеждать, и в конце концов мы с ним договорились до того, что... если бы вы первый написали ему и выяснили все это недоразумение, он с удовольствием пошел бы Вам навстречу по пути ликвидации этого неприятного инцидента. Я с своей стороны очень советовал бы Вам непосредственно списаться с ним, ведь Вам делить нечего...»

Надо ли говорить, что я немедленно написал письмо Есенину с извинениями и объяснениями. Неожиданно для себя я получил от Есенина товарищеское, дружески откровенное письмо. Оно и обрадовало, и успокоило, и взволновало меня. Оно открыло мне многое в Есенине, его характере, поступках, отношении к окружающим, взглядах на литературу. Из письма я узнал впервые, какой далеко не безоблачной была поначалу жизнь Есенина в Петрограде. Собственно, ради этого письма, бесконечно для меня дорогого, я и вспоминаю всю эту грустную для меня историю с «Новым журналом для всех». Письмо Есенина датировано: «12 августа 16 г.» «Сегодня я получил Ваше письмо... Мне даже смешным стало казаться, Ливкин, что между нами, два раза видящих друг друга, вышло какое-то недоразумение, которое почти целый год не успокаивает некоторых. В сущности-то ничего нет. Но зато есть осадок какой-то мальчишеской лжи, которая говорит, что вот-де Есенин попомнит Ливкину, от которой мне неприятно. Я только обиделся, не выяснив себе ничего, на вас за то, что вы меня и себя, но больше меня, поставили в неловкое положение. Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как, может быть, никогда, мне приходилось питаться на 3—2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мережковские, гиппиусы и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке, по вокзалам, не мог не перепечатать стихи... Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, отпихивал. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто, сколько мне нужно, из их кошельков. Но я презирал их и с деньгами, и со всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них, поэтому решил перепечатать просто стихи старые, которые для них все равно были неизвестны.

Сейчас уже утвердившись во многом и многое осветив с другой стороны, что прежде казалось неясным, я с удовольствием протягиваю Вам руку примирения перед тем, чего между нами не было, а только казалось, и вообще между нами ничего не было бы, если бы мы поговорили лично... Вообще между нами ничего не было, говорю вам теперь я, кроме опутывающих сплетен. А сплетен и здесь хоть отбавляй и притом они незначительны. Ну, разве я могу в чем-нибудь помешать вам как поэту? Да я просто дрянь какая-то после этого был бы, которая не литературу любит, а потроха выворачивает...»[3]

Казалось бы, после этого письма все встало на свое место. Но должен сказать откровенно, что я никогда не мог простить себе сам своего необдуманного поступка.

Что же касается моей мечты о «Новом журнале для всех», то я так и не попал на его страницы...

Прошли многие годы. Есенин стал большим, известным поэтом. Как-то в Доме Герцена, где в этот вечер выступали мы, члены Союза поэтов, я встретился с Есениным. Он первый узнал меня и протянул руку.

— А, Ливкин! — сказал он и пристально посмотрел в глаза. Ни слова не сказав мне больше, он спустился вниз, где был буфет.

Начался вечер. Мы, выступавшие, сидели в президиуме. Появился Есенин. Ему указали место за столом. Но он махнул отрицательно рукой и не сел, а как-то упал на стул в первом ряду. «Как он будет выступать в таком состоянии?» — подумал я. А публики было много. Имя Есенина на афише привлекло небывалое количество слушателей. Но я волновался недолго. Когда дошла очередь до Есенина, он встал, вышел на эстраду, пошатнулся и начал! Он читал прекрасно. Все по памяти. С большим чувством, мастерски, читал много, долго, словно предчувствовал, что это последнее его выступление в Доме Герцена.

⟨1965⟩

Л. М. КЛЕЙНБОРТ

ВСТРЕЧИ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

⟨...⟩

Познакомился я с Есениным весной 1915 года. Но еще до того я знал о нем.

«Издательская работа подвигалась трудно,— пишет о суриковцах Деев-Хомяковский.— Есенина волновало это обстоятельство. После ряда совещаний мы написали теплые письма известному критику Л. М. Клейнборту, приложив рукописи Есенина, Ширяевца и ряда других товарищей» [1]. С Ширяевцем, заброшенным в одну из наших дальних окраин, я уже состоял в переписке. Об Есенине же я слышал в первый раз.

По совету С. Н. Кошкарова, у которого он жил, Есенин и сам переслал мне тетрадь своих стихов. Он писал мне, что родом он из деревни Рязанской губернии, что в Москве с 1912 года, работает в типографии Сытина; что начал он с частушек, затем перешел на стихи, которые печатал в 1914 году в журналах «Мирок» и «Проталинка». Позднее печатался в журнале «Млечный Путь» [2]. Когда возник «Друг народа» — двухнедельный журнал Суриковского кружка, С. Д. Фомин мне писал: «В редакционную комиссию избраны: Кошкаров, Деев, Фомин, Есенин, Щуренков и др.». Наконец в январе 1915 года я получил и первый номер журнала со стихами Есенина «Узоры».

Первое представление о Есенине связалось у меня, таким образом, с суриковцами. И не об одном Есенине. О Клюеве существует мнение, что до «Сосен перезвон» он не печатался; его же стихи либо устно, либо в списках переходили из местности в местность. Однако это не так. Клюев получил крещение там же, где Есенин, только пораньше, и не в «Друге народа», а в «Доле бедняка» [3]. Я напомнил как-то об этом самому Клюеву. Он смотрел на меня так, точно я о нем открывал ему вещи, которых он сам не знал. Нет, это было так. Ширяевец, в свою очередь,

начинает с того, что вступает в Суриковский кружок. В том же «Друге народа» помещены и его стихи.

Все это не удивительно. Но вот что удивительно: ни стихов Клюева, ни стихов Ширяевца тех лет не выделишь из всей груды виршей, которыми заполнялись все эти издания. И то же должно сказать о тетради, присланной мне Есениным. Ничто, почти ничто не отличало его от поэтов-самоучек, певцов-горемык. Чтобы дать представление о ней, привожу одно из них. Речь идет о девушках в светлицах, что вышивают ткани в годину уже начавшейся войны:

Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный — принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локон впуталась луна.
В трепетном мерцанье, в белом покрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна [4].

И другие стихи были не лучше, например «Пороша», «Пасхальный благовест», «С добрым утром!», «Молитва матери», «Сиротка», «Воробышки» [5]. Без сомнения, лучшее из них было «Сыплет черемуха снегом...», напечатанное позднее в «Журнале для всех» (1915, № 6) [6], затем «Троицыно утро, утренний канон...». Что говорило о будущем Есенина в этих стихах — это местный колорит, местные рязанские слова. Недаром этих стихотворений поэт не ввел впоследствии ни в один из своих сборников, насколько мне известно *.

— Лев Максимович? — обратился ко мне паренек, подходя со стороны калитки: совсем юный, в пиджаке, в серой рубахе, с галстуком, узкоплечий, желтоволосый. Запахом ржи так и пахнуло от волос, остриженных в кружок.

— Есенин,— сказал он своим рязанским говорком.

* Стихи эти появились лишь в четвертом томе собрания сочинений, вышедшем уже после того, как были написаны мои «Встречи» [7].

Я сидел в саду своего загородного дома в Лесном. Тихие сумерки уже заволакивали и скамейку, на которой я сидел, и калитку, в которую он вошел. Но в воздухе, сухом и легком, ничто еще не сдавалось, и звонок был крик диких птиц где-то в высоте.

— Вы обо мне писали в «Северных записках» [8].

Синие глаза, в которых было больше блеска, чем тепла, заулыбались.

Я поднял на него глаза. Черты лица совсем девичьи. В то время как волосы его были цвета ржи, брови у него были темные. Он весь дышал здоровьем... Не успел он, однако, сесть, как откуда-то взялась моя собака, с звонким лаем кинувшись на него.

— Трезор! — прикрикнул я. Но это лишь раззадорило ее.

— Ничего,— сказал он, не тронувшись с места. Затем каким-то движением привлек собаку к себе и стал с ней на короткой ноге.

— Собака не укусит человека напрасно.

Он знал, видимо, секрет, как подойти к собаке. Более того, он знал и секрет, как расположить к себе человека. Через короткое время он уже сидел со мной на балконе, тихий сельский мальчик, и спрашивал:

— Круглый год здесь живете?

— И зимой, и летом.

— В городе-то душно уже.

Потом сочувственно:

— Житье здесь! Воздух легкий, цветочки распускаются.

Ему здесь все напоминало деревню.

— У нас теперь играют в орлянку, поют песни, бьются на кулачки.

Во всем, что он говорил, было какое-то неясное молодое чувство, смутная надежда на что-то, сливавшаяся с молодым воздухом лета. Хотя он происходил из зажиточной (крестьянской) семьи, помощи от родных, видимо, у него не было. Приехал на средства кружка. Но что кружок мог ему дать? Очевидно, уверенности, что не уедет назад, у него не могло быть.

Он рассказывал мне об университете Шанявского, в котором учился уже полтора года, о суриковцах, о «Друге народа», о том, что он приехал в Петроград искать счастья в литературе.

— Кабы послал господь хорошего человека,— говорил он мне прощаясь.

Опять пришел: выходила ему какая-то работа, нужна была связь. И вот он рассчитывал тут на меня. Принес несколько брошюр, только что вышедших в Москве,— сборничков поэтов из народа, отчеты университета Шанявского и секции содействия устройству деревенских и фабричных театров, ряд анкет, заполненных писателями из народа. Принес и цикл своих стихов «Маковые побаски», затем «Русь», еще что-то.

— На память вам,— сказал он. Но мысль у него была другая.

Я предложил ему их самому прочесть. Читал он нараспев, не глядя на меня, как читают частушки, песни. Читал и сам прислушивался к ритму своих стихов. Стихи уже резко отличались от тех, которые я знал. Суриковцы, вообще говоря, грешили против непосредственности, исходя из образцов, данных Кольцовым, Никитиным, Суриковым. Есенин же здесь уже не был поэтом-самоучкой. Правда, кольцовское еще звучало в «Маковых побасках». «Ах, развейтесь кудри, обсекись коса,//Без любви погинет девичья краса...» [9] Это было еще под лубок. Однако в молодых таких стихах была травяная свежесть какая-то.

Я передал часть из них М. К. Иорданской, ведавшей беллетристическим отделом в «Современном мире», часть Я. Л. Сакеру, редактору «Северных записок». Сказал об Есенине и М. А. Славинскому, секретарю «Вестника Европы», мнение которого имело вес и значение в журнале. «Северные записки» взяли все стихи, «Современный мир» — одно [10]. Это сразу окрылило его. 〈...〉

Затеяв работу о читателе из народа * — работу, опубликованную целиком уже в годы революции,— я разослал ряд анкет в культурно-просветительные организации, библиотеки, обслуживавшие фабрику и деревню, в кружки рабочей и крестьянской интеллигенции. Объектом моего внимания были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Гл. Успенский. Разумеется, я не мог не заинтересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин, и предложил ему изложить свои мысли на бумаге, что он и сделал отчасти у меня на глазах.

Он, без сомнения, уже тогда умел схватывать, обобщать то, что стояло в фокусе литературных интересов. Но читал

* См.: Клейнборт Л. Русский читатель-рабочий. Ленинград, Изд. Губ. Проф. Совета, 1924.

он, в лучшем случае, беллетристов. И то, по-видимому, без системы. Так, Толстого он знал преимущественно по народным рассказам, Горького — по первым двум томам издания «Знания», Короленко — по таким вещам, как «Лес шумит», «Сон Макара», «В дурном обществе». Глеба Успенского знал «Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд». Еще хуже было то, что он не любил теорий, теоретических рассуждений.

— Люблю начитанных людей,— говаривал он, обозревая книжные богатства, накопленные на моих книжных полках.

А вслед за тем:

— Другого читаешь и думаешь: неужели в своем уме?

Он всем существом был против «умственности». Уже в силу этого моя просьба не могла быть ему по душе. Однако он то и дело углублялся в сад, лежа на земле вверх грудью то с томом Успенского, то с томом Короленко. За ним бежал Трезор, с которым он был уже в дружбе. Правда, пишущим я его не видел. Все же, однако, он мне принес наконец рукопись в десять — двенадцать страниц в четвертую долю листа [11]. 〈...〉

Писал же он вот что.

О Горьком он отзывался как о писателе, которого не забудет народ. Но в то же время убеждения, проходившего через писания многих и многих из моих корреспондентов, что Горький человек свой, родной человек, здесь не было и следа. В отзыве бросалась в глаза сдержанность. Так как знал он лишь произведения, относящиеся к первому периоду деятельности Горького, то писал он лишь об их героях — босяках. По его мнению, самый тип этот возможен был «лишь в городе, где нет простору человеческой воле». Посмотрите на народ, переселившийся в город, писал он. Разве не о разложении говорит все то, что описывает Горький? Зло и гибель именно там, где дыхание каменного города. Здесь нет зари, по его мнению. В деревне же это невозможно.

Из произведений Короленко Есенину пришлись по душе «За иконой» и «Река играет», прочитанные им, между прочим, по моему указанию. «Река играет» привела его в восторг. «Никто, кажется, не написал таких простых слов о мужике»,— писал он. Короленко стал ему близок «как психолог души народа», «как народный богоискатель».

В Толстом Есенину было ближе всего отношение к зем-

ле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало — это «превосходство земледельческой работы над другими», которое проповедовал Толстой, религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счеты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем кардинально. Но оригинальнее всего он отозвался об Успенском. По самому воспроизведению деревни он выделял Успенского из группы разночинцев-народников. Как сын деревни, вынесший долю крестьянина на своих плечах, он утверждал, что подлинных крестьян у них нет, что это воображаемые крестьяне. В писаниях их есть фальшь. Вот у Успенского он не видел этой фальши. Особенно пришелся ему по вкусу образ Ивана Босых. Он даже утверждал, что Иван Босых — это он. Ведь он, Есенин, был бы полезнее в деревне. Ведь там его дело, к которому лежит его сердце. Здесь же он делает дело не свое. Иван Босых, отбившись от деревни, спился. Не отравит ли и его город своим смрадным дыханием!

Повторяю, все это было малограмотно, хаотично. Но живой смысл бил из каждого суждения рыжего рязанского паренька. 〈...〉

〈1926〉

А. А. БЛОК

ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ПИСЕМ

9 марта 1915 г.

⟨...⟩ Днем у меня рязанский парень со стихами.

Крестьянин Рязанской губ.. 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915 [1].

Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш *А. Блок* [2]

P. S. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу [3]. Посмотрите и сделайте все, что возможно.

22 апреля 1915 г.

Весь день брожу, вечером в цирке на борьбе, днем у Философова, в «Голосе жизни». Писал к Минич и к Есенину. ⟨...⟩

Дорогой Сергей Александрович.

Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем.

Вам желаю от души остаться живым и здоровым.

Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее.

Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло [4].

Будьте здоровы, жму руку.

Александр Блок.

21 октября 1915 г.

Н. А. Клюев → в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо.

25 октября 1915 г.

Вечер «Краса» (Клюев, Есенин, Городецкий, Ремизов) — в Тенишевском училище.

3 января 1918 г.

Иванову-Разумнику — статьи.— В «Вечернем часе» ответ на анкету — Сологуба, Мережковского и мой [5]. Занятно! — В «Знамени труда» — мои стихи «Комета» (NB — список сотрудников!).— На улицах плакаты: все на улицу 5 января [6] (под расстрел?).— К вечеру — ураган (неизменный спутник переворотов).— Весь вечер у меня *Есенин.* ⟨...⟩

4 января 1918 г.

О чем вчера говорил Есенин (у меня).

Кольцов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев — средний — «и так и сяк» (изограф, слова собирает), а я — младший (слова дороги — только «проткнутые яйца») [7].

Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия).

(Интеллигент) — как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят (жест наверх; вообще — напев А. Белого — при чтении стихов и в жестах, и в разговоре).

Вы — западник.

Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами.

Из богатой старообрядческой крестьянской семьи — рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет.

Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве (опять ответ на мои мысли — о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов — не настоящее, застывшее.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ТЕНИШЕВСКАГО УЧИЛИЩА

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25-го ОКТЯБРЯ 1915 Г.,

ВЕЧЕРЪ

„КРАСА“

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ. Зачальное присловье. Ржаные лики.

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ. Слово.

СЕРГѢЙ ЕСЕНИНЪ. Русь. Маковые побаски.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВЪ. Бесѣдный наигрышъ. Избяные пѣсни.

АЛЕКСАНДРЪ ШИРЯЕВЕЦЪ
СЕРГѢЙ КЛЫЧКОВЪ
ПАВЕЛЪ РАДИМОВЪ
Триродница. Прочтетъ А. Бел. Ков-[illegible]

Рязанскія и заонежскія частушки, прибаски, канавушки, веленки и страданія (подъ ливенку)

Начало въ 8½ час. вечера.

Билеты въ кассѣ зала, у Вольфа (Невскій, 13 и Гостиный Дв. 18), Попова (Невскій, 66). Центральной театральной кассѣ (Невскій 23), Сытина (Невскій, 68).

Никогда не нуждался.

Есть всякие (хулиганы), но нельзя в них винить народ.

Люба: «Народ талантливый, но жулик».

Разрушают (церкви, Кремль, которого Есенину не жалко) только из озорства. Я спросил, нет ли таких, которые разрушают во имя высших ценностей. Он говорит, что нет (т. е. моя мысль тут впереди?).

Как разрушают статуи (голая женщина) и как легко от этого отговорить почти всякого (как детей от озорства).

Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа; тут мы общими силами выяснили) [8].

[Ремизов (по словам Разумника) не может слышать о Клюеве — за его революционность.]

Есенин теперь женат. Привыкает к собственности. Служить не хочет (мешает свободе).

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее [9].

22 января 1918 г.

Декрет об отделении церкви от государства. ⟨...⟩ Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: «Изменники». Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья «искренняя, но «нельзя» простить» [10]. Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили! Правда глаза колет.

30 января 1918 г.

В редакции «Знамени труда» [11] (матерьял для первой книжки «Нашего пути»). Иванов-Разумник, Есенин, Чапыгин, Сюннерберг, Авраамов, М. Спиридонова — заглянула в дверь.— Стихотворение «Скифы». ⟨...⟩

20 февраля 1918 г.

Совет Народных Комиссаров согласен подписать мир. Левые с.-р. уйдут из Совета.— В «Знамени труда» — мои «Скифы» со статьей Иванова-Разумника.— В «Наш

путь» — Р. В. Иванов, Лундберг, Есенин. — Заседание в Зимнем дворце (об А. В. Гиппиусе, о Некрасове, о Миролюбове). Улизнул. — Вечер в столовой Технологического института: 9 $^1/_2$—12 час. (меня выпили). Есенин, Ганин, Гликин, Пржедпельский, Е. Книпович, барышни, моя Люба.

21(8) февраля 1918 г.

Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поет. Сволочь подпевает ей (мой родственник). Это — слабая тень, последний отголосок ликования буржуазии.

Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно.

15 000 с красными знаменами навстречу немцам под расстрел.

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину.

Больше уже никакой «реальной политики». Остается лететь.

Настроение лучше многих минут в прошлом, несмотря на то, что вчера меня выпили (на концерте). ⟨...⟩

2 марта 1918 г.

В Тенишевском училище читать на вечере «Русский крестьянин в поэзии и музыке» (культурно-просветительная комиссия при объединенных демократических организациях). Устругова, Есенин. (Звал Миклашевский.) Ничего этого, очевидно, не было. ⟨...⟩

27 марта 1918 г.

На Лиговку (Р. В. Иванов): 1) его корректура, 2) «Диалог о любви, поэзии и государственной службе». Есенин, Чапыгин, Сюннерберг, Камкова, Шимановский. — Париж бомбардируется. — Петербург едва не был взорван. — Рабочая дружина читает «Двенадцать». ⟨...⟩

С. М. ГОРОДЕЦКИЙ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Есенин подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравады и неистовства вызывались только желанием заполнить пустоту жизни от одного стихотворения до другого. В этом смысле он ничуть не был похож на того пастушка с деревенской дудочкой, которого нам поспешили представить поминальщики.

Есенин появился в Петрограде весной 1915 года. Он пришел ко мне с запиской Блока. И я и Блок увлекались тогда деревней. Я, кроме того, и панславизмом. В незадолго перед этим выпущенном «Первом альманахе русских и инославянских писателей» — «Велесе» уже были напечатаны стихи Клюева [1]. Блок тогда еще высоко ценил Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширяевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов.

Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские «прибаски, канавушки и страдания»... Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос,— которые он позже будет с таким остервенением заглаживать под цилиндр,— синеглазый. Таким я его нарисовал в первые же дни и повесил рядом с моим любимым тогда Аполлоном Пурталесским, а дальше над шкафом висел мной же нарисованный страшный портрет Клюева. Оба портрета пропали вместе с моим архивом, но

портрет Есенина можно разглядеть на фотографии Мурашева [2].

Есенин поселился у меня и прожил некоторое время. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам.

Что я дал ему в этот первый, решающий период? Положительного — только одно: осознание первого успеха, признание его мастерства и права на работу, поощрение, ласку и любовь друга. Отрицательного — много больше: все, что воспитала во мне тогдашняя питерская литература: эстетику рабской деревни, красоту тлена и безвыходного бунта. На почве моей поэзии, так же как Блока и Ремизова, Есенин мог только утвердиться во всех тональностях «Радуницы», заслышанных им еще в деревне. Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, казался нам оправданием всей нашей работы и праздником какого-то нового народничества.

Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и вообще все живописное искусство этого периода было отравлено совершенно особым подходом к земле, к России — подходом, окрашенным своеобразной мистикой и стремлением к стилизации. Мы очень любили деревню, но на «тот свет» тоже поглядывали. Многие из нас думали тогда, что поэт должен искать соприкосновения с потусторонним миром в каждом своем образе. Словом, у нас была мистическая идеология символизма.

Но была еще одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это — Николай Клюев.

К этому времени он был уже известен в наших кругах. Религиозно-деревенская идеалистика дала в нем благодаря его таланту самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им.

Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него

она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!» [3]

Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта все росла и крепла. В нее входили кроме Клюева и Есенина Сергей Клычков и Александр Ширяевец. Все были талантливы, все были объединены любовью к русской старине, к устной поэзии, к народным песенным и былинным образам. Кроме меня верховодил в этой группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов, весьма сочувственно относившийся к Есенину, и художник Рерих. Блок чуждался этого объединения. Даже теперь я не могу упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к былине и частушке был у всех нас. Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство — «Краса». Общее выступление у нас было только одно: в Тенишевском училище — вечер «Краса». Выступали Ремизов, Клюев, Есенин и я. Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым — страдания [4]. Это был первый публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых чтений в литературных собраниях. Был объявлен сборник «Краса» с участием всей группы. В неосуществившемся же издательстве «Краса» были объявлены первые книги Есенина: «Рязанские побаски, канавушки и страдания» и «Радуница» [5].

«Краса» просуществовала недолго. Клюев все больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими — моими «врагами». Вероятно, бывал там и Есенин.

Весной и летом 1916 года я мало виделся с Клюевым и Есениным. Угар войны проходил, в Питере становилось душно, и осенью 16-го года я уехал в турецкую Армению на фронт [6]. В самый момент отъезда, когда я уже собрал вещи, вошли Клюев и Есенин. Я жил на Николаевской набережной, дверь выходила прямо на улицу, извозчик ждал меня, свидание было недолгим. Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевках, со старинными крестами на груди, очень франтовитые и самодовольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и после медоточивых слов Клюева

попрощались. Как оказалось, надолго. С Есениным — до 21-го года, а с Клюевым — и того больше...

Лютой, ветреной и бесснежной зимой 1921 года я приехал на постоянную работу в Москву. Две недели мы жили в уютном и теплом вагоне, но на дальних рельсах. В первый же день оттуда пешком через пустынную, заледенелую Москву я пришел на Тверскую. День прошел в явках по месту службы. Было уже темно, когда я добрел до «Кафе поэтов». Одиночество сковывало меня. Блок и Верхоустинский умерли. Единственным близким человеком в Москве был Есенин.

Я вошел и, как был в шинели, сел на скамью. Какая-то поэтесса читала стихи. Вдруг на эстраду вышел Есенин. Комната небольшая, людей немного, костюм мой выделялся. Есенин что-то сказал, и я вижу, что оп увидел меня. Удивление, проверка впечатления (только что была напечатана телеграмма о моей смерти), и невыразимая нежность залила его лицо. Он сорвался с эстрады, я ему навстречу — и мы обнялись, как в первые дни. Незабвенна заботливость, с какой он раскинул передо мной всю «роскошь» своего кафе. Весь лед 16-го года истаял. Сергей горел желанием согреть меня сердцем и едой. Усадил за самый уютный столик. Выставил целую тарелку пирожных — черничная нашлепка на подошве из картофеля: «Ешь все, и еще будет». Желудевый кофе с молоком — «сколько хочешь». С чудесной наивностью он раскидывал свою щедрость. И тут же, между глотков, торопился все сразу рассказать про себя — что он уже знаменитый поэт, что написал теоретическую книгу, что он хозяин книжного магазина, что непременно нужно устроить вечер моих стихов, что я получу не менее восьми тысяч, что у него замечательный друг, Мариенгоф. Отогрел он меня и растрогал. Был он очень похож на прежнего. Только купидонская розовость исчезла. Поразил он меня мастерством, с каким научился читать свои стихи.

За эти две недели, что я жил в вагоне и бегал по учреждениям, я с ним виделся часто.

На другой же, вероятно, день я был у него в магазине на Никитской. Маленький стол был завален пачками бумажных денег. Торговал он недурно. Тут же собрал все свои книги и сделал нежнейшие надписи: на любимой тогда его книге «Ключи Марии» — «С любовью крепкою и вечною»; на «Трерядници» — «Наставнику моему и рачителю». Вероятно, в этот же день состоялась большая эскапада. Он повез меня вместе с Клычковым и еще кем-то к Коненкову.

Там пили, пели и плясали в промерзлой мастерской. Оттуда в пятом часу утра на Пречистенку к «Дуньке» (так он в шутку называл Дункан), о которой он мне говорил уже как о факте, который все знают. Скажу наперед, что по всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли.

Припоминаю еще одно посещение Айседорой Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная, со сверточком еды и апельсином, обмотала Есенина красным своим платком. Я его так зарисовал, он называл этот рисунок — «В Дунькином платке». В эту домашнюю будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна.

Это было в Богословском переулке, где Есенин жил вместе с Мариенгофом. Там я был у него несколько раз, и про один надо рассказать. Я застал однажды Есенина на полу, над россыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о «машине образов». На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово — название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трехстепенные имажинистские сочетания образов. Я отнесся скептически к этой идее, но Есенин тогда очень верил в возможность такой «машины».

О моем вечере стихов, о встрече с Брюсовым в «Кафе поэтов» и другом не буду говорить — это сейчас стороннее.

Из всех бесед, которые у меня были с ним в то время, из настойчивых напоминаний — «Прочитай «Ключи Марии» — у меня сложилось твердое мнение, что эту книгу он любил и считал для себя важной. Такой она и останется в литературном наследстве Есенина. Она далась ему не без труда. В этой книге он попытался оформить и осознать свои литературные искания и идеи. Здесь он определенно говорит, что поэт должен искать образы, которые соединяли бы его с каким-то незримым миром. Одним словом, в этой книге он подходит вплотную ко всем идеям дореволюционного Петербурга. Но в то же самое время, когда он оформил свои идеи, он создал движение, которое для него сыграло большую роль. Это движение известно под именем имажинизма.

В страстной статье в «Красной газете» Борис Лавренев обрушился на тогдашнюю компанию Есенина. на имажинистов, называя их «дегенератами», а Есенина «казненным» ими [7]. Это не совсем верная концепция, и даже совсем неверная. Конечно, и тогдашний (и позднейший) быт Есенина сыграл свою роль в его преждевременной гибели. Близоруко видеть в имажинизме и имажинистах только губительный быт. Имажинизм сыграл гораздо более крупную роль в развитии Есенина. Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком, Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его. Он хотел быть европейцем. Словом, его талант не умещался в пределах песенки деревенского пастушка. Он уже тогда сознательно шел на то, чтобы быть первым российским поэтом. И вот в имажинизме он как раз и нашел противоядие против деревни, против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни.

В имажинизме же была для Есенина еще одна сторона, не менее важная: бытовая. Клеймом глупости клеймят себя все, кто видит здесь только кафе, разгул и озорство.

Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни. Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил: «Как ты не понимаешь, что мне нужна тень». Но на самом деле в быту он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил еще до европейской поездки всю несложную премудрость внешнего дендизма. И хитрый Клюев очень хорошо понимал значение всех этих чудачеств для внутреннего роста Есенина. Прочтите, какой искренней злобой дышат его стихи Есенину в «Четвертом Риме»: «Не хочу укрывать цилиндром лесного черта рога!», «Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке души!», «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу!» [8]. Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу.

Моя ошибка и ошибка всей критики, которая, впрочем, тогда почти не существовала, что «Ключи Марии» не были взяты достаточно всерьез. Если б какой-нибудь дельный — даже не марксист, а просто материалист, разбил бы имажинистскую, идеалистическую систему этой книги, творчество Есенина могло бы взять другое русло.

Это другое русло он судорожно искал все последние годы. В рамках лирического стихотворения ему было уже тесно. Лирика разрешается или в театр или в эпос. Есенин брал и тот и другой путь. Опыт выхода в театр он проделал в «Пугачеве».

На этой книге не написано, что́ это: драма или поэма в диалоге. Вернее всего, Есенин не до конца продумал форму, когда писал «Пугачева». Но я помню, как он увлекался им. Много раз я слышал его великолепную декламацию отрывков из драмы. С широкими жестами, исступленным шепотом: «Вы с ума сошли, вы с ума сошли...» Особенно он любил читать конец. И такое же у него было властное требование отклика, как и на «Ключи Марии». На этот раз отклик я ему дал такой же полнозвучный, как и при первом его приходе ко мне. Своим пафосом темного бунта «Пугачев» захватил меня. Я сказал Есенину то же, что написал в № 75 «Труда» (22 г.): «Критика спит. Только этим можно объяснить, что крупные явления нашей литературы остаются не отмеченными. Это лучшая вещь Есенина. Она войдет в сокровищницу нашей пролетарской литературы» [9]. Однако в широкой прессе «Пугачев» не был замечен, не был поставлен на сцене, напечатан был только в тысяче экземпляров. На первую свою большого размаха работу Есенин не получил надлежащего отклика. Не увидев «Пугачева» на сцене, он больше не возвращался к драматургическому творчеству. А все данные для работы в этом направлении у него были.

Оставался путь в эпос. Очередной работой была «Страна негодяев». Ею Есенин увлекался так же, как и «Пугачевым», и говорил мне о ней, как о решающей своей работе.

Из последних встреч запомнились мне три.

Первая — на похоронах Ширяевца. Мы все остро переживали эту смерть [10]. Похоронив друга, собрались в грязной комнате Дома Герцена, за грязным, без скатерти, столом над какими-то несчастными бутылками. Но не пилось. Пришибленные, с клубком в горле, читали стихи про Ширяевца. Когда я прочел свое, Сергей судорожно схватил меня за руку. Что-то начал говорить: «Это ты... замечательно...» И слезы застлали ему глаза. Есенин не

верил, что Ширяевец умер от нарыва в мозгу. Он уверял, что Ширяевец отравился каким-то волжским корнем, от которого бывает такая смерть. И восхищало его, что бурный спор в речах над могилой Ширяевца закончился звонкой и долгой песнью вдруг прилетевшего соловья.

Вторая встреча — ужин в том же Доме Герцена, уже в раскрашенном и убранном подвале, в октябре, вероятно, или даже в ноябре. Мы пришли компанией, Есенин уже был там. Он вскоре присоединился к нам, сел рядом. Вспоминали старину. Он был тихий, милый, грустный. Затеял пение частушек. Пел с Сахаровым свои нам, потом в ответ Вера Духовская спела свои. Голос был у него уже хриплый, лицо стертое, и сквозь этот его облик, как сквозь туман годов, виделся мне ранний, весенний Сергунька. Потом он, весь как-то исказившись, стал читать «Черного человека». Сквозь мастерство чтения пробивалась какая-то внутренняя спазма. Докончить не мог — забыл. По его волнению я видел, что здесь опять что-то для него важное. Вызов отчаянья был в нем.

И еще одна встреча, последняя, на углу Советской площади и Тверской. Он был с Толстой, под руку. Познакомил. Вид у него был скверный. «Тебе отдохнуть надо». — «Вот еду в санаторию. Иду в Госиздат деньги получать». Мы поцеловались, а следующий поцелуй он уже не мог возвратить мне.

Вся работа Есенина была только блистательным началом. Если б долю того, что теперь говорится и пишется о нем, он услышал бы при жизни, может быть, это начало имело бы такое же продолжение. Но бурное его творчество не нашло своего Белинского.

⟨1926⟩

М. П. МУРАШЕВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Сергей Есенин появился в русской литературе внезапно, как появляются кометы в небе. Каждая комета имеет своих спутников разной величины, немало вокруг нее песка и пыли. Так и Есенин имел вокруг себя разных спутников и сопровождающие его литературные пыль и песок.

Мне, одному из первых свидетелей появления Есенина в Петрограде, пришлось с ним столкнуться вплотную на его творческом пути.

Из автобиографии Сергея Есенина известно, что первый, к кому он пришел в Петербурге, был Александр Александрович Блок, который и направил его к Сергею Городецкому и ко мне. Я в то время близко стоял к некоторым редакциям журналов.

Вот что писал мне А. Блок:

«Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к Вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и Вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш *А. Блок.*

P. S. Отобрал 6 стихотворений и направил с ними к С. М. (Городецкому.— *М. М.*). Посмотрите и сделайте все, что возможно.— *А. Б.*».

С этого дня начинается мое знакомство с Есениным, а впоследствии тесная дружеская связь.

Как сейчас, помню тот вечер, когда в первый раз пришел ко мне Сергей Александрович Есенин, в синей поддевке, в русских сапогах, и подал записку А. А. Блока. Он казался таким юным, что я сразу стал к нему обращаться на «ты». Я спросил, обедал ли он и есть ли ему где ночевать? Он сказал, что еще не обедал, а остановился

у своих земляков. Сели за стол. Я расспрашивал про деревню, про учебу, а к концу обеда попросил его прочесть свои стихи.

Есенин вынул из сверточка в газетной бумаге небольшие листочки и стал читать. Вначале читал робко и сбивался, но потом разошелся.

Проговорили долго. Время близилось к полуночи. Есенин заторопился. Я его удержал и оставил ночевать. Наутро я ему дал несколько записок в разные редакции и, прощаясь, предложил временно пожить у меня, пока он не подыщет комнату.

Спустя некоторое время он рассказал мне, что перед приездом в Петроград жил в Москве, учился в университете Шанявского и уже имеет жену и сына.

Первые месяцы жизни поэта в Петрограде не были плодотворными: рассеянный образ жизни и небывалый успех на время выбили его из колеи. Помню, он принимался писать, но написанное его не удовлетворяло. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его без запинки. Не раз, бывало, ходит, ходит по кабинету и скажет:

— Миша, хочешь послушать новое стихотворение?

Читал, а сам чутко прислушивался к ритму. Затем садился и записывал.

Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось.

На второй или на третий месяц пребывания в Петрограде Сергей вдруг заявил мне:

— Михаил, мне надо съездить в деревню.

Уехал. Из деревни писал:

«У вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше» [1].

Возвращаясь из деревни, поэт всегда писал много. Прочитанное вслух стихотворение казалось вполне законченным, но когда Сергей принимался его записывать, то делал так: напишет строчку — зачеркнет, снова напишет — и опять зачеркнет. Затем напишет совершенно новую строчку. Отложит в сторону лист бумаги с начатым стихотворением, возьмет другой лист и напишет почти без помарок. Спустя некоторое время он принимался за обработку стихов; вначале осторожно. Но потом иногда изменял так, что от первого варианта ничего не оставалось.

Есенин очень много внимания уделял теории стиха. Он иногда задавал себе задачи в стихотворной форме: брал лист бумаги, писал на нем конечные слова строк — рифмы — и потом, как бы по плану, заполнял их содержанием. В то время он много читал классиков, как русских, так и иностранных. Особенно любил все вновь выходящие книги Джека Лондона. Из современных поэтов любил Белого и Блока.

Раз как-то зашел ко мне Александр Александрович Блок и принес два стихотворения для сборника (в то время я готовил для одного издательства литературный альманах). Затем мы вместе ушли. Без меня пришел Есенин. На столе нашел стихи Блока, прочел и написал записку, а внизу приписал:

«Ой, ой, какое чудное стихотворение Блока! Знаешь, оно как бы светит мне!» [2]

Есенин очень любил стихи Блока и часто читал их на память.

Есенин зорко следил за журналами и газетами, каждую строчку о себе вырезал. Бюро вырезок присылало ему все рецензии на его стихи. Он очень прислушивался к хорошей критике, но литературная болтовня его злила.

В 1915 году мне с трудом удалось провести в жизнь устав литературно-художественного общества под названием «Страда». Есенин предлагал назвать его «Посев», но потом сам отказался от этого названия. Организационное собрание общества состоялось на квартире Сергея Городецкого [3].

Есенин развивал широкие планы по созданию крестьянского журнала, хотел вести отдел «Деревня», чтобы познакомить читателя с тем, как живет, чем болеет крестьянин.

— Я бы стал писать статьи,— сказал Есенин,— и такие статьи, что всем чертям было бы тошно!

Журнал организовать нам не удалось, но сборник собрали скоро. Сергей поместил в нем стихотворение «Теплый вечер» [4], которое только что привез из деревни.

Вскоре после издания сборника «Страда» вышла первая книга стихотворений Есенина — «Радуница» [5]. Получив авторские экземпляры, Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище. Потом, как бы разглядев недостатки своего первенца, проговорил:

— Некоторые стихотворения не следовало бы помещать.

Я взял книгу, разрезал упругие листы плотной бумаги и перечитывал давно знакомые строчки стихов:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.
. . . .
А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты [6].

Ставя книги на полку, Есенин со вздохом произнес:

— Надо приниматься за поэмы.

На книге, оставленной на моем письменном столе, Есенин написал: «Другу славных дел о Руси «Страде великой» Михаилу Павловичу Мурашеву на добрую память. *Сергей Есенин.* 4 февраля 1916 г. Петроград».

Весна 1916 года. Империалистическая война в полном разгаре. Весной и осенью призывали в армию молодежь. После годовой отсрочки собирался снова к призыву и Есенин. Встревоженный, пришел он ко мне и попросил помочь ему получить железнодорожный билет для поездки на родину, в деревню, а затем в Рязань призываться. Я стал его отговаривать, доказывая, что в случае призыва в Рязани он попадет в армейскую часть, а оттуда нелегко будет его вызволить. Посоветовал призываться в Петрограде, а все хлопоты взял на себя. И действительно, я устроил призыв Есенина в воинскую часть при петроградском воинском начальнике. Явка была назначена на 15 апреля [7].

Хотя поэт немного успокоился, но предстоящий призыв его удручал.

Есенин стал чаще бывать у меня. Я старался его успокоить и обещал после призыва перевести из воинской части в одно из военизированных учреждений морского министерства.

В одно из таких посещений, 15 марта 1916 года, придя домой с работы, я застал Сергея за моим письменным столом.

Он писал стихи на подвернувшихся под руку моих личных бланках.

Зная его скрытность в вопросах творчества, я немного схитрил — принес полотенце, мыло и сказал:

Первый вечеръ искусствъ

Литературно-Художественнаго Общества

„СТРАДА"

Въ Четвергъ, 19-го Ноября 1915 г.,

ВЪ ЗАЛѢ ГРАЖДАНСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ (Серпуховская 10).

Чистая прибыль отъ вечера поступаетъ **на содержаніе койки имени О-ва „СТРАДА"** при лазаретѣ „Дѣятелей Искусствъ"

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Участвующіе: Гг. **С. М. Городецкій, Л. Н. Добронравовъ, С. А. Есенинъ, В. В. Игнатовъ, Н. А. Клюевъ, П. С. Лопаковъ, М. П. Мурашевъ, А. М. Ремизовъ, I. I. Ясинскій** и др.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Участвуютъ: Г-жи **О. И. Нартуччи, Л. К. Некрасова** (пѣніе), **Н. С. Соловьева** [illegible], Гг. Артисты Императорскихъ театровъ: **Ф. А. Васильевъ** (пѣніе), **Н. А. Большаковъ** (пѣніе), **А. И. Мозжухинъ** (пѣніе), **И. И. Исаковъ** (гитара),

[illegible]

Г-жа **В. К. Устругова** (русскія сказки), Хоръ гусляровъ подъ упр. **Н. И. Голосова**

подробности въ программахъ.

Начало въ **8** часовъ вечера.

У рояля **М. Т. Дулов**. Распорядитель **М. П. МУРАШЕВЪ**

Цѣны мѣстамъ отъ **75** коп. до **3** руб. **15** коп. [illegible]

Продажа билетовъ: [illegible]

[illegible]

[illegible]

— На, иди мой руки. Сейчас обедать будем.

Он повиновался, а я в это время заглянул в написанное. Передо мной лежало уже законченное и переписанное стихотворение «Деревня» [8], взятое мною потом для сборника «Творчество», в редакции которого я принимал деятельное участие.

Тут же были наброски, начальные строки других стихотворений...

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам...

Перед уходом в армию Сергей принес мне на сохранение свои рукописи, а черновые наброски на моих бланках передал мне со словами:

— Возьми эти наброски, они творились за твоим столом, пусть у тебя и остаются.

За обедом мы много говорили о петроградской литературной жизни. Сергей в этот раз рассказал о своих литературных замыслах: он готовился к написанию большой поэмы.

После обеда, когда перешли в кабинет, он прочел несколько новых стихотворений и в заключение преподнес мне свой портрет, написав на нем:

Дорогой дружище Миша,
Ты, как вихрь, а я, как замять,
Сбереги под тихой крышей
Обо мне любовь и память.

Сергей Есенин. 1916 г., 15 марта.

Принимая подарок, я сказал:

— Спасибо, дорогой Сергей Александрович, за дружески теплую надпись, но сохранить о себе память должен просить тебя я, так как я старше тебя намного и, естественно, должен уйти к праотцам раньше твоего.

— Нет, друг мой,— грустно ответил Сергей,— я недолговечен, ты переживешь меня, ты крепыш, а я часто трушу перед трудностями. Ты умеешь бороться с жизнью.

Сергей Есенин стал звать меня с собой к Блоку.

— Уж больно хочется повидать Александра Александровича, а я уже с месяц не видал. Миша, позвони ему по телефону, может быть, у него найдется полчаса для нас.

Позвонил. Ответили, что Блока нет дома, но ждут с минуты на минуту, к обеду. Прошел час или полтора, но ответного звонка не было.

Чтобы успокоить Сергея, я предложил пойти к Блоку на авось. Он жил недалеко. В квартире Александра Александровича нам сказали, что он звонил и приедет домой очень поздно.

Обратно пошли мы по набережной реки Пряжки. Несмотря на раннюю весну, вечер был теплый. Солнце сползало за силуэты мрачных корпусов судостроительных заводов. Гигантские краны, точно жирафы, вытянули свои шеи. Где-то ухали паровые молоты.

Прошли набережную реки Мойки, вышли к Новому адмиралтейству и завернули на Английскую набережную. Особняки петербургской знати хранили молчание. Только за зеркальными стеклами парадных подъездов изредка виднелись парчовые галуны бородатых швейцаров.

Прошли Николаевский мост, вышли к Сенатской площади. Обе набережные Большой Невы в вечерних лучах солнца казались удивительно прекрасными, их архитектурный ансамбль был строг и величествен. Лед на Неве почернел, переходы по нему закрыты.

— По этой набережной любил ходить Александр Сергеевич Пушкин,— задумчиво промолвил Есенин.

В то время я собирал материал для литературных альманахов «Дружба» и «Творчество». У меня встречались писатели, участвовавшие в редактировании сборников. Одно из таких литературных совещаний было назначено на 3 июля. Я пригласил и Сергея Есенина.

Все собрались. Пришел Есенин. Ждали Блока, но он почему-то запаздывал.

В это время, возвращаясь с концерта на Павловском вокзале, зашел ко мне скрипач К. Вслед за ним пришел художник Н., только что вернувшийся из-за границы, откуда он привез мне в подарок репродукцию с картины Яна Стыки «Пожар Рима». Эта картина вызвала такие споры, что пришлось давать высказываться по очереди. Причиной споров была центральная фигура картины, стоящая на крыше дворца с лирой в руках, окруженная прекрасными женщинами и не менее красивыми мужчинами, любующимися огненной стихией и прислушивающимися к воплям и стонам своего народа. Горячо высказывались писатели, возмущенно клеймили того, кто совмещал поэзию с пытками. Есенин молчал. Скрипач К.— тоже. Обратились к Есенину и попросили высказаться.

— Не найти слов ни для оправдания, ни для обвинения — судить трудно,— тихо сказал Есенин.

Потребовали мнения К.

— Разрешите мне сказать музыкой,— произнес он.

Все разом проговорили: «Просим, просим!»

К. вынул скрипку и стал импровизировать. Его импровизация слушателей не удовлетворяла. Он это почувствовал и незаметно для нас перешел на музыку Глинки «Не искушай» и «Сомнение». Эти звуки дополняли яркие краски картины.

В этот момент по телефону позвонил А. Блок. Услышав музыку, он спросил, что за концерт. Я рассказал, в чем дело. Он изъявил желание послушать музыку. К., зная, что его слушает А. А. Блок, сыграл еще раз «Не искушай». Блок поблагодарил К., извинился перед собравшимися, что не может присутствовать на сегодняшнем совещании из-за болезни, и просил отложить заседание на следующий день.

Сергей Есенин подошел к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок написал следующее стихотворение:

«Сергей Есенин

16 г. 3 июля.

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

Прим(ечание). Влияние «Сомнения» Глинки и рисунка «Нерон, поджигающий Рим». *С. Е.*»

Я был поражен содержанием стихотворения. Мне оно казалось страшным, и я тут же спросил его:

— Сергей, что это значит?

— То, что я чувствую,— ответил он с лукавой улыбкой.

Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.

Я рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал к себе Сергея и спросил:

— Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под впечатлением музыки?

— Серьезно,— чуть слышно ответил Есенин.

— Тогда я вам отвечу,— вкрадчиво сказал Блок.

На другой странице этого же альбома Александр Александрович написал ответ Есенину — отрывок из поэмы «Возмездие», над которой в то время работал и которая еще нигде не была напечатана:

«ИЗ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен,
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок.

13. VII—1916 г.» [9]

В первые годы после революции мне часто приходилось иметь связь с Московским Пролеткультом, который находился в бывшем особняке Маргариты Морозовой на Воздвиженке (ныне ул. Калинина). В этом же здании проживали некоторые пролетарские поэты. Поэт М. Герасимов жил в ванной комнате, одно время вместе с ним жил и Сергей Есенин. Частым гостем у них был поэт Сергей Клычков.

В этой же ванной комнате зародилась «Московская трудовая артель художников слова». «Трудовая артель» начала издавать книжечки своих членов.

Как-то, придя на заседание московского совета Пролеткульта, я встретил в зале Сергея Есенина, который, увидав меня, радостно проговорил:

— Вот и хорошо, что пришел, помоги нам в издательских премудростях. Нам надо выбрать шрифт, формат.

Он сунул тощую книжечку образцов шрифтов типографии Меньшова и добавил:

— Входи к нам в артель.

Я дал согласие и предложил ему заходить ко мне на Волхонку в ЦК Пролеткультов...

Дней через десять Есенин с Клычковым пришли ко мне на Волхонку похвастать своими книжечками.

Есенин написал мне на книге «Сельский часослов»: «Милому Михаилу на ядреную ягодь слова русского. *С. Есенин*».

Через неделю, к концу рабочего дня, часов в пять, пришел ко мне Сергей Есенин, закутанный коричневым шарфом. Только светились глаза яркой лазурью из-за индевелых ресниц. Подсел к топившейся железной печурке, растирая озябшие руки, и стал рассказывать, что переехал из Маргаритиной ванны к Сахарову и приступает к серьезной работе.

Отогревшись, Сергей начал говорить о деле. Сотрудники все ушли, во всем этаже остались мы да уборщицы, подметавшие комнаты.

— Давай решим, каким шрифтом будем набирать,— предлагал Сергей.— Я думаю выбрать «антик».

Видимо, ему это слово нравилось, но шрифт этот вряд ли был ему знаком. Он вынул из кармана свою книжечку «Преображение» и написал на ней «В набор, «антик».

Список книг издания артели, находящийся в конце книги, Сергей исправил. Некоторые книги добавил, а нескольких авторов совсем вычеркнул.

Я заметил Есенину:

— Сергей, так скоропалительно нельзя отдавать в набор. Возьми свои книги, пересмотри, возможно, некоторые стихи удалишь, а новые вставишь, часть следует переработать. Собери все лучшее и побольше, на солидный томик. Я тебе дам набор не в полосах, а в гранках, ты до сдачи в типографию поработай над ними. Понял?

— Понял,— сказал Сергей и на книжке «Преображение» написал:

«Ну, тогда не в набор эту книгу, а лишь в разбор. Много в ней тебе не нравится, присмотрись, гляди, и понравится. Любящий *Сергей.* 18. I—1919 г.».

Последняя встреча с Сергеем Александровичем Есениным состоялась у меня за несколько дней до его отъезда в Ленинград в 1925 году.

Придя ко мне, Есенин был грустен и чем-то удручен.

— Что с тобой? — спросил я его.

— Плохо пишется,— ответил Сергей.

Я не стал его допрашивать больше о настроении, а предложил чаю или по стаканчику легкого вина — рислинга.

Когда я назвал слово «рислинг», Сергей лукаво улыбнулся и сказал:

— Это слово напомнило мне Питер... Альбомы далеко? Дай-ка я их перелистаю.

Я подал ему альбомы.

— Михаил, какое прекрасное начало поэмы «Возмездие» Александра Александровича Блока! Она ведь автобиографична.

Сергей передал мне альбом, а сам пошел к книжному шкафу, спрашивая: «На какой полке книги с автографами?»

— На третьей от верха.

Сергей долго стоял у книг, перебирая их, ища что-то.

— Твоя «Радуница» тоже там, книги стоят хронологически, по годам,— заметил я и принялся в альбоме рисовать, как рисуют в минуту ожидания. Рисовал большим пером, чернилами. На рисунке получился обрыв, на котором росли две березки, справа — река.

Сергей вернулся от шкафа и проговорил:

— А ну, покажи, что натворил?

— Березки как будто,— передавая ему альбом, сказал я. Сергей взял из подставки карандаш и на рисунке написал:

«Это мы с тобой.

С. Е.».

Затем вдруг Сергей заторопился уходить, проговорив:

— Проводи меня.

И мы пошли. Это была моя последняя встреча с поэтом.

В. С. ЧЕРНЯВСКИЙ

ТРИ ЭПОХИ ВСТРЕЧ

(1915—1925)

I

Есенина я увидел впервые 28 марта 1915 года. Развертывалось второе полугодие войны. Чувствительный тыл под сенью веселого трехцветного флага заметно успокаивался и удовлетворенно улыбался. Запах крови из лазаретов мешался с духами дам-патронесс, упаковывающих в посылки папиросы, шоколад и портянки. На улицах, в киосках, басистые студенты возглашали знаменитое: «Холодно в окопах».

В пунктах сбора пожертвований, на возбужденном Невском, пискливые поэтессы и женственные поэты — розовые и зеленолицые, окопавшиеся и забракованные — читали трогательные стихи о войне и о своей тревоге за «милых». Некоторые оголтелые футуристы, не доросшие до Маяковского, но достаточно развязные и бойкие, играли на созвучиях пропеллера и смерти. Достигший апогея модности Игорь Северянин пел под бурные рукоплескания про «Бельгию — синюю птицу» [1] (папиросы «Король Альберт» еще не вышли из моды). Патриотическое суворинское «Лукоморье» печатало на лучшей бумаге второсортные стихи о Реймском соборе под портретами главнокомандующих.

В Зале армии и флота был большой вечер поэтов [2]. Читал весь цвет стихотворчества. Седовласый Сологуб, явясь публике в личине добродушия, славословил «Невесту — Россию» [3]. И неожиданно, не в лад с другими, весь сдержанный и точно смущенный появился на эстраде — в черном сюртуке — Александр Блок. Его встретили и про-

водили рукоплесканиями совершенно иного звука и оттенка, нежели те, с которыми только что обоняли запах северянинской пачули. Волнуясь, он тоже прочел стихи о России, о своей России и о человеческой глупости, прочел обычным, холодноватым и все-таки страстным, слегка дрожащим голосом, раза два схватившись рукою за сердце. Был уже на этих вечерах под знаком патриотизма гнетущий налет.

Не то в перерыве, не то перед началом чтений я, стоя с молодыми поэтами (Ивневым и Ляндау) у двери в зал, увидел подымающегося по лестнице мальчика, одетого в темно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лбу. Его спутник (кажется, это был Городецкий) остановился около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краев, недавно приехавший. Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин *.

В течение вечера он так и оставался с нами троими. Несколько друзей присоединились к нам. Мы плохо слушали то, что доносилось с эстрады, и интересовались только нашим гостем, стараясь отвечать на его удивительно ласковую улыбку как можно приветливее. Гость был по тому времени необычный и взволновал нас совсем по-новому.

На торопливые наши расспросы он отвечал очень охотно и просто. Мы услышали, как чуть ли не прямо с вокзала он пришел с узелком своим к Блоку, узнав его адрес в первой попавшейся редакции, как тот направил его к Городецкому, что стихи его, кажется, приняты в толстый и важный журнал [4], что он читал уже многих петербургских поэтов, со всеми хочет познакомиться и поделиться тем, что привез.

Говорил он о своих стихах и надеждах с особенной застенчивой, но сияющей гордостью, смотря каждому прямо в глаза, и никакой робости и угловатости деревенского паренька в нем не было. Но в произношении его слышалось настойчивое «оканье» и нет-нет попадались непонятные, по-видимому, рязанские словечки, звучавшие, казалось нам, пленительной наивностью. Блок принял его

* Нам послышалось не Есенин, а «Ясенин», и мы невольно произвели эту фамилию не то от «ясности», не то от «ясеня», не подозревая, что она означает «осенний» (есень). ⟨...⟩

со свойственными ему немногословием и сдержанностью, но это, видимо, не смутило его:

— «Я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал стихи о Прекрасной Даме...» *

И сам, идя навстречу нашему любопытству, он, не уходя с площадки лестницы, где мы стояли, успел многое рассказать о своей жизни в деревне, интерес к которой угадал, вероятно, не в нас первых, и о том, как писал свои стихи:

— «Уйдешь рыбу удить, да так и не вернешься домой два месяца: только на бумагу денег и хватало!»

Чем больше он говорил, тем больше сияли окружившие его кольцом умиленного внимания несколько человек. И не только потому, что принадлежали к сентиментальному тылу, а потому, что с первых минут знакомства ощутили в пришедшем, прослушав на ходу несколько коротких его стихов, новое для них очарование свежести и мгновенно покоряющей непосредственности. В нем повеяло им какое-то первородное, но далекое от всякой грубости здоровье. В нем так и золотилась юность — не то тихая, не то озорная, веющая запахом далекой деревни, земли, который показался почти спасительным. И весь облик этого неизвестного, худенького чужака, ласковый и доверчивый, располагал к нему всякого, кроме заядлых снобов, с которыми ему пришлось столкнуться позднее.

Едва дождавшись окончания вечера, мы, компанией из семи-восьми человек, все жившие и дышавшие стихами, отставив кое-кого из привязавшихся скептиков, пошли вместе с Есениным в хорошо известный многим «подвал» на Фонтанке, 23, близ Невского. Там квартировал молодой библиофил и отчасти поэт К. Ю. Ляндау, устроивший себе уютное жилье из бывшей прачечной, с заботливостью эстета завесив его коврами и заполнив своими книгами и антикварией. Этот таинственный подвал, где живал и я, часто видел в своих недрах Сергея. Ничего общего с публичными подвалами богемы это логово не имело, но некоторые ее представители нередко стучались сюда — прямо в окно с решеткой, — и тут постоянно звучали споры и стихи.

Есенина, которого все называли уже просто по имени, посадили посреди комнаты у круглого стола, а большинство

* Эти и нижеследующие буквальные слова Есенина (они поставлены в кавычки), а также даты я беру из собственных моих писем к другу моему, поэту В. В. Гиппиусу, находившемуся на фронте [5].

гостей устроились в полумраке на диванах, чтобы его слушать. На парче под настольной лампой появился шартрез и венецианские рюмки. Помню, было жарко, и Сергей, сняв пиджачок, остался в своей голубой рубашке. Ему не понравился шартрез, он выпил и поморщился.

— «Что, не понравилось?»

— «Поганый!»

Такого рода замечаний им было сделано немало, а когда присутствующие улыбались, сам Сергей, поглядывая вокруг, тоже отвечал им улыбкой, немного сконфуженной и немного лукавой: такой, мол, как есть.

Про него в тот приезд говорили недоброжелатели, что его наивность и народный говор — нарочитые. Но для нас, новых его приятелей, все в нем было только подлинностью и правдой. Мы, пожалуй, преувеличивали его простодушие и недооценивали его пристальный ум. Конечно, мы замечали: Есенин не мог не чувствовать, что его местные обороты и рязанский словарь помогают ему быть предметом общего внимания, и он научился относиться к этому своему оружию совершенно сознательно. Но мы видели также, как в первые недели его выхода в большой свет, когда иронически посмеивающиеся «наблюдатели» доводили его до краски в лице и ощущения неловкости, эти корявые словечки вырывались у него совсем естественно, от души. Нам верилось, что иначе он и не должен говорить. И тогда, и впоследствии для нас оставалось несомненным,— и мы готовы были ревностно это защищать,— что руководили им не наигрыш, не кокетство, а прямая гордость за отеческий язык, в красоту которого он сам яростно верил.

В нашем небольшом кругу ему все «полюбилось» и ничто его не коробило. Таким, знаю, и остался этот вечер в памяти Сергея и нашей. С радостью начал он чтение стихов, вошедших после в «Радуницу». Первое впечатление нас совершенно пронзило — новизной, трогательностью, настоящей плотью поэтического чувства. Он читал громче, чем говорил, в обычной, идущей прямо к сердцу «есенинской» манере, которую впоследствии только усовершенствовал, потряхивая своей мальчишеской желтой головой, и немного напевно. Но протяжной вкрадчивой клюевской тонировки в этом чтении не было и помину, простые ритмы рубились упрямо и крепко, без всякой приторности.

Ему не давали отдохнуть, просили повторять, целовали его, чуть не плакали. И менее, и более экзальтированные

чувствовали, что тут, в этих чужих и близких, не очень зрелых, но теплых и кровных песнях,— радостная надежда, настоящий народный поэт.

После стихов он принялся за частушки: они были его гордостью не меньше, чем стихи; он говорил, что набрал их до 4000 и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать. Многие частушки были уже на рекрутские темы; с ними чередовались рязанские «страдания», показавшиеся слушателям менее красочными. Но Сергей убежденно защищал их, жалея только, что нет тальянки, без которой они не так хорошо звучат. Пел он по-простецки, с деревенским однообразием, как поет у околицы любой парень. Но иногда, дойдя до яркого образа, внезапно подчеркивал и выделял его с любовью, уже как поэт.

Ему пришлось разъяснять свой словарь, мы ведь были «иностранцы» и ни «паз», ни «дежка», ни «улогий», ни «скатый» не были нам понятны. Попутно он опять весело рассказывал о своей жизни в селе, о ранней любви своей к бродяжничеству, об исключении из учительской семинарии, про любимого старого деда и пр. Брошенные вскользь слова о пребывании в Москве мы пропустили мимо ушей — так нам хотелось видеть в нем поэта без вчерашнего дня, только что «от сохи».

Говорили и о современных поэтах. Не только к Блоку и поколению старших, но и ко многим едва печатавшимся у него было определенное отношение. Он читал их с зорким и благожелательным вниманием, предпочитая чистую лирику. Зато о Брюсове отозвался, как о ликере: «поганый». С умилением и чуть-чуть с хитрецою вспомнил, как на ближайших днях Блок беседовал с ним об искусстве.

— «Не столько говорил, сколько вот так, объяснял руками. Искусство — это, понимаете... (он сделал несколько подражательных кругообразных жестов). А сказать так и не умел...»

В этот вечер кое-кто побратался с Сергеем надолго и прочно. Наш приятельский «орден» постепенно сблизился с ним в частых товарищеских встречах, постоянных чтениях стихов, прогулках по улицам, пока его не стали звать повсюду нарасхват и пока не появился около него Ник. Ал. Клюев, без которого впоследствии почти нельзя было видеть Есенина. Называть себя он сам предложил «Сергуней», как звали его дома *.

* У меня, у Ляндау, в семье писательницы З. Д. Бухаровой, крайне тепло и чутко относившейся к Сергею.

Еще два характерных вечера из периода этих первых шагов. 30 марта редакция «Нового журнала для всех» созвала литературную молодежь на очередную вечеринку в свое маленькое помещение, где умели принимать по-семейному, тепло и скромно. (Имя Елены Гуро и культ ее мироощущения были знаменем некоторых членов редакции.) Не помню, с кем пришел туда Сережа.

Гости были разные, из поэтов по преимуществу молодые акмеисты, охотно посещавшие вечера «с чаем». Читали стихи О. Мандельштам (признанный достаточно, кандидат в метры), Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве и другие. Наибольший успех был у Мандельштама, читавшего, высокопарно скандируя, строфы о ритмах Гомера («голову забросив, шествует Иосиф» — говорили о нем тогда). Попросили читать Есенина. Он вышел на маленькую домашнюю эстраду в своей русской рубашке и прочел помимо лирики какую-то поэму (кажется, «Марфу Посадницу»).

В таком профессиональном и знающем себе цену обществе он несколько проигрывал. Большинство смотрело на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его «коровам» и «кудлатым щенкам», идиллические члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали очень презрительные усмешки.

Кончив чтение, он отошел к печке и, заложив пальцы за пояс, окруженный, почтительно и добросовестно отвечал на расспросы. Его готовы были снисходительно приручить. Тем, кто уже был тогда в бессознательном, но полном влюбленности «заговоре» с Сергеем, было ясно, как он относился к этому обращению. В нем светилась какая-то приемлющая внимательность ко всему, он брал тогда все как удачу, он радовался победе и в толстых и в тоненьких журналах, тому, что голос его слышат. Он ходил как в лесу, озирался, улыбался, ни в чем еще не был уверен, но крепко верил в себя *.

Памятен и другой вечер у поэта Ивнева, нашего общего с Сергеем приятеля, причисляемого в то время по бездомности к футуристам и жившего при библиотеке на Симеоновской ул., д. 5, вечер безалаберно-богемный и очень харак-

* Из приведенного в конце этого очерка письма видно, до чего напряженно занимал Сергея начавшийся вокруг его имени в журнальной сфере шум, который он деловито оценил как путь к славе «знаменитого русского поэта».

терный. Тут была поэтическая разноголосица, с некоторым шипением друг на друга. Читал среди прочих с невероятным апломбом бойкий и кричавший о себе тогда, а после исчезнувший Илья Зданевич, Есенину отведено было почетное место, он был «гвоздем» вечеринки.

В обществе преобладали те маленькие снобы, те иронические и зеленолицые молодые поэты, которые объединялись под знаком равнодушия к женщине — типичнейшая для того «александрийского времени» фаланга. Нередко они бывали остроумны и всегда сплетничали и хихикали. Их называли нарицательно «юрочками». Среди них были и более утонченные, очень напудренные эстеты, и своего рода мистики с истерией в стихах и развинченном теле, но некоторые были и порозовее, только что приехавшие с фронта.

Такой состав присутствующих был неорганизованным, случайным, но удивить никого не мог: это было обычное в младших поэтических кругах, даже традиционное «бытовое явление».

Пожалуй, никому из «юрочек» и маленьких денди не пришелся по вкусу Есенин: ни его стихи, ни его наружность. То, что их органически от него отталкивало, объяснялось и петербургским снобизмом, и зародившейся в них несомненной завистью (настаиваю на этом) к тому, что было у него, а им не хватало: подлинности, здоровья, поэтической «внешкольности». Их цех ощерился в защиту хорошего вкуса.

Но это была не литературного порядка зависть, хотя они и поспешили нацепить на Есенина ярлык «кустарного петушка», сусального поэта в пейзанском стиле. Ярлык этот был закреплен некоторыми акмеистами старшего призыва *.

Есенин, не казавшийся нелепым в этом кругу только потому, что там ничто не могло быть странным и все могло быть забавным, принимал их прилично затушеванную язвительность за питерскую любезность. Щебечущий и ласковый хозяин, с восторгом относившийся к Сергею, смягчал прорывавшуюся неловкость.

В маленькой комнате, куда собрались после летучего

* Целая группа царскосельских поэтов ультимативно отказалась участвовать в изящном альманахе изд-ва «Фелана» (1916), если на страницы его будут допущены кустарные Клюев и Есенин [6]. Клюев, однако, еще раньше печатался в «Гиперборее» (органе «Цеха поэтов»), и его формальные качества (при изощренной «глубинности») находили большее признание. Поколение символистов ценило его высоко.

чтения стихов и холостого беспорядочного чая, уселись очень тесно — кто на подоконнике, кто на столе, кто на полу. На полу у стенки присел и Есенин, которого немедленно попросили петь частушки, напоминая, что у него есть, как он сам признался, и «похабные». Погасили для этой цели электричество. По обыкновению, Сергей согласился очень охотно, с легкой ухмылочкой. Но простая черноземная похабщина не показалась слушателям особенно интересной. В углах шушукались и посмеивались не то над Есениным, не то на свои интимные темы. Начав уверенно, Сергей скоро стал петь с перерывами, нескладно и невесело, ему, видимо, было не по себе. И когда голос футуриста, читавшего перед тем свою поэму об аэропланах, вдруг громко произнес непристойно-специфическую фразу, пение оборвалось на полуслове, словно распаялось. По общему внезапному молчанию можно было заключить, что многим стало неловко и что это развлечение в темноте не будет продолжаться. Зажгли свет, и некоторые гости, в том числе и Есенин, стали расходиться.

Так Сергей, попав сначала, по счастью, к поэтам старшим, познакомился лично со многими сверстниками по перу. Но шероховатости этого знакомства точно не коснулись его тогда; он, конечно, все видел, но, казалось, ничего серьезно не различал и не принимал к сердцу, по простоте ли, потому ли, что, упорно пробивая себе путь в этом прихотливом интеллигентском лесу, ему не интересно и *не надо* было ничего замечать.

В Петербурге он пробыл после этого весь апрель *. Его стали звать в богатые буржуазные салоны, сынки и дочки стремились показать его родителям и гостям. Это особенно усилилось с осени, когда он приехал вторично. За ним ухаживали, его любезно угощали на столиках с бронзой и инкрустацией, торжественно усадив посреди гостиной на золоченый стул. Ему пришлось видеть много анекдотического в этой обстановке, над которой он еще не научился смеяться, принимая ее доброжелательно, как все остальное. Толстые дамы с «привычкой к Лориган» лорнировали его в умилении, и солидные папаши, ни бельмеса не смыслящие в стихах, куря сигары, поощрительно хлопали ушами.

---

* В конце марта он снялся с двумя спутниками в плохой уличной фотографии. Крайне типичный снимок; в пиджаке на нескладно торчащей рубахе, но уже в новой фетровой шляпе того фасона, которому он не изменил и в Париже, Сергей вышел на карточке «разбойным и веселым» [7] парнишкой с чертами хулигана. Та пастушья нежность, которой все восхищались, не нашла здесь отражения.

Стоило ему только произнести с упором на «о» — «корова» или «сенокос», чтобы все пришли в шумный восторг. «Повторите, как вы сказали? Ко-ро-ва? Нет, это замечательно! Что за прелесть!»

Наша приятельская сентиментальность выливалась в гротескные, пристыжающие нас формы, а Сережа, терпеливо мигая смеющимися не без хитрецы глазами, спрашивал иногда без всякой обиды: «Чего они не поняли?» — и вежливо повторял требуемое слово.

В то время он еще не носил своих знаменитых кудрей, но за трогательную и действительно «нездешнюю» наружность и «золотые флюиды» его наперерыв называли «пастушком», «Лелем», «ангелом» и всякий по-своему норовил его «по шерсти бархатной потрогать».

В его обхождении с этими людьми, которых он еще вовсе не хотел называть «вылощенным сбродом» [8], была патриархальная крестьянская благовоспитанность и особая ласковая жалость, но сквозь них, как непокорная прядь из-под скуфейки, изредка пробивался и подмигивал приятелям озорной и лукавый огонек, напоминавший, что «кудлатый щенок» не всегда будет забавлять их так кротко и незлобиво.

Помню, немного позднее (во второй приезд) случилось мне быть спутником Сергея в очень аристократическом доме, где все было тихо и строго. Его позвали прочесть стихи старому, очень почтенному академику, знатоку литературы и мемуаристу.

В чопорной столовой хозяйка дома тихонько выражала удивление, что он такой «чистенький и воспитанный», несмотря на простую ситцевую рубашку, что он как следует держит ложку и вилку и без всякой мещанской конфузливости отвечает на вопросы.

Но Сережа все-таки слегка робел перед сановным академиком и норовил стоять, когда тот вел с ним беседу, так что мне приходилось тихонько дергать его сзади за рубашку, чтобы он сел. Старик слушал снисходительно, кое-что одобрял, но вносил свои стилистические поправки.

— Милый друг, а Пушкина вы читали? Ну, так вот, подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится *«на известку* колоколен»? [9]

Последовало длинное поучение о грамматике и чистоте великого русского языка, окончательно вогнавшее в краску вытянувшегося в струнку Сергея.

Не бывая лично у Мережковских, где, конечно, со своей точки зрения были заинтересованы Есениным, человеком от земли, и куда Сергею было небесполезно приходить ввиду большой влиятельности хозяев в журнальном и критическом мире, я помню, как отзывался о них Сергей.

К Философову он относился очень хорошо. Тот пленил его крайним вниманием к его поэзии, авторитетным, барственно мягким тоном джентльмена *. Сам Мережковский казался ему сумрачным, «выходил редко, больше все молчал» и как-то стеснял его. О Гиппиус, тоже рассматривавшей его в усмешливый лорнет и ставившей ему испытующие вопросы, он отзывался с все растущим неудовольствием. «Она меня, как вещь, ощупывает!» — говорил он.

К женщинам из литературной богемы Сергей относился с вежливой опаской и часто потешал ближайших товарищей своими впечатлениями и сомнениями по этой части. С наивным юмором, немного негодуя, он рассказывал об учащающихся посягательствах на его любовь. Ему казалось, что в городе женщины непременно должны заразить его скверной болезнью («Оне, пожалуй, тут все больные»). Их внешняя культурность не рассеивала этого предубеждения.

На первых порах ему пришлось со смущением и трудом избавляться от упорно садившейся к нему с ласками на колени маленькой поэтессы, говорящей всем о себе тоненьким голосом, что она живет в мансарде «с другом и белой мышкой». Другая, сочувствующая адамизму, разгуливала перед ним в обнаженном виде, и он не был уверен, как к этому отнестись; в Питере и такие штуки казались ему в порядке вещей. Третья, наконец, послужила причиной его ссоры с одним из приятелей, оказавшись особенно решительной. Он ворчал шутливо: «Я и не знал, что у вас в Питере эдак целуются. Так присосалась, точно всего губами хочет вобрать». Но вся эта женская погоня за неискушенным и, конечно, особенно привлекательным для гурманок «пастушком» — так, по словам Сергея, ничем и не кончилась до первой его поездки в качестве эстрадного поэта в Москву. ⟨...⟩

Такова была среда, в которой поневоле вращался Сергей и с которой он инстинктивно был не менее осторожен, чем

---

* Философов редактировал небольшой художественный журнал «Голос жизни», где Сергей печатался с почетом [10]. Впоследствии его отношение к Философову изменилось: он почувствовал его отчужденность еще до революции. Посвящения под заголовками стихов были вычеркнуты.

доверчив. Говорили, что его неминуемо «развратят» («Подлинный цветок и столько бесов вокруг»,— заметил один дружеский голос). Но за него, оказалось, бояться было нечего: ему удалось без хитрости перехитрить «иностранцев».

С шутливым недоверием относясь к богемной эротике, он, помню, рассказывал, сидя вечером с товарищами в нашем милом «подвале», какова бывает любовь в деревне, лирически ее идеализируя.

Тут было дело не в личных признаниях (хотя он говорил, а пожалуй, и фантазировал о собственных ранних чувствах там, на родине). Эта тема была только поводом вспомнить о рязанских девушках и природе. Ему хотелось украсить этим лиризмом самые родные ему и навсегда любимые предметы, образы, пейзажи — в глазах тех, кто не может знать их так, как он. От этого полубытового мечтательного рассказа о деревенской любви и всего, что с нею связано, у меня в памяти твердо остался только образ серебрящихся ночью соломенных крыш *.

29 апреля несколько друзей проводили Сережу на вокзал. Он уехал на родину с «большими ожиданиями», зная, что еще вернется и что в Питере он уже начал побеждать. Это радовало и веселило его, он был благодарен каждому, кто его услышал и признал. 〈...〉

В литературных кругах он сумел стать проблемой дня и предметом прений, еще независимо от Клюева. А в среде его новых приятелей, если отмести тех, кто не шел дальше туповатой «меценатской» покровительственности, замечалось уже чувство, похожее на то, какое признанный поэт Есенин, перешагнув через столько изломов и кругов, оставил во многих сердцах после своей смерти.

Мы и тогда, думается, чувствовали, что он, Сережа, этой весной прошел среди нас огромными и фантастически легкими шагами по воздуху, как бывает во сне; прошел, найдя немало приятелей (первые десятки из будущих

* К деревне и к дому он возвращался в разговорах постоянно, до последнего года жизни. Он говорил об этом с внезапным приливом нежности и мечтательности, точно отмахивался от всего, что вьется и путается вокруг него в беспокойном сне. Ни в коем случае не была для него деревня только «основной лирической темой». Это был действительно самый почвенный уголок его внутреннего мира, реальнейшая точка, определяющая его сознание. Мать, сестры (особенно младшая), родина, дом — многие помнят, я думаю, как говорил о них Есенин не только в стихах.

сотен!) и, может быть, ни одного друга; весь еще в туманности наших иллюзий: золотоголовый крестьянский мальчик, с печатью непонятного обаяния, всем чужой и каждому близкий.

В июне пронесся слух, что Есенина на родине забрали в солдаты. Он оказался не до конца верным. Сергей, временно освобожденный, мирно провел лето 1915 года в селе Константинове.

В конце июля я получил от него первое письмо, которое привожу полностью:

«Дорогой Володя! Радехонек за письмо твое. Жалко, что оно меня не застало по приходе. Поздно уже я его распечатал. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам, на буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его и на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере.

Сейчас я думаю уйти куда-нибудь.

От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли.

Стихов я написал много. Принимаюсь за рассказы, 2 уже готовы. К. говорит, что они ему многое открыли во мне. Кажется, понравились больше, чем надо. Стихов ему много не понравилось, но больше восхитило. Он мне объяснял о моем *пантеизме* и собирался статью писать.

Интересно, черт возьми, в разногласии мнений. Это меня не волнует, но хочется знать, на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя. Меня беспокоит то, что я отослал им стихи, а ответа нет.

Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать.

За июнь посмотри «Сев⟨ерные⟩ зап⟨иски⟩». Там я уже напечатан, как говорит К. Жду только «Русскую мысль». Читал в «Голосе жизни» Струве. Оба стиха понравились. Есть в них, как и в твоих, «холодок скептической печали».

Стихов я тебе скоро пришлю почитать. Только ты поторопись ответом. Самдели уйду куда-нибудь.

Милый Рюрик! Один он там остался.

Городецкий мне все собирается писать, но пока не писал. Писал Клюев, но я ему все отвечать собираюсь.

Рюрику я пишу, а на Костю осердился. Он не понял как следует. Коровы хворают, люди не колеют.

Вот стишок тебе один.

Я странник улогой
В кубетке сырой.
Пою я про бога,
Как сыч за горой.

На шелковом блюде
Опада осин.
Послухайте, люди,
Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,
Целуя сосну,
Поют быстровины
Про рай и весну.

Я странник улогой,
Лишь в песнях живу,
Зеленой дорогой
Ложуся в траву.

Покоюся сладко
Меж росновых бус.
На сердце лампадка,
А в сердце Исус.

Извести, каков стих, и я пойму о других. Перо плохое. Чернила высохли. Пишешь, только болото разводишь. Пока прости.

Любящий тебя *Сережа»* [11].

Небольшое письмо, помеченное 22. VII. 15 (Кузьминское, Ряз. губ.), почти аналогичное первому:

«Дорогой Володя! Порадуйся со мной вместе. Осенью я опять буду в Питере. К адресу ты прибавь еще село Константиново. Письмо я твое получил на покосе, поэтому писать мне было негде. Стихов я тебе пришлю тут как-нибудь скоро. Я очень жалею, что «Гол⟨ос⟩ жиз⟨ни⟩» закрылся. Знаешь ли ты причины? В «Ежемес⟨ячном⟩ жур⟨нале⟩» Миролюбова были мои стихи. Городецкий недавно прислал письмо, но еще почему-то не отвечает, по-видимому, он очень занят. Это письмо пока предварительно. Я ведь жду от тебя полн⟨ого⟩ ответа. Как Костя и Рюрик? Видел ли их?

Любящий тебя крепко *С. Есенин»*.

II

В том, что рассказано выше, намечаются начальные вехи двойственного пути, казавшегося некогда Сереже широким, непочатым простором. За их забытыми тенями проступает с некоторой ясностью бытовой фон литературной жизни, на котором он начал расти как поэт. Если тут есть предостережения, то лишь очень смутные.

Во второй половине 1915 года и в 1916 году Сергей на поверхностный взгляд мало менялся, продолжая пассивно осваиваться с новым миром и разбираясь в «разногласии мнений». Не колебался и строй его песни, навсегда чужой ежедневности. «Подвиг» его лишь в том, как он нес и защищал эту песню: в этой защите развертывалась и крепла его личность. Податливый только на те влияния, которые не сбивали его с органического пути, он не изменял ничему изначальному своему. Нельзя было ни убить его иронией, ни захвалить — ни то, ни другое его не пронзало. Он знал себе цену, но помалкивал о ней: к откликам прислушивался с детской радостью, преувеличивая их искренность; на шипение не плевал, а скорее улыбался. С резкими выпадами еще не боролся, притихал. Но стремление по-своему оценивать людей и вещи, входящие в круг его ближайших интересов, проявлялось в нем сильно. Он судил обо всем уже определенно, решительно, «буйственно». Его смирение было чисто внешним. Никакая рефлексия не размягчала его здоровых мускулов.

Если иногда на миру, в обществе так называемых «культурных людей», его вовлекали в щекотливый литературный спор, он старался не теряться. Но его нестройный разговорный язык не ассонировал с академической речью и над ним смеялись.

Начиная развивать свое мнение на отвлеченную тему и ища обобщающих формул, он впадал в косноязычие и орудовал одними народными образами первобытного «имажинизма», облекая в них все понятия. Он хотел говорить, как поэт.

На эту удочку его легко было поймать и, когда он сбивался, не менее легко было почесать языки по поводу некультурности «черноземного паренька». Нечего и говорить, что Сергей не любил этих бесед.

Но в своей компании, где тянулись к нему нити дружбы, где перестали помнить, что он чужой и «гость», он спорил с азартом и отстаивал свои мнения упрямо, по-мальчишески поругиваясь, пересыпая свои доказательства неизмен-

ным: «Понимаешь? Да ты пойми!» Был он всегда весел, и, когда вносил свою незабываемую «Сергунькину» улыбку на порог комнаты, мы все становились еще моложе, чем были. Он часто смеялся, не очень громко, погыкивая, высоким добрым смешком, до щелочек сощуривая свои озорные глаза, делая меткие сравнения и всех заражая своим задором. Хорошо было веселой гурьбой — с ним в центре — гулять по улицам. Тогда, помнится, никакими «кабаками» это не кончалось. В «Привале комедиантов», открывшемся весной 1916 года, я его видел лишь случайным гостем.

В наружности Сергея — под разными последовательными влияниями — скоро появился внешне профессиональный отпечаток. Его старшие начетчики с самыми лучшими намерениями старались стилизовать его на разные лады. В этом он был более всего пассивен и сам колебался в вопросе, какие прикрасы ему больше к лицу.

Некоторые советовали ему, отпустив подлиннее свои льняные кудри, носить поэтическую бархатную куртку под Байрона. Но народный поддевочный стиль восторжествовал; его сторонником был главный наставник Сергея — Клюев, о котором пришлось бы говорить непрерывно, вспоминая общий дух его «трудов и дней» в 1916 году.

Его отношения с Городецким, принявшим его восторженно и деятельно помогавшим ему выйти в свет, известны мне только по беглым отзывам самого Сергея. В 1915 году он, во всяком случае, хвалил Городецкого, был за многое ему благодарен и очень опирался на него, живя притом временно под его кровом. Личного «человеческого» влияния на Сергея Городецкий, однако, почти не имел, их сближало только единство фронта в недолговечном неонародническом лагере.

В строении его индивидуальности в ту эпоху значительную роль играли Клюев и, отчасти, Блок (что он и сам подтверждает в своей лаконической автобиографии). О некоторых моих впечатлениях я могу упомянуть.

В Петербург Сережа вернулся в средних числах октября 1915 года и 25 октября выступил в организованном Городецким большом вечере (в Тенишевском зале) под названием «Краса». Тут он вынес наконец на эстраду свою родную тальянку. Кроме него и Клюева — поэтов крестьянства, выступали и представители города — Алексей Ремизов и сам Городецкий. В основу этого нарочито «славянского» вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера; публика и печать не приняли его всерьез, и искус-

ственное объединение «Краса» с этих пор само собой заглохло. Но та белая с серебром рубашка, которую посоветовали надеть на этот вечер Есенину, положила начало театрализации его выступлений *, приведшей потом к поддевкам и сафьяновым сапогам, в которых он и Клюев ездили показаться москвичам [12].

В ноябре Сергей по частным причинам отошел от Городецкого, и с этих пор его ближайшим другом, учителем и постоянным спутником становится Николай Клюев и начинается полоса их общей работы, прошедшей под знаком верности народным «истокам» и той распри, о которой писал впоследствии Сергей [13].

Эти сложные взаимоотношения двух индивидуально ярких поэтов, о которых опасно говорить в коротких словах, неизбежно станут большой и, вероятно, загадочной темой для будущего исследователя; она потребует тонкого и бережного анализа, которому не пришло еще время. Но во всяком случае, влияние Клюева на Есенина в 1915—1916 годах было огромно.

Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета и мистагогии, инстинктивно и упорно стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин благоговел перед Клюевым как поэтом. В часы, когда тот читал с большим искусством свои тяжелые, многодумные, изощренно-мистические стихи и «беседные наигрыши», Сергей не раз молча указывал на него глазами, как бы говоря: вот они, каковы стихи!

В 1916 году беседы Клюева, его узорчатый язык, его завораживающие рассказы об олонецких непроходимых лесах и старообрядческих скитах, о религиозной культуре севера вообще производили большое впечатление на слушателей.

К единству своего пути с судьбой Есенина, к их общей крестьянской миссии Клюев относился крайне ревниво, настойчиво опекая Сергея, неотступно следя за ним глаза-

---

* Не отказываясь от своеобразной обрядности и эстрадной костюмировки, перешедших потом в дендизм другого рода, Сергей, внимательный только к литературному слову как таковому, очень равнодушно относился к театру (многие частности культурной жизни подобно этой его не затрагивали). Он не умел быть «публикой». Исключения же, однако, бывали. На представлении «Китежа» (декабрь 1915 г.), где мы тоже были втроем (с ним и Клюевым), Сергей восторгался и оперой и исполнением Ершова. В 1916 году я помню его тоже почти сияющим от удовольствия на спектакле «Передвижного театра» Гайдебурова. Его тронула проникновенность и «духовность» актерского исполнения, а форма лирической драмы (Тагор) вообще могла быть ему близка.

ми и иногда в лицо говоря «интеллигентам», что они Есенину не нужны и ничего, кроме засорения, не принесут в его жизнь и поэзию.

В тонкую, обоюдоострую систему клюевской морали естественно входила и ложь как единственное оружие их — подлинных людей из народа — против интеллигентов. К лагерю этих святых лжецов он недвусмысленно стремился присоединить и послушного ему на некоторое время Сергея.

Принимая отчасти ту классовую правоту, которую можно было расслышать в недоговоренных словах Клюева, видя постоянное сотрудничество и, казалось, преданную любовь к нему Сергея, невольно приходилось смотреть на них как на нечто единое. Ни у кого из петербургских попутчиков Есенина не было достаточно прав считать себя более близким ему человеком, чем у Клюева: этот песенный союз сурово обволакивала чуждая малым городским поэтам избяная стихия.

В начале 1916 года Сергей, кажется, впервые заговорил со мной откровенно о Клюеве, без которого даже у себя дома я давно его не видел. С этих пор, не отрицая значение Клюева как поэта и по-прежнему идя с ним по одному пути, он не сдерживал своего мальчишески-сердитого негодования. В этой порывистой брани подчас звучало больше горячности и злобы, чем их было в сердце Сергея. В иной, более глубокой сфере сознания он, конечно, не переставал считать Клюева своим другом и, несмотря на все дальнейшее охлаждение и разъединение, не покинул его внутренне до последних дней.

В 1918 году, когда он обрушивался на многих современников с запальчивостью огульного отрицания, преодолевая подгнившие авторитеты и уже окончательно не признавая прав на первенство и учительство за «нежным апостолом» Клюевым, Сергей после уничтожающих тирад прибавлял, на минуту задумываясь: «Но все-таки — какой поэт!»

В ином свете рисуются отношения Есенина с Блоком. Их внешние проявления незначительны, их рамки узки. С 1916 года, да и раньше, поэты встречались не часто. Блока почти нельзя было видеть на рядовых литературных сборищах, где Сергей был постоянным гостем. В практической жизни писательского круга Есенин от Блока не зависел, но изредка по невольному влечению приходил поговорить с ним. Это случалось и в те дни, когда он (после Октябрьской революции) упорно настаивал на том, что «Блок —

плохой поэт». Если не ошибаюсь, был только один случай, правда, резкий и надрывный, даже решающий, когда, явясь к Блоку, он держал себя с ним, по собственному признанию, вызывающе и дерзко, а потом, вернувшись домой, нахмуренный, объявил, что у него с Блоком — кончено и что больше он к нему не пойдет. Это был период, когда он в яростном напряжении молодых сил и самоуверенности ничего не видел, кроме рождения «новой России» в *мужичьих* яслях.

То, что в Блоке было похоже на холод и сухость, его углубившаяся «от дней войны, от дней свободы» [14] замкнутость, всегда несколько отшатывало и уводило от него Есенина. Не мне одному приходилось слышать в его порою недобрых словах нечто подобное отвращению к педантизму и выдержанности Блока. Но инстинкт иного порядка долго заставлял Сергея не терять его из виду и искать новых встреч, к которым относился не просто, с каким-то волнением. «К Блоку только сначала подойти трудно»,— говорил он мне в 1916 году. Преодолев это наплывающее на него каждый раз чувство отчуждения, он вновь начинал видеть в Блоке родного ему поэта, первого, к кому он пришел, и пришел не случайно.

В памяти моей неизгладимо запечатлелось, как неподвижные и несколько надменные черты Блока вдруг прояснялись самой ребяческой, так и не сходившей с лица улыбкой, когда читал свои стихи Сергей. Из своего одиночества Блок лучше, чем кто-либо, предупреждал его об опасности хождения по буржуазным салонам и общения с литературными дегенератами, советуя ему хранить себя и углубленно работать. Сергей ценил эти советы и часто с любовью повторял его слова. Помню, как он наставительно и серьезно уговаривал меня заниматься науками, шутливо прибавляя: «Ну, запрись ты хоть на время от баб. Ты сиди, сиди, как Блок сидит...»

О конечной судьбе этих неустойчивых, как многое в жизни Сергея, отношений свидетельствует фраза из письма его ко мне, написанного за год до смерти из Тифлиса: «Отними...., ..., Клюева, Блока, ...,— что же у меня останется? Хрен да трубка, как у турецкого святого» *.

* По словам К. А. Соколова, жившего с Сергеем несколько месяцев под одной кровлей и помнящего его день за днем, он писал это письмо в совершенно трезвое, «размышляющее» утро. Наряду с приведенными именами еще три частных дружеских имени. В начале письма слова: «Черт знает, когда свидимся. Я уезжаю в Персию». Остальной текст письма личного характера. Даты нет (приблизительно, ноябрь 1924 г.).

III

Когда мне хочется вспомнить самое крепкое из дальнейшей жизни Сергея, я вспоминаю конец семнадцатого года. Перед этим в памяти почти годовой неясный мне перерыв. Ни о царскосельском периоде, ни о дисциплинарной высылке солдата Есенина на юг [15] я не могу сказать ничего (сам я жил тогда вне Петербурга, да, по-видимому, и недостаточно думал о Сергее).

В февральскую эпоху мы продолжали быть в разброде. Нечетко помнится мне Сергей — в гимнастерке, гладко выстриженный — на вечере поэтов в Тенишевском зале, во времена Керенского [16]. Мелькает еще один «богемный» вечер у одного адвоката (Литейный, 29), где я впервые видел Сережу совершенно пьяным. Зато поздней осенью мы встретились с ним неожиданно вечером на улице, радостно обнялись и точно нашли друг друга вновь. После этого мне пришлось почти полгода провести с ним в постоянном общении. Правда, предательница-память сохранила об этих днях мало конкретного, никаких «частностей»: все сроки плясали в глазах, слова и впечатления расточались в воздухе. Мои воспоминания ведут меня к дому № 33 по Литейному. В этом доме провел Есенин первые месяцы своего брака с Зин. Ник. Райх (тогда вовсе не актрисой, а просто молодой редакционной работницей, красивой, спокойной, мягким движением кутавшейся в теплый платок).

Первое время, впрочем, Сергей жил еще в доме № 49 близ Симеоновской, куда и повел меня за собой. Там в общей столовой, похожей на склад литературы, сидели за чаем, видимо, партийно связанные друг с другом жильцы с типичной наружностью работников печати, недавних подпольщиков. Кажется, Сергей говорил мне о своей причастности к партии левых с.-р., но, вероятно, мне и тогда подумалось, что прямого участия в политической работе он не принимал. В первый раз я видел его в таком кругу: его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков.

Но была в нем большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк рево-

люции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии.

С оживлением сообщил он мне о своем желании устроить, как можно скорее, самостоятельный вечер стихов. Ему хотелось действовать на свой страх и уже не ради простого концертного успеха; он верил в свою личную популярность и значительность *голоса поэта Есенина* в громах событий. Тем не менее организовал он свое выступление не вовремя и достаточно наивно.

Он настаивал, чтобы вступительное слово («присловье», как впоследствии по его желанию было напечатано в афише) читал я,— не присяжный критик, но зато свой человек. Напрасны были мои уверения, что это будет с моей стороны возмутительным дилетантством и что крестьянская линия в поэзии недостаточно мною осознана. Сергей и слышать ничего не хотел.

Через несколько дней я принес ему мою работу с новым отказом ее огласить. Но Сергею непритязательная статья моя очень понравилась. Кажется, ему особенно по душе был анализ соприкосновения его поэзии со стихами Клюева и выводы в пользу полной самобытности Есенина: «Вот дурной! Да пойми сам, что ты лучше всех меня понимаешь». Мы вместе вышли на улицу посмотреть на только что развешанные афиши: «В среду, 22-го ноября 1917 года состоится вечер поэзии Сергея Есенина: автор прочтет стихи из книг «Радуница» и «Голубень», поэмы «Октоих» и «Пришествие». Сергей был уже в прекрасной меховой шапке («соболий мех») и хорошей шубе, с румянцем на щеках, очень крепкий и светлый, не тот, каким его знали недавно.

Правда, и тогда бывали минуты, когда в глазах его появлялась грустная сосредоточенность и голос начинал звучать тихим «уходом в себя», но говорил он о будущем всегда с дерзкой, веселой верой в свою силу и требовательно грозил в пространство кулаком, похожим на длань пророка и щенячью лапу...

Мы полюбовались на афиши и пошли бродить. Сергей говорил о революции — по-своему, сумбурными образами и метафорами, радостно и крепко «доказывая», объясняя свой уклон. И, конечно, читал новые стихи, в ритмах и символах которых я должен был уловить необъяснимое словами. В полузимней слякоти — без уличных фонарей, с редкими огнями в окнах и лужах — стоял над нами Октябрь, веселый и мрачный, беспокойный и необыкновенный. Пели уже вокруг «черный вечер, белый снег...» [17].

В такой черный вечер отправились мы и на выступление Сергея в Тенишевское училище. Публики было очень мало, вся она сбилась в передних рядах: с десяток-другой людей от литературы и общественности, несколько друзей, несколько солдатских шинелей, да какие-то районные жильцы (иначе в те дни и быть не могло).

При скудном освещении, один на эстраде, в белой русской рубашке, Сергей был очень трогателен и хорош. Читал он с успехом, так что отсутствие публики в результате его не очень огорчило. «Радуница» действовала, как всегда, беспроигрышно, поэмы были приняты слабее. В артистическую собрались слушатели-общественники, и в отдельных кучках было настроение диспутирующее. Доклад мой поругивали. Неизвестный молодой критик взял его в карман для ознакомления и потом так и не вернул. Сергей очень рассердился на меня и долго вспоминал об этом хищении, уверяя, что этот мазурик, наверное, будет пользоваться моим материалом.

В доме № 33 по Литейному молодые Есенины наняли во втором этаже две комнаты с мебелью, окнами во двор. С ноября по март был я у них частым, а то и ежедневным гостем. Жили они без особенного комфорта (тогда было не до того), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно. Сергей много печатался, и ему платили как поэту большого масштаба. И он, и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами. По всей повадке они были настоящими «молодыми». Сергею доставляло большое удовольствие повторять рассказ о своем сватовстве, связанном с поездкой на пароходе, о том, как он «окрутился» на лоне северного пейзажа [18]. Его, тогда еще не очень избалованного чудесами, восхищала эта неприхотливая романтика и тешило право на простые слова: «У меня есть жена». Мне впервые открылись в нем черточки «избяного хозяина» и главы своего очага. Как-никак тут был его первый личный дом, закладка его собственной семьи, и он, играя иногда во внешнюю нелюбовь ко всем «порядкам» и ворча на сковывающие мелочи семейных отношений, внутренне придавал укладу жизни большое значение. Если в его характере и поведении мелькали уже изломы и вспышки, предрекавшие непрочность этих устоев,— их все-таки нельзя было считать угрожающими.

В требующей, бегучей атмосфере послеоктябрьских дней этот временный кров Сергея и его нежная дружба были притягательны своею несхожестью ни с чем и ни

с кем другим. В молодых литературных кругах распылилось и растерялось многое, а он, еще сохранявший тогда первоначальную целостность, переживал революцию по преимуществу внутри себя и своей поэзии и оставался на посту поэта и созерцателя «не от мира сего». Но то, что у другого могло казаться только чахлым и пассивным эстетизмом, у него оборачивалось молодым, буйным огнем, в котором выковывалась его творческая индивидуальность. И прежде всего — он был еще по-рязански здоров, он был «крестьянский сын» и на лире его были натянуты живые крепкие мускулы.

Бывало, заходил я к ним около полудня. Сергей нередко вставал поздно и долго мылся и терся полотенцем в маленькой спальне. Но иногда я с утра заставал его в большой «приемной» комнате за столом и, не отрывая его от работы, тихонько беседовал с его женой.

Исправив строчку или найдя нужный ему образ (неизменно космический!), Сергей, нежно поприветствовав гостя — меня или другого,— начинал без разбору распоряжаться: «Почему самовар не готов?» или: «Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?», или: «Ну, налей ему еще!»

У небольшого обеденного стола близ печки, в которой мы трое по вечерам за тихими разговорами (чаяниями и воспоминаниями) пекли и ели с солью революционную картошку, нередко собирались за самоваром гости. Из них в то время очень желанными и «своими» были, насколько я помню, А. Чапыгин, П. Орешин и художник К. Соколов (все трое не изменили Сергею в преданной дружбе).

Чапыгин — спокойный, укладистый, уютный, с отеческим юмором, самый старший; Петр Орешин — неразговорчивый, бледный, сумрачный, точно уязвленный, по виду — типичный городской пролетарий; Константин Соколов — наш общий с Сергеем друг — кидающийся, всклоченный, в очках, очень русский художник и человек; меня за некоторые мои слабости Сергей именовал «русским Гамлетом» и находил, что у меня «пронзенный ум».

К. Соколов пытался приходить по утрам рисовать Сергея. Но работал он кропотливо, не сразу нашел нужную трактовку форм своей натуры, и Сергей, постоянно сбегавший от его карандаша куда-нибудь по редакционным делам, не дал ему сделать ничего, кроме нескольких набросков своей кудрявой головы.

Помнится, под праздник или после получения гонорара Сергей приносил иногда бутылку-другую вина, которое

нетрудно было добыть из-под полы. Но от пьянства он был совершенно далек и выпивал только «ради случая».

В эти месяцы были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции. Их немного, но тогда казалось, что они заполняют его время словесной лавиной. Идея избранничества томила его руку зудом мировых размахов, эсхатология крестьянской Валгаллы, где собственный дед дожидается его «под Маврикийским дубом», где мать его прядет лучи заката [19], была его единственной религией; он был весь во власти образов своей «есенинской Библии»; его пророческое животное — рязанская красная корова, именем которой он поражал салоны,— с растущим задором возводится им в символ божества. В редко роняемые им лирические стихи западает символика этих мужичьих пророчеств.

За чайным столом, едва положив перо и не трогая еды (ел он вообще мало), Сергей, страстно сосредоточенный, насупившись, читал только что написанное своим друзьям, тряс головой и бил кулаком по скатерти. В таком непрерывно созидающем состоянии я его раньше никогда не видел. Прочитав, он, довольный собой, улыбчиво и просто спрашивал как всегда: «Ну что, нравится тебе?» Но недооценка его стихов таким критиком, как я (а может быть, и другими), его нисколько не трогала, а на мелкие стилистические и метрические поправки он ни за что не соглашался и, немного подумав, отвечал на замечание хитрой улыбкой: сам, мол, знаю, что хорошо и что худо.

Про свою «Инонию», еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице как о некоем реально существующем граде и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма... Инония — иная страна».

В дни, когда он был так творчески переполнен, «пророк Есенин Сергей» с самой смелой органичностью переходил в его личное «я». Нечего и говорить, что его мистика не была окрашена нездоровой экзальтацией; но это все-таки было бесконечно больше, чем литература; это было без оговорок — почвенно и кровно, без оглядки — мужественно и убежденно, как все стихи Есенина *. Его любимыми

---

* Весь словарь его поэм («Инонии» в первую голову) при тогдашней его фанатической вере в самодовлеющее слово-образ определяет в своих сгустках напряжение его личного темперамента. Характерны его глаголы: «не устрашусь, вздыбливаю, выплевываю, раскушу, проклюю, вылижу, вытяну, придавлю».

книгами в это время были Библия, в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». Он по-новому открыл их для себя, носил их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах, восторженно цитируя отдельные куски, проникновенно повторяя: «О, русская земля, ты уже за горою!»

С наступлением революции он уже по свободному почину, крупными шагами шел навстречу большой интеллектуальной культуре, искал приобщающих к ней людей (тяга к Андрею Белому, Иванову-Разумнику, чтение, правда, очень беспорядочное, поиски теоретических основ, авторство некоторых рецензий и пр.).

Но одновременно именно в эти дни прорастала в нем подспудная потребность распоясать в себе, поднять, укрепить в стихиях этой культуры все корявое, соленое, мужичье, что было в его дотоле невозмущенной крови, в его ласковой, казалось, не умеющей обидеть «ни зверя, ни человека» природе.

Этот крепкий деготь бунтующей, нежданно вскипающей грубости, быть может, брызнул и в личную его жизнь и резко отразился на некоторых ее моментах. И причина, и оправдание этой двойственности опять-таки в том, что он и тогда — такой юный и здоровый — был до мучительности, с головы до ног поэт, а «дар поэта — ласкать и карябать».

С Блоком в то время было у него внутреннее расхождение, о котором я упоминал выше. В холоде, который он почувствовал к Блоку и в Блоке, замешалась, думается мне, прямая ревность к праву на голос «первого русского поэта» в период Октября, а в скифской плеяде таковым был именно Блок. Ни «Скифы», ни «Двенадцать», казалось, не тронули Сергея.

Не помню подробностей общения его с Белым, с которым я не был знаком. Но зато к новым книгам и стихам Белого он относился с интересом и иногда с восхищением. Нравился ему и, как ни странно, казался лично близким «Котик Летаев». Некоторую кровную связь с Белым он хотел закрепить, пригласив его в крестные отцы своего первого, тогда ожидаемого, ребенка. Но впоследствии крестным его дочки Тани, родившейся после отъезда Есениных из Петрограда, записан был я. Белый крестил второго «есененка» — Котика.

С большим уважением и любовью относился Сергей к Иванову-Разумнику, с которым неизменно встречался по делам практическим и душевным. «Иду к Разумнику,

покажу Разумнику, Разумнику понравилось»,— слышалось постоянно. Статьи Р. В. Иванова, принимавшего Есенина целиком, как большого *поэта революции*, совершенно удовлетворяли и поддерживали Сергея. Такой «отеческой щедрости» он, наверное, ни позже, ни раньше не находил ни у кого из авторитетных критиков.

...Не считаю себя вправе говорить сейчас и судить вообще о тогдашней интимной жизни Сергея. Но повторяю, что вся эта эпоха запомнилась мне как еще очень здоровая и сравнительно счастливая. Ни о каком глубоком разочаровании и надрыве не могло быть и речи. Только изредка вспыхивали при мне в Сергее беспокойная тоска и внезапное сомнение в своей мирной удовлетворенности. Чаще всего эти маленькие срывы, эти острые углы пробивались в наших разговорах на улице, когда мы провожали куда-нибудь друг друга. Но перелом в жизни Сергея произошел не на моих глазах: им начался предстоящий ему бурный московский период. Как мы расстались в марте 1918 года и в каком настроении он уехал,— я не помню.

IV

Шесть лет я совершенно не видел Сергея и не переписывался с ним. Настало время, нещадно разбрасывающее друзей в разные стороны и, поистине, диктовавшее: «учитесь, верные, терять друг друга». Невольно думалось, что утрачен мной в этих разлучных вихрях и Сережа. Про него доходили из Москвы неправдоподобные, на мой взгляд, слухи — об его эпатирующих костюмах, цилиндре, гримировке, о дебоширстве, о том, что он стал адептом и даже верховодом не дошедшего еще до петербургских обывателей имажинизма. Кое-чему приходилось верить, но представить себе таким былого Сережу я не умел. Новые стихи его, печатавшиеся в дни военного коммунизма чуть ли не на оберточной бумаге, не были мне известны.

В Петрозаводске в 1922 году я встретил Клюева, проезжавшего вместе со своим новым другом из Вытегры и подарившего мне свой замечательный «Четвертый Рим» [20] с проклятиями цилиндру и лаковым башмакам. С большим сокрушением в первую же минуту нашей беседы на улице он заговорил о Сергее и рассказал мне о его женитьбе на Айседоре Дункан и о том, что вообще «погиб человек» в заразе всяческих кафе и раздушенных европ.

Соединение имени Есенина и Дункан, которой я восхищался еще будучи подростком, казалось непостижимым и неприятным парадоксом.

В Петербурге слухи росли и пухли. За несколько месяцев до приезда Сергея в Ленинград в 1924 году мне пришлось слышать его голос, записанный на валике диктофона в Институте истории искусств. Насколько чужим казался этот голос, настолько блестящей была его читка монолога Хлопуши с отчаянным, ударяющим криком: «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!» Только в напористых «р» и в знакомом «о», звучащем иногда как глухое, упрямое «у», узнал я прежнего Сережу и представил себе его буйно взмахивающую голову.

Наконец весной появились на улицах афиши, возвещающие о его приезде; на них огромными буквами — «Есенин» и рекламный зазыв в духе московских имажинистов [21]. С волнением пошел я в зал бывшей Городской думы увидеть Сергея, живого и нового. Работа, как назло, задержала меня, я пришел в разгар вечера и остановился у дверей около усиленного наряда милиционеров. Не забуду моего первого впечатления.

На скамье, над сгрудившейся у эстрады толпой, освещенный люстрой ярче, чем другие, кудрявый, с папироской в руке, с закинутой набок головой, раскачиваясь, стоял и что-то говорил совершенно прежний, желтоволосый рязанский Сергунька. Не сразу разобрал я, что он пьян, между тем это должно было бросаться в глаза. Голос его звучал сипло, и в интонациях была незнакомая мне надрывная броскость. В зале было неспокойно, публика шумела, слышались выкрики: «Довольно вашей ерунды! Перестаньте разговаривать! Читайте стихи, стихи!»

На большой скамье, по обеим сторонам кидавшего в толпу плохо слышные, отрывистые, по-пьяному заумные фразы Сергея, сидели, по-видимому, ленинградские имажинисты; они шептались, ерзали, неловко улыбались и имели вид ожидающих скандала администраторов этого зрелища. А кто-то из них, то сходя под ропот публики со скамьи, то снова на нее поднимаясь, непременно хотел говорить.

Помню фразу: «Блок и я — первые пошли с большевиками!»

Наконец, когда дело подошло, казалось, вплотную к скандалу, он сам крикнул: «Я буду читать стихи!»

И начал «Москву кабацкую».

Читал он прекрасно, с заражающим самозабвением. И чем дальше, тем ярче, осязательнее ощущалась происшедшая в его поэзии и в нем самом болезненная перемена. То «лирическое волнение», которое в ранние годы только светилось и бродило в нем мальчишеской мечтательностью и удалью, те вызовы миру, которые в дни революции так зрели и крепли в кипении здоровых сил,— теперь замутились и мучительно слились с горестной затравленностью. Теперь стихи его ударяли по сердцам лихостью отчаяния, бились безысходной нежностью и безудержной решимостью защищать кулаками и кровью свое право на печаль, песню и гибель.

Даже усталая сиплость его голоса, этот пропитой, ломкий, внезапно уходящий в жалостное замирание звук помогли ему переплеснуть лиризм этой песни в зал. Его упрямые жесты рукой, держащей погасшую папироску, знакомые, резкие, завершающие движения его золотой головы ни на минуту не казались актерскими, но придавали ему вид воистину поющего, *осененного* поэта.

Необыкновенно хорошо прочел он свои «Годы молодые...»: от прежнего молодецкого размаха первых выкриков особенной нежной скорбью притушились последние строки:

...эх ты, златоглавый!..
Отравил ты сам себя горькою отравой!
Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли...
Синие твои глаза... в ка-ба-ках... промокли!..

На этом, махнув угловато рукой, он сошел со скамьи и, не глядя на публику, быстро прикурил от чьей-то папиросы. По-видимому, вино взяло свое, он устал и читать до нового возбуждения больше не мог. Ему рукоплескали шумно, восторженно. Поэт в глазах требовательного обывателя заслонил пьяного скандалиста. Было что-то невыразимо грустное в этой не праздничной победе нового Есенина и в обстановке, среди которой она произошла.

Его увели, объявили перерыв. В артистическую комнату ломились многие, меня долго не пускали, грубо отказываясь сказать обо мне Есенину. Его охраняли, как знаменитого артиста. Недавнее настроение скандала еще висело в воздухе. Наконец, когда я, отчаявшись и решив ждать у дверей его выхода, в третий раз прокричал, что я его старый друг, меня впустили. Я увидел Сергея посреди большой комнаты, у стола с бутылкой и стаканами.

С моргающей улыбкой, точно неуверенный, я ли это, он взглянул на меня и пошел мне навстречу с протянутыми руками. Мы долго не умели ничего сказать, кроме: ну, какой ты? покажись! вот ты какой! — но, казалось, что шести лет разлуки не было. Новее всего во внешнем облике Сергея было для меня его очень бледное (я не понял, что запудренное) лицо. Но улыбка была та же, никакого Парижа! Да и пьян он в эти минуты словно уже не был, вероятно, новая бутылка привела его в равновесие.

Он стал быстро водить меня под руку по комнате, любовно перебирая кое-какие дорогие ему имена из нашего прошлого: от кого-то ему были известны мелкие подробности моей жизни. В нем был некоторый лоск, своего рода изящество, модный пиджак сидел на нем прекрасно, но чем-то неуловимым: то ли неизменным рязанским акцентом и междометиями, то ли вот этой манерой заботливо закручивать вокруг горла теплый шарф — он больше походил на раннего весеннего Сергуньку, больше даже, чем на женатого Сергея дней революции и на того московского денди, каким успел стать. Он звал меня ехать куда-то компанией по окончании вечера и при этом все оглядывался на бывших в комнате лиц, которые, очевидно, должны были его сопровождать. (Познакомил он меня только с державшимся отдельно «старшим своим другом» Устиновым.) Не знаю почему, я предпочел перенести наше свидание на другой день. Он дал мне адрес дома № 1 на Гагаринской [22], но, видимо, не мог ручаться, что будет именно там. «Тебе там скажут... ты уж найдешь...»

В этой неопределенности и неуверенности я реально ощутил, что «нового» Сергея кружат новые, посторонние мне вихри, в ритм которых я не могу попасть. Во мне зародилось чувство, что в будущем нам уже не придется попросту «быть вместе», как раньше, и остается, несмотря на старинную близость,— только случайная перекличка друг с другом и украденные у наших разных жизней встречи. Это впечатление не оказалось пустой мнительностью.

...Его долго не отпускали. Молодежь толпой взобралась на эстраду и окружила его. Помню его стоящим на стуле, уже в шубе, с меховой шапкой в руках, сникшего, совсем охрипшего среди возбужденных юных лиц.

Прощальные стихи он прочел, точно в полусне, опять опьянев, почти перейдя на шепот. Те строфы, которые в печати пестрели многоточием за «непринятые в обществе» слова, прозвучали грустно-грустно, чистейшим и трогательным «есенинским» лиризмом.

Наконец кто-то надел ему на голову шапку и его увели, почти неся на руках *.

На другой или на третий день мне удалось застать его на Гагаринской. Меня провели по коридору огромной квартиры в комнату, где он временно поместился с одним из приятелей-собутыльников, по-видимому, далеким от литературных интересов. Там было шумно. У накрытого стола с горячей закуской и вином сидело несколько человек. Тут, кроме основного жильца комнаты, были два-три молодых поэта и старый знакомец — эпический А. П. Чапыгин, пришедший читать Сереже какой-то свой драматический опыт из древне-народного быта. На диване — еще не пьяный, очень белый и весь сияющий, в русской рубашке — Сергей, еще больше похожий на прежнего (не в первый и не в последний раз я ловил себя на этом неуверенном сравнении).

По его радости и ласке, по тому, как он засуетился, окружавшее его незнакомое мне общество решило, что я желанный гость. Хотя Сергей и рекомендовал меня как «бывшего поэта», я, видимо, помешал их беседе. Меня стали со всех сторон предупредительно угощать. Но Сергей первый стал на сторону моего трезвенничества, узнав, что у меня через час спектакль. Разговор за вином велся на

---

* В эти же дни состоялось еще одно выступление Сергея, более интимное, в Доме самодеятельного (будущего агит) театра. Вся атмосфера вечера была не похожа на думскую. В памяти присутствующих он остался светлым, и Сергей сам был им очень доволен. Публика была не уличная, не обывательская, «приятная», преобладала театральная молодежь нового призыва. Прихода Есенина ждали долго. В 10 ч. вечера друзья под руки провели его по залу между рядами; он был в шубе, с волосами подобными нимбу, в руках цилиндр. Его встретили овацией, он радостно улыбался во все стороны. («Боже мой, боже мой, да ведь это ангел с разбитыми крыльями»,— неожиданно сказал один молодой красный драматург). Кажется, он был совсем трезв (вино, однако, было приготовлено за кулисами). Его дружеское, «родственное» отношение к собравшимся соответствовало приему, он только раз, да и то мягко, возразил против раздававшихся из зала нападков на окружавшую его группу имажинистов, пояснив, что они — его товарищи и он очень просит их не обижать. Его спутники, не смущаясь ничем, заполнили своими крайне крикливыми декларациями и стихами солидную часть вечера. Тут и произошла заминка. Публика стала настойчиво и сердито вызывать «*одного* Есенина». Тогда Сергей тоже сказал свое слово. Начав с защиты друзей, он — вольно или невольно — опроверг многое из сказанного ими. Его выводы были таковы: напрасно меня считают крестьянским поэтом («вот Клюев на меня обижается!»), напрасно «вот они все, хоть они и друзья мне» считают меня своим. «Я не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт». Читал он очень много, все что мог, с повторениями. Вечер превратился в настоящую бурю восторга по его адресу.

темы общего характера. Потихоньку Сергей сказал мне, что на этот раз нам, видно, не придется как следует поговорить, и торопливо стал хвалить своих новых «товарищей». Видимо, он рад был чувствовать себя их главой и покровителем. Он говорил, что все они «хорошие» и нуждающиеся, что им обязательно следует помочь изданием их книг, что они на него надеются и что он постарается достать для всего этого денег *.

Он решил окончательно переехать в Питер, который ему всегда был роднее, чем истрепавшая его Москва. Тут, думалось ему, можно начать новое издательское дело, а главное, можно спокойно работать. Нешумливые, пустоватые еще в то время улицы, просторные ленинградские квартиры поражали его. С наивным размахом он спрашивал, можно ли прожить здесь хорошо при ежедневном бюджете в 50 р., на который он, продавая себя Госиздату, в увлечении рассчитывал.

Когда я уходил, все молодые поэты были достаточно пьяны. Сережа, сам трезвый, пошел проводить меня до ворот, прося прийти на другой день попозже и обещал никого не принимать.

Не умею обобщить всего, что он рассказал мне о себе следующим вечером и ночью; передам отрывочно то, что запомнилось. И на этот раз мы были с ним наедине лишь урывками, потому что хозяин комнаты выходил только по поводу ужина и за вином, которого было порядочно, но, по мнению Сергея, все не хватало.

В продолжение часов десяти — до рассвета — я видел его поочередно и трезвым, и очень пьяным, и вновь прояснившимся, особенно милым и нежным. Его рассказ лился непрерывно, он не успел даже прочесть ничего из стихов, и я сам о них не думал. Наш город продолжал радовать его и обещать новую жизнь. Он решил обосноваться здесь, у хорошего приятеля (по московским годам и перепалкам) в трех комнатах, которые скоро освободятся. Он звал меня на время моего летнего одиночества переехать к нему и, сам решив за меня этот вопрос, заботливо спрашивал, не стес-

* В один из ближайших за этим дней, узнав о моих материальных затруднениях, он моментально пришел ко мне на помощь и, не имея денег под рукой, поспешил занять, настаивая, чтобы я взял больше, чем требовалось. «Ты лучше на днях еще возьми, у меня будут. Только не отдавай, пожалуйста. Понимаешь, эта мелочь меня не устроит, мне ведь надо больше, мне надо много денег...»

нит ли меня, если через некоторое время он будет не один, потому что «какая-нибудь женщина» наверное появится. Но в дальнейшем ему хотелось зажить иначе и поставить некоторый предел своей богемной обстановке. Он мечтал перевести сюда учиться своих сестер. Ему особенно хотелось показать мне младшую сестренку, наружность и душу которой он очень хвалил. «Тебе, именно тебе, она непременно понравится, я уж знаю»,— повторял он с гордостью.

...Про Запад он рассказывал беспорядочно и сбивчиво, перебрасываясь от смешной наивности к острым наблюдениям, точно радуясь тому, что он не принял Европы и она не приняла его. Но проскальзывала тут и уязвленность, неприятная ему самому. Я почти не помню сейчас отдельных поведанных им эпизодов, часто интересных только тем, что их трагикомическим, а иногда и трагическим участником был он — Сергей Есенин, русский поэт. Точно отталкиваясь от всего бесплодно пережитого там, он с заносчивостью говорил, что все это, «всю Европу» пришлось ему видеть с птичьего полета, «с аэроплана». Но взволновала его, кажется, больше всего Америка. К ней была в нем ненавидящая зависть. Заграничные встречи не принесли ему ни одной приятной минуты, ни один из эмигрировавших литературных знакомых его не приветил. Он не скрывал, что возвращение его на родину было бегством от Запада и от любви.

...Мое недоверчивое удивление по поводу его близости с Айседорой Дункан вызвало с его стороны целый ряд теплых и почти умиленных слов об этой женщине. Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, и нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень — поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном.

— Ты не говори, она не старая, она красивая, *прекрасная* женщина. Но вся седая (под краской), вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала...

Но безграничные безумства Дункан, ревнивой и требовательной, не отпускавшей от себя Сергея ни на минуту, утомили его, он говорил, что, как вор, бежал от нее на океанском пароходе, ожидая погони, чувствуя, что не в силах более быть с нею больше под одной крышей.

...Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один. Есенин и Дункан в Берлине. Айседора задумывает боль-

шую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившейся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают — веселой большой компанией — с места до места в автомобилях. Наутро — завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц: легонький флирт. Айседора, заметив это, встает, вся красная, и объявляет повелительно: «В Афины не едем. Все — в автомобили, едете назад». Так Сергей и не побывал в Греции [23].

...На Москву он был, видимо, сердит. Тамошняя скандальная слава не удовлетворяла его; за спиной осталось много теснящего и раздражающего. Московских собратьев, не внушавших на расстоянии никакой симпатии, он защищал, но не без улыбки. У него, за исключением редких, жестоких и часто несправедливых минут, все в его личном кругу были «хорошие люди». И теперь, не меньше чем в юности, он казался завороженным этой щемящей нежностью к людям, этой рассеянной слепотой, уживающейся с зоркостью резкого ума. В жизни его дружба и товарищество продолжали занимать почетное место, они поддерживали и облегчали его.

...С женщинами, говорил он, ему по-прежнему трудно было оставаться подолгу. Он разочаровывался постоянно и любил периоды, когда удавалось жить «без них»; но зато, если чувственная волна со всеми ее обманами захлестывала его на время, то опять-таки по старому — «без удержу». Обо всем этом говорил он попросту, по-мужски, и смеясь, но без грусти и беспокойства.

...В одну из тихих минут задумался он о неоставленной еще надежде жениться на хорошей, верной девушке, которую все не удается встретить. Но это так — только мелькнуло. Больше всего было воспоминаний. Со мной надежнее, чем с другими, мог он, ничего не объясняя, говорить о прошлом, о той полосе его личной жизни, которая началась у меня на глазах в октябрьские дни и, видимо, не переставала все эти шесть лет его мучить. И отбрасывая эту язвящую его тему, он за новым стаканом возвращался к ней опять, то с болью укоряя, оплевывая самого себя, то с нарочитой бранью обвиняя других, то рассказывая, как он был жесток и груб, то ударяя кулаком по столу и уверяя, что «нельзя, нельзя было иначе». И буйствуя, и успокаиваясь, он настаивал на том, что *это* в его жизни было первое и главное, то, что не сможет никогда забыть.

Еще раньше заметил я черную повязку на его левой руке, но только теперь он показал мне скрытый под нею шрам и объяснил мне подробно, как он порезался, пробив

рукою подвальное окно, как истекал кровью на незнакомой лестнице в чужой квартире, как долго лежал он, прикованный к постели с рукою под прессом... Но на вопрос, почему именно он, пьяный, соскочил с извозчика и ринулся в окошко, он ответил мельком, глядя в сторону: «Так, испугался... пьян был». Я не понял тогда, что в этом сказалась его начинавшаяся болезнь.

Когда я попытался попросить его во имя разных «хороших вещей» не так пьянствовать и поберечь себя, он вдруг пришел в страшное, особенное волнение. «Не могу я, ну как ты не понимаешь, не могу я не пить... Если бы не пил, разве мог бы я пережить *все, что было*?..» И заходил, смятенный, размашисто жестикулируя, по комнате, иногда останавливаясь и хватая меня за руку.

Чем больше он пил, тем чернее и горше говорил о том, что все, во что он верил, идет на убыль, что его «есенинская» революция еще не пришла, что он совсем один. И опять, как в юности, но уже болезненно сжимались его кулаки, угрожавшие невидимым врагам и миру, который он облетел в один год и узнал «лучше, чем все». И тут, в необузданном вихре, в путанице понятий закружилось только одно ясное повторяющееся слово:

— Россия! Ты понимаешь — Россия!

В этом потоке жалоб и требований был и невероятный национализм, и полная растерянность под гнетом всего пережитого и виденного, и поддержанная вином донкихотская гордость, и мальчишеское желание драться, но уже не стихами, а вот этой рукой... С кем? Едва ли он мог на это ответить, и никто его не спрашивал.

То, что он говорил мне вот так, мечась и мучась в приглушающих голос стенах комнаты с розовой двуспальной постелью и бутылками, слышали, вероятно, многие, как на этот раз слышал я и молчавший в кресле его приятель. Это, видимо, и было то, что прощали *одному Есенину*, и чувствовалось, что он давно перегорает в этой тягостной свободе выпадов и порывов, что на него и теперь смотрят с улыбкой, не карая, щадя его, как больного, как поэта и — опять, опять! — как «кудлатого щенка».

В подобном состоянии он, вероятно, и начинал свои скандалы, которых я никогда не видел. Но здесь, в комнате, он на моих глазах постепенно успокоился и, выпив, заулыбался. Я постарался перевести разговор на менее больную тему.

Такой длительной и «раскрывающей» встречи у нас больше не было, хотя я и старался часто заглядывать к Сер-

гею. На некоторое время он уезжал в Москву и опять вернулся — все еще без вещей, «постояльцем» с чемоданом... Ему казалось, что он живет тихо, реже пьет и может хорошо работать. Но мне он представлялся окруженным плотным кольцом не то профессиональных, не то собутыльнических связей, вереницей случайных друзей, которые и здесь наперебой помогают ему «расшатываться и пропадать». Не напоить Есенина, не напиться с ним казалось почти неприличным.

Часто говорили мне, приоткрыв дверь: «Вы к Есенину? Еще с третьего дня не возвращался». А однажды один из поэтов, вообще очень развязный, а на этот раз очень пьяный, загородил мне дорогу и уверял, что Есенина видеть «никак, никак нельзя». На какое препятствие намекал он, я так и не разузнал. В другой раз сам Сергей, услышав мой голос, успел опровергнуть заявление, что его нет дома, и, хотя это случилось в час, когда он действительно работал, не позволил мне уйти. Почти каждый раз он провожал меня домой по улицам, не надевая шапки, крепко ухватив меня под руку, милый и ласковый, но сам так и не собрался посмотреть мою новорожденную «ляльку» (так он издавна называл маленьких детей), а мне не верилось, что его прельщает семейственность и я не решался звать его к себе. ⟨...⟩

...И опять проблеском — трезвая, ясная собранность, в свете которой являлся из этого тумана живой и настоящий Сережа... Таков был один вечер, тоже «без денег и вина», но приятный. Сергей в библиотеке Сахарова, очень тихий, деловитый, разбирающий книги, влезая на лесенку. Перелистывал, когда я вошел, Глеба Успенского, но, отложив его в сторону, заговорил о тяге своей к настоящим классикам, к магистрали русской литературы. Его лицо было серьезно, он совсем не шутил, на лбу — морщинки, в глазах — еще новая для меня зрелость. Он весь был погружен в созерцание своего большого писательского дела. Показывая мне корректуры собрания своих стихов (тогда предполагалось два тома), он оценивал их как завершенный этап [24]. Имена Пушкина и Гоголя мелькали в его четких замечаниях. К стыду моему, я не сумел разглядеть тогда его культурного роста, давно перешедшего за грани знакомого мне ребячества.

При встречах с ним, благодаря их прерывистости и обстановке, в которых они происходили, я «обалдевал». Меня все больше наполняло неосознанное, но тяжелое ощущение всей стихийной зыбкости его *человеческой* судь-

бы, которая казалась мне важнее его поэзии и которую еще нечем было мерить.

Незадолго до отъезда он утром, едва проснувшись, читал мне в постели только что написанную им «Русь советскую», рукопись которой с немногими помарками лежала рядом на ночном столике. Я невольно перебил его на второй строчке: «Ага, Пушкин?» — «Ну да!» — и с радостным лицом твердо сказал, что идет теперь за Пушкиным.

В это утро, в маленькой неуютной «комнате по коридору» с гостиничной кроватью и трюмо, он казался очень больным. Я разбудил его своим приходом в 11 часов. Не одеваясь, он выпил натощак остаток со дна вчерашней бутылки и поскорее велел приятелю купить «рябиновой и еще чего-нибудь...». Его томила тревога, он поеживался и, привставая на постели, порывисто сжимал мне руку. Он опять говорил, что у него «все, все отняли», что новое, чужое ему «повсюду, понимаешь, повсюду», что у него нет сил терпеть и видеть свое одиночество.

— Не могу, Володя, не могу!..

Его голые руки дрожали мелкой дрожью, в расширенных глазах стояли слезы. Но принесенное вино опять его успокоило, он стал читать стихи, ушел в них, присмирел, и неизвестно было, где для него настоящая правда — в этой лихорадочной тоске и беспредметной подозрительности или в лирической примиренности его стихов о новой, здоровеющей родине...

Мы не простились с ним как следует («Так я и не увидел тебя перед отъездом»,— написал он мне через полгода). Уехал он с безалаберной экстренностью, на день раньше, чем думал, намереваясь через две недели ликвидировать дела в Москве и перевезти сюда все свои вещи и обосноваться тут надолго. Но обещаемого со дня на день его возвращения я так и не дождался.

V

В Москве летом *, за полгода до кончины Сережи я видел его в последний раз. Приехав туда на один спектакль, я едва добился его по телефону за три часа до отхода моего поезда. Мне говорили общие знакомые, что он ночует в разных местах, но в это утро я нашел его дома (в квартире сестры).

* В июне 1925 г.

Голос его в трубке был совершенно больной, далекий, брезжущий, точно в испорченном аппарате. Подумав, он назначил мне встречу в Госиздате. Поджидая его у подъезда, я издали узнал его знакомый шоколадного цвета пиджак и коричневую фетровую шляпу.

Он шел не один, мясистое лицо одного из его спутников было мне хорошо знакомо по ленинградским встречам.

На этот раз Сергей неприятно поразил меня своим видом. В нем было что-то с первого взгляда похожее на маститость, он весь точно поширел и шел не по сложению грузно. Лицо бумажно-белое не от одной пудры, очень опухшее; красные веки при ярком солнечном свете особенно подчеркивали эту белизну. Мы расцеловались крепко, как всегда, но не весело, и ласковость Сергея, глядевшего по временам куда-то мимо, в тоскливой рассеянности, была не та, «не Сережина», точно я стал ему совсем чужим и ненужным.

В вестибюле, непрерывно с кем-то здороваясь, как настоящая и чтимая знаменитость, он присел со мной на скамью и тут, точно собравшись внутренне и вспомнив что-то, посмотрел на меня веселей. Первое, о чем он рассказал мне, была новая женитьба. Посвящая меня в эту новость, он оживился, помолодел и объявил, что мне обязательно нужно видеть его жену. «Ну, недели через две приедем, покажу ее тебе». Имя жены он произнес с гордостью. Сергей Есенин и Софья Толстая — это сочетание, видимо, нравилось и льстило ему. Еще событие: окончательная покупка Госиздатом его сочинений для трехтомного издания.

И вдруг, оглянувшись по сторонам, сорвался с места, заторопился: «Пойдем!» Ухватив меня под руку, он довольно повелительно сказал своим спутникам, чтобы они его ожидали (у них был деловой день).

Мы, по обычаю, пошли в пивную.

— Только не в эту, тут знакомых встретим, вон туда, за угол...

В низку за столиком потребовал: «Трехгорного, похолоднее»,— и закашлялся хрипло и скверно.

Его вид, его страшная, уже не только похмельная осиплость заставили меня привязаться к нему с разговором о здоровье. Он стал рассказывать о тяжелой простуде, схваченной на Кавказе: пьяная прогулка, ехал холодной ночью в распахнутой рубахе верхом на радиаторе мотора, неслись бешено, чудом шею на поворотах не свернул. (В Ленинграде его болезнь приписывали исключительно

увечьям, полученным в драке с азербайджанцами, якобы переломившими ему ребра. Сергей недовольно опровергал этот слух *.)

— Нехорошо было, Володя. Лежал долго, харкал кровью. Думал, что уже больше не встану, совсем умирать собрался. И стихи писал предсмертные, вот прочту тебе, слушай.

Я плохо слушал и недооценил, по обыкновению, его стихи, думалось больше о нем, чем о них. Читал он тихо, перегнувшись ко мне через столик, очень хорошо и очень печально. «Ну, целуй меня, целуй...»,— опять заставило вспомнить Пушкина **.

Но все, что он говорил мне о житейском, о намеченной после короткого пребывания в Ленинграде поездке с женой на юг, чтобы подольше пожить там, о том, что острый процесс он преодолел и доктора очень хвалят его организм, о твердом желании лечиться, о деньгах, которые его наконец обеспечат и дадут возможность купить для всей семьи квартиру «в четыре тысячи» — все это звучало самой естественной, простой бодростью и обманчиво успокаивало, казалось, что он еще очень силен, что его жизненность непременно победит, что Есенин это наверное — жизнь.

— Тридцать лет, Володя! Знаешь, я в этом году брошу пить. У нас в семье так со всеми бывало. Почти алкоголики, а на тридцатом году бросали...

Его тоскливость совсем пропала, муть в глазах прояснилась, ресницы по-старинному, уже по-«Сергунькиному» смеялись. Мы опять были наперекор разлукам и всему остальному — старые друзья, как «тогда». Но говорить пришлось недолго. И здесь со всех сторон начали здороваться, подсаживаться разные лица и рыла. «А, Сергею Александровичу», «Послушайте, еще пару сюда. Да садись, садись, куда ты? Вот, познакомьтесь...» И он стал хозяйственно разливать пиво по бокалам, видимо, деловым знакомым.

Мне пора было на поезд. Сергей расплатился, проводил меня немного, помогая мне нести чемодан, но казался опять

* Я помню фразу, сказанную по этому поводу одним принципиальным человеком, руководителем культурного учреждения: «Жаль, что не совсем добили»,— образец отношения к нему со стороны законченной обывательщины.

** От одного из стихотворений остался в памяти образ: болезнь, прощанье, цветы на окне. Мне кажется, что он прочел тогда заключительные стихи первого тома, помеченные в книге *октябрем* 1925 г.[25].

озабоченным. Последние слышанные мною слова его: «Ты ожидай, обязательно приеду».

В поезде молодой рабфаковец, начинающий в литературе, говорил с соседом об Есенине. Его слава и талант, видимо, внушали молодежи уважение, так и было сказано: «Мы его уважаем». Но заносчивость и бравирующие, надменные слова: «Кто вы такие? Вы должны у меня учиться!» — запомнились и раздражали их. Есенин был им все-таки чужой.

И опять, как год назад, Сережин приезд «через две недели» оказался только проектом. Напрасно я заходил несколько раз на Гагаринскую, где обычно о нем знали. Мы, по обыкновению, не переписывались. Наши круги никак не смыкались. Как и раньше, думалось, что он витает и буйствует и идет сквозь жизнь в своем шатающемся вечном вихре — то здесь, то там, не упасешь, не удержишь! В гибель его, предрекаемую иногда в беглых (уже обычных!) разговорах, не верилось, к самому слову «погибший» образовалась дикая привычка, точно это, действительно, было только *слово*.

В первой половине ноября Клюев, встретившись со мной на улице, рассказал, что Сергей в Ленинграде [26] и приходил к нему, что на него «смотреть страшно, одна шкура от человека осталась... а найти — как его найдешь? Не сегодня завтра уезжает, скоро обещает вернуться».

И я не разыскал его, не понял, что пора к нему идти и нельзя медлить. Ему самому в те дни, как и в предсмертные, ближе всего оказался его круг, те, кто считался его братьями по перу. Я не успел с ним проститься.

«Милый мой, ты у меня в груди!» [27]

‹1926›

М. В. БАБЕНЧИКОВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

В молодые годы я часто бывал у одного из моих петербургских приятелей Кости Ляндау. Как большинство тогдашней молодежи, Ляндау бредил поэзией и даже пробовал помещать стихи в журналах. Поэта из него не вышло, но это был весьма начитанный для своего возраста человек с хорошим вкусом, и в его небольшой комнате на набережной Фонтанки у Аничкова моста чуть не каждый вечер собирались страстные поклонники поэзии.

Отец Ляндау, или, как его шутливо величали Костины сверстники, «старый Юлиан», был не то биржевиком, не то коммерсантом. Обладая солидными средствами, он ни в чем не стеснял своего сына и, бывали случаи, поддерживал материально его поэтических друзей.

У Ляндау-младшего, жившего отдельно от родителей, в холостяцкой обстановке, было собрание редких книг, главным образом, произведений русских и иностранных поэтов. Комната Ляндау помещалась в нижнем этаже типично петербургского дома, из окон которого виднелся мощный ансамбль Екатерининского института и силуэт вздыбленных клодтовских коней. Старинная обстановка: мебель, полки с книгами и гравюры на стенах — делали ее похожей на интерьер первой половины прошлого века, а вечерние сборища, происходившие в ней,— на собрания пылких «архивных юношей» пушкинской поры. В «кружке Ляндау» до хрипоты спорили о поэзии и не раз раздавался густой голос Осипа Мандельштама, читавшего свои стихи.

Здесь же впервые я услышал и незнакомое мне до тех пор имя Сергея Есенина, а затем встретился с начавшим входить в моду «крестьянским», как его тогда называли, поэтом.

О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что

нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом. Прибавлялось, что стихи Есенина уже читал сам Александр Блок и что они ему понравились. Рассказ этот я слышал в различных вариантах, но всегда в одном и том же строго выдержанном стиле. Так, о Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно, Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петербург, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а, главное, больше устраивала всех. Есенин, так или иначе, но попал в Петербург в 1915 году и был совершенно осязаем, а не бесплотен, как его пытались изображать столичные снобы.

Он сидел рядом со мной у Кости Ляндау и довольно прозаически пил чай, старательно дуя на блюдечко, как это делали где-нибудь на окраине завсегдатаи извозчичьих чайных. Белесо-желтые, точно выгоревшие на деревенском солнцепеке, подстриженные в кружок кудрявые волосы и застенчивая улыбка, изредка появлявшаяся на его нежно-розовом лице, делали Есенина похожим на мальчугана, хотя он уже и вышел из отроческого возраста. Вообще, цвет — первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на молодого Есенина. Говорил он при посторонних мало, с большими паузами, почти совсем не прибегая к жестикуляции. И лишь время от времени, как бы для пущей важности, тихо покашливал в кулак. А когда слушал, неожиданно вскидывал на собеседника такие же мелкие, как и остальные черты есенинского лица, василькового цвета глаза. «Приказчик, певец из народного хора, полотер. А может быть, трактирный половой», — мелькнуло в моей голове при взгляде на нового знакомца. Но это внешнее впечатление быстро исчезло, стоило мне узнать Есенина ближе.

Происходило это в самые первые дни появления Есенина в Петербурге, и очень многое из того, что он видел вокруг, было для него новым и необычным. Отсюда возникали его смущение и любопытный взгляд исподтишка, с каким он, стараясь быть незамеченным, рассматривал незнакомые ему лица. Отсюда же проистекала постоянная настороженность молодого Есенина и та пытливая жадность, с которой он прозревал новизну. Быть может, даже там, где ее и не было. Он творил ее.

— Алеша Ка-га-ма-зов, — как-то презрительно бросил, пристально разглядывая Есенина, один ныне покойный эстет.

С Алешей у Есенина было действительно нечто общее. Как Алеша, он был розов, застенчив, малоречив, но в нем не было ни тени «достоевщины», в бездну которой Есенина в те годы усиленно толкали Мережковские.

Не прошло и нескольких недель с момента нашего знакомства с Есениным, как он уже был со мной «на ты». Чувствовалось, что ему легче говорить так, да и наши с ним отношения приняли по-настоящему дружеский характер. Есенин стал иногда заходить ко мне. Чаще же мы встречались с ним на людях или бродили вдвоем по городу.

Петербург в такие минуты владел всеми нашими помыслами. Акварельные фасады лимонно-желтых и нежно-фисташковых зданий, отражающиеся в темной глади Невы, каналы, тенистые сады, ажурный взлет мостов и казавшаяся гигантской фигура Медного всадника, простершего свою длань над городом, будили в нас поэтические чувства. Помню, раз после одной из таких длинных прогулок стеклянным петербургским вечером мы остановились с Есениным на набережной Невы. Он вспоминал родную Оку, что-то говорил о своем будущем, и нам было отрадно думать, что когда-то здесь, быть может, стоял и Пушкин. Петербург, Пушкин, пушкинская эпоха были в центре художественных интересов тогдашней литературной молодежи. К ним присоединялось увлечение петербургскими повестями Гоголя, ранним Достоевским и Аполлоном Григорьевым.

Есенин много лет спустя, вспоминая годы нашей общей молодости, часто называл те же самые имена. Что касается Гоголя, то в зрелый период творческой жизни поэта его любовь к автору «Мертвых душ» еще больше окрепла. «Вот мой единственный учитель»,— сказал мне Есенин в двадцатых годах, ласково поглаживая стопку книг любимого писателя.

В период наших ранних встреч с Есениным прошлое во всех его видах интересовало горсточку рафинированных столичных поэтов больше, чем настоящее. Оно казалось им заманчивее окружающей действительности. И главное, не пугало грозными предвестиями неизбежных перемен. Это сказывалось не только в тогдашней поэзии, среди представителей которой вращался Есенин, но и в других областях жизни. Ставились спектакли, до мелочей воспроизводившие античные и средневековые постановки, писались романы на исторические темы, устраивались выставки старинных портретов, фарфора, мебели и гравюр. В стиле прошлых веков были обставлены особняки и квартиры меценатствующей буржуазии, модных артистов, писателей

и художников. Подражание прошлому сказывалось даже во внешнем виде: костюме, прическе, придававших реальному облику людей XX века маскарадное обличье.

Вскоре же после того как Есенин приехал в Петербург, он подпал под влияние окружавшей его художественной среды. И я помню, как удивился, впервые встретив его наряженным в какой-то сверхфантастический костюм. Есенин сам ощущал нарочитую «экзотику» своего вида и, желая скрыть свое смущение от меня, задиристо кинул:

— Что, не похож я на мужика?

Мне было трудно удержаться от смеха, а он хохотал еще пуще меня, с мальчишеским любопытством разглядывая себя в зеркале. С завитыми в кольца кудряшками золотистых волос, в голубой шелковой рубахе с серебряным поясом, в бархатных навыпуск штанах и высоких сафьяновых сапожках, он и впрямь выглядел засахаренным пряничным херувимом.

Что только ни делали с Есениным в те годы услужливые «друзья», чтобы затянуть его в свой лагерь, но для многих, в том числе и для меня, он как был, так и оставался прежним Сергунькой. Несмотря на всю откровенность, с какой Есенин говорил о себе, некоторая сторона его жизни долго оставалась для меня неизвестной. Я почти ничего не знал о его пребывании перед тем в Москве, и большинство рассказов Есенина сводилось к детским годам, проведенным в родной рязанской деревне. Вспоминая со мной о своем деревенском прошлом, молодой Есенин радостно и весело раскрывал себя. И самые слова, произносимые им по этому поводу, были тоже какими-то особенными, солнечными, лучезарными, не похожими на обычные будничные слова. А голос чистым и звонким.

— Весенний! Есенин! — невольно как-то вырвалось у меня при взгляде на его сияющее улыбчивое лицо.

И он тотчас же на лету подхватил мою шутку.

— Весенний! Есенин! Ловко ты это придумал, хотя и не сам, сознайся, а Лев Толстой. Есть у него в «Войне и мире» что-то вроде [1]. Люблю и боюсь я этого старика. А отчего, не знаю. Даже во сне вижу. Махонький такой, мохнатенький, вроде лесовика. Идет, палкой суковатой постукивает. И вдруг как заорет: «Серега! Зачем дом бросил!»

Слова Есенина вспыхивают и тотчас же гаснут, как зарницы, и сам он, через минуту уже забыв, о чем только что говорил, по-детски фыркнув, спрашивает меня:

— Хочешь, спляшу? Или, думаешь, не умею? Вот гармонь. Деньги получил и купил.

Я пытаюсь что-то рассказать ему, но вижу, что Есенин не слушает меня. Мысли его витают где-то далеко-далеко.

— Сережа! — пробую я вывести его из оцепенения. Есенин сперва ничего не отвечает, а затем раздраженно бурчит:

— Сережа! Сережа! Сам знаю, что Сережа. Или не видишь — плакать хочется. (Это было тогда его любимым словцом.)

В такие минуты с есенинского лица вмиг исчезала «улыбка радостного счастья», глаза темнели и сам он как-то весь съеживался в комок.

Вскоре вслед за появлением Есенина в Петербурге за ним всюду по пятам стал ходить поэт Николай Клюев. Среднего роста, плечистый человек, с густо напомаженной головой, сладкой, витиеватой речью и елейным обхождением, он казался насквозь пропахнувшим лампадным маслом. Одевался Клюев в темного цвета поддевку и носил поскрипывавшие на ходу сапоги бутылками. Хотя в обществе Клюев держался важно и даже степенно, что-то хищное время от времени проглядывало в нем. Клюев всячески пытался скрыть эту сторону своей натуры, то улыбочкой, то ласковым взглядом заметая следы своего истинного отношения к людям. И надо сказать, что это часто удавалось ему. На Есенина он произвел неотразимое впечатление. И его влияние на молодого поэта вскоре приобрело характер власти.

Близость к Есенину льстила Клюеву, так как юный поэт к этому времени стал одной из заметных фигур в литературном мире. Его баловали, приглашали нарасхват в самые модные великосветские салоны, и бывать с ним повсюду вместе,— значило оказаться на виду. В свою очередь, на Есенина произвели сильное впечатление поэтическая настроенность и стихотворные образы Клюева, близкие его собственным настроениям в юные годы.

Были, кроме Клюева, у Есенина и другие друзья, чаще всего его сверстники. Клюев же и годами превосходил их, и писательским опытом обладал в большей степени.

Близко дружил Есенин с Володей Чернявским, а через него и с небольшой группой лиц в той или иной степени причастных к искусству. Сам Чернявский был студентом-филологом, но основными увлечениями его являлись поэзия и театр. Через нашего общего приятеля, племянника В. Ф. Комиссаржевской, Антона Врангеля Чернявский познакомился с актерской средой театра на Офицерской, числился в ряду страстных обожателей Веры Федоровны

и не расставался с ее портретом в роли метерлинковской сестры Беатрисы. Кроме Комиссаржевской, его кумиром была Рашель. Чернявский хорошо знал классический репертуар, декламировал Корнеля и Расина, а в области поэзии, помимо того что сам пописывал стишки, боготворил, как и все мы, Александра Блока.

У Чернявского и у меня, как у более старших по возрасту, намечалась и другая линия интересов. Чернявский, а одно время и я, имели касательство к Народному дому Паниной, где передовой группой актеров во главе с П. Гайдебуровым и Н. Ф. Скарской (сестрой Комиссаржевской) ставились для рабочей аудитории пьесы северных драматургов. Я уже не первый год писал в «Современнике», а затем в «Новой студии» и читал лекции на частных женских архитектурных курсах, что, естественно, еще больше расширяло мой кругозор.

Театр был основной стихией не одного только Чернявского, а многих из наших общих с Есениным друзей. Вдохновителем их был В. Э. Мейерхольд, обладавший исключительной способностью привлекать к себе молодежь. В его кружок входили мои близкие товарищи студенты-филологи, сын известного философа Сергей Радлов, В. Соловьев, Б. Алперс и более старшие по возрасту, но примыкавшие к молодым, Б. Мосолов и актер с довольно солидным стажем В. Лачинов. У Мейерхольда я впервые встретился с А. Грипичем, братьями Бонди, К. Кузьминым-Караваевым и еще целым рядом лиц, позднее вошедших в состав мейерхольдовской студии на Бородинской улице, а затем и в число сотрудников издававшегося Всеволодом Эмильевичем театрального журнальчика «Любовь к трем апельсинам». Все это, и деятельность студии, и издание журнала, проходило под знаком нашего общего увлечения волшебным сказочником и музыкантом Теодором Гофманом и Карло Гоцци. Мейерхольд очень тонко и умело подогревал эту нашу молодую страсть, отклик на которую мы в то время находили в поэзии Кузмина, драмах Ауслендера, живописи Судейкина и Сапунова.

Сейчас мне было бы трудно сказать, в какой степени Есенин был ввергнут в общий поток наших художественных увлечений. Но, конечно, он не мог избежать их, ежедневно присутствуя при наших спорах, читая и слушая чтение стихов, просиживая ночи в «Бродячей собаке» [2]. Театр, поэзия, музыка полностью поглощали нас в те годы. 〈...〉

Есенина главным образом, конечно, интересовал кружок поэтов, но, повторяю, он не мог не соприкасаться, как

и все мы, с остальными только что перечисленными лицами, часть которых — Чернявский, С. Радлов, К. Ляндау, М. Струве, Рюрик Ивнев писали стихи. У поэтов была своя жизнь, но и в их среде господствовали интересы, общие для всей тогдашней художественной молодежи — привитое с легкой руки Кузмина элегическое любование прошлым, романтические порывы и наивная вера в игрушечность и сказочность, якобы свойственные окружающему миру. Это отражалось не только на нашем чтении, но и на наружности некоторых из нас, подражавших в своем костюме и прическе прославленным денди прошлого века. Подобный уайльдизм вполне уживался с модным тогда религиозно-философским увлечением, так же, как и все остальное, имевшим характер своеобразной и довольно жуткой игры и маскарада. 〈...〉

В «Бродячей собаке», где мы часто бывали с Есениным и где было всегда шумно, но не всегда весело, кроме уже перечисленных лиц, встречалось великое множество самых разнообразных людей, начиная с великосветских снобов и кончая маститыми литераторами и актерами. Кажется, только один Блок не жаловал это артистическое логовище, не вынося царившего в нем богемного духа. Зато «Собаку» почти ежедневно посещали поэты-царскоселы во главе с Гумилевым и Ахматовой, «Жоржики», как называли тогда двух неразлучных аяксов сюсюкающих Георгия Иванова и Георгия Адамовича, и целая свора представителей «обойной» поэзии, получившей такую злую кличку после того, когда сборник стихов этой группы вышел напечатанным на обойной бумаге. В «Собаке» играли, пели, сочиняли шуточные экспромты, танцевали, рисовали шаржи друг на друга самые знаменитые артисты и художники. И если бы только сохранился архив этого своеобразного учреждения, многое из того, что кажется необъяснимым сегодня в русской художественной жизни начала нашего века, получило бы ясность и правильное истолкование.

Здесь, в «Бродячей собаке», культивировавшей вопреки всему направлению тогдашней эпохи «веселой легкости безумное житье», было можно встретить неизменно сидящего за одним и тем же столиком саженного Маяковского, похожего на фарфоровую статуэтку или игрушечного барабанщика Судейкина, Евреинова, Мейерхольда, Карсавину. Здесь играл совсем юный Прокофьев, и, лениво перебирая клавиши, напевал вполголоса свои песенки жеманно улыбавшийся Кузмин. Встречались здесь и такие монстры, как способный молодой поэт Шилейко, выглядевший весьма

ветхим сгорбленным стариком. Тогда еще студент университета, он обнаружил в хранилищах Эрмитажа два письма вавилонского царя Хаммурапи и получил справедливое признание как ученый-востоковед. 〈...〉

Здесь, в подвале, я много раз слышал Маяковского, Игоря Северянина, Есенина, читавших впервые свои новые стихи. Именно утром, после бурно проведенной в спорах ночи, а не вечером, когда этому чтению могли помешать «провизоры» — так называли почему-то в «Собаке» приглашенных со стороны гостей, всю ту денежную публику, которая косвенно субсидировала это предприятие.

Вскоре появился сборник стихов Есенина «Радуница». О нем много писали. И мне отрадно сейчас вспоминать, что я знал его в самые счастливые дни его золотой юности. В это время Есенин часто выступал с чтением своих стихов.

Читал их он с каким-то самозабвенным упоением, мерно покачиваясь всем своим гибким телом. И в середине чтения, точно боясь, что упадет, судорожно сжимал обеими руками спинку стула. В самом финале он отпускал ее. И кончал читать, не держась ни за что, как бы оторвавшись от земли и пребывая в свободном полете. Это впечатление плавного парения усугублялось тем, что манере есенинского чтения была присуща некая волнообразность ритмического колебания вверх и вниз, неотразимо действовавшая на слушателей.

Когда Есенин читал, глядя на него, мне всегда казалось почти невероятным, что где-то глубоко-глубоко внутри этого щуплого с виду паренька с лукаво бегающими глазками и типичной повадкой деревенского жителя струится неиссякаемый родник кристально чистой поэзии. В самом характере есенинского чтения была особая, свойственная ему певучесть. И конец каждого произнесенного им слова, прежде чем замереть, вздрагивал, как звук туго натянутой струны.

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Есенин читал, как пел. Легко и свободно, чуть оттеняя иногда отдельные слова. Так, слово «мать» он произнес иначе, чем остальные, легкой, едва заметной паузой выделив его среди других и сообщив ему каким-то едва заметным придыханием особую мягкую ласковую окраску. Но что больше всего покоряло в есенинском чтении, так это

слитность музыки стиха с живой образностью. Нечто подобное тому, что можно встретить только в устной народной поэзии, где звучность и красота слова никогда не заслоняют внутреннего глубокого содержания.

Кончил читать Есенин как-то сразу, внезапно оборвав на полуслове. Будто вздохнул и затих. Странно, но мне показалось в эту минуту, что в комнате стало темно, до такой степени звуковое впечатление от его чтения неразрывно слилось в моем представлении с чем-то светлым, зримым и сияющим. Все сидели словно завороженные. И только один он продолжал стоять, смущенно улыбаясь, точно не сознавая того, что произошло. Затем устало опустился на стул, налил дрожащей от волнения рукой стакан вина и, одним взмахом опрокинув его, по-хозяйски утер широким рукавом губы.

В первую мировую войну Есенина не сразу взяли на военную службу. А когда дошла его очередь, он устроился вместе с нашим общим приятелем художником П. С. Наумовым и рядом других знакомых лиц в санитарную часть в Царском Селе. Вскоре после этого мы встретились с Есениным на улице, и он, сняв фуражку с коротко остриженной головы, ткнул пальцем в кокарду и весело сказал:

— Видишь, забрили? Думаешь, пропал? Не тут-то было.

Глаза его лукаво подмигивали, и сам он напоминал школяра, тайком убежавшего от старших.

В двадцатых годах я увиделся с Есениным уже в Москве, куда мы оба переехали из Петербурга, и, признаюсь, не сразу узнал его. Беспокойный, шумный, глава имажинизма, он внешне походил теперь на молодого купчика. Глядел чуть свысока. Говорил важным тоном и неожиданно придирался к мелочам, открыто идя на ссору. В коридорах издательств и столовке на Арбате Есенин появлялся в сопровождении целой своры досужих прихлебателей и на мой вопрос: «Зачем они тебе?» — неопределенно ответил: «А я знаю?»

Жил я тогда недалеко от Госиздата, и Есенин, как-то раз направляясь туда, зашел ко мне. Меховая шуба его была лихо распахнута, открывая одетый под ней щегольской костюм кофейного цвета и яркую шелковую сорочку. Из-под ставшей уже знаменитой в литературной среде бобровой шапки весело улыбалось порозовевшее на морозе лицо. Да и весь он казался свежим и помолодевшим. Я сказал ему об этом. Мои слова его обрадовали, но он тут же их резко опротестовал:

КОНЦЕРТНЫЙ

ЗАЛЪ ТЕНИШЕВСКАГО УЧИЛИЩА

Моховая, 33.

15-го Апрѣля 1916 года,

СОСТОИТСЯ

ВЕЧЕРЪ

СОВРЕМЕННОЙ

ПОЭЗIИ и МУЗЫКИ

При любезномъ участiи: **Г. Адамовича, А. Ахматовой, А. Блока, М. Долинова, М. Зенкевича, С. Есенина, Г. Иванова, Р. Ивнева, Н. Клюева, М. Кузмина, О. Мандельштама, Ф. Сологуба, Н. Тэффи** и въ музыкальномъ отдѣленiи **З. Н. Артемьевой** (пѣнiе), **О. Н. Бутомо-Названовой** (пѣнiе) и **С. С. Прокофьева** (рояль).

У рояля **Р. Н. Мервольфъ.**

Рояль изъ депо **А. ДИДЕРИХСА**, Литейный, 60.

Весь чистый сборъ пойдетъ въ пользу 11-го Городского Лазарета, учрежденнаго Императорскимъ Вольно-Экономическимъ Обществомъ.

Начало ровно въ 8 час. вечера.

Предварительная продажа билетовъ цѣною отъ 7 руб. 60 коп. до 75 коп. (съ взиманiемъ военнаго налога) производится: въ кассѣ концертнаго зала Тенишевскаго Училища (Моховая ул., 33), въ книжныхъ магазинахъ **Вольфа** (Невскiй, 13), **Вольфа** (Гост. Дворъ, 18), **Попова** (Невскiй, 66), музыкальномъ магазинѣ **Шредера** (Невскiй, 52) и въ Центральной театральной кассѣ (Невскiй, 23). Въ день вечера продажа билетовъ будетъ производиться исключительно въ кассѣ концертнаго зала Тенишевскаго Училища (Моховая, 33).

— Шалишь. Прошла молодость. Сам вижу... Вот скоро тридцать... А (через паузу) успокоиться никак не могу.

Затем наша беседа перешла на воспоминания о первых днях его петербургской жизни, и меня поразило, как Есенин помнил многие подробности, уже совершенно выветрившиеся из моей памяти. В тоне голоса, с которым Есенин вспоминал о прошлом, и в его беспокойных движениях чувствовалась затаенная тревога. Ее не могли скрыть ни его внешне благополучный вид, ни мои попытки несколько сгладить возникшее настроение. Какая-то неотступная мысль сверлила есенинский мозг уже в то время, заставляя его постоянно возвращаться к одной и той же теме.

— Деревня, деревня,— как бы думая про себя, спрашивал он.— Деревня — жизнь. А город?..

И его мысль тут же повисала в воздухе. Он не развивал ее, а отделывался общими словами:

— Тяжел мне этот разговор. Давит он меня.

Еще до рассказанной встречи с Есениным я неоднократно слышал о его частых кутежах и нашумевшем романе с Дункан. Но прошло некоторое время, прежде чем мне удалось самому навестить его и проверить воочию доходившие до меня слухи. Жил Есенин тогда в особняке на Пречистенке, 20, принадлежавшем когда-то балерине Балашовой. Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно-испитое лицо, припухшие веки глаз, хриплый голос, которым он спросил:

— Чудно? — И тут же прибавил: — Пойдем, я тебя еще не так удивлю.

Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посередине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункан высилась деревянная голова самого Есенина, работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке, точно после какого-то разгрома.

Есенин, видя мое невольное замешательство, еще больше возликовал:

— Садись, видишь как живу — по-царски! А там,— он указал на дверь,— Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет.

Проговорил он все это скороговоркой, будто сыпал горох, и потом начал обстоятельно рассказывать, как выступал в модном кабаре и как его восторженно принимала публика.

Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали, на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта.

По-русски Дункан знала всего несколько слов: «красный карандаш», «синий карандаш», «яблоко» и «Луначарский», которые произносила, как ребенок, забавно коверкая и заменяя одну букву другой. Поэтому и разговор наш, начатый таким образом, велся ощупью, пока мы не догадались наконец перейти на французский язык. Дункан говорила вяло, лениво цедя слова, о совершенно различных вещах. О том, что какой это ужас, что она пятнадцать минут не целовала Есенина, что ей нравится Москва, но она не любит снег, что один русский артист обещал ей подарить настоящие petit traineau * и еще что-то, все в том же кокетливо-наивном тоне стареющей актрисы. Говоря, она полулежала на широкой тахте, усталая, разморенная заботами прошедшего дня и, как мне показалось, чем-то расстроенная.

Есенин тоже был не в духе. Он сидел в кресле, медленно тянул вино из высокого бокала и упорно молчал, не то с усмешкой, не то с раздражением слушая болтовню Айседоры. Раздались шаги, и появилась приемная дочь Дункан, Ирма. Айседора познакомила меня с ней и предложила пройти рядом в зал послушать игру известного пианиста и посмотреть на ее маленьких учеников.

В аляповато украшенном пышной лепкой зале сидело человек двадцать детей, отражавшихся в зеркалах, вставленных в стены. Дети шумели, и потребовалось немало усилий со стороны воспитательниц, чтобы унять их. Пианист сыграл один из этюдов Скрябина, и Айседора через переводчика спросила детей, в чем содержание музыкальной пьесы. Дети хором ответили: «Драка!» Дункан их ответ

* маленькие сани *(фр.)*.

очень понравился, так как темой этюда была борьба, и она, улыбнувшись обольстительной улыбкой дивы, сказала мне: «Я хочу, чтобы детские руки могли коснуться звезд и обнять мир...» Слова Дункан показались мне заученной фразой, тем более что только что перед тем я оказался случайным свидетелем ее весьма прозаического разговора со своим администратором.

Есенина в это время в комнате не было, он так и не заходил туда. И Айседора, объясняя его отсутствие, сказала, что Есенин не любит музыки. Меня удивило это неожиданное замечание, и я невольно спросил Дункан, знает ли она, что Есенин крупный поэт, стихи которого полны музыки. Она ответила коротко и полувопросительно: «Да?» — тут же прибавив, что сама не может жить вне звучащей атмосферы. И действительно, просидев с ней часть вечера, я имел случай убедиться, что стоило только беседе замолкнуть, как она тотчас же заводила граммофон или пробовала напевать что-то.

Когда пианист ушел, а Дункан, попрощавшись, вышла в свою комнату, мы остались с Есениным наедине. Так как от окна сильно дуло, нам пришлось перейти ближе к кирпичной времянке, устроившись прямо на ковре. Есенин, сидя на корточках, рассеянно шевелил с трудом догоравшие головни, а затем, угрюмо упершись невидящими глазами в одну точку, тихо начал:

— Был в деревне. Все рушится... Надо самому быть оттуда, чтобы понять... Конец всему.

Говорил Есенин и о Клюеве, причем, слушая его, я убедился, что, несмотря на прошедшие годы, отношения их нисколько не изменились. Клюева Есенин всегда выделял из числа близких лиц, а раз, помнится, даже сказал, что это единственный человек, которого он по-настоящему прочно и долго любил и любит. В этот вечер Есенину неудержимо хотелось говорить. И он говорил мне, как, наверное, говорил бы всякому другому. В доме уже все спали, и только легкое потрескивание дров нарушало ночную тишину. Я слушал рассказ Есенина, боясь проронить хотя бы одно слово. И передо мной сквозь сумрак комнаты плыла бесконечная вереница манящих, упрекающих образов его деда, бабки, товарищей детских игр.

Передать в точности есенинскую речь невозможно. Мне она почему-то напомнила деревянный шар, пущенный детской рукой вниз по каменной лестнице. Шар брошен. Что-то будет? Розовое лицо ребенка улыбается, предвкушая забаву. Дальше испуг... Может быть, даже слезы...

Ток... Ток... Шар прыгает все ниже и ниже со ступеньки на ступеньку. Его нельзя остановить ничем. Его неудержимо влечет к черному квадрату земли. А в ушах раздается все то же токанье сухого дерева о камень.

Внезапно вспыхнувшее пламя осветило угол письменного стола и стоявшую на нем неоконченную коненковскую голову Есенина. Мгновение, и из грубого обрубка векового дерева, из морщин его коры на меня взглянуло лицо прежнего Сережи. И, не в силах удержаться, я взглянул на него самого. Передо мной находились даже не братья, а два смутно похожих друг на друга чужих человека. Первый был ожившая материя, и на его губах играла улыбка пробуждающейся жизни. Судорога прикрывала улыбку второго. Огонь времянки вспыхнул снова, чтобы, дымясь, погаснуть совсем. По стенам поползли длинные черные тени. Скоро не стало и их. Разговор прервался. Есенин встал и, обхватив голову обеими руками, точно желая выжать из нее мучившие его мысли, сказал каким-то чужим, непохожим на свой голосом:

— Шумит как в мельнице, сам не пойму. Пьян, что ли? Или так просто...

Затем, видя, что я собираюсь уходить, и боясь, что кто-то может его услышать, тихо прошептал:

— Хочешь, провожу? Только скорее. А то еще, чего доброго, Айседора проснется. Ты ее, брат, не знаешь!

Вообще с Дункан, как я имел возможность не раз убедиться, он бывал резок. Говорил о ней в раздраженном тоне, зло, колюче: «Пристала. Липнет, как патока». И вдруг тут же, неожиданно, наперекор сказанному вставлял: «А знаешь, она баба добрая. Чудная только какая-то. Не пойму ее».

На улице кружил снег. Идти было трудно, и мы барахтались среди снежных бугров. Есенин несколько раз останавливался, пытаясь зажечь спичку, и, наконец закурив, поднял меховой воротник своего модного пальто. Так мы дошли до самого Пречистенского бульвара. И только на углу, когда наступило время прощаться, он будто невзначай сказал мне:

— Скоро в Америку уезжаю. Баста. Или не слыхал?

Я шутливо спросил его:

— Навсегда?

Он безнадежно махнул рукой и попробовал через силу улыбнуться:

— Разве я где могу...

В голосе его прозвучали искренние и больные нотки.

Постояв с минуту, Есенин порывисто обнял меня. И удалился легкой юношеской походкой, едва касаясь земли и, по-видимому, окончательно освежившись на вольном воздухе.

Весь этот период (1922 год) Есенин часто жаловался мне на физическое недомогание — болезнь почек — и угнетенное состояние, вызванное ощущением какой-то пустоты и одиночества. Прежние друзья его уже больше не удовлетворяли, а об имажинистах он прямо так и говорил, что у него нет и никогда не было ничего общего с ними. Новых друзей Есенин так и не приобрел. Поэтому все чаще и чаще он обращался к воспоминаниям о своей молодости, тревожно спрашивая меня: «А я очень изменился?» Или же с отчаянным азартом и, как казалось, подчеркнутой акцентировкой принимался читать одни и те же строки из своего «Пугачева»:

Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты...

Может быть, по тем же причинам Есенин тогда увлекался Гоголем и, показывая мне купленное им собрание сочинений любимого писателя, заметил: «Вот теперь это мой единственный учитель».

Мы никогда не разговаривали с Есениным о Западе, и я не знаю, что вынес он из своей поездки за границу, но не могу не вспомнить, как на мое замечание, что ему не мешало бы основательно изучить какой-либо иностранный язык, он ответил:

— Не знаю и не хочу знать — боюсь запачкать чужим свой, родной.

Родину он любил сыновней любовью, восторженно и болезненно воспринимая все, что касалось ее.

В последние встречи мои с Есениным он выглядел необыкновенно приподнятым и возбужденным. Таким он запомнился мне на пушкинских торжествах, когда, прочтя свое стихотворное обращение к великому поэту, стоял у самого подножия пушкинского памятника. Возбуждение еще не покинуло его. Глаза лихорадочно блестели. Улыбнувшись мне своей прежней сияющей есенинской улыбкой, он сказал: «Камни души скинаю». С некоторых пор это выражение сделалось условным на нашем с ним языке. Стоял тихий весенний вечер. На площади Страстного монастыря продавали цветы.

⟨1955⟩

З. И. ЯСИНСКАЯ

МОИ ВСТРЕЧИ С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

С Сергеем Александровичем Есениным я познакомилась в 1915 году, когда он только что приехал в Петроград, еще почти нигде не печатался, не был известен даже в литературных кругах, и как бы стоял в преддверии и своего поэтического пути, и будущей шумной известности.

Мы жили на окраине, на Черной речке, которая сочетала в себе своеобразие суровой рабочей Выборгской стороны и старомодный уют Лесного, объединяя «век нынешний и век минувший». Дом отца на Головинской улице походил на зимнюю дачу. В первом этаже была кухня и большая высокая светлая столовая, она же гостиная, вмещавшая при условии сильного уплотнения до сорока человек гостей; во втором этаже, куда вела чугунная винтовая лестница, находились спальни и кабинет отца.

По воскресным дням к отцу по традиции собирались гости — человек пятнадцать-двадцать. Публика была довольно пестрая. Приходили литераторы и художники, среди них — угасавшие и потухшие звезды, такие, как публицисты-народники М. А. Протопопов, А. И. Фаресов, помнившие в лицо Салтыкова-Щедрина, Всеволода Гаршина, Надсона и Полонского. Бывали и звезды еще сиявшие, может быть, и не очень ярко: поэт и критик Петр Быков, критик А. А. Измайлов, поэт Аркадий Кондратьев, писательница Тэффи, переводчик Поляков и многие другие. Среди художников интересным человеком был пейзажист Писахов, страстно влюбленный в народное творчество и природу северного края, начинающий скульптор Эрьзя, художник Зимин, расписывавший вазы на фарфоровом заводе. Изредка захаживал скульптор Коненков. Художник Илья Ефимович Репин с женой, проповедницей вегетарианства, Нордман-Северовой приезжал только днем, в будни. Несколько раз посетил отца Геворк Башинджагян, подаривший ему одно из своих полотен — пейзаж «Лунная ночь».

Бывали и будущие звезды, которые еще не излучали света, но надеялись найти свой путь к искусству. Многим из них так и не суждено было засиять.

Такова была обстановка, в которой я встретила поэта Сергея Есенина. Его привез к нам Сергей Митрофанович Городецкий, которого я помню с детских лет. Городецкий приехал к нам после большого перерыва. К этому времени он стал крупной величиной у акмеистов.

Все наши домочадцы любили живого, деятельного и остроумного поэта и поскорее проскользнули в столовую, желая познакомиться с его спутником.

Сергей Городецкий рекомендовал Есенина отцу как молодого, нигде не печатавшегося поэта с крестьянской тематикой и образами.

— У Есенина крупный поэтический талант, и ему нужно открыть дорогу,— говорил Сергей Митрофанович.

Городецкий покровительствовал Есенину, поместил его у себя на квартире. Первые месяцы после приезда Есенин часто бывал у нас в будние дни, заходил запросто, обедал, делился своими впечатлениями и как-то особенно задушевно и наивно беседовал с моей мачехой Клавдией Ивановной, женщиной чуткой и умной, которая лет на семнадцать была старше его и хорошо знала закулисную жизнь писателей.

Помню, как волновался Есенин накануне назначенного свидания с Анной Ахматовой: говорил о ее стихах и о том, какой он ее себе представляет, и как странно и страшно, именно страшно, увидеть женщину-поэта, которая в печати открыла сокровенное своей души [1].

Вернувшись от Ахматовой, Есенин был грустным, заминал разговор, когда его спрашивали о поездке, которой он так ждал. Потом у него вырвалось:

— Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам.

Он так и не смог объяснить нам, чем же не понравилась ему Анна Ахматова, принявшая его ласково, гостеприимно. Он не сказал определенно, но как будто жалел, что поехал к ней.

Мы знали, что, приехав в Петроград, Есенин прямо с вокзала явился к Блоку, и осторожно спросили, не разочаровал ли его Блок при личном свидании? Ведь Блок, говорили мы, такой гордый или самоуглубленный, не поймешь, ходит высоко подняв голову, не замечая простых людей. Я именно таким запомнила Блока. Как-то поздним зимним вечером он приезжал к отцу с Натальей Потапенко, спросил меня ледяным голосом: «Дома ли Иероним Иеронимович? Если никого нет, я пройду к нему, а если кто-нибудь есть,— мы уедем...» И просил, чтобы никто не входил.

Помнится, как горячо стал Есенин защищать Блока:

— Тут другое... Блок не только такой, как его стихи, он намного лучше своих стихов.

Есенин говорил, что Александру Блоку он бы простил все.

Осенью, не помню точно когда, только деревья стояли оголенные и было пасмурно, Есенин появился с Николаем Клюевым, и с тех пор они почти всегда приходили вместе.

Мне показалось, что Клюев был вдвое старше Есенина, хотя на самом деле разница в возрасте равнялась всего восьми годам. Николай Клюев, по-видимому, уже «понаторел» в хождении по писательским кружкам и гостиным: он успел выработать нарочитую манеру держаться степенно, говорить нараспев глуховатым тенорком и одеваться под «ладожского дьячка»[2]. Ходил он в очень длинной, почти до колен, бумазейной широкой кофте, темной старушечьей расцветки с беленькими крапинками-цветочками и подпоясывался шелковым пояском с кистями.

Рядом с Клюевым Есенин, простой, искренний, производил чарующее впечатление: в его внешности было что-то легкое и ясное. Блондин с почти льняными, светлыми волосами, слегка вьющимися, Есенин был довольно коротко острижен (отпускать волосы он стал позднее), глаза голубовато-серые, очень живые и серьезные, внимательные, но с какими-то удивительно озорными искорками, которые то вспыхивали, то вновь исчезали. Вообще он был красив типичной неброской славянской красотой, довольно распространенной на севере; надо приглядеться, чтобы заметить ее. Казалось, Есенину не хотелось, чтобы обращали внимание на его внешность. Позже, в Москве, в 1918—1920 годах он стал иным, даже любил покрасоваться.

Сергей Есенин был очень собранным: все его движения были грациозны, бесшумны и четки. Навсегда запомнилась мне походка поэта — свободная и легкая. Когда позднее он писал:

...В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку[3],—

это было метко и верно.

Мои воспоминания о внешнем облике С. Есенина не совпадают с тем, что писал о юноше поэте Максим Горький: «Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напоминал слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом». Горький отмечал

также, что Есенин был мал ростом и выглядел «мальчиком 15—17 лет». Мне, сверстнице Есенина, молодой поэт показался немного старше своих лет, ему можно было дать и двадцать один год: на лице лежала печать озабоченности, житейского опыта. Он был немного выше среднего роста. Одевался по-европейски и никакой русской поддевки не носил. Костюм, по-видимому, купленный в магазине готового платья, сидел хорошо на ладной фигуре, под костюмом — мягкая рубашка с отложным воротничком. Носил он барашковую шапку и черное пальто. Так одевались тогда в Питере хорошо зарабатывавшие молодые рабочие.

Есенин имел городской вид и отнюдь не производил впечатления провинциала, который «может потеряться в большом городе». Держался он со скромным достоинством и не отличался застенчивостью. Чувствовалось, что он новичок в литературной среде, к которой приглядывался с жадным любопытством. Поэтому у нас, на Черной речке, Есенину было интересно. Когда собирались гости, говорили много, чаще всего об искусстве, внимательно следили за ростом молодых писательских сил, спорили о направлениях. Истинное наслаждение доставляли рассказы стариков, в том числе и моего отца, о старине, о встречах с Тургеневым и Гончаровым, с Салтыковым-Щедриным и Всеволодом Гаршиным, с Сергеем Атавой (Терпигоревым). Врезались в память рассказы о Софье Перовской и о Кибальчиче, участниках убийства Александра II в 1881 году. Тут даже мелочи были дороги. Конечно, говорили и о войне, о правительственных перемещениях, воровстве в армии и о кризисе самодержавия. О политике говорили бестолково и сумбурно. Отец был «пораженцем», а называл себя анархистом, последователем Петра Кропоткина, с которым ряд лет действительно поддерживал переписку.

Надо сказать, что Есенин в этой новой для него среде никогда не терял самообладания. Самостоятельность чувствовалась и во взаимоотношениях его с Николаем Клюевым. Многим приходилось читать о том, что Клюев и Есенин в Петрограде очень дружили, а потом Есенин охладел к старшему другу. (Клюев уже после смерти Есенина и устно, и в печати клялся, что, если бы дружба продлилась, он сумел бы предотвратить самоубийство.) На самом же деле их взаимоотношения не были основаны на дружеском расположении, а были навязаны, заданы, как актеру дается роль, да и то не всегда по душе.

У Клюева было какое-то снисходительное, покровительственное и вместе с тем заискивающее отношение к Есени-

ну. Он часто публично демонстрировал свою якобы влюбленность в молодого поэта, например, садился рядом с ним, когда хвалили стихи Есенина, начинал гладить его по спине, приговаривая: «Сокол ты мой ясный, голубень-голубарь» и тому подобное. Однажды моя подруга, не выдержав комизма этой сценки, задала Есенину очень непосредственный вопрос.

— Как вам приходится этот дядя? Он — родственник или земляк?

Есенин сразу ничего не ответил, сделал «скучное лицо», а затем, улучив момент, когда внимание Клюева было отвлечено, почти одними губами, насмешливо, прошептал:

— Вроде «дядьки»... приставлен ко мне.

* * *

Вскоре, в один из воскресных дней, Есенин и Клюев читали у нас свои стихи. Эти чтения повторялись несколько раз. Читал Есенин такие произведения: «В хате» («Пахнет рыхлыми драченами...»), «Корова», «Песня о собаке», «Лисица», «Край любимый...», «На небесном синем блюде...» и другие стихи. Есенин для чтения отбирал такие стихи, в которых чувствовался «крестьянский дух» и, по-видимому, те, что нравились Сергею Городецкому (стихи, в которых было много предметности). Они были встречены восторженно, их обсуждали и разбирали. Отец, ссылаясь на примеры русских классиков, советовал строго соблюдать правила русской грамматики. Советовал Есенину заменить такие слова, как «крячет» (о цапле), возражал против сочетания «жуткая вытъ», ссылаясь на словарь Владимира Даля, где указан глагол «выть», а имя существительное «вытье». Также говорил, что нельзя отсекать слоги в словах и в падежных окончаниях, хотя у классиков, например, у Лермонтова встречаем: «из пламя и света рожденное слово» [4]. Есенин же отстаивал право поэта на диалектизмы, на изменение окончаний слов, хотя осуждал «заумь» футуристов. О стихах Н. Клюева говорить избегали, он уже печатался, хотя был мало известен.

Печататься тогда, в условиях военного времени, было трудно, поэтому решили организовать вечер чтения стихов Есенина и Клюева. У нас, на Черной речке, в узком кругу литераторов, стихи Есенина оценили как новаторские, оригинальные, а главное, русские, и это сулило успех Сергею Есенину. Поэтому, естественно, обращали большое внимание на форму, чтобы не дать повода злостным критикам для нападок и насмешек в прессе.

Подробно обсуждалась и есенинская манера читать стихи. Их надо было «подать» для большой аудитории любителей поэзии, которые в течение полутора десятков лет воспитывались главным образом символистами и понимали поэзию прежде всего как звучащее слово, по известной формуле французского поэта Поля Верлена: «Музыка, музыка прежде всего». Столичная публика, посещавшая «поэзо-концерты», была избалована: она знала различные и очень разнообразные способы «подачи» поэзии с эстрады у символистов, акмеистов, эгофутуриста Игоря Северянина и у кубофутуристов. Широкая публика, в поисках «изюминки» заглядывавшая в подвал «Бродячей собаки», уже заинтересовалась чтением Маяковского, утверждая, что в его манере «что-то есть». Таким образом, у Есенина было много соперников. Учитывая это, поэту давали всевозможные советы, тренировали, некоторые строфы просили повторить. На Черной речке Есенин как бы имел последнюю репетицию перед публичным выступлением.

И надо сказать, Сергей Есенин выдержал экзамен с честью! Манера чтения у него уже была выработана. Позднее он только отделывал детали, научился модулировать и управлять голосом, но главное — постановка голоса, певучесть с некоторым усилением ее в конце строки — все это уже было, и было свое, ни у кого не заимствованное. Читал Есенин уже тогда изумительно хорошо, свободно, с упоением. Когда читал — преображался, жестикулировал, увлекался сам и увлекал других. Жесты его были как бы аккомпанементом, хотя и не соответствовали ритму стиха, в то же время он заметно раскачивался в такт. Эта манера чтения значительно усиливала впечатление от стихов.

Припоминаю, как читали тогда другие поэты. В. Я. Брюсов читал чеканным голосом, дикция у него была безупречной, он стоял на эстраде неподвижно, затянутый в черный сюртук, часто со скрещенными на груди руками, как бы «приневоливая себя к бесстрастию». Это была аристократическая, как тогда говорили, «парнасская» манера чтения. А когда читал Есенин, в нем ничего не было ни от гордого парнасца, ни манерного кафешантанного кривлянья Игоря Северянина.

* * *

Первый вечер, когда Есенин выступал вместе с Клюевым, состоялся в зале Тенишевского училища на Моховой улице [5]. Этот зал пользовался солидной репутацией: там



А. Н. и Т. Ф. Есенины, родители поэта. 1905 г.

Дом Есениных в Константинове.



Ф. А. Титов,
дед поэта.

Дом Никиты Осиповича Есенина,
в котором родился поэт.
Рисунок.



С. А. Есенин.
1911–1912 гг.

Улица села
Константиново.
Близ дома Есениных.
1926 г.

В Константинове. 1909 г.

Слева направо: Капитолина Ивановна Смирнова, Иван Исаев, Клавдий Воронцов, Сергей Есенин, Анастасия Холонова (Воробьева), Александра Ивановна Северцева, Николай Коновалов, Дмитрий Воробьев.



С. А. Есенин с сестрами Катей (слева) и Шурой. 1912 г.



С. А. Есенин с отцом и дядей И. Н. Есениным. 1912 г.



Л. И. Кашина.

Усадьба Л. И. Кашиной в Константинове.



С. А. Есенин среди работников Сытинской типографии. 1914 г.

Слева направо стоят: Д. Степанов, С. А. Есенин, Смирнов. И. И. Соколов; сидят: А. М. Демидов, Ф. П. Степанов, А. П. Улитина, О. И. Демидова; внизу сидит А. Р. Изряднова.

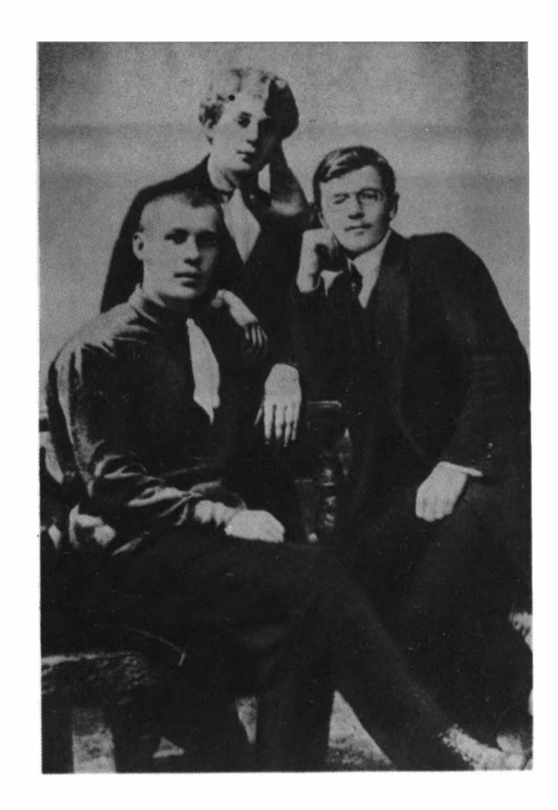
С. А. Есенин.
1914 г.



А. Р. Изряднова.

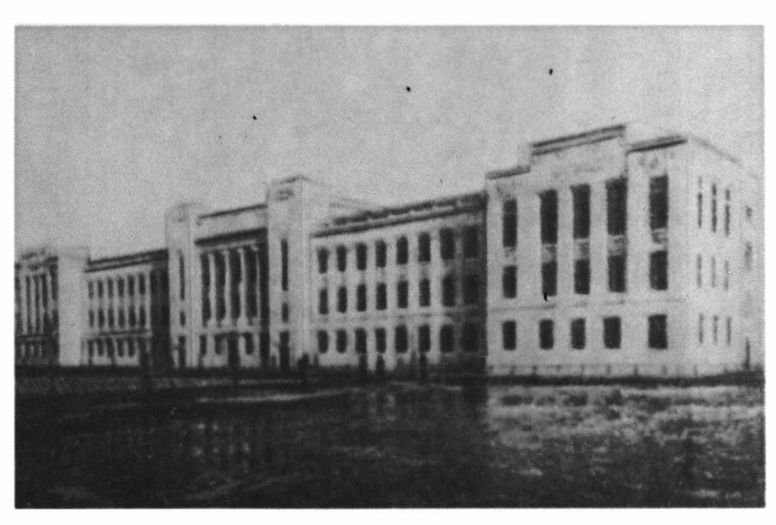


Т. Ф. Есенина
с сыном Есенина
Юрой.

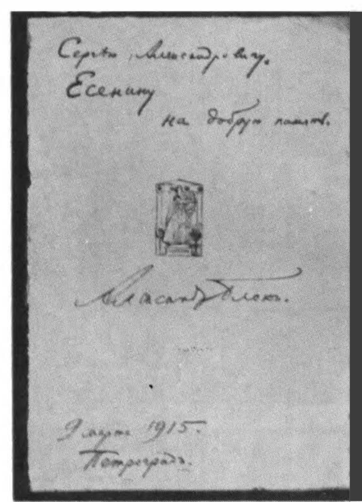


Н. И. Колоколов,
С. А. Есенин,
И. Г. Филипченко.
1914 г.

Народный
университет
им. А. Л. Шанявского.







Сергею Александровичу
Есенину
на добрую память.

Александр Блок.

9 марта 1915.
Петроград.

А. А. Блок.

Одна из книг
Собрания
стихотворений
А. А. Блока
с дарственной
надписью
Есенину.

С. А. Есенин и
С. М. Городецкий.
1915 г.



Рюрик Ивнев,
В. С. Чернявский,
С. А. Есенин.
Март 1915 г.

С. А. Есенин и
Н. А. Клюев.
1916 г.



Дорогой мой Коля! На долгие годы
унесу любовь твою. Я знаю
что этот лик заставит
меня плакать (как плачут
на цветы) через много лет
Но это тогда будет не
о минувшей юности, а
по любви твоей, которая
будет мне как старый друг.
Твой Сергей 1916 г. 30 марта
Пгт

С. А. Есенин. Портрет с дарственной надписью Н. А. Клюеву. 1916 г.



С. А. Есенин читает стихи на открытии памятника А. В. Кольцову в Москве. 3 ноября 1918 г.



В. И. Ленин и Я. М. Свердлов на открытии мемориальной доски «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Москва. 7 ноября 1918 г.



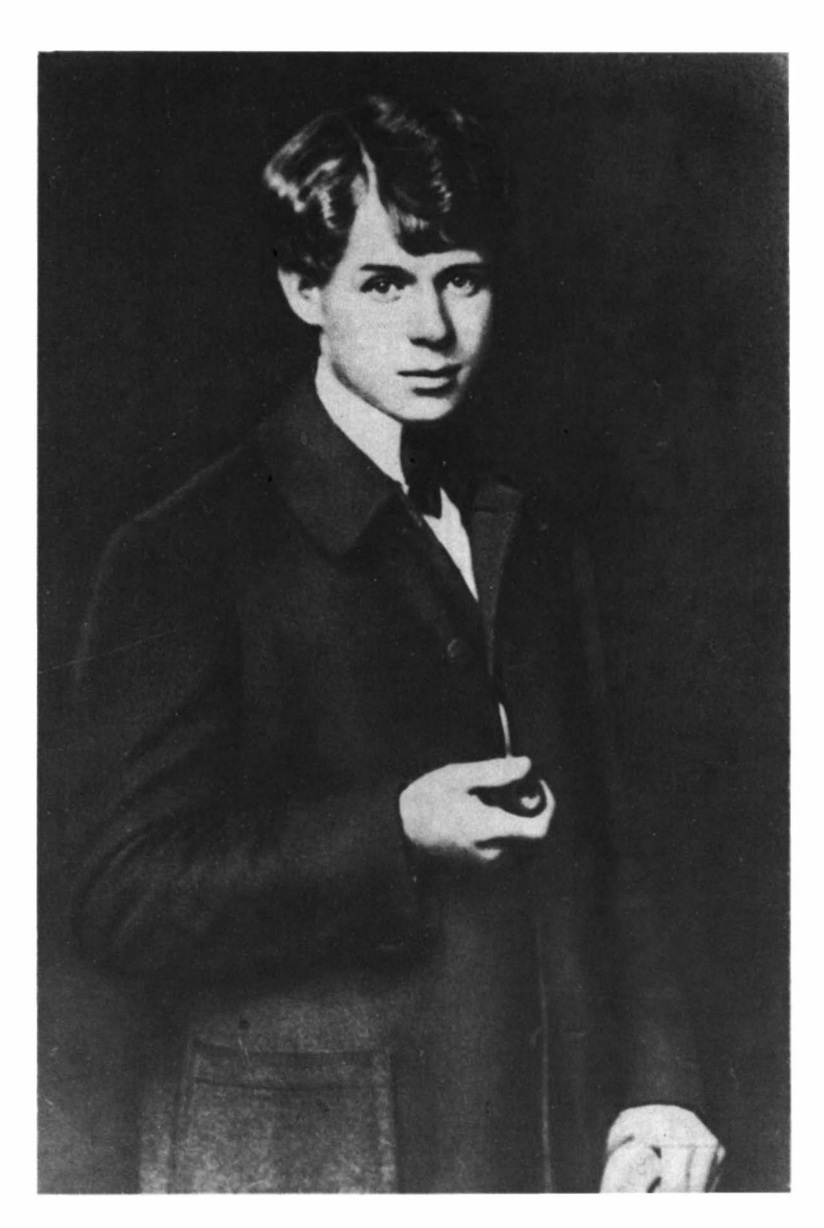
С. А. Есенин.
Портрет
с дарственной
надписью
З. Н. Райх.

За то что дѣвочкой неловкой
предстала ты мнѣ на "
пути моемъ.

Сергѣй.



З. Н. Райх
с детьми поэта
Костей и Таней.



С. А. Есенин. 1919 г.



С. А. Есенин и
А. Б. Мариенгоф. 1921 г.

Дом в Богословском переулке (ныне — ул. Москвина), в котором С. А. Есенин жил в 1918—1921 гг.

читали публичные лекции для молодежи Поссе, Георгий Чулков, профессора Жаков, Сперанский и другие. За несколько дней до вечера, когда все было готово и билеты распроданы, возник сложный вопрос — как одеть Есенина. Клюев заявил, что будет выступать в своем обычном «одеянии». Для Есенина принесли взятый напрокат фрак. Однако он совершенно не подходил ему. Тогда С. М. Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шелковую голубую рубашку, которая очень шла ему. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках.

В этом костюме Есенин и появился на эстраде зала Тенишевского училища. В руках у него была балалайка, на которой он, читая стихи, очень неплохо и негромко себе аккомпанировал. Балалайка была и у Клюева, но никак не вязалась с его манерой держаться и «бабушкиной» кофтой. Волнистые волосы Есенина к этому времени сильно отросли, но из зрительного зала казалось, что по ним прошлись щипцы парикмахера. Голубая рубашка, балалайка и особенно сапожки, напоминавшие былинный стих «возле носка хоть яйцо прокати, под пятой хоть воробей пролети»,— все это изменило обычный облик Есенина. В строгий зал, предназначенный для лекций, диссонансом ворвалась струя театральности. Когда раздались с эстрады звуки балалайки, многим из публики показалось, что выступят русские песельники. Оперный костюм, о котором упоминает в своем очерке Максим Горький, и был причиной заблуждения части слушателей. Однако публика, привыкшая в то время к разным экстравагантным выходкам поэтов, скоро освоилась, поняв, что это «реклама» в современном духе и надо слушать не балалайку, а стихи поэтов.

Читал Есенин на этом первом вечере великолепно. Он имел успех. Вечер был отмечен в печати.

* * *

Раза три отец поручал мне проводить Есенина до остановки к разным линиям трамвая со стороны или Новой деревни, или Лесного, обычно по кратчайшим дорогам, неизвестным жителям центра. С Есениным обычно уходило несколько человек попутчиков, дороживших обществом молодого поэта.

Однажды я провожала Есенина к Новой деревне и по дороге, как гид, рассказывала о литературных достопримечательностях Черной речки. На даче, в Лесном, летом

1844 года, совместно проживали В. Г. Белинский и И. С. Тургенев. За Удельным парком, на поляне, в сторону Коломяг лежит небольшой черный, совершенно необтесанный камень, «дикий», без всякой надписи — здесь происходила дуэль Пушкина с Дантесом. Есенин собирался посетить это место, и я объясняла, как проехать и пройти туда. Не знаю, успел ли Есенин выполнить свое намерение.

На Строгановской набережной, на берегу Невки, я показала Есенину дачу графа Строганова — красивый, двухэтажный барский дом, выкрашенный светлой охрой, с белыми наличниками. Здесь в тридцатых годах прошлого века жил на даче Пушкин с женой и детьми. Мы подошли близко к дому. На нем, конечно, тоже не было мемориальной доски. Обширный парк, выходивший также и на набережную узкой и вонючей Черной речки, до войны содержался в большом порядке. Теперь он был наполовину вырублен. В парке появились новые временные постройки, где разместились военные склады. Все вокруг было захламлено. В доме помещалась воинская часть, и нам не разрешили проникнуть внутрь. Есенин был искренно огорчен тем, что в столице разрушаются литературные памятники, а ему так хотелось «походить по тем комнатам, где Пушкин жил с женой», услышать, как скрипят половицы в старинном доме.

Есенин был литературно образован. Он многое успел прочесть.

Тогда я узнала от него, что он в Москве жил года три, работал и учился в народном университете Шанявского. Он мне говорил, что печатался в детском журнале и напечатал одно стихотворение в газете «Правда». Он сказал, что в университете Шанявского было интересно, и спрашивал нас, где находятся курсы для взрослых при реальном училище Черняева, как поставлены там занятия и стоит ли посещать эти курсы.

* * *

В 1916 году, насколько мне помнится, Есенин был призван на военную службу и зачислен в один из царскосельских госпиталей санитаром. Он редко появлялся у нас и приходил в штатском, а не военном костюме. Одевался он в это трудное время с иголочки и преображался в настоящего денди, научился принимать вид томный и рассеянный. Он был уже вполне уверен в себе, а временами даже самоуверен. Раньше, когда читали и разбирали его стихи, он внимательно прислушивался к критике или, по крайней мере, делал вид, что слушает. Теперь он обиделся, когда

ему посоветовали переделать строку «пляшет девок корогод» на более понятное — «хоровод». Есенин быстро отпарировал того критика, который указал ему за год до этого, что в словарях великорусского языка нет слова «выть» в качестве существительного. Теперь Есенин сослался на словарь Владимира Даля, где слово «корогод» в значении «хоровод» действительно можно найти.

— Пишите просто, к этому вы все равно придете, милочка. Читайте больше Пушкина, читайте и перечитывайте Пушкина по два часа ежедневно,— советовал Есенину отец.

— Что мне Пушкин! — возразил Есенин.— Разве я не прочел Пушкина? Я буду больше Пушкина...

Это было на заседании кружка имени К. Случевского.

После я упрекнула Есенина за эту демонстрацию самоуверенности. Никого из литераторов на этот раз не было. Думала, что Есенин обидится на меня, и ждала, что он ответит надменно и насмешливо. Ничуть не бывало: он сказал подчеркнуто мягко:

— Если бы Иероним Иеронимович упрекнул меня наедине... сказал бы с глазу на глаз... А то сидит Федор Сологуб с бородавкой на щеке и думает, что я не читал Пушкина. А я Пушкина люблю. Но сейчас России нужны другие стихи, иная поэзия.

* * *

В 1916 году, по рекомендации отца, на собрании, состоявшемся на Черной речке, Есенин был принят в общество поэтов имени Константина Случевского. После смерти Случевского, в 1904 году, участники кружка — это стало традицией — собирались в доме то одного, то другого поэта. Чтения сопровождались ужином с вином. На заседаниях кружка было несколько чопорно и торжественно: мужчины являлись во фраках и визитках, поэтессы в вечерних туалетах. В 1916 году отец дважды принимал у себя участников кружка, один раз зимой, другой — поздней весной. Оба раза присутствовал и читал стихи Есенин. На первом из этих заседаний его приняли в члены кружка. В назначенный день на Черной речке, у нас, появился официант во фраке и в белых перчатках, ужин доставили из известного ресторана «Вилла Родэ» в Новой деревне. Отец на оплату счета из ресторана «ухнул» гонорар за какой-то роман и вышел с честью из положения. Доставать продукты становилось все труднее — начиналась разруха.

Мне как-то странно было видеть Есенина в окружении поэтов кружка Случевского. По возрасту это были люди солидные, преобладали лысые. Половина из них служила в каких-то министерствах, получая чины, в журналах их имена встречались редко, и книжечки своих стихотворений они издавали за свой счет. На общем фоне выделялись писатели-профессионалы: Федор Сологуб и Гумилев. Тогда Есенин, очевидно, впервые увидев Гумилева, так и впился в него. Гумилев с его стройной фигурой, высокий, широкоплечий и худощавый, с бледным до синевы лицом, как бы припудренным пеплом, походил на рыцаря, успевшего снять доспехи и сошедшего с какого-то гобелена или с средневековой картины Эрмитажа. Серо-свинцовые глаза Гумилева смотрели напряженно и чуть презрительно, а на высокий лоб падали гладко зачесанные пряди пепельных волос, подстриженных в виде челки, спускавшейся до самых бровей. А челка тогда была модной женской прической.

Когда принимали Есенина в члены кружка, он держался довольно свободно, Гумилева рассматривал дерзко-внимательно, несколько раз перевел глаза с челки «вождя» акмеистов, скрывавшей его лоб, на челку хорошенькой молоденькой поэтессы. Я перехватила взгляд Есенина: в глазах его вспыхнуло насмешливо-озорное, знакомое мне выражение и угасло. Есенина попросили читать стихи. Он вышел, как-то особенно лихо тряхнув головой, будто говоря про себя: «Ну что ж, сразимся с рысаками». Он выбрал для чтения стихи о природе. Есенина приняли в общество. Гумилев не выступал с критикой, он только читал стихи. Федор Сологуб не слушал.

Конечно, Есенин был чужд этой среде модных поэтов, лениво и небрежно открывших ему свои объятия. Все наигранное, фальшивое Есенин презирал.

Только год прошел с тех пор, как Есенин, огорченный и смущенный, говорил нам, что «Ахматова не такая, как ее стихи». А теперь он уже научился применяться к среде. С этого времени я заметила в его манере поведения и обращения с людьми какую-то раздвоенность. Есенин часто брал на себя роль, которую на людях, чуждых ему по духу, по складу мыслей и характеру, добросовестно разыгрывал; попадая же в общество простых людей, он сам становился искренним и естественным.

Есенин был во власти больших ожиданий политических перемен, которые в корне должны изменить жизнь России. Вспоминается мне один знаменательный разговор, происходивший осенью 1916 года в присутствии молодого

писателя Пимена Карпова, выпустившего роман из жизни сектантов-хлыстов «Пламень».

Есенин был у нас. Он был в плохом настроении. Торопился попасть к назначенному сроку в район Литейного проспекта, хотя и говорил, что очень не хочется туда ехать, но необходимо. Я вызвалась проводить Есенина и П. Карпова через огороды к новой трамвайной линии на Лесной проспект, что давало значительный выигрыш во времени.

Пошли краткой дорогой. Отодвинув доски, пролезли в расщелину забора. Наши собаки проворно выпрыгнули и увязались за нами. Они, конечно, чуяли, что предстоит великолепная прогулка, и не пожелали упустить случая. Шутя я сказала, что наши собаки «литературные» и не прочь познакомиться с автором «Песни о собаке».

Я сказала, что «Песня о собаке» мне очень нравится, я вижу в ней глубокий социальный смысл.

Этот ребяческий разговор и простор питерских окраин вдруг резко изменили настроение Есенина. Он оживился. Стали болтать на разные темы, и между прочим зашел разговор о долголетии. Я сказала, что боюсь смерти, хочу своими глазами увидеть жизнь после революции. У нас дома в тот вечер много говорилось о похождениях Григория Распутина.

Есенин так и загорелся:

— Только короткая жизнь может быть яркой. Жить — значит отдать всего себя революции, поэзии. Отдать всего себя, без остатка. Жить — значит сгореть.

Он привел в пример Лермонтова и сказал:

— Жить надо не дольше двадцати пяти лет!

Есенин вообще не любил говорить много и долго, но уж если начинал говорить, то говорил веско и убедительно, хотя и выслушивал возражения со вниманием.

П. Карпов тоже напал на меня: он стоял на той же точке зрения, что и Есенин. Но Пимену Карпову было лет за тридцать, а потому его высказывания не казались мне убедительными.

Есенин стал отвергать мой довод: хочу жить долго, чтобы посмотреть, как революция изменит жизнь.

— Да ведь для этого не надо жить долго,— говорил поэт,— революция будет завтра или через три месяца. Какие настроения на фронте! Об этом говорят солдаты в лазаретах и госпиталях.

Я рассказала ему о митингах-летучках в Психоневрологическом институте, где и мне довелось побывать.

Мы шли по огородным грядкам. Урожай был уже

убран — торчали только, как маленькие пенечки, срезанные у корня капустные кочерыжки. Налево виднелись туманные очертания деревянных домов и растрепанные безлистные ивы, а с правой стороны громоздились высокие здания заводов с ярко освещенными окнами и дымили фабричные трубы. Есенин обратил внимание на эти контрасты «века нынешнего и века минувшего»:

— А вот съедает Выборгская сторона вашу Черную речку.

— Ну что ж, съест и не подавится,— весело ответила я, указав поэту на растущие, как грибы, на Черной речке, в Языковом переулке и на Головинской улице доходные многоэтажные дома с «дешевыми» квартирами для рабочих. Только затянувшаяся война приостановила строительство.

Есенин спросил, приходилось ли мне бывать в домах новой стройки и в каких домах, новых или старых, жить рабочему дешевле и здоровее. Тогда мне показалось, что Есенин экзаменует меня, и я постаралась привести побольше известных мне примеров «за» и «против» новых домов. Есенин как будто проверял какие-то свои наблюдения над бытовыми условиями жизни питерских рабочих, связывая с этим вопрос о близости и возможности революции. Пимен Карпов рассказывал, как в 1906—1907 годах в деревнях жгли помещичьи усадьбы. Есенин горячо поддерживал его мысль о том, что революция близка и победит.

— Начало революции положит питерский рабочий и солдат, отведавший фронта, и «вся Россия» пойдет за ними.

* * *

С Есениным я встречалась еще несколько раз в Москве в 1918 и 1920 годах. Однажды мы беседовали с ним о долге поэта и путях развития поэзии в условиях победившей революции. Есенин вспомнил, как он «предсказал» близость революции еще в 1916 году. Он не сомневался в том, что Советская страна победит на фронтах гражданской войны и тогда начнется расцвет культуры и литературы. С большой любовью говорил поэт о В. И. Ленине.

Из крестьянской колыбели вынес Сергей Есенин мечту о счастливом будущем народа, и, хоть он многое не сразу понял в нашей революции,— он был родным сыном Советской России, он был и остается искреннейшим и большим поэтом Земли Русской, Земли Советской.

⟨1956⟩

П. В. ОРЕШИН

МОЕ ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Часов около девяти вечера слышу — кто-то за дверью спрашивает меня.

Дверь без предупреждения открывается, и входит Есенин.

Было это в семнадцатом году, осенью, в Петрограде, когда в воздухе уже попахивало Октябрем. Я сидел за самоваром, дописывал какое-то стихотворение. Есенин подошел ко мне, и мы поцеловались. На нем был серый, с иголочки костюм, белый воротничок и галстук синего цвета. Довольно щегольской вид. Спрашивает улыбаясь:

— С Клюевым ты как... знаком?

— Нет.

— А с Городецким? А с Блоком?

— Нет.

Попросил чаю.

— Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря ты так, в стороне...

Засунул обе руки в карманы, прошелся по большой комнате, по ковру, и тут я впервые увидел «легкую походку» — есенинскую. Никто так легко не умел ходить, как Есенин, и в первые дни нашего знакомства мне все казалось, что у него ноги длиннее, чем следует. На цветистом ковре, под электрической лампочкой, в прекрасно сшитом костюме, Есенин больше походил на изящного джентльмена, чем на крестьянского поэта, воспевающего тальянку и клюевскую хату, где «из углов щенки кудлатые заползают в хомуты» [1]. Потом поглядел на меня так, поглядел этак и сел за стол:

— А Клычкова знаешь?

— И Клычкова не знаю.

— Ну, ладно... я не за тем пришел... Это я так... Хорошая у тебя комната!.. А Ширяевца знаешь?

— Никогда не видал.

Смеется.

— Вот чудак!

Поглядел я на него: хорош! Свежее юношеское лицо, светлый пушок над губами, синие глаза и кудри — все то, о чем потом все мы читали в его позднейших стихах: «Я сыграю на тальяночке про синие глаза», которые «кто-то тайный тихим светом напоил» [2], о которых говорил он в последние годы: «Были синие глаза, да теперь поблекли» [3]. Ему всего двадцать два года, от всей его стройной фигуры веяло уверенностью и физической силой, и по его лицу нежно светилась его розовая молодость: «Глупое, милое счастье, свежая розовость щек». Если бы я не видел его воочию, я никогда не поверил бы, что «свет от розовой иконы на златых моих ресницах» — написано им про самого себя.

А когда он встряхивал головой или менял положение головы, я не мог не сказать ему, что у него хорошие волосы, и опять он вместо ответа улыбнулся и заговорил о стихах. После я понял эту его улыбку, которая говорила: «А ты думаешь, я не знаю, что хорошо и что плохо... отлично знаю!» И действительно, разве мы не читали потом: «старый клен головой на меня похож», «ах, увял головы моей куст», или «тех волос золотое сено превращается в серый цвет», или «запрокинулась и отяжелела золотая моя голова».

В комнате было холодно, пришлось подогреть самовар и достать из-за гардины с подоконника запасную колбасу и хлеб. За окном висел густой петроградский туман. Самовар крутился горячим паром к самому потолку. Я сидел на диване. Есенин под электрической лампочкой, на середине комнаты читал стихи, взмахивая руками и поднимаясь на цыпочки.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;

То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ [4].

Голос его гремел по всей квартире, желтые кудри стряхивались на лицо. Гляжу: дверь слегка приоткрывается... Что такое? Оказывается, вся хозяйская семья, человек шесть, кроме ребят, столпились возле двери — послушать Есенина. Читка его в те времена была еще не

такая роскошная, какую мы слышали позже, но уже и тогда он умел отточить каждое слово, оттенить каждый образ и приковать к себе внимание слушателей. По крайней мере, хозяйская семья, толпившаяся за дверью, потом уже вся постепенно влезла в комнату и простояла около часа, пока Есенин не кончил читать. Окончив чтение, Есенин сел на стул и вздернул на коленях отлично выутюженные брюки и вопросительно прищурил глаза.

— Очень хорошо! — сказал я.

От всей моей колбасы и от всего самовара через каких-нибудь два-три часа ничего не осталось. За эти два-три часа мы переворошили всю современную литературу, основательно промыли ей кости и нахохотались до слез.

— Вот дураки! — захлебываясь, хохотал Есенин.— Они думали, мы лыком шиты... Ведь Клюев-то, знаешь... я неграмотный, говорит! Через о́... неграмо́тный! Это в салоне-то... А думаешь, я не чудил? А поддевка-то зачем?.. Хрестьянские, мол!.. Хотя, знаешь, я от Клюева ухожу... Вот лысый черт! Революция, а он «избяные песни»... Ка-за-ние! Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути...— И вдруг весело и громко, на всю квартиру: — А знаешь... мы еще и Блоку и Белому загнем салазки! Я вот на днях написал такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! Читал Разумнику, говорит — здо́рово, а я... Ну, вот хоть убей, ничего не понимаю!

— А ну-ка...

Я думал, что Есенин опять разразится полным голосом и закинет правую руку на свою золотую макушку, как он обыкновенно делал при чтении своих стихов, но Есенин только слегка отодвинулся от меня в глубину широкого кожаного дивана и наивыразительнейше прочитал одно четверостишие почти шепотом:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись! [5]

И вдруг громко, сверкая глазами:

— Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: го-спо-ди, о-те-лись!.. Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать... Ну?

Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем. Все козыри были в руках Есенина, а он стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и хохотал без голоса, всем своим существом, каждым своим желтым волосом

в прихотливых кудрявинках, и только в синих глазах, прищуренных, был виден светлый кусочек этого глубокого внутреннего хохота. Волосы на разгоряченной голове его разметались золотыми кустами, и от всего его розового лица шел свет. Я совершенно искренне сказал ему, что этот образ «господи, отелись» мне тоже не совсем понятен, но тем не менее, если перевести все это на крестьянский язык, то тут говорится о каком-то вселенском или мировом урожае, размножении или еще что-то в этом же роде. Есенин хлопнул себя по коленке и весело рассмеялся.

— Другие говорят то же! А только я, вот убей меня бог, ничего тут не понимаю...

Я увидел, что Сережа хитрит, но перевести разговор на другую тему не мог. Ведь он был очень большой и настойчивый говорун, и говор у него в ту пору был витиеватый, иносказательный, больше образами, чем логическими доводами, легко порхающий с предмета на предмет, занимательный, неподражаемый говор. Сам он был удивительно юн. Недаром его звали — Сережа. Юношеское горение лица не покидало его до самой смерти. Но пока он кудрявился в разговорах, я успел сообразить кое-что такое, чему невозможно было не оправдаться.

Я понял, что в творчестве Сергея Есенина наступила пора яркого и широкого расцвета. В самом деле, до сей поры Есенин писал, подражая исключительно Клюеву, изредка прорываясь своими самостоятельными строками и образами. У него была и иконописная символика, заимствованная через Клюева в народном творчестве: «Я поверил от рожденья в богородицын покров». Или: «Пойду в скуфье смиренным иноком иль белобрысым босяком». Но кто же не видит, что «пойду в скуфье смиренным иноком» — это целиком клюевская строчка, а «иль белобрысым босяком» — строчка совершенно самостоятельная, строчка есенинская, из которой в дальнейшем и развилась его поэзия. Вот его детство, написанное уже впоследствии, в пору ясного самосознания и расцвета:

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет» [6].

Вот где настоящий Есенин. Но этот настоящий Есенин уже сквозил и в те первые революционные дни. Выслушав целый ряд революционных стихотворений, написанных уже не по-клюевски, я увидел, что Есенин окончательно порывает всякую творческую связь и с Клюевым, и с Блоком, и с Клычковым, и с многими поэтами того времени конца семнадцатого года, когда поэты и писатели разбивались на группы и шли кто вправо, кто влево. Есенин круто повернул влево. Но это вовсе не было внезапное полевение. Есенин принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, конечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем, что, по существу, он никогда не был Клюевым. Клюеву, а вместе с Клюевым и многим в то время он говорит:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь [7].

Видя в первый раз Есенина в глаза, я изумлялся его энергии и удивлялся его внешнему виду. В нем было то, что дается человеку от рождения: способность говорить без слов. В сущности, он говорил очень мало, но зато в его разговоре участвовало все: и легкий кивок головы, и выразительнейшие жесты длинноватых рук, и порывистое сдвигание бровей, и прищуривание синих глаз... Говорил он, обдумывая каждое слово и развивая до крайних пределов свою интонацию, но собеседнику всегда казалось, например мне, что Есенин высказался в данную минуту до самого дна, тогда как до самого дна есенинской мысли на самом деле никогда и никто донырнуть не мог! Одну и ту же тему, один и тот же разговор он поворачивал и так и этак и по существу высказывался всегда одинаково, только с разных сторон, разными образами и приемами. Например, если он в семнадцатом году сказал: «Господи, отелись!», то потом, в восемнадцатом году, он, продумав до конца свою мысль, развил этот образ до его совершенно логического оформления, и получилось вот что:

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка [8].

Что это за «красный телок», можно легко догадаться. Но ведь и не в этом дело, как Есенин принял Октябрь, а в том, как его совершенно крестьянская психология художественно реагировала на события и какими путями Сергей Есенин в конце концов пришел к «Руси советской» и к своей знаменитой «Песне о великом походе», в которых он окончательно выявил свое поэтическое и человеческое лицо.

В комнате стоял густой и душный табак. Ночь затянулась, и первое наше знакомство сразу перешло в дружбу. Есенин уже готов был сидеть хоть до утра. Задорный смех и гневные вспышки в сторону «современных старцев» в литературе меняли Есенина: в одну и ту же минуту Есенин был грозен и прекрасен своей неподражаемой смешливой юностью.

— А знаешь,— сказал он, после того как разговор об отелившемся господе был кончен,— во мне... понимаешь ли, есть, сидит эдакий озорник! Ты знаешь, я к богу хорошо относился, и вот... Но ведь и все хорошие поэты тоже... Например, Пушкин... Что?

Было около четырех часов утра, когда мы разошлись. Есенин надел меховой пиджак и шляпу. Я предложил ему заночевать у меня, но он отказался.

— А жену кому?.. Я, брат, жену люблю! Приходи к нам... Да вообще... так нельзя... в одиночку!

И тут, уже готовый к выходу, Есенин прочитал мне несколько стихотворений об одиночестве. Память у него была огромная, и поэтов-классиков он знал наизусть и читал превосходно. Проводив Есенина, я вернулся в свою большую холодную комнату, отнес пустой ледяной самовар на кухню, вздохнул об уничтоженной колбасе и лег спать.

После этого вечера мы виделись часто и подолгу. Я бывал у Есенина, Есенин бывал у меня. Я встречал его в редакциях газет и журналов и, к моему удивлению, видел, как быстро вширь и в глубину расцветает Есенин. Весной восемнадцатого года мы перекочевали из Петрограда в Москву, и для Есенина эта весна и этот год были исключительно счастливыми временами. О нем говорили на всех перекрестках литературы того времени. Каждое его стихотворение находило отклик. На каждое его стихотворение обрушивались потоки похвал и ругательств. Есенин работал неутомимо, развивался и расцветал своим великолепным талантом с необыкновенной силой. Его Октябрь в творчестве стал окончательно вырываться наружу.

Осенью восемнадцатого года в московских «Известиях» были напечатаны его стихи:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик[9].

Таким образом, окидывая взглядом этот первый год моего общения с Есениным, я невольно должен сказать, что такой огромный художественный рост и такая пышность расцвета творчества за один год могут быть только у совершенно исключительного и самобытного поэта, и таким исключительным и самобытным художником, удивительным человеком и тончайшим лириком был, есть и останется в истории русской поэзии Сергей Есенин.

⟨1926⟩

В. Т. КИРИЛЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Нелегко писать о Есенине. Еще слишком свежи впечатления недавних дней. Особенно трудно писать о Есенине людям, близко его знавшим и любившим его. Опасность утерять перспективу будет преследовать пишущего на каждом шагу. А между тем на пишущем лежит большая ответственность перед обществом, ждущим ясного и убедительного ответа на волнующие вопросы. Кроме того, в жизни Есенина было много моментов, писать о которых еще рано. Оставим это будущему, ибо только оно с полной беспристрастностью сумеет осветить все стороны жизни и творчества замечательного поэта наших дней. Моя задача неизмеримо скромней. Я просто хочу поделиться своими впечатлениями о встречах и разговорах с Есениным.

Первая моя встреча с Есениным произошла в Петрограде в декабре 1917 года. Я состоял в то время секретарем Московско-Заставского райкома большевиков. Нашей культкомиссией был организован «концерт-митинг» в театре завода Речкина. Начался концерт. Я находился на сцене, ожидая своего выступления. Тут появился один из устроителей концерта и сообщил:

— Приехали известные поэты — Есенин и Орешин. Они выступят сейчас со своими стихами.

Затем на сцену вышел невысокий молодой человек, белокурый, вихрастый, франтовски одетый,— почему-то запомнились ботинки с серыми гетрами. Следом за ним показался другой, но постарше, с темными короткими волосами, в пиджаке поверх косоворотки и в больших русских сапогах. Кто-то объявил:

— Слово предоставляется поэту Орешину.

Человек в русских сапогах достал из кармана исписанные листки бумаги и начал читать доклад о крестьян-

ской поэзии. Читал долго и не особенно внятно. В публике началось движение, кашель и даже разговоры.

Потом выступил Есенин. Он, словно почувствовав неблагоприятную обстановку для чтения, подошел к рампе и обратился к публике:

— Художественное слово требует большого внимания. Прошу соблюдать тишину.

Потом он прочитал стихотворение «О Русь, взмахни крылами...». Читал хорошо, но стихотворение по своей теме осталось чуждым рабочей аудитории, она вяло реагировала на чтение, и, когда поэт окончил, раздались весьма жидкие хлопки. Есенин был смущен холодным отношением и, прочитав еще одно стихотворение, ушел за кулисы. Орешин совсем не читал стихов. Я хотел было познакомиться с поэтами, но они, быстро одевшись, уехали на автомобиле.

Знакомство мое с Есениным произошло уже в Москве, зимой 1919 года, в «Кафе поэтов» на Тверской. Вспоминается причудливая роспись стен, фантастические рисунки, карикатуры. Строчки стихов Есенина, Мариенгофа и Шершеневича огромными ковыляющими буквами разбежались до самого потолка. У эстрады покачиваются разноцветные фонарики. В программе вечера выступление поэтов. Один за другим поднимаются на эстраду поэты и поэтессы и читают, читают...

Объявляется выступление Есенина. Вот он на эстраде. Такой же, как и при первой встрече: вихрастые волосы, светлые и пушистые, будто хорошо расчесанный лен, голубые с веселым огоньком глаза. Одет хорошо и тщательно. Читает мастерски, с налетом как бы колдовства или заклинания. Характерно выкидывает руку вперед, словно сообщаясь ею со слушателями. Стихи производят сильное впечатление, ему горячо и дружно рукоплещут. Сходит с эстрады как бы довольный успехом. Кто-то знакомит меня с ним.

— Владимир Кириллов? Как же, знаю, читал...

Садимся за столик и разговариваем весело и непринужденно, словно давние друзья. Вспомнили о поэте Клюеве, нашем общем знакомом и друге. Есенин рассказал о некоторых встречах с Клюевым. Долго и весело смеялись. Я сказал Есенину:

— Мне кажется, что Клюев оказал на тебя некоторое влияние?

— Может быть, вначале, а теперь я далек от него — он весь в прошлом.

Другой раз, придя в кафе, я увидел Есенина выступающим на эстраде вместе с Мариенгофом и Шершеневичем. Они втроем (коллективная декламация) читали нечто вроде гимна имажинистов. Читали с жаром и пафосом, как бы бросая кому-то вызов. Я запомнил строчки из этого гимна:

Три знаменитых поэта
Бьют в тарелки лун...[1]

Было обидно за Есенина: зачем ему эта реклама? ⟨...⟩

Хорошо помню Есенина в пору его увлечения имажинизмом. Имажинизм в то время расцветал тепличным, но довольно пышным цветком. Десятки поэтов и поэтесс были увлечены этим модным направлением. Есенин с видом молодого пророка горячо и вдохновенно доказывал мне незыблемость и вечность теоретических основ имажинизма.

— Ты понимаешь, какая великая вещь и-мажи-низм! Слова стерлись, как старые монеты, они потеряли свою первородную поэтическую силу. Создавать новые слова мы не можем. Словотворчество и заумный язык — это чепуха. Но мы нашли способ оживить мертвые слова, заключая их в яркие поэтические образы. Это создали мы, имажинисты. Мы изобретатели нового. Если ты не пойдешь с нами — крышка, деваться некуда.

Я оставался равнодушен к его проповеди,— наоборот, говорил ему, что рано или поздно он тоже уйдет от имажинизма. Мне казалось, что лучшее в Есенине — простой, русский песенный лиризм, а имажинизм, «Кобыльи корабли» и пр.— это тот же жест, необходимый, как «скандал» для молодого таланта.

Помню первое выступление Есенина с «Пугачевым». Он читал эту поэму в Доме печати [2]. Я был председателем собрания. Как и всегда, Есенин читал прекрасно, увлекая аудиторию мастерством своего чтения. Поэма имела успех. Все выступавшие с оценкой «Пугачева» отметили художественные достоинства поэмы и указывали на ее революционность. Я сказал, что Пугачев говорит на имажинистском наречии и что Пугачев — это сам Есенин. Есенин обиделся и сказал:

— Ты *ничего не понимаешь*, это действительно *революционная* вещь.

Говорил он очень характерно, подчеркивая слова замедлением их произношения.

Вспоминается смерть А. Блока. Я ездил на его похороны в Петроград. Возвратившись обратно в Москву, я вместе с моими друзьями — пролетарскими поэтами устроил вечер памяти Блока в только что открытом тогда клубе «Кузница» на Тверской. Народу было очень много. В конце вечера в зале появился Есенин. Он был очень возбужден и почему-то закричал:

— Это вы, пролетарские поэты, виноваты в смерти Блока!

С большим трудом мне удалось его успокоить. Насколько я помню, к Блоку он относился с большой любовью, особенно ценя его «Двенадцать» и «Скифы».

Смерть поэта А. Ширяевца весной 1924 г. впервые и по-настоящему сблизила меня с Есениным [3]. Эта смерть вызвала глубокую и искреннюю печаль у всех знавших поэта. Особенно горячо отозвался на смерть Ширяевца Есенин. Он принял самое энергичное участие в организации похорон. Помню, в день смерти Ширяевца в Доме Герцена шел литературный вечер, устроенный какой-то группой. Неожиданно в зале появляется Есенин. Его просят прочесть стихи. Он соглашается, но предварительно произносит слово о Ширяевце, в котором рисует его как прекрасного поэта и человека. Затем читает несколько своих последних стихотворений, в том числе «Письмо к матери». Стихи были прочитаны с исключительной силой и подъемом.

На второй день мы встретились с ним на похоронах Ширяевца. Есенин шел грустный и опечаленный. Немного пасмурный майский день, изредка выглянет солнышко и озарит печальную картину — скромный катафалк и небольшую толпу людей. Есенин идет в светло-сером костюме, теплый ветерок шевелит его светлые волнистые волосы, голова опущена. А впереди уже виднеются ворота Ваганьковского кладбища, те самые, через которые он сам потом проплыл на руках друзей... Я иду рядом с Есениным.

— А кто из нас раньше умрет, ты или я? — неожиданно спрашивает меня Есенин.

— Не знаю, Сережа...

— Наверно, я,— я скоро умру. Ты обязательно приходи меня хоронить, слышишь? Ну, а если ты умрешь раньше, то я обязательно приду.

Что-то детское и наивное было в этих словах, приобретших сейчас особый смысл и значение... Но вот гроб

опущен в могилу. Начались прощальные речи. Неожиданно эти речи приняли полемический характер, ораторы стали пререкаться и спорить. Это было нелепо. Вдруг над самой могилой Ширяевца, в свежей весенней зелени берез громко запел соловей. Ораторы умолкли, взоры всех обратились вверх к невидимому певцу, так чудесно и своевременно прекратившему ненужные споры. Есенин стоял светлый и радостный и по-детски улыбался.

Есенин заметно увядал физически. Лицо его, прежде светлое и жизнерадостное, подернулось мглистыми, пепельными тенями. Голос потерял свою первоначальную чистоту и звонкость, стал хриплым и заглушенным. Как-то по-новому глядели немного выцветшие глаза. Он стал производить впечатление человека, опаленного каким-то губительным внутренним огнем.

Вскоре после смерти Ширяевца я сидел с Есениным в одном из московских ресторанов. С нами был еще поэт В. Казин. Есенин был печален. Говорил о своей болезни, о том, что он устал жить и что, вероятно, он уже ничего не создаст значительного.

— Чувство смерти преследует меня. Часто ночью во время бессонницы я ощущаю ее близость... Это очень страшно. Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю быстро ходить по комнате, читая книгу. Таким образом рассеиваешься.

Потом неожиданно он стал читать на память мое стихотворение «Мои похороны», которое начинается так:

Под звон трамваев я умру
В сурово-каменном жилище,
Друзья потащат поутру
Меня на дальнее кладбище...

Несколько удивленный, я спросил Есенина:

— Откуда у тебя такая память на стихи?

— Не знаю, запомнилось почему-то мне это стихотворение.

Затем Есенин прочитал два варианта стихотворения на смерть Ширяевца [4]. В этот вечер мы долго не расставались.

Однажды в пассаже ГУМа встречаю Есенина, с ним поэт В. Наседкин. Куда-то торопятся, почти бегут.

— Не знаешь ли, где здесь продают «русскую горькую»? Еду к себе в деревню на свадьбу [5].

Я указал им магазин. Есенин схватил меня под руку.

— Проводи нас. Да, кстати, не поедешь ли ты с нами

в деревню? Поедем, будет весело, на станции нас встретят с лошадьми и гармошками. Погуляем!

Я отказался. Тогда он неожиданно переменил разговор:

— Ты знаешь, то, что я говорил о Клюеве,— неправда. Клюев — мой учитель, и я его очень люблю и ценю... Заходи ко мне, пожалуйста. Нам надо с тобой поговорить, тащи с собой и Михаила Герасимова.

Прощаясь, Есенин сказал:

— Знаешь, я думаю жениться, надоела мне такая жизнь, угла своего не имею.

При последних встречах я замечал, что Есенина крепко волнуют какие-то вопросы. Он пытался о них говорить. Это были вопросы о советской власти, о революции и о близких нам людях. Хотел высказаться точно и определенно, но выходило у него как-то туманно и неясно.

Однажды я спросил:

— Ты ценишь свои революционные произведения? Например, «Песнь о великом походе» и другие?

— Да, конечно, это очень хорошие вещи, и они мне нравятся. ⟨...⟩

В день отъезда Есенина в Ленинград, 23 декабря, я встретил его в Государственном издательстве у кассы. Денег еще не выдавали, и большая группа ожидающих, главным образом литераторов, толпилась в коридоре. Среди них я увидел Есенина. Я заметил, что он чрезвычайно возбужден, глаза лихорадочно блестят, движения резкие и неестественные. Я намеренно не подходил к нему, зная, что говорить с ним будет и трудно, и неприятно. Но Есенин сам увидел меня. Подошел, поздоровался и, обращаясь к стоящему рядом со мной поэту Герасимову, как-то странно и загадочно произнес:

— Ну, Миша, прощай! Я уезжаю. Но вот здесь остается Кириллов... Я ему верю!

Открыли кассу. Есенин получил деньги и ушел со своим братом. Это была последняя встреча. ⟨...⟩

⟨1926⟩

П. А. КУЗЬКО

ЕСЕНИН, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

В 1915 году в Екатеринодаре появилась новая газета либерального направления — «Кубанская мысль». Редактором этой газеты был брат известного поэта Сергея Городецкого — Борис Митрофанович Городецкий.

Я был знаком с Б. М. Городецким с 1908 года, когда он редактировал журнал «На Кавказе», в котором я сотрудничал и был секретарем редакции. И теперь он предложил мне работать в новой газете.

Осенью 1915 года к Борису Митрофановичу ненадолго приехал погостить его брат Сергей Городецкий.

Узнав, что я работаю в «Кубанской мысли», Сергей Митрофанович дал мне прочесть несколько стихотворений неизвестного мне поэта — Сергея Есенина.

Меня заинтересовал молодой поэт, и я написал статью в № 60 «Кубанской мысли» от 29 ноября 1915 года «Поэты из народа». Она оказалась одним из первых печатных откликов на стихи молодого поэта [1].

Когда я писал статью о Есенине, я не мог предполагать, что судьба столкнет меня с поэтом и что я буду с ним дружен.

В том же номере газеты «Кубанская мысль» было помещено и стихотворение Сергея Есенина «Плясунья», переданное в редакцию С. Городецким. ⟨...⟩

После Великой Октябрьской революции я переехал в Петроград и работал в Народном комиссариате продовольствия.

В конце января 1918 года вновь назначенный нарком продовольствия А. Д. Цюрупа поручил мне прикрепить к секретариату коллегии несколько машинисток из числа тех, которые только что были набраны для комиссариата.

Через два-три дня ко мне подошла одна из новых машинисток, молодая интересная женщина, и спросила:

— Товарищ Кузько, не писали вы когда-нибудь в газете о поэте Сергее Есенине?

Я ответил, что действительно в 1915 году я написал о Есенине статью в газете «Кубанская мысль».

Протягивая мне руку и радостно улыбаясь, она сказала:

— А я жена Есенина, Зинаида Николаевна.

В тот же вечер я уже был на квартире у Есениных, которые жили где-то неподалеку от комиссариата.

Сергей Александрович встретил меня очень приветливо.

Был он совсем молодым человеком, почти юношей. Блондинистые волосы лежали на голове небрежными кудряшками, слегка ниспадая на лоб. Он был строен и худощав.

Беседуя, мы вспомнили с ним о моей статье в «Кубанской мысли» и о его стихотворении «Плясунья». Вспомнили и о Сергее Городецком.

Беседа наша затянулась допоздна. Разговор шел главным образом о поэзии и известных поэтах того времени. Деталей разговора я, конечно, не помню. Когда я собрался уходить, Сергей Александрович встал из-за стола, взял с книжной полки книжечку и, сделав на ней надпись, протянул ее мне.

— Это вам в подарок.

Книжечка была «Исус-младенец». Обложка ее разрисована красками. Отвернув обложку, я увидел надпись: «Петру Авдеевичу за теплые и приветливые слова первых моих шагов. *Сергей Есенин.* 1918».

Мы распрощались, выразив надежду, что будем часто встречаться.

Уже в московский период наших встреч Сергей Александрович сделал мне дарственные записи — на одном из первых двух сборников «Скифы» и на книжках «Пугачев», «Голубень» и «Исповедь хулигана». На сборнике «Скифы» Есенин сделал мне такую дарственную надпись: «Милому Петру Авдеевичу Кузько на безлихвенную память. *С. Есенин.* 1918, май. Москва» [2].

После моего первого посещения Сергея Александровича началась наша дружба.

По характеру своей работы в Комиссариате продовольствия я уже побывал раза два или три в Смольном — в Совнаркоме, где мне посчастливилось близко видеть и слышать великого Ленина. Я не мог не поделиться с Сергеем Александровичем своей радостью.

Он с большим интересом стал расспрашивать меня: как выглядит Ленин, как говорит, как держится с людьми? Я ему рассказал о Ленине все, что сам мог тогда подметить во время напряженных деловых заседаний [3].

В конце февраля 1918 года мы были с Есениным на вечере в зале Технологического института, на котором выступал А. А. Блок [4].

Блок был восторженно встречен многочисленной аудиторией. Он читал любимые публикой — «Незнакомку», «На железной дороге», «Прошли года», «Соловьиный сад», «В ресторане».

Во время чтения Блок стоял, слегка прислонившись к колонне, с высоко поднятой головой, в военном френче.

Читал он спокойным голосом, выразительно, но без всяких выкриков отдельных слов. Он был бледен и, по-видимому, утомлен. Сидевший рядом со мной в одном из первых рядов Есенин любовно поглядывал на Блока, иногда пытливо посматривал и на меня, желая узнать мое впечатление. Один раз он не выдержал и шепнул мне на ухо:

— Хорош Блок!

По окончании концерта мы все вышли на улицу. Блока сопровождала большая толпа почитателей его таланта. Мы с Есениным, держась вместе, не упускали Блока из виду и понемногу к нему проталкивались. Когда мы остались втроем, Есенин познакомил меня с Александром Александровичем. Мы пошли провожать его домой.

Несмотря на блестящий успех своего выступления, Блок был несколько мрачноват.

По каким улицам мы шли, я сейчас не помню, я еще тогда мало знал Петроград. Одно время шли по какой-то набережной, прошли по железному мостику.

Когда постепенно разговорились, Есенин сказал Блоку, что я член коллегии Комиссариата продовольствия и литературный критик, написавший о нем статью в далеком Екатеринодаре, «где живет брат Городецкого»,— пояснил Сергей Александрович. Поговорив немного о заградительных отрядах Наркомпрода и о продовольственном положении Петрограда, мы коснулись и вопроса об отношении интеллигенции к революции. Блок оживился. Это было время, когда он написал свою знаменитую поэму «Двенадцать». Все его мысли в это время были сосредоточены на вопросе об отношении интеллигенции к революции. Вопрос этот был тогда очень злободневным, тревожащим всех. Блок только что (в январе 1918 года) опубликовал на эту

тему свою известную статью «Интеллигенция и революция».

В ней он призывал интеллигенцию обратиться лицом к революции. Я читал эту статью и хорошо ее помнил. Блок, весь насыщенный этой сложной проблемой, во время разговора подчеркивал, что в шуме, который он вокруг себя слышит, звучит новая музыка. Он также говорил о мире и братстве народов как о знаке, под которым проходит русская революция...

Проводив Блока, мы с Есениным отправились по домам, делясь по дороге своими впечатлениями о поэте.

Эти три месяца, проведенные в Петрограде, останутся в моей памяти навсегда.

В начале марта 1918 года Советское правительство переехало в Москву.

К этому времени наши отношения с Есениным стали настолько дружескими, что он, узнав о моем отъезде 8 марта в Москву, сам предложил мне две рекомендательные записки к своим московским друзьям-писателям. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать эти письма, которые характеризуют Есенина как заботливого и внимательного к людям человека. Одна из этих записок была адресована Белому:

«Дорогой Борис Николаевич!

Направляю к Вам жаждущего услышать Вас человека Петра Авдеевича Кузько.

Примите и обогрейте его.

Любящий Вас

Сергей Есенин».

Другая записка была написана к поэтессе Л. Столице:

«Дорогая Любовь Никитична!

Верный Вам в своих дружеских чувствах и всегда вспоминающий Вас, посылаю к Вам своего хорошего знакомого Петра Авдеевича Кузько.

Примите его и обогрейте Вашим приветом. Ему ничего не нужно, кроме лишь знакомства с Вами, и поэтому я был бы рад, если бы он нашел к себе отклик в Вас.

Человек он содержательный в себе, немного пишет, а общение с Вами кой в чем (чисто духовном) избавило бы его от одиночества, в которое он заброшен по судьбе России.

Любящий Вас

Сергей Есенин».

Вместе с секретариатом Наркомпрода выехала в Москву и Зинаида Николаевна Есенина, а Сергей Александрович задержался в Петрограде на несколько дней [5].

В Москве служащие Наркомпрода разместились в нескольких гостиницах по Тверской улице. Нарком, члены коллегии и несколько ответственных работников поместились в гостинице «Красный флот» (бывш. «Лоскутная»), что находилась в снесенном теперь квартале на Манежной площади. Зинаида Николаевна поселилась тоже в одной из гостиниц на Тверской.

В Москве весны еще не чувствовалось. Снег окончательно не сошел с тротуаров, в гостиницах было сыро и неуютно.

Довольно часто Есенин приходил к нам вместе с женой, мои дети привыкли к нему и называли «дядя Сережа»...

Когда Есенин заходил ко мне в «Лоскутную», он говорил:

— Петр Авдеевич, а я написал новое стихотворение. Прочитать?

Я, конечно, выражал желание прослушать новое стихотворение и, усевшись за стол, клал перед собой чистый лист бумаги и карандаш.

Обычно записанные мною стихотворения * я передавал на машинку у себя в канцелярии Зинаиде Николаевне.

Когда Есенин прочитал у меня в «Лоскутной» «Инонию», она произвела на меня очень сильное впечатление.

Нужно сказать, что о поэзии мы в то время разговаривали очень мало, а если и говорили, то только о стихотворениях Есенина.

Темой наших разговоров в это время были Октябрьская революция, ее значение и, конечно, Ленин.

Мне выпало большое счастье слышать выступления Ленина не только на заседаниях Совнаркома, но и на съездах партии, где решались очень важные вопросы.

Я говорил Есенину, что выступления Ленина незабываемы, что они поражают изумительной глубиной мысли и необыкновенной силой логики. Я рассказывал также Есенину о необычайной скромности Ленина и его простоте в отношениях с людьми и в своей личной жизни. И здесь,

---

* Так происходило и с поэмами Есенина «Пантократор», «Сельский часослов» и др. Одна из таких поэм — «Инония», записанная моей рукой, сейчас находится в Центральном архиве литературы и искусства, о чем говорится в примечании к «Инонии» во втором томе пятитомного собрания сочинений Есенина.

как и в Петрограде, Есенин с повышенным интересом расспрашивал меня о моих впечатлениях о Ленине.

Одной из постоянных тем нашего разговора была также продовольственная политика Наркомпрода, и Есенин часто спорил со мною, защищая мешочничество и ругая заградительные отряды. Есенин не всегда понимал жесткую продовольственную политику большевиков, его очень тревожило положение страны — голод, разруха.

Как-то во время одной из наших бесед (это было летом 1918 года) я рассказал Есенину о том, какую огромную организаторскую работу по снабжению населения продуктами первой необходимости выполняет А. Д. Цюрупа и его коллегия и как скромно живут нарком и его помощники. Народный комиссар продовольствия А. Д. Цюрупа обедал вместе со своими сослуживцами в наркомпродовской столовой (бывш. ресторан Мартьяныча в том же здании в Торговых рядах), причем частенько без хлеба.

Есенин попросил познакомить его с Цюрупой. Будучи секретарем коллегии, я легко устроил эту встречу.

Цюрупа был внимателен и приветлив с Есениным. Во время короткого разговора Цюрупа сказал, что он рад познакомиться с поэтом, что он о нем слышал и читал некоторые его стихотворения, которые ему понравились. При прощании Александр Дмитриевич просил передать привет Зинаиде Николаевне, которая в это время уже не работала в комиссариате. Сергей Александрович был очень доволен этим свиданием.

По характеру своей работы мне приходилось бывать в кабинете у Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова, который иногда беседовал со мной о положении продовольственного дела на местах и о крестьянстве. Однажды мы заговорили и о Есенине. Я рассказал Якову Михайловичу о своем знакомстве с поэтом. Оказалось, что Свердлов знал о Есенине и ценил его талант, хотя ему не нравилось есенинское преклонение перед патриархальной Русью.

Те два рекомендательных письма, которые дал мне в Петрограде Есенин на имя А. Белого и Л. Столицы, я все как-то не удосуживался использовать — некогда было. Месяца через три после приезда в Москву в Доме союзов состоялся литературный вечер, на котором выступал и Андрей Белый. Есенин познакомил меня с ним.

В Москве у Есенина появилось много новых друзей, в числе которых были Мариенгоф, Шершеневич, Колобов.

Есенин и Мариенгоф открыли книжный магазин на Никитской улице, который назывался магазином «Артели художественного слова».

Когда я заходил в магазин, я всегда заставал Есенина за чтением книг. Меня интересовало, что он читает. Оказалось, это были почти всегда книги древнерусской литературы, как, например, «Слово о полку Игореве», «Послание Даниила Заточника» и др. Есенин говорил мне, что чтение таких книг обогащает его творчество. (Вспомним его книгу «Ключи Марии».)

В феврале 1919 года я был откомандирован в распоряжение украинского Наркомпрода в Киев, где пробыл до августа.

По возвращении в Москву меня направили в войска внутренней охраны республики.

Летом 1920 года меня, по просьбе наркома Луначарского, как бывшего журналиста откомандировали в распоряжение Наркомпроса, где я стал ученым секретарем Литературного отдела.

Теперь наши встречи с Есениным в основном продолжались в ЛИТО.

В ЛИТО происходили литературные «пятницы». На этих вечерах помимо пролетарских и крестьянских писателей выступали артисты Художественного театра, в том числе Качалов, Орленев, Тарасова, Шевченко, а также такие режиссеры, как Таиров, Мейерхольд, Берсенев. Заходил к нам и художник Якулов, автор проекта памятника в Баку 26 комиссарам, и многие другие.

Когда публика узнавала, что в очередную «пятницу» будет выступать Владимир Маяковский или Сергей Есенин, зал набивался до отказа.

Помню, в первом номере журнала «Художественное слово» (1920 г.), выходившем под редакцией Брюсова, появилась небольшая рецензия Валерия Яковлевича о «Голубени» [6]. Брюсов очень хорошо отозвался о «Голубени», указав и на некоторые ее недостатки. Я показал эту рецензию Есенину, он был очень обрадован.

У меня сохранилась запись от 31 января 1926 года одной из моих бесед с Мейерхольдом о Есенине.

Тогда Всеволод Эмильевич был уже женат на Зинаиде Николаевне Райх (бывшей жене Есенина). Я заходил к Мейерхольдам несколько раз. С Мейерхольдами жили и дети Есенина.

В одно из посещений Мейерхольда мы разговорились о Сергее Александровиче. Я попросил Всеволода Эмильеви-

ча высказать свое мнение о Есенине и его творчестве (Всеволод Эмильевич знал его еще в Петербурге) [7]. Он сказал мне следующее:

«Путь Есенина не был прямым, ровным. Он был изгибным и излучным.

Но у Есенина был еще путь подгорья и были высокие взлеты и глубокие падения. Он жил — и его творчество временами сливалось с жизнью, и это трудно отделить.

Он рос и формировался под сильным влиянием среды, иногда ей целиком поддаваясь, иногда с нею борясь. Тут могли быть и глубокие трагические моменты.

У Есенина была борьба с петербургским влиянием мережковских, городецких и с религиозным уклоном Клюева. Затем острое изображение в определенных заостренных тонах богемной грязи и тины. Ему всегда приходилось вести борьбу с вредными влияниями.

И лиризм — оттого, что жизнь и поэзия временами в нем нераздельно сливались.

Есенин читал мне «Пугачева», и я почувствовал какую-то близость «Пугачева» с пушкинскими краткодраматическими произведениями. Есенин читал мне пьесу как бы в конкурсном порядке, когда предлагались и другие произведения к постановке. Он читал, так сказать, внутренне собравшись [8].

В этом чтении, визгливо-песенном и залихватски удалом, он выражал весь песенный склад русской песни, доведенной до бесшабашного своего удальского выявления. Песенный лад Есенина связан непосредственно с пляской — он любил песню и гармонику. А песня подобно мистерии,— явление народное.

Ни Качалов, ни Книппер совсем не умеют читать Есенина».

В последний раз я видел Есенина на Тверской. Это было почти накануне его отъезда в Ленинград...

Разговор наш как-то не клеился. Мы перекинулись обычными в таких случаях фразами и разошлись...

1963—1964

С. Т. КОНЕНКОВ

ИЗ КНИГИ «МОЙ ВЕК»

Мастерская на Пресне, которую до меня арендовал скульптор Крахт, была всем хороша: простор для работы, уединенность (уютный деревянный флигель стоял в глубине зеленого двора, среди зарослей сирени, жасмина и шиповника), возможность устраивать во дворе подсобные службы. Как показала жизнь, студия на Пресне — это готовый выставочный зал. 〈...〉

Ранней весной 1914 года стал переезжать на Пресню и обживаться на новом месте. 〈...〉 В апреле мы с Григорием Александровичем вскопали пустырь вокруг флигеля и посеяли рожь с васильками. Мастерская на Пресне стала местом родным и желанным. Я с головой ушел в работу. 〈...〉

Еще перед поездкой в Грецию я в Караковичах [1] целыми днями слушал монотонное, под аккомпанемент лиры пенье слепцов, расспрашивал их, лепил из глины их лица и постоянно размышлял об их доле. Захотелось мне поведать людям об этих сирых, убогих людях. Забрезжила в сознании идея «Нищей братии». К осуществлению замысла я приступил только в пресненской мастерской. И снова, как и прежде, я выискивал интересных с точки зрения моего замысла слепых бродяг, приводил их в студию. Лепил их и вырубал из дерева. Один из них, по фамилии Житков, стал прототипом «Старичка-кленовичка». Просил их петь, сказывать сказки. Тогда в Караковичах один слепой, долго живший в нашем доме и сроднившийся со мной, подарил мне лиру и научил меня нехитрой премудрости обращения с этим древним инструментом. Я подыгрывал моим пресненским натурщикам на лире и узнал, пожалуй, все жалостливые песнопенья российских нищих-горемык. 〈...〉

При таких-то вот обстоятельствах и познакомился я с Сережей Есениным, которого привел ко мне в мастерскую мой друг со времен баррикадных боев 1905 года поэт Сергей Клычков. Как они передавали потом, перед дверью Есенин услышал звучание лиры и поющие голоса и придержал своего провожатого.

— Стой, Сережа. Коненков поет и играет на лире.

Дослушав до конца песню, они вошли. Передо мной предстал светловолосый, стриженный в скобку мальчишка в поддевке.

— Поэт Есенин. Очень хороший поэт,— заторопился с похвалой Клычков, видя на лице моем удивление крайней молодостью незнакомца.

— Сережа знает и любит ваши произведения,— продолжал аттестовать друга Клычков, а Есенин, не дождавшись конца затянувшегося объяснения, порывисто, с подкупающей искренностью вставил свое слово в строку.

— Очень нравится мне и пенье ваших слепых. Я знаю некоторые из этих песен.

Клычков — в критическом обиходе именовавшийся не иначе как крестьянским поэтом — лучше нас мог пропеть Лазаря. Я взял в руки отложенную было в сторону лиру, и мы втроем довольно стройно спели песню об «Алексии божьем человеке, о премудрой Софии и ее трех дочерях Вере, Надежде, Любови».

Вдруг Сережа сделался грустным и сам предложил:

— Я вам почитаю стихи.

Наша вера не погасла,
Святы песни и псалмы.
Льется солнечное масло
На зеленые холмы.

Верю, родина, я знаю,
Что легка твоя стопа,
Не одна ведет нас к раю
Богомольная тропа.

Все пути твои — в удаче,
Но в одном лишь счастья нет:
Он закован в белом плаче
Разгадавших новый свет.

Там настроены палаты
Из церковных кирпичей;
Те палаты — казематы
Да железный звон цепей.

Не ищи меня ты в боге,
Не зови любить и жить...
Я пойду по той дороге
Буйну голову сложить.

— Хорошо! Читайте еще.

И он весь напружинился, посветлел лицом и молодым, ломающимся, но сильным голосом стал читать нам веселые стихи о Руси, что тропой-дорогой разметала по белу свету свой наряд.

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.
Солнца струганые дранки
Загораживают синь.

Мы стали друзьями. Трио наше еще не раз пробовало свои силы.[2] Есенину очень нравилась моя пресненская обитель. Во ржи и васильках, с поленницей дров возле сарая, с дневавшими и ночевавшими тут знаменитыми музыкантами и мудрыми слепцами. Он всегда появлялся неожиданно и бесшумно: старался застать живую песню. Мои знакомые передавали изустный рассказ Есенина про то, как однажды он, пройдя в калитку, не замеченный дядей Григорием, сквозь кусты сирени наблюдал и слушал, как Коненков, сидя на пеньке возле сарайчика в глубине двора и подыгрывая себе на гармошке-двухрядке, пел очень печальную песню. ⟨...⟩

Владимиру Ильичу принадлежит инициатива создания мемориала в память павших героев Октябрьской революции. В постановлении Совнаркома от 17 июля 1918 года записано: «Обратить особое внимание Народного комиссариата по просвещению на желательность постановки памятников павшим героям Октябрьской революции и, в частности в Москве, сооружения, кроме памятников, барельефа на Кремлевской стене, в месте их погребения».

В августе Моссовет предложил шести скульпторам и архитекторам принять участие в конкурсе. Среди этих шести был и я. В середине сентября жюри рассмотрело проекты. Четыре из них — скульпторов Бабичева, Гюрджана, Мезенцева и художника Нивинского — были отвергнуты. Мой проект и проект архитектора Дубинецкого при голосовании получили равное число голосов. После

открытого обсуждения комиссия избрала мой проект. ⟨...⟩

Никогда я не работал с таким увлечением. Один набросок следовал за другим. Зрелище освобожденного Кремля, заря над Москвой, гобелен, вышитый еще во времена крепостного права,— эти виденья возбуждали фантазию, в бесчисленных карандашных рисунках слагались в патетический образ. Во время работы над реальной доской он уточнялся, вбирая в себя все новые краски жизни, возбуждая в нас революционное чувство.

В октябрьские дни 1918 года, когда Советская республика готовилась отметить первую годовщину своей жизни, на улицах звучали революционные песни, и мне так хотелось, чтобы на древней Кремлевской стене зазвучал гимн в честь грядущей победы и вечного мира.

Во время установки мы дневали и ночевали у Кремлевской стены [3]. Во время работы ночью стояла охрана и горел костер. Проходившие спрашивали: «Что тут происходит?» А одна старушка поинтересовалась:

— Кому это, батюшка, икону ставят?

— Революции,— ответил я ей.

— Такую святую я слышу в первый раз.

— Ну что ж, запомни!

Наконец все готово.

Торжественный красный занавес скрыл широкими складками доску, которую должен был открыть Владимир Ильич. Возле доски возвышался помост, а чуть в стороне — высокая, со многими ступенями трибуна.

С утра 7 ноября 1918 года Красная площадь начала заполняться делегациями заводов и фабрик, красноармейских частей. День ясный, холодный.

Было известно, что Владимир Ильич прибудет на Красную площадь вместе с колонной делегатов VI съезда Советов. Выглядывая долгожданную колонну, я несколько растерялся, когда увидел Ленина, идущего к Сенатской башне. На нем было пальто с черным каракулевым воротником и черная каракулевая шапка-ушанка. Он поздоровался со всеми присутствующими, со мной, как со старым знакомым, сказав: «Помню, помню нашу беседу в Совнаркоме».

Началась короткая церемония открытия.

К стенке была приставлена небольшая лесенка-подставка, на которую должен был взойти Владимир Ильич, чтобы разрезать ленточку, соединявшую полотнища занавеса. Ленточка была запечатана.

Я держал в руке специально сделанную мной ко дню открытия живописную шкатулку, в которой лежали ножницы и выполненная мною деревянная печатка. На ней значилось: «МСРКД» (Московский Совет рабоче-крестьянских депутатов).

Владимир Ильич обратил внимание на шкатулку и на печатку:

— А ведь это надо сохранить. Ведь будут же у нас свои музеи,— взял и стал внимательно рассматривать печатку, а потом передал шкатулку с печаткой одному из товарищей, стоявшему рядом.

— Передайте в Моссовет. Это надо сохранить,— сказал Владимир Ильич.

Я передал ножницы Владимиру Ильичу. Он разрезал красную ленту. Когда раскрылся занавес, заиграл военный духовой оркестр и хор Пролеткульта исполнил кантату, написанную специально ко дню открытия. Автором музыки был, как уже упоминалось, композитор Иван Шведов, слова написали поэты Есенин, Клычков и Герасимов.

Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья.
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ [4].

Под звуки кантаты все собравшиеся у Кремлевской стены в молчании внимательно рассматривали мемориальную доску.

Крылатая фантастическая фигура Гения олицетворяет собой Победу. В одной ее руке — темно-красное знамя на древке с советским гербом; в другой — зеленая пальмовая ветвь. У ног фигуры — поломанные сабли и ружья, воткнутые в землю. Они перевиты траурной лентой. А за плечами

надмогильного стража восходит солнце, в золотых лучах которого написано:

ОКТЯБРЬСКАЯ 1917 РЕВОЛЮЦИЯ

На мемориальной доске, внизу, начертаны слова:

ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРОДОВ

Эти слова были девизом моей работы, и мне радостно сознавать, что они были одобрены и утверждены В. И. Лениным. 〈...〉

В пятитомнике собрания сочинений Сергея Есенина опубликован любопытный архивный документ:

«Заведующему отделом изобразительных искусств
Комиссариата народного просвещения

Заявление

Просим о выдаче нам, Сергею Клычкову и Сергею Есенину, работающим над монографией о творчестве Коненкова, размером в два печатных листа, по расчету в тысячу рублей лист, аванс в 1 тысячу (одну) рублей.

Сергей Клычков, Сергей Есенин

19 октября 1918».

Не знаю, удалось ли моим друзьям получить аванс, но об их добром намерении написать монографию мне было доподлинно известно. Больше того, не раз и не два друзья-поэты били по рукам: «Завтра с утра начнем, а сегодня... сегодня давайте песни петь!»

Народных песен оба знали великое множество, кое-что им неведомое мог предложить и я. Есенинские стихи, ставшие народными песнями, нынешняя молодежь знает наперечет, но мало кто знает, что всем известную удалую песню «Живет моя отрада» сочинил Сергей Клычков [5]. И надо было видеть и слышать, как два Сергея разделывали этот любовный разбойничий романс. В мастерской стояли «Степан Разин с ватагою» — они были подходящей декорацией для певцов-удальцов.

Монографию обо мне два Сергея, два друга — метель да вьюга, так и не собрались написать. Скорее всего потому, что дело это, по существу, им было не свойственно [6]. Монографию написал известный художественный критик

Сергей Глаголь. Она вышла в петроградском художественном издательстве «Светозар» вскоре после смерти Глаголя, который умер летом двадцатого года. Клычков, Есенин и приставший к ним Петр Орешин написали заявление о необходимости крестьянской секции в Пролеткульте, которое они назвали манифестом [7]. Поскольку обсуждение такого манифеста проходило у меня в студии, я, конечно же, участвовал во всех разговорах, под этим документом стоит и моя подпись.

«Великая Российская революция, разрушившая коренные устои старого буржуазного мира,— говорилось в нем,— вызвала к жизни творческие силы, таящиеся в русских городах и деревнях. Сам живой голос жизни поставил на очередь вопрос об образовании особых организаций, которые могли бы повести великое дело собирания и выявления этих скрытых в массовой толпе творческих возможностей».

Есенин и был той огромной творческой силой, которая проявлялась у меня на глазах. Я любовался им, относился к нему как к сыну. Он платил дружеской привязанностью. Его постоянно тянуло ко мне на Пресню.

Весной двадцатого года Есенин позировал мне для портрета. Сеансы продолжались с неделю. Я вылепил из глины бюст, сделал несколько карандашных рисунков. Но несмотря на быстроту, с какой я справился с трудным портретом (надо сказать, работа эта увлекла меня настолько, что я вошел в азарт и не давал себе передышки), мои поэты заскучали и в один прекрасный день исчезли, как духи: куда-то уехали, кажется, в Самарканд.

Есенинский бюст я переводил в дерево без натуры, корректируя сделанный с натуры портрет по сильному впечатлению, жившему во мне с весны восемнадцатого года. Тогда на моей пресненской выставке перед толпой посетителей Есенин читал стихи [8]. Возбужденный, радостный. Волосы взъерошены, наморщен лоб, глаза распахнуты.

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь... [9]

Пока я работал над бюстом, все время держал в памяти образ поэта, читающего стихи рабочим прохоровской мануфактуры — они тогда пришли экскурсией на выставку.

Читая стихи, Есенин выразительно жестикулировал. Светлые волосы его рассыпались. Поправляя их, он поднял руку к голове и стал удивительно искренним, доверчивым, милым.

Нет, наши отношения с Есениным не были идиллическими. Мы, случалось, спорили и громко, и рьяно, но никогда не переступали при этом границ взаимного дружеского расположения. Обычным предметом столкновения была космогония, к которой я в поисках смысла мироздания испытывал неукротимый интерес, Есенин же был человеком истинно чтившим все земное, да к тому он успел всерьез рассориться с богом, подведя итог жестокой строкой: «Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, господь» [10].

Как ни в ком из поэтов того времени, жила в нем глубокая и чистая любовь к родине, к России. С какой искренностью и задором сказано им:

Если кликнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою» [11].

Случалось, Есенин без предупреждения надолго пропадал и появлялся столь же неожиданно. Как-то за полночь стук в дверь. На улице дождь, сверкает молния. «Наверное, Сергей», — подумал я.

— Кто там?

— Это я — Есенин. Пусти!

По голосу понял, что друг мой помимо дождя где-то изрядно подмок. И теперь вот среди ночи колобродит. Дай, думаю, задам ему загадку, решил я спросонья, совершенно упустив из виду, что человек под дождем стоит.

— Скажи экспромт — тогда пущу.

Минуты не прошло, как из-за двери послышался чуть с хрипотцой, громогласный в ночи есенинский баритон:

Пусть хлябь разверзнулась!
Гром — пусть!
В душе звенит святая Русь,
И небом лающий Коненков
Сквозь звезды пролагает путь [12].

Пришлось открывать. Вечер поэта Сергея Есенина во флигеле дома номер девять на Пресне закончился на рассвете. Ночи не было.

Читал он так, что душа замирала. Строки его стихов о красногривом жеребенке сердце каждого читающего переполняют жалостливым чувством, а вы попробуйте представить, какую глубокую сердечную рану наносил он своим голосом, когда одновременно сурово и нежно, неторопливо выговаривал трогательные слова:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница? [13]

С Есениным мы ходили на журавлиную охоту. Завидя нас, когда мы были за версту от них, журавли поднимались. А баб, которые жали рожь в подмосковном поле в пятидесяти шагах от них, не боялись. Какие догадливые птицы журавли! А мы, хоть и издалека их увидели, и тому рады. Не зря десять верст прошагали.

В голодном двадцать первом году в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Приехала, чтобы основать в Советской России школу пластического танца. На вечеринке у художника Якулова Дункан встретилась с Есениным. Вскоре они поженились.

Под школу-студию отвели дом балерины Балашовой на Пречистенке. Дункан поселилась в одной из раззолоченных комнат этого богатого особняка. Есенин проводил меня туда.

Меня глубоко интересовало искусство Айседоры Дункан, и я часто приезжал в студию на Пречистенку во время занятий. Несколько раз я принимался за работу. «Танцующая Айседора Дункан» — это целая сюита скульптурных портретов прославленной балерины.

В первых числах мая 1922 года Дункан увезла Есенина в Европу, а затем и в Америку. Вернулся он в августе 1923-го.

Появившись у нас на Пресне, сразу же спросил:

— Ну, каков я?

Дядя Григорий без промедления влепил:

— Сергей Александрович, я тебе скажу откровенно — забурел.

И в самом деле, за эти полтора года Есенин раздобрел, стал краситься и пудриться, и одежда на нем была буржуйская.

Но очень скоро заграничный лоск с него сошел, и он стал прежним Сережей Есениным — загадочным другом, российским поэтом.

Стояли последние жаркие дни недолгого московского лета. Большой шумной компанией отправились купаться. На Москве-реке, в Филях, был у меня заветный утес, с которого любо-дорого прыгнуть в воду. Повеселились вволю. По дороге к дому Есенин, вдруг погрустневший, стал читать неизвестные мне стихи:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком...

Тяжелая тоска послышалась мне в его голосе. Я перебил его:

— Что ты? Не рано ли?

А он засмеялся.

— Ничего, — говорит, — не рано.

И опять Есенин пропал из моего поля зрения. На этот раз — навсегда.

1970

Н. Г. ПОЛЕТАЕВ

ЕСЕНИН ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

С. Есенин [1]

Даже на фоне нашей неповторимой эпохи четко выделялась эта красивая, блестящая фигура — Сергей Есенин. Где бы он ни появлялся, он обращал на себя общее внимание, к нему невольно приковывался взгляд, и он оставался в памяти надолго, если не навсегда. Может быть, сожженный этой своей красотой и славой — и погиб он.

В первый раз я встретил Есенина в 1918 году в Пролеткульте на литературном собеседовании в нарядной гостиной морозовского особняка. Кого только не перебывало на этих собеседованиях! Рядом с седовласым поэтом Вячеславом Ивановым — молодой пекарь Федор Киселев. против угрюмого Александровского — восторженный, жестикулирующий Андрей Белый, Казин, Орешин, Шершеневич. Все они называли друг друга «товарищ». Только В. Иванову да Белому делались иногда исключения: называли их по имени-отчеству. Не помню, кто читал стихи, когда вошел Есенин. Я ни разу не видел его прежде и сразу был поражен его видом. Как ни типичны были все другие фигуры, на нем прежде всего у всякого остановились бы и застыли глаза.

Он был одет в шелковую белую вышитую длинную русскую рубаху и широкие штаны. Костюм сельского пастушка с картины восемнадцатого века. Да и сама наружность его: волосы цвета спелой ржи, как будто кипевшие на точеной красивой голове, пышные, волнистые: черты лица тонкие, почти девичьи; голубые глаза, блеставшие необычной улыбкой. Думалось — как мог появиться здесь такой человек в годы пулеметной трескотни, гудящих

аэропланов, голодного пайка? Я решил, что, наверное, это артист, пришел читать чьи-нибудь стихи, но, нечаянно услышав фамилию Есенин, я подумал: «А как он все-таки похож на свои стихи!» Но и первое мое предположение, как я потом убедился, было верно: в этом большом, глубоко волнующем поэте, на редкость искреннем,— были черты театральности.

В этот же вечер Есенин прочел нам несколько своих стихотворений, из которых мне запомнились «Зеленая прическа» и «Вот оно, глупое счастье». Читал он необычайно хорошо. В Москве он читал лучше всех. Недаром молодые поэты читали по-есенински:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Возможно ли было в четырех строчках нарисовать полнее картину вечера, дать этой картине движение, настроение. «Березка» его так и звенела в ушах звоном осеннего прощального ветра. В этом юноше — ему тогда было двадцать три года — мы сразу увидели большого мастера. Нечего и описывать наше удивление и восторг. Когда вечером я возвращался домой с одним старым восторженным коммунистом, он беспрерывно повторял мне:

— Подумайте только, какая сила прет из рабочей и крестьянской среды: Александровский, Казин и, наконец, такая красота — Есенин!

Познакомившись с Есениным, я узнал, что он живет тут же, в Пролеткульте, с поэтом Клычковым, в ванной комнате купцов Морозовых, причем один из них спит на кровати, а другой — в каком-то шкафу на чем-то для спанья совсем непригодном. Чем они жили, довольно трудно было сказать,— тогда и все-то неизвестно на какие средства жили, но были веселы и стихи писали, как никогда.

В этом же году я был в гостях у одного студийца Пролеткульта, куда был приглашен и Есенин. Семья, к моему величайшему тогда изумлению, оказалась буржуазной: богатая обстановка, рояль, дочь с высшим музыкальным образованием. Есенин к такому обществу и такой обстановке, казалось, уже давно привык и держался свободно, как избалованный ребенок. По просьбе хозяев он довольно охотно читал стихи, те же самые, что и в Пролеткульте, и, странное дело, за чайным столом их приятнее было слушать. Дочь хозяев очень долго и хорошо играла

нам на рояле, причем Есенин особенно просил играть Вертинского. На мое удивление, что ему нравится в Вертинском, он сказал:

— Вот странно — нравится, да и все!

На вопрос дочери хозяина, нет ли у него нот на его собственные стихи, он беззаботно отвечал:

— Мне подарил N (он назвал одного известного и модного композитора) ноты, но они где-то запропастились.

Обычно говорил он мало, отрывистыми фразами, стараясь отвечать более жестами и улыбкой красивых глаз, в которой больше было любезности и блеска, чем ласки и внимания. Видно было, что эта обстановка, эти люди были привычны для него и нимало его не удивляли. Одет он был на этот раз в костюм, как всегда хороший, что называется — с иголочки. Помню, я все удивлялся: крестьянский сын, двадцати всего лет,— и уже он известный поэт, он небрежно теряет ноты известного композитора, сочиненные на его стихи, он снисходительно любезно обращается с барышнями с высшим музыкальным образованием. Мы возвращались из гостей вместе: я — в свое молчаливое, как могила, Дорогомилово, он — в ванную купцов Морозовых. А кругом была вьюга, на тротуарах непроходимые горы снега. Было все непонятно и хорошо. Был восемнадцатый год. Ели мерзлую картошку, но голову не вешали. Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется.

— Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!

Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел несколько гоголевских фраз из описаний природы. Он, видимо, затруднялся объяснить красоту того или другого выражения и старался передать ее мне голосом, интонацией, жестами, всеми средствами своего мастерского чтения. Вся его театральность куда-то исчезла. Передо мною вырос человек, до самозабвенья любящий красоту русского слова. ⟨...⟩

Кафе поэтов «Домино». В нем были два зала: один для публики, другой для поэтов. Оба зала в эти года, когда все и везде было закрыто, а в «Домино» торговля производилась до двух часов ночи, были всегда переполнены. Здесь можно было разного рода спекулянтам и лицам неопределенных профессий послушать музыку, закусить хорошенько с «дамой», подобранной с Тверской улицы, и т. д. Поэты, как объяснил мне потом один знакомый, были здесь «так,

для блезиру», но они, конечно, этого не думали. Наивные, они и не подозревали, как за их спиной набивали карманы содержатели всех этих кафе, да поэтам и деваться было некуда. Спекулянты и дамы их, шикарно одетые, были жирны, красны, много ели и пили. Бледные и дурно одетые поэты сидели за пустыми столами и вели бесконечные споры о том, кто из них гениальнее. Несмотря на жалкий вид, они сохранили еще прежние привычки и церемонно целовали руки у своих жалких подруг. Стихи, звуки — они все любили до глупости. Вот обстановка, в которой в 1919 году царил С. Есенин. Нас, молодых, выдвигавшихся тогда поэтов из Пролеткульта, пригласили читать стихи в «Домино». Есенин тогда гремел и сверкал, и мы очень обрадовались, узнав, что и он в этот вечер будет читать стихи. Он стоял, окруженный неведомыми миру «гениями» и «знаменитостями», очаровывая всех своей необычной улыбкой. Характерная подробность: улыбка его не менялась в зависимости от того, разговаривал ли он с женщиной или с мужчиной, а это очень редко бывает. Как ни любезно говорил он со всеми, было заметно, что этот «крестьянский поэт» смотрел на них как на подножие грядущей к нему славы. Нервности и неуверенности в нем не было. Он уже был «имажинистом» и ходил не в оперном костюме крестьянина, а в «цилиндре и в лакированных башмаках». Я полюбил его издалека, чтобы не обжечься. В этот вечер он сделал очередной большой скандал.

Когда мои товарищи читали, я с беспокойством смотрел на них и на публику. Они робели, старались читать лучше и оттого читали хуже, чем всегда, а публика, эта публика в мехах, награбленных с голодающего населения, лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянного кофе с сахарином и даже переговаривалась между собой, нисколько не стесняясь. Мне пришлось читать последнему. После меня объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:

— Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к ...! Спекулянты и шарлатаны!..

Публика повскакала с мест. Кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали «чеку». Нас задержали часов до трех ночи для проверки документов. Есенин, все так же улыбаясь, веселый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову «бычком» (поза

дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные красивые губы. Он был доволен. ⟨...⟩

Когда этот «скандалист» работал — трудно было себе представить, но он работал в то время крепко. Тогда были написаны лучшие его вещи: «Сорокоуст», «Исповедь хулигана», «Я последний поэт деревни...».

В публике существует мнение, что поэта сгубили имажинисты. Это неверно. Я с Казиным, Санниковым или Александровским часто заходил к имажинистам и сравнительно хорошо их знаю. Правда, это были ловкие и хлесткие ребята. Они открыли (или за них кто-нибудь открыл) кафе «Стойло Пегаса», открыли свой книжный магазин «Лавка имажинистов» и свое издательство. К стихам они относились чисто с формальной стороны, совершенно игнорируя их содержание. Но повлиять на Есенина они не могли. ⟨...⟩

Все эти два или три года Есенин продолжал работать, часто скандалил, но, кажется, не пил. Захожу я как-то в «Лавку имажинистов». Есенин, взволнованный, счастливый, подает мне, уже с заготовленной надписью, свою только что вышедшую книжку «Исповедь хулигана». Я тут же залпом прочитываю ее, с удивлением смотрю на этого человека, шикарно одетого, играющего роль вожака своеобразной «золотой молодежи» в обнищалой, голодной, холодной Москве и способного писать такие блестящие, глубокие стихи.

— Знаешь, Полетаев, уже на немецкий, английский и французский перевод есть! Скоро пришлют — и с деньгами! — говорит Есенин с мальчишеской, хвастливой улыбкой.

А я не могу оторваться от книги. Я уже не здесь, в голодной Москве, я там — в есенинской деревне, как будто он какой волшебной силой перенес меня туда.

— Зачем ты даже в такие стихи вносишь похабщину? — говорю я.

Он долго нескладно убеждает меня, что это необходимо, что это его стиль [2]. Возмущенный, говорю ему, что все «выверты» и все «скандалы» его — только реклама,— и ничего больше. Он утверждает, что реклама необходима поэту, как и солидной торговой фирме, и что скандалить совсем не так уж плохо, что это обращает внимание дуры-публики.

— Ты знаешь, как Шекспир в молодости скандалил?

— А ты что же, непременно желаешь быть Шекспиром?

— Конечно.

Я не мог спорить, я сказал, что если Шекспир и стал великим поэтом, то не благодаря скандалам, а потому, что много работал.

— А я не работаю?

Есенин сказал это с какой-то даже обидой и гордостью и стал рассказывать, над чем и как усиленно он сейчас работает.

— Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать.

Это была правда. Работал он неустанно. ⟨...⟩

Помню Есенина в начале его славы. Его выступления в Политехническом музее. Политехнический музей был в то время средоточием литературной жизни Москвы. Он заменял поэтам и публике книги, журналы — все. Поэты, числом до шестидесяти, выступали здесь. Поэты всяких направлений, всяких фасонов, всяких школ. И, надо сказать, Есенин был здесь первым. Есенин был в самом расцвете. Вещи одна одной лучше выходили из-под его пера. И читал он великолепно,— правда, немного театрально, но великолепно, чудесно читал! Как сейчас вижу его: наклонив свою пышную желтую голову вперед «бычком», весь — жест, весь — мимика и движение, он тщательно оттенял в чтении самую тончайшую мелодию стиха, очаровывая публику, забрасывая ее нарядными образами и неожиданно ошарашивая похабщиной.

Он рос. Критик В. П. Полонский уже тогда на докладах в Доме печати называл его великим русским поэтом. Есенин уже не терпел соперников, даже признанных, даже больших. Как-то на банкете в Доме печати, кажется, в Новый год, выпивши, он все приставал к Маяковскому и чуть не плача кричал ему:

— Россия моя, ты понимаешь,— моя, а ты... ты американец! Моя Россия!

На что сдержанный Маяковский, кажется, отвечал иронически:

— Возьми пожалуйста! Ешь ее с хлебом!

Кто-то из публики пренебрежительно сказал:

— Крестьянин в цилиндре!

В это время он долго и упорно работал над «Пугачевым». ⟨...⟩

Последняя встреча. Я был на одном литературном вечере, кажется — «Никитинские субботники», когда вдруг с испугом говорят, что на вечер врывается и скандалит пьяный Есенин. Я сейчас же вышел. Есенин был, как

мне показалось, трезвый, с Казиным, и пригласил меня в «Стойло Пегаса». Помню, мы сидели там до закрытия, слушали цыганский хор. После закрытия мы всю ночь ходили по Тверской. ⟨...⟩ Говорили мы в ту ночь, конечно, о том, что нам было и есть всего дороже,— о стихах.

Я с удовлетворением отозвался о некоторых последних его вещах.

— Ага! Ты наконец понял! Погоди, я скоро еще не то напишу!

Затем он, по обыкновению, стал говорить, что Россия, вся Россия — его, а не моя и не Казина, а тем более не Маяковского. Я «уступил» ему Россию. Он плакал, мы целовались. Я смутно, но понимал, что ему больно, что в нем что-то творится, что-то происходит, а что?..

С нами был какой-то человек, не литератор, но близкий приятель Есенина.

— Куда ты сегодня спать пойдешь? — спросил он Есенина.

— А, право, не знаю! — как бы раздумывая, ответил Есенин.— Пойдем хоть к тебе.

— Да разве у тебя своей квартиры нет? — спросил я.

— А зачем она мне? — просто ответил Есенин.

«Беспризорный Есенин», — подумал я.

⟨1926⟩

Н. А. ПАВЛОВИЧ

КАК СОЗДАВАЛСЯ КИНОСЦЕНАРИЙ «ЗОВУЩИЕ ЗОРИ»

Я встречалась с Сергеем Есениным в 1918 и 1919 годах. В 1918 году я была секретарем литературного отдела московского Пролеткульта, а Михаил Герасимов заведовал этим отделом. Жил он там же в бывшей ванной — большой, светлой комнате с декадентской росписью на стенах; ванну прикрыли досками, поставили письменный стол, сложили печурку.

Бывая в Пролеткульте, в эту комнату заходили к Герасимову Есенин, Клычков, Орешин, а Есенин иногда оставался ночевать.

В то время наиболее видными московскими пролетарскими поэтами были Герасимов, Александровский и Полетаев. Я же была молодой, но уже печатавшейся с 1913 года писательницей из буржуазной среды. В те годы я всецело находилась под влиянием Блока, его поэзии, его статей об интеллигенции и революции. Я страстно принимала его поэму «Двенадцать», и она сыграла большую роль в моем собственном признании революции и сближении с пролетарскими поэтами...

Все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе.

Обособленность человеческая кончается, индивидуализм преодолеется в коллективе. Вместо «я» в человеческом сознании будет естественно возникать «мы». А как же будет с художественным творчеством, с поэзией?

Можно ли коллективно создавать литературные произведения? Можно ли писать втроем, вчетвером? Об этом

мы не раз спорили и решили испытать на деле. Так появились и киносценарий «Зовущие зори», написанный Есениным, Герасимовым, Клычковым и мной, и «Кантата», написанная Есениным, Герасимовым и Клычковым.

Эти юношеские опыты для сегодняшнего читателя и наивны и несовершенны, но в них отразились и эпоха, и наши тогдашние художественные искания, и мы сами, до некоторой степени явившиеся прототипами отдельных персонажей. Материалом для «Зовущих зорь» послужил и московский Пролеткульт, и наши действительные разговоры, и утопические мечтания, и прежде всего сама эпоха, когда бои в Кремле были вчерашним, совсем свежим воспоминанием.

Мы были и ощущали себя прежде всего поэтами, оттого и в списке авторов помечено — «поэты». Свой реалистический материал мы хотели дать именно в «преображении» поэтическом; одна из частей сценария так и названа — «Преображение». Для Есенина был особенно дорог этот высокий, преображающий строй чувств и образов. Исходил он из реального, конкретного, не выдумывая о человеке или ситуации, но как бы видя глубоко заложенное и только требующее поэтического раскрытия.

Для Есенина, как и для нас — его соавторов, было важно показать ритм и стремительность этого преображения действительности. Так, Саховой — деревенский увалень — становится одним из безымянных героев революции, офицер Рыбинцев переходит к большевикам, его жена Вера Павловна становится другим человеком и уходит вместе с женой рабочего Наташей на фронт.

Некоторые собственные психологические и даже биографические черты мы вложили в героев сценария. В Назарове, «рабочем, бывшем политэмигранте, с ярко выраженной волей в глазах и складках рта, высокого роста» [1], есть черты Михаила Герасимова, который после революции вернулся из политэмиграции. Правда, Герасимов — сын железнодорожного рабочего, спокойный, сильный и красивый человек, крепко ходящий по земле,— совсем не был похож на «вихревую птицу», как значится в сценарии. Все сравнения его с птицей, относящиеся к «преображению», задуманы Есениным. Некоторые черты Веры Павловны Рыбинцевой навеяны моим тогдашним обликом. Я была романтической интеллигенткой, попавшей в «железный» Пролеткульт. Но, конечно, отчасти узнавая себя в Рыбинцевой, я никак не могу отождествлять себя с этим персонажем сценария.

Все развитие образа Рыбинцевой — это попытка показать в художественной форме революционное перевоспитание человека, пусть вышедшего из других социальных слоев, но ставшего на сторону революции.

Разработка образа Рыбинцевой как бы по молчаливому уговору (ему и книги в руки!) была предоставлена Герасимову, но основная наметка дана всеми.

Наташа Молотова в основном разработана мной. Ее образ имеет непосредственную связь с образом Тани из моей поэмы «Серафим». Обе они вышивают алое знамя, обе уходят на демонстрацию, а потом в бой.

Саховой ближе Клычкову: от Есенина тут может быть только налет мягкого юмора. А сцены в Кремле, арест и бегство Рыбинцева должны быть отнесены главным образом к Есенину. Вся эта часть сценария идет под знаком есенинского «преображения».

Эпизоды 13, 14, 15, 16—23 мы придумывали в столовой на Арбате, куда часто ходили все вместе обедать из Пролеткульта. Я помню голые деревянные доски стола, облупленную посуду, оловянные ложки, прокуренную комнату. Отсюда как противопоставление — «величественный зал, роскошная сервировка и изобилие пищи», как это дается в картинах будущего в сценарии. В картине рабочего праздника фон — «фабричные трубы» — был данью вкусам Герасимова. Кадры «работа будет нашим отдыхом» предложены тоже Герасимовым.

Начало IV части «На фронт мировой революции» в основном принадлежит Есенину и Клычкову, а конец — Герасимову. Его же — образ «мадонны на фоне моря».

Возникает вопрос: был ли этот сценарий случайным для Есенина? Едва ли.

Весь этот непродолжительный период сближения с пролетарскими поэтами был существен для его пути. В тогдашней литературе шел сложный процесс отмирания старого и возникновения нового. Было ясно одно, что по-прежнему писать уже нельзя, что надо искать каких-то иных форм.

Есенин не мог не видеть недостатков нашего незрелого детища, но он своей рукой переписывает большую часть чистового экземпляра сценария, не отрекаясь от него, желая довести до печати.

Жизнь потом разметала нас, но «Зовущие зори» остаются для меня дорогим воспоминанием о товарищах моей молодости.

⟨1956⟩

Л. В. НИКУЛИН

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

В первый раз я увидел его в 1918 году, в середине лета, в одном из тех московских кафе, где состоятельные господа в тот голодный год лакомились настоящим кофе с сахаром и сдобными булочками. Теперь на том месте, на углу Петровки и Кузнецкого переулка, разбит сквер, и только старожилы помнят дом с полукруглым фасадом, где было это кафе.

Постепенно состоятельные господа перекочевали на Украину, в гетманскую державу, и владельцы кафе для привлечения новых клиентов назвали свое предприятие «Музыкальной табакеркой» и за недорогую плату выпускали на эстраду поэтов. Поэты читали стихи случайной публике — эстетам в долгополых визитках и цветных жилетах, окопавшимся в тылу сотрудникам банно-прачечных отрядов — так называемым земгусарам, восторженным ученицам театральных школ; но приходили сюда и ценители поэзии, главным образом провинциалы — врачи, учителя, студенты.

Меньше всего проявляли интерес к выступающим на эстраде сами поэты, они обычно сидели не в круглом зале, а в примыкающей к нему комнате и читали друг другу стихи — свои, чужие:

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет...[1]

Спорили о вечности, о нетленной красоте, о том, что эти стихи оценят потомки, и иные были серьезно уверены в том, что вернется прежняя удобная, приятная жизнь, а с ней придут слава и бессмертие.

Здесь я познакомился с Борисом Лавреневым. Оба мы писали стихи и, возвращаясь ночью из «Табакерки», убеждали себя в том, что сегодня были там в последний раз. Бродили по ночной Москве, разносили вдребезги литературные авторитеты, не обращая внимания на отдаленные и не слишком отдаленные выстрелы. Однако в следующий же вечер снова встречались в той же «Табакерке» — как-никак иной раз там можно было услышать самого Брюсова. По-прежнему в примыкающей к залу комнате поэты хвалились сборниками своих стихов в пестрых обложках; стихи издавали меценаты, а иногда и сами поэты, отказывая себе в самом необходимом. Какие только не изобретали названия для сборников — «Барабан строгого господина», «В лимонной гавани Иокогама» [2] или что-то в этом роде.

Все это теперь кажется нелепым, искусственным, а около сорока лет назад к этим вывертам относились серьезно, азартно спорили, восхищались, иногда заглушая то, что происходило в это время на эстраде.

Словом, в «Табакерке» был обыкновенный вечер, не обещающий ничего замечательного, но вдруг все притихли — из круглого зала донесся молодой, чистый и свежий голос, и в нем было что-то завлекательное, зовущее. Все сгрудились в арке, соединяющей комнату поэтов с залом.

На эстраде стоял стройный, в светлом костюме молодой человек, показавшийся нам юношей. Русые волосы падали на чистый, белый лоб, глаза мечтательно глядели ввысь, точно над ним был не сводчатый потолок, а купол безоблачного неба. С какой-то рассеянной, грустной улыбкой он читал, как бы рассказывая:

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы как ночь
Да глаза голубые, кроткие.

— Есенин!

Жизнь Есенина, чудо, случившееся с ним, крестьянским юношей, ставшим одним из первых русских поэтов, наших современников, — все это было хорошо известно. Но как-то странно было видеть его, автора стихов «Русь», внешне ничем не подчеркивающего своей биографии — ни в одежде, ни в повадках. На нем не было поддевки, он не был острижен в скобку, как некоторые крестьянствующие поэты, не было и сапог с лаковыми голенищами. Светло-серый пиджак облегал его стройную фигуру и очень шел ему — такое умение с изящной небрежностью носить го-

родской костюм я видел еще у одного человека, вышедшего из народных низов,— у Шаляпина.

Непринужденно и просто Есенин читал стихи, не подчеркивая их смысла, не нажимая по-актерски на выигрышные строфы, и стихи доходили, что называется, брали за сердце, притом читал он без тени какого-либо местного говора.

С первого взгляда Есенин производил поистине обаятельное впечатление. Я много раз слышал, как читал стихи Маяковский, слышал не раз Блока, Брюсова, Бальмонта, у каждого было что-то свое, волнующее не только потому, что мы слушали произведение из уст автора.

Мне кажется, как бы ни читал автор свои стихи, он всегда читает лучше декламатора, или, как это теперь называется, мастера художественного слова.

Голос у Есенина был тогда чистый, приятный, от этого еще трогательнее звучали проникнутые нежной грустью строфы:

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос да кошка.

Стихи назывались «Товарищ», многие тогда уже знали, что это произведение о февральской революции, написанное под впечатлением похорон на Марсовом поле жертв уличных боев в Петрограде.

В то время уже немало было написано стихов о революции, свергнувшей царизм, притом разными поэтами, но остались в литературе «поэтохроника» Маяковского «Революция» и «Товарищ» Есенина.

После этого вечера мне случалось довольно часто слушать Есенина, притом в разной обстановке. Надо сказать, что его с особенным вниманием слушали неискушенные люди, в самом чтении Есенина было непостижимое очарование.

В стихах «Товарищ» есть резкая смена ритма:

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

Вместе с этой сменой ритма он сам как-то менялся. Вот блеснули глаза, вскинулась ввысь рука, и трагически, стенящим зовом прозвучало:

Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус...

И вслед за этим звонко, восторженно он выкрикнул:

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..

Дошел почти до конца стихотворения и вдруг, рванув воротник сорочки, почти с ужасом крикнул:

Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

И после долгого молчания, когда вокруг была мертвая тишина, он произнес торжественно и проникновенно:

Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово...

И, как долгий отдаленный раскат грома, все усиливающийся, радостно-грозный:

Рре-эс-пу-у-ублика!

Успех он имел большой. Легко спрыгнув с эстрады, сел на место, за столик. Был долгий перерыв — поэты понимали, что невыгодно читать после Есенина. К столу, где сидел Есенин, подсел какой-то, видимо незнакомый ему, человек и упорно допытывался у поэта, почему у него в стихах присутствует Исус. С кошкой этот человек еще мог примириться, но Исус его беспокоил и чем-то мешал.

Заливаясь смехом, Есенин объяснил собеседнику:

— Ну, голубчик... просто висит в углу икона, висит себе и висит.

Потом вдруг зажал уши и по-мальчишески звонко закричал:

— Братцы, спасите! Он меня замучил!

Я встречал Есенина довольно часто в Клубе поэтов на Тверской улице, ныне улица Горького, в Книжной лавке поэтов, в проезде Художественного театра. Есть люди, видевшие Есенина в тяжелые для него и для окружающих минуты; мне посчастливилось — я никогда не видел его потерявшим человеческое достоинство. Но в одной встрече было что-то горестное. Он только что возвратился из поездки в Америку. Близость его к Айседоре Дункан, американская поездка создали нездоровую сенсацию вокруг поэта. В ту пору при Московском Камерном театре Таиров создал нечто вроде мюзик-холла — артистическое кабаре под названием «Эксцентрион». Здесь собирались актеры, художники, литераторы, новинкой был вывезенный из-за границы танец «шимми», и мы увидели грузную, в открытом голубовато-зеленом платье, немолодую женщину — Айседору Дункан, танцующую в паре с Таировым. Далеко за полночь пришел Есенин, он почему-то был во фраке, очевидно для того, чтобы поразить нас, но эта одежда воспринималась именно как маскарадный костюм; мне помнится, он всячески старался показать свое пренебрежение к этой парадной одежде. Озорно, по-мальчишески, он вытирал фалдами фрака пролитое вино на столе, и, когда теперь, перечитывая Есенина, я нахожу строки:

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу? [3] —

я вспоминаю ту давно минувшую ночь и Есенина в одежде, которая на этот раз ему совсем не шла и была одета ради озорства.

Еще раз я слушал чтение его стихов в мастерской художника Якулова. Поэт читал чудесные стихи о жеребенке, догоняющем поезд,— стихи из «Сорокоуста».

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

С какой нежной жалостью, теплотой он произносил: «Милый, милый...» Голос, правда, уже был не тот юный, звенящий, глаза были воспаленные и точно поблекли, но по-прежнему певучая сила была в его голосе, в этих опла-

кивающих красногривого жеребенка стихах. Сколько доброты в иных произведениях Есенина! Кто еще может так, как он, писать о животных...

Видел я Есенина и среди имажинистов, тех декадентствующих поэтов, которые желали заработать долю славы, общаясь с ним, старались публично подчеркнуть свою близость к нему, особенно на людях. Они уводили его в уголок, о чем-то шептались, афишировали близость выкриками «Сережка!», демонстративными объятиями и поцелуями.

Затем помню прощание с умершим в Доме печати.

В гробу лежал мальчик с измученным, скорбным лицом...

Я был на вечере, где выступал Маяковский, ждали, что он прочтет только что законченное стихотворение на смерть Есенина. Те, кто приложил руку к гибели Есенина, болтали о том, что надо ожидать «выходки» со стороны Владимира Владимировича.

Стихи Маяковского о Есенине мы знаем. Они исполнены печали, и в них признание таланта и уважение к творчеству поэта. Да и не мог иначе написать Маяковский о Есенине, которого ценил, о поэте, посвятившем Ленину такие строки:

Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон [4].

Мы любили и будем любить лучшее, что создал поэт.

В сокровищнице русской поэзии стоцветными огнями сияют алмазы его стихов.

Дарование сынов нашего народа, дарование таких одаренных людей, как Сергей Есенин, еще раз убеждает нас в том, какими неисчерпаемыми творческими силами богат наш великий народ.

1957

А. Б. МАРИЕНГОФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

Стоял теплый августовский день. Мой секретарский стол в издательстве Всероссийского центрального комитета помещался у окна, выходящего на улицу. По улице ровными, каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора».

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константипу Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светло-синей поддевке. Под поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Этот завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции, и только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее и завитка, и синей поддевочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом [1]) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты «предков» — так называли мы родителей инженера,— развешанные по стенам в тяжелых рамах. 〈...〉

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивал дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».

У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл *заставками*, динамические, движущиеся — *корабельными*, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке [2]. ⟨...⟩

Каждый день часов около двух приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами.

Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо и сочился соленый сок, расползаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

— Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот, смотри, Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески, захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чебатаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уж он тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» — и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тоненьким голоском. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему, чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду в Ригу бочки катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Барин предлагает

садиться. Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки — будто кто простегнул по их краям алую ниточку.

— Ну, а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!..

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезку, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только и люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого — даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала. ⟨...⟩

Стояли около «Метрополя» и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами художник Дид Ладо.

— Куда, Дид?

— В Петербург.

Бросились к нему через площадь бегом во весь дух.

На лету вскочили, догнав клячонку. ⟨...⟩

В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте, над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда.

На второй день в Петербурге пошел дождь.

Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам «без ордера» шляпу.

В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, «ирисники» гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

К осени стали жить вместе в Бахрушинском доме. Пустил нас к себе на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой энергии, с какой раздаривал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и, если ничего не оставалось больше как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой.

Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против Почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый «ирисник» в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул

в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем. 〈...〉

Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели — у девушки были большие голубые глаза.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него, в доме Нерензея, в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек — попробуй согнуть, и сломятся.

Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательней перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов»; о солнце, «стынущем, как лужа, которую напрудил мерин»; о скачущей по полям стуже и о собаках, «сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В Бахрушинском доме работает центральное отопление; в доме Нерензея газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

В самую эту суету со спуском «утлого суденышка» [3] нагрянули к нам на Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла она с собой дочку — надо же было показать отцу. Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш закадычный Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» — с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца. ⟨...⟩

Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали — какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляли с неожиданным исходом и пили чай из самовара, вскипевшего на Николае угоднике: не было у нас угля, не было лучины — пришлось нащепать старую иконку, что смирехонько висела в уголке комнаты [4]. Один из всех, «Почем соль», отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке... Есенин в шутливом серьезе продолжил:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску... [5]

А зима свирепела с каждой неделей.

Спали мы с Есениным вдвоем на одной кровати, наваливая на себя гору одеял и шуб. Тянули жребий, кому первому корчиться на ледяной простыне, согревая ее своим дыханием и теплотой тела.

После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочи-

нений Карпа Карповича, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрасом — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки вдохновляло на лирику.

Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь [6].

Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.

Мы были неумолимы и твердокаменны. 〈...〉

Идем по Харькову [7] — Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.

В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученыха:

Утомилась, долго бегая,
Моя ворохи пеленок.
Слышит, кто-то, как цыпленок,
Тонко, жалобно пищит:

пить, пить —
Прислонивши локоток,
Видит, в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок [8].

У Повицкого же рассчитывали найти и в Харькове кровать и угол.

Спрашиваем у всех встречных:

— Как пройти?

Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец.

— Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

— Поди.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:

— Сережа!

— А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.

Миновали уличку, скосили два-три переулка.

— Ну ты, Лев Осипович, ступай вперед и попроси. Обрадуются — кличь нас, а если не очень — повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц [9].

Повицкий был доволен:

— Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и вместо него двуспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же ведь на свете теплые люди.

От Москвы до Харькова ехали суток восемь — по ночам в очередь топили печь, когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтоб было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не противились. Словно в подкованный, тяжелый, солдатский сапог усталость обула веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не перевернувшись) в первом часу дня.

Все шесть девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком.

Я стал мохрявить его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка [10], плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.

— Что ты?..

И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать [11].

Из Харькова вернулись в Москву не надолго.

В середине лета «Почем соль» получил командировку на Кавказ [12].

— И мы с тобой.

— Собирай чемоданы.

Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у «Почем соли» мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

— Слушаюсь, с первым отходящим...

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати — двадцати дней мы выскакиваем из вагона на Ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала, лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С «Почем солью» после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать. 〈...〉

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудлатой своей золотой голо-

вой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из виду.

Есенин ходил сам не свой. ⟨...⟩

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.

В Петровском Порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.

В «Сорокоусте»:

Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве: будто согласно какому-то распоряжению прикрыты и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.

У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном. ⟨...⟩

Сидели в парке Эрмитажа. Подошел Жорж Якулов.

— Хотите с Изадорой Дункан познакомлю?

— Где она?.. где? — Есенин даже привскочил со скамьи.

И, как ошалелый, ухватив Якулова за рукав, стал таскать по Эрмитажу из Зеркального зала в Зимний, из Зимнего в Летний. Ловили среди публики, выходящей из оперетты, с открытой сцены.

Есенин не хотел верить, что Дункан ушла. Был невероятно раздосадован и огорчен без меры.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.

Месяца три спустя Якулов устроил вечеринку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан [13].

Красный, мягкими складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Angel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

На другой день мы были у Дункан.

Она танцевала нам танго «Апаш».

Апашем была Изадора Дункан, а женщиной — шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами сдавливала горло. Беспощадно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин был ее повелителем, ее господином. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще чем любовь горела ненависть к ней.

И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, безвольный и трагический.

Она танцевала. Она вела танец. 〈...〉

Весной 1922 года Есенин с Дункан на одном из первых юнкерсов, начавших пассажирские воздушные рейсы Москва — Кенигсберг, улетели за границу.

В последний час мы обменялись прощальными стихотворениями [14]. 〈...〉

Оба стихотворения оказались в какой-то мере пророческими.

По возвращении «наша жизнь» оборвалась — «мы» раздвоились на *я* и *он*.

〈1926〉

РЮРИК ИВНЕВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Март 1915 года. Петроград. Зал Дома армии и флота. Литературный вечер, один из тех, которые устраивались в ту пору очень часто. Война, начавшаяся в 1914 году, не только не мешала устройству таких вечеров, но скорее даже способствовала, так как давала повод не только частным импресарио, но и многочисленным общественным организациям приобщаться к «делу обороны страны», объявляя, что доход с вечера идет «в пользу раненых», «на подарки солдатам» и т. п.

В антракте подошел ко мне юноша, почти еще мальчик, скромно одетый. На нем был простенький пиджак, серая рубаха с серым галстучком.

— Вы Рюрик Ивнев? — спросил он.

— Да,— ответил я немного удивленно, так как в ту пору я только начинал печататься и меня мало кто знал.

Всматриваюсь в подошедшего ко мне юношу: он тонкий, хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной.

Вот таким голубым он и запомнился на всю жизнь [1].

Мне хотелось определить, понимает ли он, каким огромным талантом обладает. Вид он имел скромный, тихий. Стихи читал своеобразно. Приблизительно так, как читал их и позже, но без того пафоса, который стал ему свойствен в последующие годы. Казалось, что он и сам еще не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки. Он был опьянен запахом славы и уже рвался вперед. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять.

Помню хорошо его манеру во время чтения перебирать руками концы пиджака, словно он хотел унять руки, которыми впоследствии потрясал свободно и смело.

Как выяснилось на этом же вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами. Не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилеве, Ахматовой, он хорошо знал произведения других писателей. Многие стихи молодых поэтов знал наизусть.

В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша.

Один Федор Сологуб отнесся холодно к Есенину. На мой вопрос: почему? — Сологуб ответил:

— Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен этот легкий успех!

Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь. Но даже такие «метры», как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой. 〈...〉

Недели через две после первой встречи с Есениным я решил, что можно и нужно познакомить с его творчеством более широкий круг моих друзей и знакомых. Но для этого надо было найти помещение более обширное, чем подвал Ляндау.

Я жил в ту пору на Большой Сампсониевской улице, около Литейного проспекта, снимал комнату на «полном пансионе» у родителей моего друга детства Павлика Павлова. Квартира Павловых занимала целый этаж. Я попросил их уступить на «вечер в честь Есенина» большой библиотечный зал. Они не только охотно согласились, но Анастасия Александровна Павлова взяла на себя обязанность «невидимой хозяйки» готовить чай и угощение, не показываясь гостям, чтобы «не мешать молодежи».

Я разослал по почте приглашения.

В назначенный час публика начала съезжаться.

Есенин, Чернявский, Ляндау и Струве пришли ко мне задолго до этого и встречали гостей вместе со мной. Сначала мы расположились в моей комнате, а когда гости съехались, перешли в библиотечный зал. Здесь Есенин, взобравшись на складную библиотечную лестницу, начал читать стихи.

Выступление юного поэта в тот памятный вечер было только началом его триумфального пути. Все присутствовавшие не были связаны никакими «школами» и искренне восхищались стихами Есенина только потому, что любили поэзию,— ведь то, что они услышали, было так не похоже на все, что им приходилось до сих пор слышать. Неизменным спутником успеха в то время являлась зависть, которой были одержимы более других сами по себе далеко не заурядные поэты Георгий Иванов и Георгий Адамович. Я нарочно не пригласил их.

В тот вечер я сделал все, чтобы даже тень зависти и недоброжелательства не проскользнула в помещение, где Есенин читал свои стихи.

Но не обошлось и без маленького курьеза.

Когда я почувствовал, что Есенин начал уставать, я предложил сделать перерыв. Есенин и наиболее близкие мне друзья снова перешли в мою комнату. Я носился между библиотекой и столовой Павловых, помогая Анастасии Александровне по хозяйству, так как она, верная своему «обету», не показывалась гостям. Вдруг раздался звонок. Пришел запоздалый гость, которого я пригласил специально для Есенина, зная, что Есенин очень любит стихи Баратынского. Запоздалый гость был правнуком поэта — Евгением Георгиевичем Геркен-Баратынским. Мы задержались на минуту в передней.

В это время я услышал громкий хохот, доносившийся из моей комнаты, и сейчас же открыл дверь. Меня встретило гробовое молчание. В комнате было темно, электричество выключено. Я включил свет. Есенин, лукаво улыбаясь, смотрел на меня невинными глазами. Струве засмеялся и тут же, взяв всю вину на себя, объяснил мне, что Есенин по его просьбе спел несколько деревенских частушек, которые неудобно было исполнять публично.

Стены моей комнаты, отделявшие ее от столовой, были фанерные. Я посмотрел на Есенина и глазами показал ему на стену. Он сразу все понял, виновато заулыбался своей необыкновенной улыбкой и прошептал:

— Ну не буду, не буду!

В это время вошел Геркен-Баратынский. Я познакомил его с Есениным и сказал:

— Вот правнук твоего любимого поэта.

Есенин тут же прочел несколько стихотворений Баратынского.

Потом мы снова перешли в библиотечный зал, и Есенин продолжал чтение своих стихов.

После вечера в «библиотеке Павлова» наши встречи с Есениным продолжались в подвале «Лампы Аладдина» [2], где Есенин читал все свои новые стихотворения.

Никому из нас не приходила в голову мысль устраивать какой-либо «литературный кружок» и читать там свои стихи. Мы так были увлечены творчеством Есенина, что о своих стихах забыли. Я думал только о том, как бы скорее услышать еще одно из его новых стихотворений, которые ворвались в мою жизнь, как свежий весенний ветер.

Под впечатлением наших встреч я написал и посвятил ему стихотворение, которое «вручил» 27 марта 1915 года.

Два дня спустя, 29 марта, Есенин ответил мне стихотворением «Я одену тебя побирушкой» [3].

С этих пор наша дружба была скреплена стихами.

Если я и продолжал выступать на литературных вечерах, когда получал приглашение, то делал это как бы механически. Сейчас меня удивляет, как я мог остаться самим собой и не попасть под его влияние, настолько я был заворожен его поэзией. Может быть, это произошло потому, что где-то в глубине души у меня тлело опасение, что, если я сверну со своей собственной дороги, то он потеряет ко мне всякий интерес.

Слушая стихи, Есенин всегда высказывал свое откровенное мнение, не пытаясь его смягчать, если оно было отрицательным. Больше того, если он даже хотел это сделать, то не смог бы. Он не умел притворяться, когда речь шла об оценке стихов. Это хорошо знали мои друзья по «Лампе Аладдина» и потому не пытались представить на «суд Есенина» свои стихи. Что касается меня самого, то, хотя его просьба в первый день нашего знакомства прочесть ему свои стихи давала мне повод думать, что они ему нравились, я начал читать только тогда, когда убедился, что, несмотря на разные темы и разные «голоса», ему не чуждо мое творчество.

Когда Есенину что-либо нравилось, он высказывал свое одобрение не только словами. Первыми реагировали глаза, в которых загорались какие-то особенные, ему одному свойственные искорки, затем появлялась улыбка, в которой просвечивала радость, а потом уже с губ слетали слова.

Есенин очень любил шутить и балагурить. У него было удивительное умение перевести на «шутливые рельсы» самый серьезный разговор и, наоборот, шутливый разговор незаметно перевести в серьезный. Иногда, как бы тасуя карты разговора, он, хитро улыбаясь, нащупывал мнение собеседника быстрыми вопросами, причем сразу нельзя

было понять, говорит он серьезно или шутит. Как-то беседуя с ним, я сказал, что у него хитрые глаза. Он засмеялся, зажмурился, потом открыл свои повеселевшие глаза и спросил улыбаясь:

— Хитрые? Ты находишь, что они хитрые? Значит, считаешь, что я хитрый? Да?

Он очень огорчился, когда я ему ответил, что хитрые глаза совсем не означают, что он хитрый.

— Пойми меня,— объяснил я ему,— что хитрость в том и заключается, чтобы о ней никто не догадывался. А если хитрость сама вылезает наружу, сияет в глазах и как бы довольна, что ее замечают, какая же это хитрость?

Но Есенин не сдавался, он не скрывал своего огорчения моим «разъяснением» и продолжал:

— Но как могут глаза быть хитрыми, если сам человек не хитер?

— Значит, я неправильно выразился. Не хитрые, а кажущиеся хитрыми.

— Нет, нет,— не унимался Есенин,— вот ты хитришь со мной. Назвал хитрым, а теперь бьешь отбой.

— Можно подумать, что ты цепляешься за хитрость, как за высшую добродетель.

— Нет, нет, ты мне отвечай на вопрос: я хитрый? Да?

— Нет, ты совсем не хитрый. Но хочешь казаться хитрым.

— Значит, я все же хитрый, раз хочу быть хитрым.

— Самый хитрый человек — это тот, о хитрости которого никто не подозревает. Хитер тот, о хитрости которого узнают только после его смерти, а какая же это хитрость, если о ней все знают при жизни?

Есенин слушал меня внимательно. Над последней фразой он задумался. Потом, тряхнув головой, засмеялся:

— Ты думаешь одно, а говоришь о другом. Сам знаешь, что таких хитрецов не существует. Шила в мешке не утаишь.

Увы! Ямы и провалы существуют не только на лесных тропах и на целине, но и в памяти. Я совершенно не помню, как оборвалась пестрая лента встреч в подвале «Лампы Аладдина». 〈...〉

Вновь встретился я с Есениным уже после того, как он вышел из «царскосельского плена». Это было недели через две после февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как

они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Клюевым, Петром Орешиным и Сергеем Клычковым. Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.

Сначала я думал, они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.

— Что, не нравится тебе, что ли?

Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:

— Наше времечко пришло.

Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева, ни Орешина, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться.

Мы простояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны [4].

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означал тот «маскарад», как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся.

— А ты испугался?

— Да, испугался, но только за тебя!

Есенин лукаво улыбнулся.

— Ишь как поворачиваешь дело.

— Тут нечего поворачивать,— ответил я.— Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

— Не обращай внимания. Это все Клюев. Он внушил нам, что теперь настало «крестьянское царство» и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.

— Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?

— Кто его знает, у него все так перекручено, что сам черт ногу сломит. А Клычков и Орешин просто дурака валяли.

Прошло месяца три. Как-то мы шли с Есениным по Большому проспекту Петроградской стороны. Указывая

глазами на огромные красивые афиши, возвещавшие о моей лекции в цирке «Модерн», он подмигнул мне и сказал: «Сознайся, тебе ведь нравится, когда твое имя... раскатывается по городу?»

Я грустно посмотрел на Есенина, как бы говоря: если друзья не понимают, тогда что уж скажут враги?

Он сжал мою руку:

— Не сердись, ведь я пошутил.

После небольшой паузы добавил, опять заулыбавшись:

— А знаешь, все-таки это приятно. Но ведь в этом нет ничего дурного. Каждый из нас утверждает себя, без этого нельзя. Афиша ведь — это то же самое, если бы ты размножился и из одного получилось двести или... сколько там афиш бывает? Триста или больше?

Спустя некоторое время я поделился с ним моими огорчениями, что мои друзья и знакомые отшатываются от меня за то, что я иду за большевиками. Вот, например, Владимир Гордин, редактор журнала «Вершины», любивший меня искренне и часто печатавший мои рассказы, подошел ко мне недавно на лекции и сказал: «Так вот вы какой оказались? Одумайтесь, иначе погибнете!»

— А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить, что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции — нет.

— Да ты не пробовал,— сказал я.

— Нет, нет,— ответил Есенин с некоторой даже досадой,— у меня все равно ничего не получится, людей насмешу, да и только. А вот стихи буду читать перед народом.

Вдруг он громко рассмеялся:

— Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».

— А он?

— Обозлился на меня страшно.

В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым:

— На улице. Подошел ко мне первый. «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня — коммунист. Даже рифма получается. Правда, плохая, но все же рифма...» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте

чемоданы и катитесь к чертовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все принял за чистую монету и отскочил от меня, как ошпаренный кот. 〈...〉

В самом начале марта 1918 года Москва была объявлена столицей нашего государства. Нарком по просвещению А. В. Луначарский назначил меня своим секретарем-корреспондентом в Москву, куда я и выехал 7 марта. Одновременно редакция газеты «Известия», в которой я сотрудничал, поручила мне быть ее корреспондентом в Москве.

Таким образом, петербургский период моей жизни закончился, но встречи с Есениным возобновились, точно не вспомню, через сколько месяцев, но, во всяком случае, очень скоро: Есенин оказался тоже в Москве. 〈...〉

Вскоре по приезде в Москву я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева).

Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения.

Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились с Есениным Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов» [5]. Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами, то мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.

Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинистов, так как об этом написано довольно много воспоминаний и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем «теория имажинизма», которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич. 〈...〉

В тот период я встречался с Есениным почти ежедневно, и наша взаимная симпатия позволила нам игнорировать всякие «формальности» школы имажинистов, в которой, в сущности говоря, мы были скорее «постояльцами», чем хозяевами, хотя официально считались таковыми.

В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну» и выхлопотать для

нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской (ныне ул. Горького). В коммуну вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.

Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.

Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин так умел уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника — невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мною «уплотнялся», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру «писательской коммуны». Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен.

Есенин не удивился, что у меня так мало вещей, потому что тогда больше теряли, чем приобретали вещи. Жизнь в «коммуне» началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю,— других напитков он не признавал.

Здесь надо упомянуть (и это очень важно для уяснения некоторых обстоятельств жизни Есенина после возвращения его из Америки), что в ту пору он был равнодушен к вину, то есть у него совершенно не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей и особенно у милейшего и добрейшего Ивана Сергеевича Рукавишникова. Есенина просто забавляла эта игра в богему. Ему нравилось наблюдать ералаш, который поднимали подвыпившие гости. Он смеялся, острил, притворялся пьяным, умышленно поддакивал чепухе, которую несли потерявшие душевное равновесие собутыльники. Он мало пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали.

Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное «дополнение» к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовало. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту

в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому, проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого «ледяного дома». Есенин заметил мое «упадническое» настроение и как мог утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы «засядем за работу». При этом он так хитро улыбался, что я понимал, насколько он сам не верит тому, о чем говорит. Я делал вид, что верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное «свободное место» в пятикомнатной квартире — это моя кровать, на остальных же — застрявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя.

На другой день, когда все гости разошлись и мы остались вдвоем, мы вдруг решили написать друг другу акростихи. В квартире было тихо, тепло, тишайший Гусев-Оренбургский пил в своей комнате свой излюбленный чай. Никто нам не мешал, и вскоре мы обменялись листками со стихами. Вот при каких обстоятельствах «родился» акростих Есенина, посвященный мне. Это было 21 января 1919 года. Вот почему Есенин к дате добавил «утро» [6]. ⟨...⟩

Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось. Я вернулся в свой «ледяной дом», проклиная его и одновременно радуясь, что не порвал с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в «коммуну», оставил за собой мою прежнюю комнату, то разразился одобрительным хохотом.

Мы продолжали встречаться с ним каждый день. Оба мы сотрудничали в газете «Советская страна» [7], выходившей раз в неделю, по понедельникам. Есенин посвятил мне свое стихотворение «Пантократор», напечатанное впервые в этой газете, я тоже посвятил ему ряд стихов.

Удивительное было время. Холод на улице, холод в учреждениях, холод почти во всех домах — и такая чудесная теплота дружеских бесед и полное взаимопонимание. Когда вспоминаем друзей, ушедших навсегда, мы

обычно видим их лица по-разному — то веселыми, то печальными, то восторженными, то чем-то озабоченными, но Есенин с первой встречи до последнего дня передо мной всплывает из прошлого всегда улыбающийся, веселый, с искорками хитринок в глазах; оживленный, без единой морщинки грусти, простой, до предела искренний, доброжелательный.

Мы говорили с Есениным обо всем, что нас волновало тогда, но ни разу ни о «школе имажинистов», в которую входили, ни о теории имажинизма. Тогда в голову не приходила мысль анализировать все это. Но теперь я понимаю, что это было очень характерно для Есенина, ибо весь имажинизм был «кабинетной затеей», а Есенину было тесно в любом самом обширном кабинете. Мне кажется, что мы были похожи тогда на авгуров, которые понимали друг друга без слов. Но дружба с Есениным не помешала мне выйти из группы имажинистов, о чем я сообщил в письме в редакцию, которое было опубликовано 12 марта 1919 года в «Известиях ВЦИК» (№ 58). Это было вызвано тем, что я не соглашался со взглядами Мариенгофа и Шершеневича на творчество Маяковского, которое очень ценил [8].

Мой разрыв с имажинистами совершенно не повлиял на дружеские отношения с Есениным, мы продолжали встречаться не менее часто. С 1 сентября 1918 года я получил новое назначение — завбюро по организации поезда имени Луначарского. А 23 марта 1919 года выехал в командировку в Киев и Харьков. С Есениным я простился дружески. ⟨...⟩

Новая моя встреча с Есениным произошла в конце ноября 1920 года.

В первый же день приезда в Москву я помчался к нему в Козицкий переулок. Жил он уже не в той «писательской коммуне», о которой я рассказывал, но в том же переулке, рядом с театром Корша, вместе с Мариенгофом. В общей квартире на третьем этаже они занимали две комнаты [9].

Было семь часов вечера. Есенина и Мариенгофа не оказалось дома. Соседи сказали, что они на литературном вечере в Большом зале консерватории. Я отправился на Большую Никитскую. Как только я вошел в консерваторию, то первыми, кого я увидел, были Есенин и Мариенгоф. Они сбегали с лестницы, веселые, оживленные, держа друг друга за руки. В ту минуту они мне показались двумя гимназистами, резвящимися на большой перемене. Мое появление было для них совершенно неожиданным. Они бросились ко мне с бурной радостью, которая тронула меня и доказала лишний раз, что можно быть большими друзь-

ями и любить друг друга независимо от литературной платформы.

Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, посыпались вопросы, ответы невпопад, веселая неразбериха.

После окончания вечера они повели меня к себе, и мы до рассвета пили чай и говорили, говорили без конца обо всем, что тогда нас интересовало. Я вкратце рассказал им мои странствия, похожие на страницы из приключенческого романа, они — про свои литературные дела, про свое издательство и свой книжный магазин на Никитской улице, который обещали мне показать завтра же.

И вот на другой день я увидел своими глазами этот знаменитый в то время «книжный магазин имажинистов» на Большой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда переполнен покупателями, торговля шла бойко. Продавались новые издания имажинистов, а в букинистическом отделе — старые книги дореволюционных изданий.

Есенин и Мариенгоф не всегда стояли за прилавками (было еще несколько служащих), но всегда находились в помещении. Во втором этаже была еще одна комната, обставленная, как салон, с большим круглым столом, диваном и мягкой мебелью. Называлась она «кабинетом дирекции».

Как-то раз, когда я зашел в магазин, Есенин встретил меня особенно радостно. Он подошел ко мне сияющий, возбужденный и, схватив за руку, повел по винтовой лестнице во второй этаж, в «кабинет дирекции». По дороге сказал:

— Новое стихотворение, только что написал. Сейчас прочту.

Усадив меня в кресло, он, стоя передо мной, прочел, не заглядывая в листок бумаги, который держал в руке, «Песнь о хлебе», делая особенное ударение на строках:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Но я забежал вперед. Это было позже. А в первый день моего знакомства с магазином он с явным удовольствием показывал мне помещение с таким видом, как будто я был покупатель, но не книг, а всего магазина.

Мариенгоф в то время стоял за прилавком и издали посылал улыбки, как бы говоря: «Вот видишь, поэт за прилавком!» 〈...〉

После долгой разлуки, при встрече с Есениным и Мариенгофом, не было сказано ни одного слова о моем выходе из группы имажинистов. Радость встречи была так велика, что никому из нас не приходило в голову возвращаться к прошлому и обсуждать причины моего разрыва с имажинистами.

Разумеется, мы читали друг другу свои стихи. Мариенгоф любил только «острые блюда» в стихах. У Есенина был более широкий взгляд на искусство. Любовь к поэзии у Есенина была врожденной, если так можно выразиться. Он необычайно тонко чувствовал, когда стихотворение настоящее, идущее из глубины души, и когда оно «искусственное», надуманное.

Как талантливый композитор не может перенести не только фальшивой ноты, режущей ухо, но и «внутренней фальши», хорошо задрапированной высокой техникой, так и Есенин чувствовал, как никто, малейшее фальшивое звучание. С ним было очень легко и радостно не теоретизировать о стихах, а просто слушать его стихи и читать ему свои.

Однажды Есенин заговорил об издании моих стихов. ⟨...⟩

Есенин приступил к разговору сразу и неожиданно:

— А знаешь, хорошо бы издать твою книгу.

— Где?

— Как где? В нашем издательстве.

— Но я же... не имажинист. Я вышел из группы.

— Это ничего не значит. Издадим — и все.

Это предложение застало меня врасплох. Я совершенно не думал об издании книги в издательстве имажинистов, тем более что вел уже переговоры с Госиздатом. Я сказал об этом Есенину.

— Улита едет, когда-то будет.

— Ты думаешь?

— Уверен. Пока они раскачаются, мы двадцать книг успеем выпустить.

— Не знаю, право, удобно ли это будет. Тебя и Мариенгофа я люблю не только как поэтов, но и как хороших друзей, но раз я вышел из группы имажинистов.

Есенин перебил меня:

— Все это чепуха. Вот Хлебников дал согласие, и мы его издаем [10].

Нет поэта, который не хотел бы издать свои стихи, но у меня все же было какое-то чувство неловкости. Я поделился своими сомнениями с Есениным.

— Стихи — главное,— сказал Есенин, ласково и лукаво улыбаясь.— Хорошие стихи всегда запомнят, а как они изданы и при каких обстоятельствах — скоро забудут.

Через несколько дней Есенин снова вернулся к этому разговору уже в присутствии Мариенгофа.

Мариенгоф поддержал его предложение с большой охотой, но только добавил:

— Рюрик должен снова войти в нашу группу.

Я запротестовал:

— Выйти, войти — это не серьезно. Да еще понадобится писать об этом какое-то письмо.

— Зачем официальщина? Напиши письмо, и не в газету, а нам: дорогие Сережа и Толя, я опять с вами. Вот и все.

Есенину это понравилось.

— Молодец, Толя! Просто и... неясно.

Оба рассмеялись, за ними и я.

Так совершилось мое «грехопадение». Я дал согласие [11].

Есенин рьяно взялся за подбор стихов. И «родилась» моя книга «Солнце во гробе» (название взято из древнерусской молитвы, о существовании которой знал Есенин). Фактически он был единственным редактором книги, причем, в отличие от многих редакторов, он только выбирал стихи, но ни разу не предлагал что-нибудь в них изменить — ни одной строчки, ни одного слова. Мариенгоф установил последовательность. Книга вышла в свет в издательстве имажинистов.

Вскоре в том же издательстве вышла вторая моя книга — «Четыре выстрела в четырех друзей» (опыт параллельной автобиографии). Идея этой книги зародилась у Есенина и была поддержана как Мариенгофом, так и Шершеневичем.

Книга «Солнце во гробе» еще печаталась, когда Есенину пришла в голову мысль устроить необыкновенный литературный вечер, на котором выступали бы поэты всех направлений. Мы долго обсуждали с ним этот вопрос вдвоем, потому что Мариенгоф был против устройства такого вечера «всеобщей поэзии». Он считал, что лучше устроить один «грандиозный вечер имажинистов, только имажинистов», но Есенин был непреклонен. Мариенгоф махнул рукой и сказал:

— Я, во всяком случае, не буду выступать на таком вечере.

На этом его оппозиция и закончилась, а Есенин и я начали вести переговоры с теми поэтами, которых мы считали

нужным привлечь, независимо от школ и направлений. Я предложил назвать этот вечер «Россия в грозе и буре». Это название, на мой взгляд, оправдывало участие поэтов разных направлений.

Название Есенину очень понравилось. Поддержал он и мое намерение пригласить на вечер А. В. Луначарского. На другой день я пошел к Анатолию Васильевичу. Он одобрил нашу идею и охотно дал согласие произнести вступительную речь.

Через неделю-две состоялся этот интересный и своеобразный литературный вечер, афиша которого у меня сохранилась [12]. 〈...〉

Если стать спиною к отелю «Люкс» на улице Горького (ныне гостиница «Центральная»), то на противоположной стороне нельзя было не заметить вывеску кафе «Стойло Пегаса». 〈...〉

И вот однажды, в начале августа 1923 года, когда я находился в «Стойле Пегаса» и только что собирался заказать себе обед, с шумом распахнулась дверь кафе и появился Есенин. В первую минуту я заметил только его. Он подбежал ко мне, мы кинулись в объятия друг к другу. Как бывает всегда, когда происходят неожиданные встречи друзей, хочется сказать много, но, в сущности, ничего не говоришь, а только улыбаешься, смотришь друг другу в глаза, потом начинаешь ронять первые попавшиеся слова, иногда не имеющие никакого отношения к данному моменту. Так было и на этот раз. Я не успел еще прийти в себя, как Есенин, показывая на стройную даму, одетую с необыкновенным изяществом, говорит мне:

— Познакомься. Это моя жена, Айседора Дункан.

А ей он сказал:

— Это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам.

Айседора ласково посмотрела на меня и, протягивая руку, сказала на ломаном русском языке:

— Я много слышал и очень рада... знакомить...

Вслед за Дункан Есенин познакомил меня с ее приемной дочерью Ирмой и мужем дочери — Шнейдером.

Я всмотрелся в Есенина. Он как будто такой же, совсем не изменившийся, будто мы и не расставались с ним надолго. Те же глаза с одному ему свойственными искорками добродушного лукавства. Та же обаятельная улыбка, но проглядывает, пока еще неясно, что-то новое, какая-то небывалая у него прежде наигранность, какое-то еле улови-

[illegible] ДВОРЕЦ ИСКУССТВ

[illegible] ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

[illegible]

В Понедельник [illegible] Декабря

РОССИЯ
в ГРОЗЕ и БУРЕ

[illegible]

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

[illegible]

Адалис, [illegible] Белый, [illegible] Бр[illegible]сов, [illegible] Владимирова, [illegible] [illegible], [illegible] Ивнев, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]ников, [illegible] Пастернак, [illegible] Новиков, Д. Туманный, И. Эренбург.

[illegible] А. [illegible] и Церетели [illegible] [illegible]

Начало в [illegible] час. вечера.

[illegible]

мое любование своим «европейским блеском», безукоризненным костюмом, шляпой. Он незаметно для самого себя теребил свои тонкие лайковые перчатки, перекладывая трость с костяным набалдашником из одной руки в другую.

Публика, находившаяся в кафе, узнав Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло ускользнуть от Есенина. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне:

— Ты еще не обедал? Поедем обедать? Где хорошо кормят? В какой ресторан надо ехать?

— Сережа, пообедаем здесь, в «Стойле». Зачем куда-то ехать?

Есенин морщится:

— Нет, здесь дадут какую-нибудь гадость. Куда же поедем? — обращается он к Шнейдеру.

Кто-то из присутствующих вмешивается в разговор:

— Говорят, что самый лучший ресторан — это «Эрмитаж».

— Да, да, «Эрмитаж», конечно, «Эрмитаж»,— отвечает Есенин, как будто вспомнив что-то из далекого прошлого.

Айседора Дункан улыбается, ожидая решения.

Наконец все решили, что надо ехать в «Эрмитаж». Теперь встает вопрос, как ехать.

— Ну конечно, на извозчиках.

Начинается подсчет, сколько надо извозчиков.

— Я еду с Рюриком,— объявляет Есенин.— Айседора, ты поедешь...

Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто-то бежит за извозчиками, и через несколько минут у дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айседора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем-то еще. В третий Есенин и я.

По дороге в «Эрмитаж» разговор у нас состоял из отрывочных фраз, но некоторые из них мне запомнились. Почему-то вдруг мы заговорили о воротничках.

Есенин:

— Воротнички? Ну кто же их отдает в стирку! Их выбрасывают и покупают новые.

Затем Есенин заговорил почему-то о том, что его кто-то упрекнул (очевидно, только что, по приезде в Москву) за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его.

— Все это выдумки — я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары. Мариенгофу тоже посылал доллары.

После паузы добавил:

— И тебе посылал, ты получил?

Я, хотя и ничего не получал, ответил:

— Да, получил.

Есенин посмотрел на меня как-то растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему.

По приезде в «Эрмитаж» начались иные волнения.

Надо решить вопрос: в зале или на веранде? Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик падет наш выбор.

— Где лучше, где лучше? — поминутно спрашивал Есенин.

— Сережа, уже все равно, где-нибудь сядем,— говорил я.

— Ну хорошо, хорошо, вот здесь,— решает он, но, когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет: — Здесь свет падает прямо в лицо.

Мы волей-неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику.

Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко. Наконец мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забраковать столик.

Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего-нибудь особенного, а «особенного» как раз и не было.

С официантом он говорил чуть-чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по-русски.

Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной прежний, «питерский» Есенин.

Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Айседорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях назревает перелом.

Вскоре после обеда в «Эрмитаже» я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина), где помещалась студия Дункан (во время отсутствия Дункан студией руководила Ирма). Айседора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже.

Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один — образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображения, другой — образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.

Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных (мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем — Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе... Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:

— Она все понимает, все, ее не проведешь.

Дункан никогда не говорила мне в глаза, но Мариенгоф и некоторые другие передавали, что больше всех и глубже всех любит «ее Есенина» Риурик — так она произносила мое имя. Не знаю, чем я заслужил такое трогательное внимание ко мне. Первое время ни о каких литературных делах с Есениным мы не говорили, но «жизнь брала свое», и вот начали строиться разные планы.

Шли разговоры о необходимости устроить грандиозный вечер в тогдашней «цитадели поэзии» — Политехническом музее. Нашлись, конечно, и устроители, и импресарио, и администраторы. Мариенгоф настоял, чтобы вечер был устроен под «флагом имажинистов». Есенин в ту пору еще не успел окончательно охладеть к этой школе и согласился.

И вот вскоре по всему городу запестрели огромные афиши, извещающие о «вечере имажинистов», на котором приехавший из-за границы Сергей Есенин поделится с публикой своими впечатлениями о Берлине, Париже и Нью-Йорке и прочтет свои новые стихи.

...24 августа 1923 года [13], задолго до назначенного часа, народ устремился к Политехническому музею. Здание музея стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приоб-

рести билеты. Участники пробирались с не меньшим трудом.

Но вот вечер наконец начался.

Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью-Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на его внешнее спокойствие. Публика встретила его появление на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая-то неясная, но глубокая тревога.

Наконец наступила тишина, и в зале раздался неуверенный голос Есенина. Он сбивался, делал большие паузы. Вместо более или менее плавного изложения своих впечатлений Есенин произносил какие-то отрывистые фразы, переходя от Берлина к Парижу, от Парижа к Берлину. Зал насторожился. Послышались смешки и пока еще негромкие выкрики. Есенин махнул рукой и, пытаясь овладеть вниманием публики, воскликнул:

— Нет, лучше я расскажу про Америку. Подплываем мы к Нью-Йорку. Навстречу нам бесчисленное количество лодок, переполненных фотокорреспондентами. Шумят моторы, щелкают фотоаппараты. Мы стоим на палубе. Около нас пятнадцать чемоданов — мои и Айседоры Дункан...

Тут в зале поднялся невообразимый шум, смех, раздался иронический голос:

— И это все ваши впечатления?

Есенин побледнел. Вероятно, ему казалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся:

— Не выходит что-то у меня в прозе, прочту лучше стихи!

Я вспомнил наш давнишний разговор с Есениным весной 1917 года в Петрограде и его слова: «Стихи могу, а вот лекции не умею».

Публику сразу как будто подменили, раздался добродушный смех, и словно душевной теплотой повеяло из зала на эстраду. Есенин начал, теперь уже без всякого волнения, читать стихи громко, уверенно, со своим всегдашним мастерством. Так бывало и прежде. Стоило слушателям услышать его проникновенный голос, увидеть неистово пляшущие в такт стихам руки и глаза, устремленные вдаль,

ничего не видящие, ничего не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него нет соперника. После каждого прочитанного стихотворения раздавались оглушительные аплодисменты. Публика неистовствовала, но теперь уже от восторга и восхищения. Есенин весь преобразился. Публика была покорена, зачарована, и, если бы кому-нибудь из присутствовавших на вечере напомнили про беспомощные фразы о трех столицах, которые еще недавно раздавались в этом зале, тот не поверил бы, что это было в действительности. Все это казалось нелепым сном, а явью был триумф, небывалый триумф поэта, покорившего зал своими стихами. Все остальное, происходившее на вечере: выступления других поэтов, в том числе и мое,— отошло на третий план. После наших выступлений снова читал Есенин. Вечер закончился поздно. Публика долго не расходилась и требовала от Есенина все новых и новых стихов. И он читал, пока не охрип. Тогда он провел рукой по горлу, сопровождая этот жест улыбкой, которая заставила угомониться публику.

Так закончился этот памятный вечер. ⟨...⟩

Журнал имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» начал свое существование до отъезда Есенина за границу. По его возвращении в Москву в нем были напечатаны новые стихи Есенина [14]. Таким образом, сотрудничество продолжалось, но началось уже его охлаждение к журналу. В № 3 после больших колебаний он все же дал свою «Москву кабацкую», а в № 4 наотрез отказался сотрудничать.

Были у нас и новые сотрудники, как называл их Мариенгоф — «молодое поколение» имажинистов,— Иван Грузинов, Николай Эрдман, Матвей Ройзман. Последний славился среди нас своей кипучей энергией, он принимал деятельное участие во всех делах, связанных с изданием журнала и будущего сборника под лаконическим заглавием «Имажинисты» с четырьмя участниками: Мариенгофом, Ивневым, Шершеневичем, Ройзманом (1925).

У Есенина в ту пору назревал разрыв с Мариенгофом, и он не дал своих стихов для этого сборника.

С Есенина начала постепенно сползать искусственная позолота Запада, проявлявшаяся в какой-то странной манере держать себя, словно он так долго путешествовал по дальним странам, что отвык от родных мест и едва их узнавал (первое время он даже говорил с нарочитым акцентом).

Он становился снова прежним Есениным времен 1915—1920 годов. Но все же в нем чувствовалась какая-то надломленность.

Встречи наши с Есениным продолжались, как будто в жизни его не произошло никаких перемен. А перемены все же были. Хотя он стал «прежним Есениным», но в нем не было прежней есенинской простоты и непосредственности. Он иногда задумывался, иногда смотрел рассеянно, потом как бы стряхивал с себя что-то ему чуждое и опять становился самим собой, улыбался и балагурил.

Однажды он неожиданно взял мою руку и, крепко сжав, тихо проговорил:

— А все-таки ты счастливый!

— Чем же это? — спросил я удивленно.

— Будто не знаешь?

— Не знаю...

— Ну вот тем и счастлив, что ничего не знаешь.

И быстро переменил тему разговора, так что я до сих пор и не знаю, что он имел в виду. Предполагаю, что это был порыв, когда он хотел поделиться со мной какой-то своей болью, но потом раздумал. Еще до этого странного разговора я стал замечать, что его что-то тяготит. Но пока все это было только как бы намеком на будущее признание.

Разрыв между Есениным и Мариенгофом прошел мимо меня. Или Есенин не хотел меня впутывать в свои «распри», или не хотел оказывать на меня давление, чтобы я последовал его примеру и отстранился от Мариенгофа. Есенин не был никогда ни мелочным, ни мстительным. Благородство души не позволяло ему искать союзников для борьбы с бывшими друзьями. 〈...〉

Еще до отъезда Есенина на Кавказ я навестил его в больнице на Полянке [15]. Это было своеобразное лечебное заведение, скорее похожее на пансионат. У Есенина была своя комната — большая, светлая, с четырьмя окнами. Опять встреча, поцелуи, расспросы. На вид Есенин был совершенно здоров.

Во время разговора мы сидели у окна. Вдруг Есенин перебил меня на полуслове и, перейдя на шепот, как-то странно оглядываясь по сторонам, сказал:

— Перейдем отсюда скорей. Здесь опасно, понимаешь? Мы здесь слишком на виду, у окна...

Я удивленно посмотрел на Есенина, ничего не понимая.

Он, не замечая моего изумленного взгляда, отвел меня в другой угол комнаты, подальше от окна.

— Ну вот,— сказал он, сразу повеселев,— здесь мы в полной безопасности.

— Но какая же может быть опасность? — спросил я.

— О, ты еще всего не знаешь. У меня столько врагов. Увидели бы в окно и запустили бы камнем. Ну и в тебя могли бы попасть. А я не хочу, чтобы ты из-за меня пострадал.

Теперь я уже понял, что у него что-то вроде мании преследования, и перевел разговор на другую тему.

Есенин охотно перешел к разговору о толстом журнале, который он собирается издавать. О «Гостинице для путешествующих в прекрасном» он не хотел больше слышать.

— Пусть Мариенгоф там распоряжается как хочет. Я ни одной строчки стихов туда не дам. А ты... ты как хочешь, я тебя не неволю. Все равно в моем журнале ты будешь и в том и в другом случае. Привлеку в сотрудники Ванечку Грузинова. Он хороший мужик. Это не то что многие... да ну их... и вспоминать не хочу. Грузинов хорошо разбирается в стихах, из него бы критик вышел дельный и, главное, честный. Не юлил бы хвостом. И стихи у него неплохие, есть из чего выбрать для журнала. Правда, любит мудрить иногда, но это пройдет, да и кто в этом не грешен.

— Знаешь что,— сказал он мне вдруг,— давай образуем новую группу: я, ты, Ванечка Грузинов...

Есенин назвал еще несколько фамилий (насколько помнится, крестьянских поэтов). Я ответил ему, что группы и школы можно образовывать только до двадцати пяти лет, а после этого возраста можно оказаться в смешном положении. Ему это понравилось. Он засмеялся, но через минуту продолжал в том же духе:

— Я имажинизма не бросал, но я не хочу видеть этой «Гостиницы», пусть издает ее кто хочет, а я буду издавать «Вольнодумец».

Потом он вдруг, без всякой видимой причины, опять впал в какое-то нервное состояние, опустив голову, задумался и проговорил сдавленным голосом:

— Все-таки сколько у меня врагов! И что им от меня надо? Откуда берется эта злоба? Ну, скажи, разве я такой человек, которого надо ненавидеть?

Я как мог успокаивал его и, чтобы отвлечь, напомнил ему один эпизод, когда он однажды в кафе «Стойло Пегаса» рассердился на завхоза Силина и до того рассвирепел, что от него все отскочили в сторону, а я подошел к нему, взял за

руки, и он, к величайшему удивлению всех присутствовавших, залился заразительным смехом. Есенин вспомнил это, и в глазах его зажглись те веселые искорки, которые так часто сверкали у него прежде. Он пододвинулся ко мне ближе и, будто это был очень важный вопрос для него, спросил:

— Скажи откровенно, только не дипломатничай, ведь ты все-таки боялся? В душе, конечно. Дрожал?

Я улыбнулся:

— Если бы боялся, то не подошел бы к тебе.

— Нет,— упрямился Есенин,— ты боялся, но думал: авось сойдет, и тогда все скажут: «Какой он храбрый».

— Ну пусть так,— согласился я, теперь уже действительно боясь, что если я буду противоречить, то он опять потеряет душевное равновесие и заговорит о «врагах», которые его окружают.

Но Есенин неожиданно для меня сказал совершенно спокойно:

— Нет, я шучу. Ты просто хорошо меня знаешь. А ведь меня не все знают хорошо. Думают, что хорошо знают, а... совсем не знают и не понимают. Есть люди, на которых я не мог бы замахнуться, если бы они даже... ударили меня.

После небольшой паузы он добавил:

— Но, правда, таких людей было очень мало. Наперечет.

В это время раздался стук в дверь. Есенин вздрогнул.

— Покоя не дают. Кто там? — окликнул он раздраженно.

Вошла сотрудница больницы.

— А, это вы,— сразу смягчился Есенин.— Заходите, заходите. Познакомьтесь с моим другом, поэтом...

Я перебил его:

— Сережа, не надо никаких представлений.

Сотрудница взглянула на меня и улыбнулась. Я понял, что время посещения истекло, и сказал Есенину:

— Я заговорился с тобой и забыл, что ведь у меня важное дело. Боюсь опоздать.

Есенин пробовал меня отговорить, но мне удалось убедить его, что я действительно тороплюсь по делу.

Есенин любил всякие затеи, выдумки. Ему нравилось, когда какой-нибудь его поступок вызывал удивление. Например, хождение в цилиндре и лаковых ботинках по заснеженным улицам Москвы двадцать первого года, когда все ходили в ушанках и валенках.

Я уже не говорю про нашумевшие проказы с росписью

стен Страстного монастыря цитатами из своих стихов. Для него было сущим наслаждением ошарашить всех чем-нибудь неожиданным и необычным. Кроме того, Есенин любил строить всякие планы, иногда замаскированно шутливые, а иногда просто неисполнимые.

В моих ранних воспоминаниях о Есенине в сборнике «С. А. Есенин» (Госиздат, 1926) я допустил ошибку, утверждая, что якобы Есенин никого по-настоящему не любил [16]. Это казалось мне потому, что Есенин имел такой огромный успех у женщин, который как бы затмевал его собственные чувства.

Как-то раз при одной из встреч он с таинственным видом отвел меня в сторону (это было на Тверском бульваре), выбрал свободную скамейку на боковой аллее и, усадив рядом с собой, сказал:

— Ты должен мне дать один совет, очень... очень важный для меня.

— Ты же никогда ничьих советов не слушаешь и не исполняешь!

— А твой послушаю. Понимаешь, все это так важно. А ты сможешь мне правильно ответить. Тебе я доверяю.

Я прекрасно понимал, что если Есенин на этот раз не шутит, то, во всяком случае, это полушутка... Есенин чувствовал, что я не принимаю всерьез его таинственность, но ему страшно хотелось, чтобы я отнесся серьезно к его просьбе — дать ему совет.

— Ну, хорошо, говори,— сказал я,— обещаю дать тебе совет.

— Видишь ли,— начал издалека Есенин.— В жизни каждого человека бывает момент, когда он решается на... как бы это сказать, ну, на один шаг, имеющий самое большое значение в жизни. И вот сейчас у меня... такой момент. Ты знаешь, что с Айседорой я разошелся. Знаю, что в душе осуждаешь меня, считаешь, что во всем я виноват, а не она.

— Я ничего не считаю и никогда не вмешиваюсь в семейные дела друзей.

— Ну хорошо, хорошо, не буду. Не в этом главное.

— А в чем?

— В том, что я решил жениться. И вот ты должен дать мне совет, на ком.

— Это похоже на анекдот.

— Нет, нет, ты подожди. Я же не досказал. Я же не дурачок, чтобы просить тебя найти мне невесту. Невест я уже нашел.

— Сразу несколько?

— Нет, двух. И вот из этих двух ты должен выбрать одну.

— Милый мой, это опять-таки похоже на анекдот.

— Совсем не похоже...— рассердился или сделал вид, что сердится, Есенин.— Скажи откровенно, что звучит лучше: Есенин и Толстая или Есенин и Шаляпина?

— Я тебя не понимаю.

— Сейчас поймешь. Я познакомился с внучкой Льва Толстого и с племянницей Шаляпина. Обе, мне кажется, согласятся, если я сделаю предложение, и я хочу от тебя услышать совет, на которой из них мне остановить выбор?

— А тебе разве все равно, на какой? — спросил я с деланным удивлением, понимая, что это шутка.

Но Есенину так хотелось, чтобы я сделал хотя бы вид, что верю в серьезность вопроса. Не знаю, разгадал ли мои мысли Есенин, но он продолжал разговор, стараясь быть вполне серьезным.

— Дело не в том, все равно или не все равно... Главное в том, что я хочу знать, какое имя звучит более громко.

— В таком случае я должен тебе сказать вполне откровенно, что оба имени звучат громко.

Есенин засмеялся:

— Не могу же я жениться на двух именах!

— Не можешь.

— Тогда как же мне быть?

— Не жениться совсем.

— Нет, я должен жениться.

— Тогда сам выбирай.

— А ты не хочешь?

— Не не хочу, а не могу. Я сказал свое мнение: оба имени звучат громко.

Есенин с досадой махнул рукой. А через несколько секунд он расхохотался и сказал:

— Тебя никак не проведешь! — И после паузы добавил: — Вот что, Рюрик. Я женюсь на Софье Андреевне Толстой.

В скором времени состоялся брак Есенина с С. А. Толстой.

Есенин так любил шутить и балагурить и делал это настолько тонко и умно, что ему часто удавалось ловить многих «на удочку». Мне рассказывали уже значительно позже некоторые из тех, с кем говорил Есенин о своем тогда еще только предполагавшемся браке, что они до сих пор убеждены, что Есенин всерьез спрашивал их совета, на ком жениться, на Толстой или на Шаляпиной.

Запомнилась мне еще одна беседа с Есениным, относящаяся к тому же периоду, когда однажды я показал ему афишу большого концерта, в котором я участвовал; он прежде всего обратил внимание не на известные имена, а на извещение в самом конце афиши, что «зал будет отоплен». Когда я выразил свое удивление, что он обращает внимание на такие мелочи, он ответил: «Эти мелочи для историков будут иметь более важное значение, чем имена людей, которые и без афиши не будут забыты».

И тут же он мне привел пример из моего документа 1918 года, который я ему незадолго до этого показывал.

Это была официальная бумага с тремя подписями: наркома просвещения А. В. Луначарского, управделами наркомата Покровского (однофамильца историка М. Н. Покровского) и начальника канцелярии К. А. Федина, но не однофамильца известного писателя Константина Федина, а его самого. Эта любопытная бумага гласила:

«Прошу выдать моему секретарю тов. Ивневу Р. А. теплые перчатки, которые ему крайне нужны, так как ему часто приходится разъезжать по служебным делам в открытом экипаже».

Есенин, который до упаду хохотал, когда я первый раз показал ему бумагу, теперь, вспомнив о ней, сказал:

— Вот видишь, что значит мелкая подробность: сейчас, спустя четыре года после ее появления на свет, она стала сверхлюбопытна, а что же будет через десять лет? Ведь она скажет будущим историкам больше, чем свод постановлений об улучшении бытовых условий жизни, если таковой бы существовал. Теперь ты понял, какое значение имеют так называемые «мелкие подробности»?!

Эти слова Есенина я вспоминаю всегда, когда мне приходится писать воспоминания.

Говорят, что время — лучший лекарь. И все же этот «лучший лекарь» никогда не может нас окончательно вылечить от боли, которую мы испытываем, теряя лучших друзей. Эта боль то затихает, то опять вспыхивает. И вот с этой вновь вспыхнувшей болью я и заканчиваю мои воспоминания о Есенине. Но эта горечь смягчается сознанием, что того, о ком я вспоминаю, помнит вся Россия, помнит весь многонациональный Союз родных и близких нашему сердцу народов.

⟨1926—1964⟩

И. В. ГРУЗИНОВ

ЕСЕНИН

В первый раз я увидел Сергея Есенина в 1918 году. В Политехническом музее был какой-то литературный вечер. Я был в публике. В антракте, взглянув нечаянно влево, я заметил странного молодого человека. Он мгновенно привлек мое внимание своей внешностью: бросились в глаза костюм и волосы. Одет он был в коротенькую русскую поддевку нараспашку. Длинная белая рубаха, почти такой же длины, как и поддевка. Поясок. Сияли длинные курчавые волосы, светлые, как золотистый лен. Стоял в дверях и кому-то улыбался.

Антракт кончился. Публика засуетилась, занимая места. В конце вечера артист Оленин читал стихи Есенина. Прочитав стихи, артист сошел в публику. Невольно следил за артистом. Он подбежал к русоволосому человеку, одетому в русскую поддевку, и пожал ему руку. Это был Есенин. Вскоре познакомились. ⟨...⟩

1920 г. Весна. Георгиевский пер., д. 7, квартира С. Ф. Быстрова.

Желтоватое тихое утро. Низенькая комнатка с маленькими окошками. Обстановка простенькая: стол, кровать, диван, в углу старый книжный шкафик. Есенин сидит за столом против окошка. Делает макет «Трерядницы». Наклеивает вырезки с напечатанными стихами в тетрадку, мелким почерком переписывает новые стихи на восьмушки писчей бумаги: каждая буковка отдельно. Буквы у него всегда отдельно одна от другой, но так как макет этот для типографии, то буквы еще дальше отстоят друг от друга, каждая буква живет своей собственной жизнью — не буквы, а букашки. Работает размеренно. Сосредоточен и молчалив. Озабочен работой. Напоминает сельского учителя, занятого исправлением детских тетрадок. Отдельные неприклеенные листики дает мне:

— Прочти и, если что заметишь, скажи!

Читаю поэму «Пантократор». Предлагаю переделать строку:

Полярный круг — на сбрую.

Спорим. Он не соглашается. Защищает строчку.

В стихотворении «О боже, боже, эта глубь...» предлагаю исправить строку:

В твой в синих рощах скит.

Ему нравится эта строка. Он решает оставить ее неприкосновенной.

Читаю «Кобыльи корабли», обращаю внимание Есенина на предпоследнюю строфу:

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать, ничего не взять
В мир великий пришел поэт.

Спрашиваю:

— Куда следует отнести определение «великий» — к слову «мир» или к слову «поэт»?

Ничего не отвечает. Молча берет листик чистой бумаги, пересаживается на диван и, покачивая головою вправо и влево, исправляет строфу.

— Так лучше,— говорит через минуту и читает последнюю строчку строфы:

Пришел в этот мир поэт [1].

Утро. Вдвоем. Есенин читает драматический отрывок. Действующие лица: Иван IV, митрополит Филипп, монахи и, кажется, опричники. Диалоги Ивана IV и Филиппа. Зарисовка фигур Ивана IV и Филиппа близка к характеристике, сделанной Карамзиным в его «Истории государства Российского». Иван IV и Филипп, если мне не изменяет память, говорят пятистопным ямбом. Два других действующих лица, кажется, монахи, в диалогах описывают тихую лунную ночь. Их речи полны тончайшего лиризма: Есенин из «Радуницы» и «Голубени» изъясняется из них обоих. В дальнейшем, приблизительно через год, Есенин в «Пугачеве» точно так же описывает устами своих героев бурную дождливую ночь. Не знаю, сохранился ли этот драматический опыт Есенина [2].

1921 г. Весна. Богословский пер., д. 3.

Есенин расстроен. Усталый, пожелтевший, растрепанный. Ходит по комнате взад и вперед. Переходит из одной комнаты в другую. Наконец садится за стол в углу комнаты:

— У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю [3].

Есенин в стихах никогда не лгал. Рассказывает он об умершей канарейке — значит, вспомнил умершую канарейку, рассказывает о гаданье у попугая — значит, это гаданье действительно было, рассказывает о жеребенке, обгоняющем поезд,— значит, случай с милым и смешным дуралеем был... [4]

Всякая черточка, маленькая черточка в его стихах, если стихи касаются его собственной жизни, верна. Сам поэт неоднократно указывает на это обстоятельство, на автобиографический характер его стихов.

1921 г. Лето. Богословский пер., д. 3.

Есенин, энергично жестикулируя:

— Кто о чем, а я о корове. Знаешь ли, я оседлал корову. Я еду на корове. Я решил, что Россию следует показать через корову. Лошадь для нас не так характерна. Взгляни на карту — каждая страна представлена по-своему: там осел, там верблюд, там слон... А у нас что? Корова! Без коровы нет России.

1921 г. Есенин только что вернулся из Ташкента. По-видимому, по дороге в Ташкент он хотел ознакомиться с местом действия героя его будущей поэмы «Пугачев». Вскоре после его приезда имажинисты задумали, как это бывало неоднократно, очередной литературный трюк. Глубокой ночью мы расклеили множество прокламаций по улицам Москвы [5].

«Имажинисты всех стран, соединяйтесь!
Всеобщая мобилизация
поэтов, живописцев, актеров, композиторов, режиссеров и друзей действующего искусства

№ 1

На воскресенье, 12 июня с. г., назначается демонстрация искателей и зачинателей нового искусства.

Место сбора: Театральная площадь (сквер), время: 9 час. вечера.

Маршрут: Тверская, памятник А. С. Пушкина.

Программа

Парад сил, речи, оркестр, стихи и летучая выставка картин.

Явка обязательна для всех друзей и сторонников действующего искусства:
1) имажинистов,
2) футуристов,
3) и других групп.

Причина мобилизации:

Война, объявленная действующему искусству.

Кто не с нами, тот против нас.

Вождь действующего искусства: Центральный Комитет Ордена Имажинистов».

Под прокламацией подписи поэтов, художников, композиторов: Сергей Есенин, Георгий Якулов, Иван Грузинов, Павлов, Анатолий Мариенгоф и др.

Прокламация была расклеена нами без разрешения. На другой день нас вызвали на допрос в соответствующее учреждение. Между прочим Есенин сказал, что прокламацию напечатал он в Ташкенте и оттуда привез в Москву. Затем неожиданно для всех нас стал просить разрешения устроить похороны одного из поэтов. Похороны одного из нас. Похороны его, Есенина. Можно? Ему ответили, что нельзя, что нужно удостоверение от врача в том, что данный человек действительно умер. Есенин не унимался: а если в гроб положить корову или куклу и со всеми знаками похоронных почестей, приличествующих умершему поэту, пронесут гроб по улицам Москвы? Можно? Ему ответили, что и этого нельзя сделать: нужно иметь надлежащее разрешение на устройство подобной процессии. Есенин возразил:

— Ведь устраивают же крестные ходы?

Снова разъясняют: на устройство крестного хода полагается иметь разрешение.

1923 г. Есенин в Италии занимался гимнастикой, упал с трапеции, получил сильные ушибы, лечился несколько недель. В Париже, в кафе видел русских белогвардейцев, видел в одном кафе бывших высокопоставленных военных, они прислуживали ему в качестве официантов. Стал он читать при них революционные стихи, обозлились, напали на него. Хотели бить. Едва-едва убежал.

— До революции я был вашим рабом,— сказал Есенин белогвардейцам,— я служил вам. Я чистил вам сапоги. Теперь вы послужите мне.

Есенин рассказывает:

— Искусство в Америке никому не нужно. Настоящее искусство. Там можно умереть душой и любовью к искусству. Там нужна Иза Кремер и ей подобные. Душа, которую у нас в России на пуды меряют, там не нужна. Душа в Америке — это неприятно, как расстегнутые брюки.

— Видел ли ты Пикассо? Анатоля Франса?

— Видел какого-то лысого. Кажется, Анри де Ренье... Как только мы приехали в Париж, я стал просить Изадору купить мне корову. Я решил верхом на корове прокатиться по улицам Парижа. Вот был бы смех! Вот было бы публики! Но пока я собирался это сделать, какой-то негр опередил меня. Всех удивил: прокатился на корове по улицам Парижа. Вот неудача! Плакать можно, Ваня!

Есенин буквально с какой-то нежностью любил коров. Это отражается в его лирике.

1923 г. Осень. Час ночи. «Кафе поэтов», Тверская, 18. В комнате президиума Союза поэтов, в самом отдаленном углу кафе человек двенадцать: поэты и их друзья. Сымпровизировано экстренно чествование возвратившегося из-за границы Есенина в интимной обстановке. Как всегда, часам к трем ночи начинает разгораться «кафейный» скандал. Вокруг закипают пьяные страсти.

Вдруг я чувствую, что меня кто-то дергает за рукав,— Есенин.

Идем по Тверской. Есенин в пушкинском испанском плаще, в цилиндре. Играет в Пушкина. Немного смешон. Но в данную минуту он забыл об игре. Непрерывно разговариваем. Вполголоса: о славе, о Пушкине. Ночь на переломе. Хорошо, что есть городской предутренний час тишины. Хорошо, что улицы пустынны. Козицкий переулок. Есенину прямо. Мне направо. На углу останавливаемся. На прощанье целуем друг у друга руки: играем в Пушкина и Баратынского.

1923 г. Вечер. За столиком в «Кафе поэтов» Есенин читает — «Дорогая, сядем рядом...».

Я спрашиваю:

— Откуда начало этого стихотворения? Из частушки или из «Калевалы»?

— Что такое «Калевала»?

— «Калевала»? Финский народный эпос.

— Не знаю. Не читал.

— Да неужели? Притворяешься?

С минуту Есенин разговаривает о каких-то пустяках и затем, улыбаясь, читает наизусть всю первую руну из «Калевалы».

В другой раз, когда речь зашла об образности русской народной поэзии, Есенин наизусть прочел большой отрывок из былины, по его мнению, самый образный. Память у Есенина была исключительная. Он помнил все свои стихи и поэмы, мог прочесть наизусть любую свою вещь когда угодно, в любое время дня и ночи. Нужно при этом иметь в виду, что стихотворные вещи его составят больше четырех томов, если собрать все написанное им.

Память на человеческие лица у Есенина была прекрасная. Вместе с тем он замечал и запоминал каждое сказанное ему слово, замечал еле уловимое движение, в особенности если оно было направлено по его адресу. В «дружеской попойке», если при этом были мало известные ему люди, он подозрительно следил, как относятся к нему окружающие.

По-видимому, не обращал никакого внимания на отношение к нему друзей и знакомых, по-видимому, пропускал мимо ушей все, что о нем говорил тот или другой человек, по-видимому, все прощал. Но это только до поры до времени. Изучив человека, припомнив все сделанное и сказанное, резко менял отношение. Навсегда. Вместе с тем прощал все обиды, материальные ущербы, оскорбления, дурные поступки, все что угодно, если знал, что данный человек в глубине души хорошо к нему относится.

1924 г. Лето. Угол Тверской и Триумфальной-Садовой. Пивная. Тусклый день. Два-три посетителя. На полу окурки, сырые опилки. Искусственные пальмы. На столиках бумажные цветы. Половые в серых рубахах. Подпоясаны кожаными ремнями. У каждого на левой руке грязноватая салфетка. Половые заспанные — в этой пивной торговля до 2 часов ночи. Ночью на эстраде артисты, хор цыган. Здесь выступает лучшая цыганская танцовщица — Маруся Артамонова [6].

Никому нет никакого дела до поэзии. И как-то странно, что только мы, чудаки или одержимые, спорим об искусстве, о стихах. Сидим втроем за парой пива, в углу, у окна: Есенин, А. М. Сахаров, я. Есенин читает новую поэму «Гуляй-поле». Тема поэмы: Россия в гражданскую войну. Есенин читает долго, поэма была почти вся сделана, оставалось обработать некоторые детали. Есенин утверждал, что через несколько дней поэма будет готова полностью [7].

По прочтении поэмы, обращаясь ко мне, с детским задором:

— Что мне литература?.. Я учусь слову в кабаках и ночных чайных. Везде. На улицах. В толпе.

Показывая на Сахарова:

— Вот этот человек сделал для меня много. Очень много. Он прекрасно знает русский язык.

Снова обращаясь ко мне:

— Я ломаю себя. Давай мне любую теорию. Я напишу стихи по любой теории. Я ломаю себя.

Он стоял в позе оратора и, по своему обыкновению, энергично размахивал руками.

1924 г. Лето. Полдень. Нас четверо. Шестой этаж дома № 3 по Газетному переулку. Есенин вернулся из деревни. Спокойный, неторопливый, уравновешенный. Чуть-чуть дебелый. Читает «Возвращение на родину». Я был в плохом настроении: жара, не имею возможности выбраться из города. И тем не менее меня взволновали его стихи.

— Часто тебя волнуют мои стихи? — спросил Есенин.

— Нет. Давно не испытывал волнения. Меня волнуют в этом стихотворении воскресающие пушкинские ритмы. Явное подражание, а хорошо. Странная судьба у поэтов: Пушкин написал «Вновь я посетил...» после Баратынского... Пушкина помнят все, Баратынского помнят немногие...[8]

После чтения стихов идем втроем по Газетному переулку на Тверскую.

— Снятие креста с колокольни... Были такие случаи в истории. Это пройдет,— замечает наш спутник.

— А может быть, и не пройдет. Бывают исключительные переломы в истории. Наша эпоха, может быть, исключительная. Был Перун. И нет Перуна,— отвечаю я.

Есенин идет понурив голову. Молчит. В эту минуту он напоминает себя из «Москвы кабацкой»:

Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак[9] 〈...〉

Осень 1924 г. Вечер. Со мною поэт Х. Идем по Тверской. Вдруг я замечаю, что с нами идет кто-то третий. Оглядываюсь: поэт Чекрыгин. Из сумрака переулка вынырнул он неслышными шагами. Идем по направлению к Советской площади. Видим — едет мимо нас на извозчике молодой человек. На вид интеллигентный рабочий, в кепке и черном пиджаке. Молодой человек соскакивает с извозчика и подбегает к нам.

— Ба! Да это Есенин! Да как же это так? Почему же мы его не узнали?

Очень просто: волосы, сверх обыкновения, коротко подстрижены, костюм необычный, наверное, чужой. Он только что с вокзала, приехал из деревни, прямо мальчик:

тоненький, обветренный. Совершенно мальчишеский вид и разговаривает как-то по-другому. Чуть-чуть навеселе. Расцеловались.

Жил в деревне, ловил рыбу. С места в карьер начал рассказывать о своей деревенской жизни. Размахивает руками, говорит громко, на всю улицу. Сразу видно, что все приключения деревенской жизни украшает и преувеличивает.

Ходил ловить рыбу, с сестрой. Сестра у него такая, какой в мире нет. Леща поймал на удочку. Такого леща, что с берега никак нельзя вытащить. Лезет в воду сестра. Полез в воду сам. «Тяну леща к себе, а он тянет к себе...» Брат у него. Сила! Такого силача нигде нет. Не говори ему поперек. Убьет. Рассказ повторяется снова и снова. Брат, сестра, лещ. Сестра, лещ, брат. Лещ, сестра, брат.

Зашли в погребок «Мышиная нора» [10] на Кузнецком. Низкая комната. Есенин читает новые стихи, написанные в деревне, «Отговорила роща золотая...».

Читал как всегда. ⟨...⟩

Весной 1925 года Крученых предложил издательству «Современная Россия», в котором я работал, книгу, направленную против Есенина. Заглавие книги было следующее: «Почему любят Есенина». «Современная Россия» отказалась печатать книгу Крученых, так как Есенин был сотрудником издательства — две книги Есенина вышли в «Современной России» [11], к тому же доводы критика были неосновательны.

Летом, придя в издательство, Крученых встретил там одного из друзей Есенина — А. М. Сахарова. Узнав о книге Крученых, Сахаров стал доказывать, что выступление злостного критика не повредит Есенину; напротив, прибавит поэту лишнюю крупицу славы. Сахаров обещал переговорить по этому поводу с Есениным. Через некоторое время выяснилось, что Есенин ничего не имеет против выступления недоброжелательного критика, ничего не имеет против, если книга Крученых выйдет в «Современной России».

Разговоры о книге Крученых тянулись до осени. «Современная Россия», несмотря на согласие Есенина, считала книгу Крученых негодной.

В ноябре Крученых зашел в «Современную Россию», встретил там Есенина и спросил, как он относится к факту напечатания книги, направленной против него? Есенин сказал, что он не имеет никакого морального права вмешиваться в личное дело Крученых; критика, разумеется, свободна; это настолько очевидно, что не стоит и разговаривать.

Есенин и я направляемся ко мне на квартиру. Круче-

ных следует за нами. Является Александровский. Есенин в хорошем настроении. Достает бутылку портвейна. Начинает подшучивать над Крученых:

— Крученых перекрутил, перевернул литературу.

— Напишите это и подпишитесь! — засуетился Крученых. Стал оглядываться по сторонам, ища бумаги, обшарил карманы, полез в портфель и быстро вынул необходимые канцелярские принадлежности. Услужливо положил бумагу на книгу, чтобы удобнее было писать [12].

Крученых во что бы то ни стало хотел получить письменное согласие на печатание книги, направленной против Есенина.

Есенин начал возмущаться:

— При чем тут согласие, что за вздор? При чем тут подписка? Что это — подписка о невыезде, что ли?

Крученых продолжал просить. Есенин, саркастически ухмыляясь, написал под диктовку Крученых эту фразу.

Есенин не спеша налил портвейн. Выразительно обнес Крученых. Подчеркнул этот жест. Крученых подставил рюмку.

Есенин, негодуя, крикнул:

— Таких дураков нам не надо!

Назревало недоразумение. Буря вот-вот должна была разразиться. Крученых учел обстановку. Спешно собрал свои канцелярские принадлежности и юркнул в дверь.

1925 г. Осень. Ноябрь. Встречаю Есенина в Столешниковом переулке:

— Вечно ты шатаешься, Сергей! Когда же ты пишешь?

— Всегда.

Цитирую:

— Осужден я на каторге чувств...

— Вертеть жернова поэм,[13] — заканчивает Есенин, цитируя себя.

1925 г. Осень. Я купил два старинных кресла ампир. Огромные, как троны. Из красного дерева, с золото-зеленым бархатом, с бронзовыми крылатыми сфинксами и амурами. Есенин, приходя ко мне, обычно садился в одно из этих кресел за маленьким восьмиугольным столиком, против меня. Раздевался он редко. Иногда снимал только шапку. В последнее время я привык видеть его в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке.

В таком наряде, широко и выразительно размахивающий руками при разговоре, этот замечательный человек был похож на молодого древнерусского боярина, вернее — на великолепного разбойничьего атамана. Темной осенней

ночью в дремучем лесу снял он с боярина шубу и бобровую шапку.

В такой одежде на золото-зеленом фоне сияла его когда-то светло-золотая, а теперь тускнеющая испепеленная голова. Глядя на него, сидящего в огромном кресле, освещенного зеленым и золотым, я иногда вспоминал его «Москву кабацкую» — стихи, относящиеся к нему самому, к его внешности:

Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет [14].

Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова [15]. ⟨...⟩

1925 г. Ноябрь. В полдень приходит ко мне Есенин. Есенин возбужден. В шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Непрерывно говорил. Был оживлен чрезвычайно.

— Знаешь ли ты, упрямый. Я ломаю себя. Когда истощаются средства, то, знаешь ли, как можно писать стихи? Дай бумаги!

Разрезали бумагу на мелкие квадратики. Начали играть в примитивную стихомашину.

— Глагол — пустяк, глагол подразумевается, глагол будет найден после. Пиши существительные, я буду писать прилагательные,— заметил Есенин.

Стали наугад соединять его прилагательные с моими существительными. Игра была неудачной. Я намеренно, в шутку, подбирал существительные, ничего не имеющие общего с есенинским поэтическим словарем. Я действовал, как человек, бросающий под вертящийся мельничный жернов вместо зерен булыжник.

Насколько мне известно, Есенин прибегал иногда к способу писания стихов посредством примитивной стихомашины. У него была небольшая сумка, куда он складывал слова, написанные на отдельных бумажках, он тряс эту сумку, чтобы смешать бумажки, затем вынимал несколько бумажек. Комбинация из слов, полученных таким путем, давала первый толчок к работе над стихом.

Этим способом писания стихов поэт хотел расширить рамки необходимого, хотел убежать из тюрьмы своего мозга, хотел многое предоставить стечению обстоятельств, игре случая. Этот способ писания стихов напоминает игру в счастье, гаданье по билетикам, которые вынимает сидящий в клетке уличный попугай.

Разумеется, к искусственному способу писания стихов Есенин относился несерьезно; это была только забава, и притом на короткий срок. Припоминаю, что лет пять назад я несколько раз говорил с Есениным об устройстве стихомашины. В то же время я изложил Валерию Брюсову свой проект стихомашины. Я предлагал устраивать вечера стихомашины для публики. Валерий Брюсов заметил, что мой проект напоминает «великое искусство» Луллия. Известно, что Раймунд Луллий (1234—1315) изобрел систему «великого искусства», состоящую в логико-механическом методе расположения понятий по определенным местам и определенным способом, для того чтобы таким путем, то есть путем различной перестановки и сочетания понятий, находить чисто умозрительным способом все, что можно сказать о предмете. Между прочим Джордано Бруно увлекался «искусством» Луллия.

После неудачной игры в стихомашину Есенин прочел новое стихотворение. Оно было строгое, безукоризненное. Зная, что в последнее время Есенина часто пилили за неудачные стихи, я заметил,что напрасно его враги и друзья в кавычках нападают на него, позволяют себе упрекать его в упадке сил, позволяют делать намеки на то, что будто бы он исписался; последнее стихотворение показывает, что он движется вперед, это пушкинские стихи.

Есенин заговорил о форме стиха: о концовых созвучиях.

— Стихия и Россия нельзя рифмовать [16]. А между тем наши предшественники, например Блок, почти все время так рифмовали. Сочетание разнородных согласных их не коробило, у них не так тонок слух, их удовлетворяли одинаково звучащие гласные. У нас концовые созвучия должны быть иные, согласные должны быть или одинаковы, или близки друг к другу по звучанию. Вот у меня: проси я — Россия [17].

Дальше Есенин предложил обсудить следующий вопрос.

Какую из рифмуемых строчек следует ставить первой — короткую ли с окончанием на гласный или удлиненную согласными звуками?

Я дал примеры: тренькать — деревенька, голубым — на дыбы, скорее — канареек, перестать — уста, Руси — колесить.

Есенин утверждал, что строчку с кратким окончанием следует ставить второй, так, по его мнению, лучше звучит. Я не совсем соглашался с Есениным: такая расстановка рифмуемых строк, может быть, в большинстве случаев

звучит лучше, но бывает и обратно; по-видимому, здесь нужно учитывать другие элементы стиха. В доказательство своего мнения я привел примеры из народных песен и отрывки из современных поэтов, а также отрывки из стихов Есенина.

Есенин прервал спор:

— Я тебя разыграю.

Это означало, что Есенин начинает игру в «хохотушку». Странная игра в хохотушку возникла во время военного коммунизма. Полуголодные поэты собирались в комнате одного из своих товарищей, уславливались: можно говорить в глаза друг другу что угодно — правду и ложь, насмешливое, злое, отвратительное, грубое,— никто не имеет права обижаться. Число приглашаемых на хохотушку определялось заранее, человек пять-шесть. Подбор участников был строгий. Иногда заранее намечалась и жертва: будем изводить такого-то. Кто-нибудь из участников доставал чаю. Настоящий китайский чай в голодное время был редкостью, поэтому он действовал, как хорошее возбуждающее средство, как легкий опьяняющий напиток. Женщин на хохотушку не приглашали: при них игра становилась невозможной. Пригласили однажды поэтессу, игру пришлось прекратить. Игра в хохотушку — это своеобразный «пир во время чумы».

Есенин в хохотушках участвовал редко. В характере этого великого лирика отсутствовала саркастическая соль. У него не было ни одного едкого сатирического стихотворения. Юмористические стихи его, написанные по случаю, всегда пресны.

Есенин начал игру. Он нападал. Я защищался, намеренно давая ему козыри в руки, чтобы подогреть игру. Я не принял брошенного вызова: я знал, что Есенин болен, и не хотел играть на нервах больного человека. Под конец игра приняла вид насмешливой литературной беседы. Говорили быстро, перебивая друг друга, одновременно.

Есенин понял, что я намеренно не принимаю вызова, не затрагиваю его больные места. Это тронуло его. Он встал, привлек меня к себе. Обнялись и крепко поцеловались. Он собрался уходить. Я провожал его. Он снова в коридоре квартиры продолжал игру. Я защищался. Вышли на площадку лестницы. Снова обнялись и расцеловались.

1925 г. В Доме печати был вечер современной поэзии. Меня просили пригласить на вечер Есенина. Я пригласил и потом жалел, что сделал это: я убедился, что читать ему было чрезвычайно трудно. Поэтов на вечере было много —

в программе и сверх программы. Есенину долго пришлось ждать очереди в соседней комнатке. Его выступление отложили к концу. Опасались, что публика, выслушав Есенина в начале вечера, не захочет слушать других поэтов и разойдется. Есенин читал новые, тогда еще не опубликованные стихи из цикла «Персидские мотивы» и ряд других стихотворений. Голос у него был хриплый. Читал он с большим напряжением. Градом с него лил пот. Начал читать — «Синий туман. Снеговое раздолье...». Вдруг остановился — никак не мог прочесть заключительные восемь строк этого вещего стихотворения:

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей,—
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,—
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

Его охватило волнение. Он не мог произнести ни слова. Его душили слезы. Прервал чтение. Через несколько мгновений овладел собой. С трудом дочитал до конца последние строки.

Это публичное выступление Есенина было последним в его жизни. Есенин прощался с эстрадой.

1925 г. Ноябрь. В кресле, против меня, Есенин.

Есенин возбужден. Глаза сверкают. Его возбуждение невольно передается и мне. Действует как гипноз. Мною овладевает нервное веселье. Вскинув правую руку, как деревенский оратор:

— Напиши обо мне некролог.

— Некролог?

— Некролог. Я скроюсь. Преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю, на две, чтобы журналы успели напечатать обо мне статьи. А потом я явлюсь.

Вскрикивает:

— Посмотрим, как они напишут обо мне! Увидим, кто друг, кто враг!

1925 г. Декабрь.

За день до отъезда в Ленинград Есенин несколько раз приходил в издательство «Современная Россия», но никого не заставал. Вслед за Есениным приходил врач Аронсон,

работающий в психиатрической клинике, из которой Есенин только что выписался. Врач почему-то разыскивал его, оставил номер телефона и просил передать Есенину, чтобы тот непременно ему позвонил.

Вечером того же дня Сахаров и я при входе в клуб Союза писателей встретили Есенина. Он был вместе с Клычковым. Клычков быстро ушел. 〈...〉

〈1926〉

С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

1919 г.

〈...〉

Георгиевский пер., д. 7, квартира Быстрова.

Есенин увлекается Меем. Помню книжку Мея, в красной обложке, издание Маркса. Он выбирает лучшие, по его мнению, стихи Мея, читает мне. Утверждает, что у Мея чрезвычайно образный язык. Утверждает, что Мей имажинист.

По-видимому, увлечение Меем было у него непродолжительно. В дальнейшем он не возвращался к Мею, ни разу не упоминал о нем [18].

«Домино».

Комната правления Союза поэтов. Зимние сумерки. Густой табачный дым. Комната правления по соседству с кухней. Из кухни веет теплынью, доносятся запахи яств. Время военного коммунизма: пища и тепло приятны несказанно.

Беседуем с Есениным о литературе.

— Знаешь ли,— между прочим сказал Есенин,— я очень люблю Гебеля. Гебель оказал на меня большое влияние. Знаешь? Немецкий народный поэт...

— У немцев есть три поэта с очень похожими фамилиями, но с различными именами: Фридрих Геббель, Эмануэль Гейбель и, наконец, Иоганн Гебель — автор «Овсяного киселя».

— Вот. Этот самый Гебель, автор «Овсяного киселя», и оказал на меня влияние [19].

〈...〉

1920 г.

Ночь. Шатаемся по улицам Москвы. С нами два-три знакомых поэта. Переходим Страстную площадь.

— Я не буду литератором. Я не хочу быть литератором. Я буду только поэтом.

Есенин утверждал это спустя четыре года после выхода в свет его повести «Яр», напечатанной в «Северных записках» в 1916 году. Он никогда не говорил о своей повести, скрывал свое авторство. По-видимому, повесть его не удовлетворяла: в прозе он чувствовал себя слабым, слабее, чем в стихах. В дальнейшем он обратился исключительно к стихотворной форме: лирика, поэма, драма, повесть в стихах.

В том же году, после выхода в свет «Ключей Марии», в кафе «Домино» он спрашивает: хорошо ли написана им теория искусства? Нравятся ли мне «Ключи Марии»?

Почему-то не было времени разбираться в его теории искусства по существу, и я ответил, что книжку следовало бы разделить на маленькие главы.

«Домино». Хлопают двери. Шныряют официанты. Поэтессы. Актеры. Актрисы. Люди неопределенных занятий. Поэты шляются целыми оравами.

У открытой двери в комнату правления Союза поэтов Есенин и Осип Мандельштам. Ощетинившийся Есенин, стоя вполуоборот к Мандельштаму:

— Вы плохой поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы!

Мандельштам возражает. Пыжится. Красный от возмущения и негодования.

Осень. «Домино».

В кафе «Домино» два больших зала: в одном зале эстрада и столики для публики, в другом только столики. Эти столики для поэтов. В первый год существования кафе залы разделялись огромным занавесом. Обычно во время исполнения программы невыступающие поэты смотрели на эстраду, занимая проход между двумя залами.

В глубине, за вторым залом, комната правления Союза поэтов.

Есенин только что вернулся в Москву из поездки на Кавказ. У него новая поэма «Сорокоуст». Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор:

— Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь.

Чтобы дать ему возможность приготовиться к выступлению, я ушел в комнату правления Союза поэтов. Явился Валерий Брюсов.

Через две-три минуты Есенин на эстраде.

Обычный литературный вечер. Человек сто посетителей: поэты и тайнопишущие. В ту эпоху, в кафейный период литературы, каждый день неукоснительно поэты и тайнопишущие посещали «Домино» или «Стойло Пегаса». Они-то и составляли неизменный контингент слушателей стихов. Другая публика приходила в кафе позже — ради скандалов.

На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь; расположились на стульях, расставленных рядами, и за пустыми столиками.

Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт в России, кто-то ему мешает, кто-то его не признает. Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.

По-видимому, он ожидал протестов со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму.

Во время выступления Есенина я все время находился во втором зале кафе. После выступления он пришел туда же. Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбы и вдруг... никто не протестует.

— Рожаете, Сергей Александрович? — улыбаясь, спрашивает Валерий Брюсов.

Улыбка у Брюсова напряженная: старается с официального тона перейти на искренний и ласковый тон.

— Да,— отвечает Есенин невнятно.

— Рожайте, рожайте! — ласково продолжает Брюсов.

В этой ласковости Брюсова чувствовалось одобрение и поощрение метра по отношению к молодому поэту.

В этой ласковости Брюсова была какая-то неестественность. Брюсов для Есенина был всегда посторонним. Они были чужды друг другу, между ними никогда не было близости. «Сорокоуст» был первым произведением, которое Брюсов хорошо встретил [20]. ⟨...⟩

На улицах Москвы желтые, из оберточной бумаги, афиши:

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

(Б. Никитская)

В четверг, 4-го ноября с. г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
«СУД НАД ИМАЖИНИСТАМИ»

Литературный обвинитель . . .	*Валерий Брюсов*
Подсудимые имажинисты . . .	*И. Грузинов, С. Есенин, А. Кусиков, А. Мариенгоф, В. Шершеневич.*
Гражданский истец	*И. А. Аксенов*
Свидетели со стороны обвинения	*Адалис, С. Буданцев, Т. Левит*
Свидетели со стороны защиты	*Н. Эрдман, Ф. Жиц*

12 судей из публики

Начало в $7^1/_2$ час. вечера

Билеты продаются — Зал Консерватории, ежедневно от 11 до 5 час. Театральная касса РТО (Петровка, 5), а в день лекции при входе в зал

Суд над имажинистами — это один из самых веселых литературных вечеров [21].

Валерий Брюсов обвинял имажинистов как лиц, составивших тайное сообщество с целью ниспровержения существующего литературного строя в России.

Группа молодых поэтов, именующих себя имажинистами, по мнению Брюсова, произвела на существующий литературный строй покушение с негодными средствами, взяв за основу поэтического творчества образ, по преимуществу метафору. Метафора же является частью целого: это только одна фигура или троп из нескольких десятков фигур словесного искусства, давно известных литературам цивилизованного человечества.

Главный пункт юмористического обвинения был сформулирован Брюсовым так: имажинисты своей теорией

ввели в заблуждение многих начинающих поэтов и соблазнили некоторых маститых литераторов.

Один из свидетелей со стороны обвинения доказывал, что В. Шершеневич подражает В. Маяковскому, и, чтобы убедить в этом слушателей, цитировал параллельно Маяковского и Шершеневича.

Есенин в последнем слове подсудимого нападал на существующие литературные группировки — символистов, футуристов и в особенности на «Центрифугу», к которой причисляли в то время С. Боброва, Б. Пастернака и И. Аксенова. Последний был на литературном суде в качестве гражданского истца и выглядел в своей роли старшим милиционером.

Есенин, с широким жестом обращаясь в сторону Аксенова:

— Кто судит нас? Кто? Что сделал в литературе гражданский истец, этот тип, утонувший в бороде?

Выходка Есенина понравилась публике. Публика смеялась и аплодировала.

Через несколько дней после «Суда над имажинистами» ими был устроен в Политехническом музее «Суд над русской литературой».

Представителем от подсудимой русской литературы являлся Валерий Брюсов.

Есенин играл роль литературного обвинителя. Он приготовил обвинительную речь и читал ее по бумажке звонким высоким тенором.

По прочтении речи стал критиковать ближайших литературных врагов: футуристов.

На этот раз он, сверх ожидания, говорил удачно и быстро овладел аудиторией.

— Маяковский безграмотен! — начал Есенин.

При этом, как почти всегда, звук «г» он произносил по-рязански. «Яговал», как говорят о таком произношении московские мужики.

И от этого «ягования» подчеркивание безграмотности Маяковского приобретало невероятную четкость и выразительность. Оно вламывалось в уши слушателей, это резкое *згр*.

Затем он обратился к словотворчеству Велемира Хлебникова.

Доказывал, что словотворчество Хлебникова не имеет ничего общего с историей развития русского языка, что

словотворчество Хлебникова произвольно и хаотично, что он не только не намечает нового пути для русской поэзии, а, наоборот: уничтожает возможность движения вперед. Впрочем, смягчающим вину обстоятельством был признан для Хлебникова тот факт, что он перешел в группу имажинистов: Хлебников в Харькове всенародно был помазан миром имажинизма [22].

Вечер. Идем по Тверской. Советская площадь. Есенин критикует Маяковского, высказывает о Маяковском крайне отрицательное мнение.

Я:

— Неужели ты не заметил ни одной хорошей строчки у Маяковского? Ведь даже у Тредьяковского находят прекрасные строки?

Есенин:

— Мне нравятся строки о глазах газет: «Ах, закройте, закройте глаза газет!» [23]

И он вспоминает отрывки из двух стихотворений Маяковского о войне: «Мама и убитый немцами вечер» и «Война объявлена».

Читает несколько строк с особой, свойственной ему нежностью и грустью. 〈...〉

1921 г.

Мы несколько раз посетили с Есениным музеи новой европейской живописи: бывшие собрания Щукина и Морозова.

Больше всего его занимал Пикассо.

Есенин достал откуда-то книгу о Пикассо на немецком языке, со множеством репродукций с работ Пикассо.

Ничевоки выступают в кафе «Домино» [24].

Есенин и я присутствуем при их выступлении. Ничевоки предлагают нам высказаться об их стихах и теории.

С эстрады мы не хотим рассуждать о ничевоках. Ничевоки обступают нас во втором зале «Домино», и поневоле приходится высказываться.

Сначала теоретизирую я. Затем Есенин. Он развивает следующую мысль:

В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки.

Образ для него, как и для народа, конкретен.

Образ для него, как и для народа, утилитарен; утилитарен в особом, лучшем смысле этого слова. Образ для него — это гать, которую он прокладывает через болото. Без этой гати — нет пути через болото.

При этом Есенин становится в позу идущего человека, показывая руками на лежащую перед ним гать.

После первого чтения «Пугачева» в «Стойле Пегаса» присутствующим режиссерам, артистам и публике Есенин излагал свою точку зрения на театральное искусство.

Сначала, как почти всегда в таких случаях, речь его была путаной и бессвязной, затем он овладел собой и более или менее отчетливо сформулировал свои теоретические положения.

Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ.

Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство: в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль.

Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре.

Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим.

И если режиссеры считают «Пугачева» не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить «Пугачева», перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть.

1922 г.

Есенин в кафе «Домино» познакомил меня с Айседорой Дункан. Мы разместились втроем за столиком. Пили кофе. Разглядывали надписи, рисунки и портреты поэтов, находящиеся под стеклянной крышкой столика. Показывали Дункан роспись на стенах «Домино».

Разговор не клеился. Была какая-то неловкость. Эта неловкость происходила, вероятно, потому, что Дункан не знала русского языка, а Есенин не говорил ни на одном из европейских языков.

Вскоре начали беседу о стихах. И время от времени обращались к Айседоре Дункан, чтобы чем-нибудь показать внимание к ней: по десять раз предлагали то кофе, то пирожное.

В руках у Есенина был немецкий иллюстрированный журнал. Готовясь поехать в Германию, он знакомился с новейшей немецкой литературой.

Он предложил мне просмотреть журнал, и мы вместе стали его перелистывать. Это был орган немецких дадаистов.

Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их изречения и стихи:

— Ерунда! Такая же ерунда, как наш Кручепых. Они отстали. Это у нас было давно.

Я возразил:

— У нас и теперь есть поэтические группы, близкие к немецким дадаистам: фуисты, беспредметники, ничевоки. Ближе всех к немецким дадаистам, пожалуй, ничевоки. 〈...〉

В творчестве Есенина наступил перерыв. Он выискивал, прислушивался, весь насторожившись. Он остановился, готовясь сделать новый прыжок.

За границей прыжок этот был им сделан: появилась «Москва кабацкая».

Для «Москвы кабацкой» он взял некоторые элементы у левых эротических поэтов того времени, разбавил эти чрезмерно терпкие элементы Александром Блоком, вульгаризировал цыганским романсом.

Благодаря качествам, которые Есенин придал с помощью Блока и цыганского романса изысканной и малопонятной левой поэзии того времени, она стала общедоступней и общеприемлемей.

Перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:

— Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?

— А ты руки ему не подавай! — отвечает Сахаров.

— Я не подам руки Мережковскому,— соглашается

Есенин.— Я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!

1923 г.

По возвращении из-за границы Есенин перевез свое небольшое имущество в Богословский переулок, в комнату, где он обитал раньше.

Здесь он в первый раз читал своим друзьям «Москву кабацкую».

Комната долгое время оставалась неприбранной: в беспорядке были разбросаны его американские чемоданы, дорожные ремни, принадлежности туалета, части костюма.

На окне бритва и книги: «Антология новейшей русской поэзии» на английском языке [25] и Илья Эренбург «Гибель Европы».

Есенин по адресу Эренбурга:

— Пустой. Нулевой. Лучше не читать.

Прошло два или три дня после возвращения Есенина на родину. В эти дни я почти не расставался с ним.

Вечером мы у памятника Пушкина. Берем извозчика, покупаем пару бутылок вина и направляемся к Зоологическому саду. в студию Коненкова.

Чтобы ошеломить Коненкова буйством и пьяным видом, Есенин, подходя к садику коненковского дома, заломил кепку, растрепал волосы, взял под мышку бутылки с вином и, шатаясь и еле выговаривая приветствия, с шумом ввалился в переднюю.

После вскриков удивления и объятий, после чтения «Москвы кабацкой» Коненков повел нас в мастерскую.

Сергей хвалил работы Коненкова, но похвалы эти были холодны.

Вдруг он бросается к скульптору, чтобы поцеловать ему руки.

— Это гениально! Это гениально!— восклицает он, показывая на портрет жены скульптора.

Как почти всегда, он и на этот раз не мог обойтись без игры, аффектации, жеста.

Но работа Коненкова, столь восторженно отмеченная Есениным, была, пожалуй, самой лучшей из всех его вещей, находившихся в мастерской.

«Стойло Пегаса».

Сергей показывает правую руку; на руке что-то вроде черной перчатки: чернила.

— В один присест написал статью об Америке для «Известий». Это только первая часть. Напишу еще ряд статей.

Ряда статей он, как известно, не написал. Больше не упоминал об этих статьях [26].

⟨...⟩

Осень.

У Есенина наступает временный перерыв в творчестве.

Он хочет заняться редактированием и переделкой старой литературы для широких читательских масс.

Встретив меня в «Стойле Пегаса», сообщает:

— Я начинаю работать над Решетниковым. Подготовляю Решетникова для Государственного издательства.

Осень. Ранним утром я встречаю Есенина на Тверской: он несет целую охапку книг: издания «Круга». Так и несет, как охапку дров. На груди. Обеими руками.

Без перчаток. Холодно.

Вечером того же дня в «Стойле Пегаса» он говорит мне:

— Я занимаюсь просмотром новейшей литературы. Нужно быть в курсе современной литературы. Хочу организовать журнал. Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов [27].

1924 г.

Летний день. Нас четверо. Идем к одному видному советскому работнику. Хлопотать о деле.

Жарко. Есенин не пропускает ни одного киоска с водами. У каждого киоска он предлагает нам выпить кваса.

Я нападаю на него:

— У тебя, Сергей, столько раз повторяется слово «знаменитый», что в собрании сочинений оно будет на каждой странице. У Игоря Северянина лучше: тот раза два или три написал, что он гений, и перестал. А знаешь, у кого ты заимствовал слово «знаменитый»? Ты заимствовал его, конечно бессознательно, из учебника церковной истории протоиерея Смирнова. Протоиерей Смирнов любит это словечко!

Дальше я привожу из Есенина целый ворох церковнославянских слов.

Он долго молчит. Наконец не выдерживает, начинает защищаться.

В ожидании приема у советского работника продолжаем прерванный разговор.

— Раньше я все о мирах пел,— заметил Есенин,— все у меня было в мировом масштабе. Теперь я пою и буду петь о мелочах.

Лето. Пивная близ памятника Гоголю.

Есенин, обращаясь к начинающему поэту, рассказывает, как Александр Блок учил его писать лирические стихи:

— Иногда важно, чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать стихи. Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок, когда я с ним познакомился в Петербурге и читал ему свои ранние стихи.

Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, говорил мне Блок.

Идеальная мера лирического стихотворения двадцать строк.

Если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее двадцати строк, оно, безусловно, потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым.

Учись быть кратким!

В стихотворении, имеющем от трех до пяти четверостиший, можно все сказать, что чувствуешь, можно выразить определенную настроенность, можно развить ту или иную мысль.

Это на первых порах. Потом, через год, через два, когда окрепнешь, когда научишься писать стихотворения в двадцать строк,— тогда уже можешь испытать свои силы, можешь начинать писать более длинные лирические вещи.

Помни: идеальная мера лирического стихотворения — двадцать строк.

В журнале группы имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» пропагандировался и выдвигался на первый план Таиров и Московский Камерный театр.

Есенин был недоволен таким положением вещей.

На собраниях группы имажинистов и в частных беседах он говорил:

— Во-первых, вы меня ссорите с Мейерхольдом, с кото-

рым я ссориться не намерен; во-вторых, я нахожу, что театр Мейерхольда интереснее театра Таирова.

В дальнейшем, когда рознь в группе имажинистов обозначилась отчетливее, он заявлял:

— В журнале, где выдвигают Таирова и нападают на Мейерхольда, я участвовать не желаю. В журнале, который я организую в дальнейшем, будет пропагандироваться театр Мейерхольда.

〈...〉

Брюсовский пер., д. 2а, кв. 27.

Вечер. Есенин на кушетке, в цветном персидском халате, в туфлях. Берет с подоконника «Голубые пески» Всеволода Иванова. Перелистывает. Бросает на стол. Снова, не читая, перелистывает и с аффектацией восклицает:

— Гениально! Гениальный писатель!

И звук «г» у него, как почти всегда, по-рязански.

Иван Рукавишников выступает в «Стойле Пегаса» со «Степаном Разиным».

Есенин стоит близ эстрады и внимательно слушает сказ Ивана Рукавишникова, написанный так называемым напевным стихом.

В перерывах и после чтения «Степана Разина» он повторяет:

— Хорошо! Очень хорошо! Талантливая вещь!

«Стойло Пегаса». Я прочел книгу Александра Востокова «Опыт о русском стихосложении», изданную в 1817 году. Встретив Есенина, я делился с ним прочитанным, восторгался редкой книгой.

Книга была редкой не только по содержанию, но и по внешнему виду: на ней был в качестве книжного знака фамильный герб одного из видных декабристов.

Я привел Есенину мнение Пушкина о Востокове: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостью и сметливостию»[28].

Я сообщил ему, что первого русского стихотворца звали также Сергеем: Сергей Кубасов, сочинитель «Хронографа», по свидетельству Александра Востокова, первый в России написал в XVI веке русские рифмованные стихи.

Темами нашей беседы в дальнейшем, естественно, были: формы стиха, эволюция русского стиха.

Между прочим, Есенин сказал:

— Я давно обратил внимание на переносы в стихе. Я учился и учусь стиху на конкретном стихотворном материале. Переносы предложения из одной строки в другую в первый раз я заметил у Лермонтова. Я всегда избегал в своих стихах переносов и разносок. Я люблю естественное течение стиха. Я люблю совпадение фразы и строки.

Я ответил, что в стихах Есенина в самом деле мало переносов и разносок, в особенности если иметь в виду его песенную лирику; в этом отношении он походит на наших русских песнотворцев и сказочников: по мнению Востокова, переносы и разноски заимствованы нашей искусственной книжной поэзией от греков и римлян.

В одной из моих тетрадок сохранилась выдержка из книги Востокова, относящаяся к нашему разговору. Привожу ее полностью:

«Свойственные греческой и римской поэзии, а с них и в новейшую нашу поэзию вошедшие разноски слов (inversions) и переносы из одного стиха в другой (enjambements) в русских стихах совсем непозволительны: у русского песнотворца или сказочника в каждом стихе полный смысл речи заключается, и расположение слов ничем не отличается от простого разговорного».

1925 г.

Лето.

По возвращении с Кавказа Есенин сообщал о романе, который он будто бы начал писать. Но, по-видимому, это было только предположением. К прозе он не вернулся.

Намерение его осталось невыполненным.

Лето.

Я с Есениным у одного из наших общих знакомых. Он мечтает отпраздновать свою свадьбу: намечает — кого пригласить из друзей, где устроить свадебный пир.

Бывает так: привяжется какой-нибудь мотив песни или стихотворный отрывок, повторяешь его целый день. К Есенину на этот раз привязался Демьян Бедный:

Как родная меня мать
Провожала.
Тут и вся моя родня
Набежала.

Он пел песню Демьяна Бедного, кое-кто из присутствующих подтягивал.

— Вот видите! Как-никак, а Демьяна Бедного поют. И в деревне поют. Сам слышал! — заметил Есенин.

— Не завидуй, Сергей, Демьяном станешь! — ответил ему кто-то из присутствующих.

Классической музыкой Есенин мало интересовался. По крайней мере, я лично за все время нашей многолетней дружбы (с 1918 г.) ни разу не видал его в опере или в концерте.

Он плясал русскую, играл на гармонике, пел народные песни и частушки. Песен и частушек знал он большое количество. Некоторые частушки, распеваемые им, были плодом его творчества. Есенинские частушки большею частью сложены на случай, на злобу дня или направлены по адресу его знакомых: эти частушки его, как и многие народные частушки, имеют юмористический характер.

В период 1918—1920 г., в самый пышный расцвет богемной поэтической жизни Москвы, Есенин на литературных вечерах в кафе «Домино» и в «Стойле Пегаса» любил распевать частушки.

С каждым годом он становился угрюмей. Гармонь забросил давно. Перестал плясать. Все реже и реже пел частушки и песни.

Однажды, летом 1921 года, я направился в Богословский переулок, чтобы послушать только что написанного «Пугачева».

Лишь только я вошел в парадное дома № 3, как до меня стали доноситься какие-то протяжные завывания. Я недоумевал: откуда эти странные звуки?

Вхожу в переднюю. Дверь, ведущая в комнату, расположенную по левую сторону, открыта. Есенин и Орешин сидят в углу за столом и тянут какую-то старинную песню.

Они были неподвижны. Лица их посинели от напряжения. Так поют степные мужики и казаки.

Я не хотел мешать певцам, мне жаль было прерывать песню, и можете себе представить, сколько времени мне пришлось бы стоять в передней?

Песня была не окончена: Сергей заметил меня и потянул в комнату.

Один глаз у него был подбит — синяк и ссадина.

— Это я об косяк, это я об косяк,— повторял он, усаживая меня за стол.

Осенью 1925 года я собирался устроить вечер народной песни. По моим предположениям, на вечере должны были петь поэты из народа и мои деревенские друзья.

Я пригласил Есенина на этот вечер народной песни. Он изъявил согласие принять участие на вечере, но сделал это с полным равнодушием. Я заметил его безразличное отношение к песням и спросил:

— Ты, кажется, разлюбил народные песни?

— Теперь я о них не думаю. Со мной было так: увлекался песнями периодически, отхожу от песни и снова прихожу к ней.

Всем известно литературное «супружество» Клюева и Есенина. На нем останавливаться не буду.

Уже с 1918 года Есенин начинает отходить от Клюева.

Причины расхождения с Клюевым излагаются в «Ключах Марии».

«Для Клюева,— пишет автор «Ключей Марии»,— все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников». «Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов..., он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея..., художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и «изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие».

Те же мысли мы находим у Есенина в стихотворении, посвященном Клюеву: «Теперь любовь моя не та».

Однако в последнее время у него были попытки примирения с Клюевым, попытки совместной работы.

Так, в 1923 году, когда обозначился уход Есенина из группы имажинистов, он прежде всего обратился к Клюеву и хотел восстановить с ним литературную дружбу.

— Я еду в Питер,— таинственным шепотом сообщает мне Сергей,— я привезу Клюева. Он будет у нас главный, он будет председателем «Ассоциации вольнодумцев». Ведь это он учредил «Ассоциацию вольнодумцев»!

Клюева он действительно привез в Москву.

Устроил с ним несколько совместных выступлений. Но прочных литературных взаимоотношений с Клюевым не наладилось. Стало ясно: между ними нет больше точек соприкосновения [29]. 〈...〉

Со стороны Есенина это была последняя попытка совместной литературной работы с Клюевым. Личными

друзьями они остались: Есенин, приезжая в Ленинград, считал своим долгом посетить Клюева.

К последним стихам Клюева Есенин относился отрицательно.

Осенью 1925 года Есенин, будучи у меня, прочел «Гитарную» Клюева, напечатанную в ленинградской «Красной газете» [30].

— Плохо! Никуда! — вскричал он и бросил газету под ноги.

Осень. Есенин и С. А. Толстая у меня.

Даю ему новый карандаш.

— Люблю мягкие карандаши,— восклицает он,— этим карандашом я напишу строк тысячу!

Мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина. На клочке бумаги он набрасывает проект первого номера журнала:

«1. Статью.
2. Статью.
3. Конч. о живописи.
Репродукции.
Ес.
Нас.
Груз.
Рецензии» [31].

— Я непременно напишу статью для журнала. Непременно. Я знаю твою линию в искусстве. Мы не совпадаем. Я напишу иначе. Твоя статья будет дополнять мою — и обратно,— мечтает Есенин и просит достать ему взаймы червонец. Два дня или три назад он получил гонорар в Госиздате, сегодня уже ни копейки нет.

Для первого номера журнала предполагалось собрать следующий материал: статья Д. Кончаловского о современной живописи; репродукции с картин П. Кончаловского, А. Куприна, В. Новожилова; стихи Есенина, Грузинова, Наседкина.

Проект журнала составлялся спешно. В ближайшее время решили собраться еще раз, чтобы составить подробный план журнала и приступить к работе по его изданию [32]. ⟨...⟩

Июнь 1926

М. Д. РОЙЗМАН

ИЗ КНИГИ «ВСЕ, ЧТО ПОМНЮ О ЕСЕНИНЕ»

Все это происходило в ту осеннюю пору 1919 года, когда Союз поэтов решил приспособить свое помещение под клуб. Союз находился в бывшем кафе «Домино» на Тверской улице (ныне Горького) дом № 18, напротив улицы Белинского (бывший Долгоруковский переулок). После Октябрьской революции владелец кафе «Домино» эмигрировал за границу, и беспризорное помещение отдали Союзу поэтов.

Переделка под клуб состояла в небольшой перестройке вестибюля и украшении росписью стен первого зала, отделенного от второго аркой. Занимался этим молодой задорный художник Юрий Анненков, стилизуя все под гротеск, лубок, а иногда отступая от того и другого. Например, на стене, слева от арки, была повешена пустая, найденная в сарае бывшего владельца «Домино» птичья клетка. Далее произошло невероятное: первый председатель союза Василий Каменский приобрел за продукты новые брюки, надел их, а старые оставил в кафе. В честь него эти черные с заплатами на заду штаны приколотили гвоздями рядом с клеткой. На кухне валялась плетеная корзина из-под сотни яиц, кто-то оторвал крышку и дал Анненкову. Он прибил эту крышку на брюки Василия Васильевича наискосок. Под этим «шедевром» белыми буквами были выведены строки:

Будем помнить Стеньку,
Мы от Стеньки Стеньки кость.
И пока горяч — кистень куй,
Чтоб звенела молодость!!! [1]

Далее вдоль стены шли гротесковые рисунки, иллюстрирующие дву- и четверостишия поэтов А. Блока, Андрея

Белого. В. Брюсова, имажинистов. Под красной лодкой были крупно выведены строки Есенина:

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего[2].

В клубе была доступная для всех членов союза эстрада. Редкий литературный вечер обходился без выступления начинающих или старых поэтов. 〈...〉

Присматриваясь к членам союза и прислушиваясь к их читаемым с эстрады стихам, я решил попытать счастья. Я взял с собой номера журнала «Свободный час» с моими напечатанными опусами, шесть стихотворений, на основании которых я был принят в члены «Дворца искусств», помеченный Ю. Айхенвальдом стишок и стихотворение «Странники», которое похвалили в литературно-художественной «Среде»' (председательствовал Ю. А. Бунин). Я отправился в союз к дежурному члену президиума Василию Каменскому и сказал, что хочу вступить в союз, да побаиваюсь. Он засмеялся и ответил, что ничего не может сказать, пока не прочтет мои стихи. Я вынул из кармана мой поэтический багаж и подал ему. Он прочитал, сказал, что поддержит мою кандидатуру, предложил написать заявление и заполнить анкету.

Спустя неделю я пошел в Союз поэтов, чтобы узнать, рассмотрели ли мое заявление. Я открыл дверь президиума, за столом сидел Есенин, а перед ним лежала какая-то напечатанная на машинке бумага.

— Заходи! Заходи! — воскликнул он.

Я поздоровался и объяснил, зачем пришел. Он — в то время член правления союза — сказал, что в союз я принят, и добавил:

— Ты что же это, плохие стихи показал, а хорошее скрыл.

— А какое хорошее?

— «Странники»! 〈...〉

— Я задумал учредить литературное общество,— сказал Есенин,— и хочу привлечь тебя.— Он дал мне напечатанную бумагу.— Читай!

Это был устав «Ассоциации вольнодумцев в Москве». Там было сказано: «Ассоциация» ставит целью «духовное и экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции» и ведущих самое широкое распространение «творческих идей революционной мысли и революционного искусства человечества путем устного и печатного слова». Действитель-

ными членами «Ассоциации» могли быть «мыслители и художники, как-то: поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы» [3].

Далее в уставе — очень характерном для того времени — приводился обычный для такого рода организаций порядок созыва общего собрания, выбора совета «Ассоциации», который позднее стал именоваться правлением, а также поступление средств «Ассоциации», складывающихся из доходов от лекций, концертов, митингов, изданий книг и журналов, работы столовой и т. п.

Под уставом стояли несколько подписей: Д. И. Марьянов, Я. Г. Блюмкин, Мариенгоф, А. Сахаров, Ив. Старцев, В. Шершеневич. Впоследствии устав еще подписали М. Герасимов, А. Силин, Колобов, Марк Криницкий.

— Прочитал и подписывай! — заявил Есенин.

— Сергей Александрович! — заколебался я.— Я же только-только начинаю!

— Подписывай! — Он наклонился и, понизив голос, добавил: — Вопрос идет об издательстве, журнале, литературном кафе...

На уставе сбоку стояла подпись Шершеневича: «В. Шерш.». Я взял карандаш и тоже подписался пятью буквами.

— Это еще что такое? — сказал Есенин сердито.

— Я подписался, как Шершеневич.

— Раньше будь таким, как Шершеневич, а потом так же подписывайся.

Он стер мою подпись резинкой, и я вывел фамилию полностью.

24 октября 1919 года под этим уставом стояло:

«Подобные общества в Советской России в утверждении не нуждаются. Во всяком случае, целям Ассоциации я сочувствую и отдельную печать разрешаю иметь.

Народный комиссар по просвещению:

А. Луначарский». ⟨...⟩

Однажды, проходя по Страстному бульвару, я увидел, как Есенин слушает песенку беспризорного, которому можно было дать на вид и пятнадцать лет, и девять — так было измазано сажей его лицо. В ватнике с чужого плеча, внизу словно обгрызанном собаками, разодранном на спине, с торчащими белыми клочьями ваты, а кой-где просвечивающим голым посиневшим телом,— беспризорный,

аккомпанируя себе деревянными ложками, пел простуженным голосом:

Позабыт, позаброшен.
С молодых юных лет
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет!

Сергей не сводил глаз с несчастного мальчика, а многие узнали Есенина и смотрели на него. Лицо поэта было сурово, брови нахмурены. А беспризорный продолжал:

Эх, умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

Откинув полу своего ватника, приподняв левую, в запекшихся ссадинах ногу, он стал на коленке глухо выбивать деревянными ложками дробь. Есенин полез в боковой карман пальто за носовым платком, вынул его, а вместе с ним вытащил кожаную перчатку, она упала на мокрый песок. Он вытер платком губы, провел им по лбу. Кто-то поднял перчатку, подал ему, Сергей молча взял ее, положил в карман.

И никто на могилку
На мою не придет,
Только ранней весною
Соловей пропоет.

Спрятав ложки в глубокую прореху ватника, беспризорный с протянутой рукой стал обходить слушателей. Некоторые давали деньги, вынимали из сумочек кусочек обмылка, горсть пшена, щепотку соли, и все это исчезало под ватником беспризорного, очевидно, в подвешенном мешочке. Есенин вынул пачку керенок и сунул в руку мальчишке. Тот поглядел на бумажки, потом на Сергея:

— Спасибо, дяденька! Еще спеть?

— Не надо.

Я шел с рюкзаком за спиной, где лежал паек, полученный в Главном Воздушном Флоте, и вспомнил, что там есть довесок от ржаной буханки. Я снял рюкзак, поставил на покрытую снегом скамейку, раскрыл и дал этот кусок беспризорному. Он схватил его обеими руками, стал рвать зубами большие мягкие куски и, почти не жуя, глотать их.

Я завязал рюкзак, вскинул за спину и подошел к Есенину. Мы поздоровались и зашагали по бульвару молча.

Когда дошли до памятника Пушкину, он остановился, посмотрел на фигуру поэта, тяжело вздохнул. Вдруг с яростью произнес:

— Ненавижу войну до дьявола! — И так заскрежетал зубами, что у меня мороз пробежал по спине.

Мы пошли дальше. Сергей оглянулся, еще раз вскинув глаза на памятник. Это движение я наблюдал постоянно, когда случалось вместе с ним проходить мимо Пушкина. Как-то, зимней ночью 1923 года, мы возвращались по Тверскому бульвару из Дома печати. Готовясь ступить на панель Страстной (ныне Пушкинской) площади, он также оглянулся и воскликнул:

— Смотри, Александр — белесый!

Я посмотрел на памятник и увидел, что освещенный четырехгранными фонарями темно-бронзовый Пушкин и впрямь кажется отлитым из гипса. Есенин стал, пятясь, отходить на панель, на мостовую, то же самое сделал и я. Светлый Пушкин на глазах уходил, как бы исчезая в тумане. Возможно, это имело какое-то влияние на посвященное Александру Сергеевичу стихотворение, которое Сергей прочитал 6 июля 1924 года на митинге в день стодвадцатипятилетия со дня рождения великого поэта, стоя на ступенях памятника:

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган...[4]

Когда мы стали спускаться вниз по Тверской, Есенин сказал, что завтра открытие кафе «Стойло Пегаса», и пригласил меня в три часа прийти на обед. Будут все имажинисты и члены «Ассоциации вольнодумцев».

«Стойло Пегаса» находилось на Тверской улице, дом № 37 (приблизительно там, где теперь на улице Горького кафе «Мороженое», дом № 17). Раньше в этом же помещении было кафе «Бом», которое посещали главным образом литераторы, артисты, художники. Кафе принадлежало одному из популярных музыкальных клоунов-эксцентриков «Бим-Бом» (Радунский — Станевский). Говорили, что это кафе подарила Бому (Станевскому), после Октябрьской революции уехавшему в Польшу, его богатая поклонница Сиротинина, и оно было оборудовано по последнему слову техники и стиля того времени. Когда оно перешло к имажи-

нистам, там не нужно было ничего ремонтировать и ничего приобретать из мебели и кухонной утвари.

Для того чтобы придать «Стойлу» эффектный вид, известный художник-имажинист Георгий Якулов нарисовал на вывеске скачущего «Пегаса» и вывел название буквами, которые как бы летели за ним. Он же с помощью своих учеников выкрасил стены кафе в ультрамариновый цвет, а на них яркими желтыми красками набросал портреты его соратников-имажинистов и цитаты из написанных ими стихов. Между двух зеркал было намечено контурами лицо Есенина с золотистым пухом волос, а под ним выведено:

Срежет мудрый садовник осень
Головы моей желтый лист [5].

Слева от зеркала были изображены нагие женщины с глазом в середине живота, а под этим рисунком шли есенинские строки:

Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.

Справа от другого зеркала глядел человек в цилиндре, в котором можно было признать Мариенгофа, ударяющего кулаком в желтый круг. Этот рисунок поясняли его стихи:

В солнце кулаком бац!
А вы там,— каждый собачьей шерсти блоха,
Ползайте, собирайте осколки
Разбитой клизмы [6].

В углу можно было разглядеть, пожалуй, наиболее удачный портрет Шершеневича и намеченный пунктиром забор, где было написано:

И похабную надпись заборную
Обращаю в священный псалом [7].

Через год на верху стены, над эстрадой крупными белыми буквами были выведены стихи Есенина:

Плюйся, ветер, охапками листьев,—
Я такой же, как ты, хулиган! [8]

Я пришел в «Стойло» немного раньше назначенного часа и увидел Георгия Якулова, принимающего работы своих учеников.

Георгий Богданович в 1919 году расписывал стены кафе «Питтореск», вскоре переименованного в «Красный петух», что, впрочем, не помешало этому учреждению прогореть [9]. В этом кафе выступали поэты, артисты, художники, и там Есенин познакомился с Якуловым. Георгий Богданович был очень талантливый художник левого направления: в 1925 году на Парижской выставке декоративных работ Якулов получил почетный диплом за памятник 26 бакинским комиссарам и Гран При за декорации к «Жирофле-Жирофля» (Камерный театр).

Якулов был в ярко-красном плюшевом фраке (постоянно он одевался в штатский костюм с брюками галифе, вправленными в желтые краги, чем напоминал наездника). Поздоровавшись со мной, он, продолжая давать указания своим расписывающим стены «Стойла» ученикам, с места в карьер стал бранить пожарную охрану, запретившую повесить под потолком фонари и транспарант.

Вскоре в «Стойло» стали собираться приглашенные поэты, художники, писатели. Со многими из них я познакомился в клубе Союза поэтов, с остальными — здесь. Есенин был необычайно жизнерадостен, подсаживался то к одному, то к другому. Потом первый поднял бокал шампанского за членов «Ассоциации вольнодумцев», говорил о ее культурной роли, призывая всех завоевать первые позиции в искусстве. После него, по обыкновению, с блеском выступил Шершеневич, предлагая тост за образоносцев, за образ. И скаламбурил: «Поэзия без образа — безобразие».

Наконец Есенин заявил, что он просит «приступить к скромной трапезе». Официантки (в отличие от клуба Союза поэтов, где работали только официанты, в «Стойле» был исключительно женский персонал) начали обносить гостей закусками. Многие стали просить Сергея почитать стихи. Читал он с поразительной теплотой, словно выкладывая все, что наболело на душе. Особенно потрясло стихотворение:

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица...

20 февраля 1920 года состоялось первое заседание «Ассоциации вольнодумцев». Есенин единогласно был выбран председателем, я — секретарем, и мы исполняли эти обязанности до последнего дня существования организации. На этом заседании постановили издавать два журнала:

один — тонкий, ведать которым будет Мариенгоф; другой толстый, редактировать который станет Есенин. Вопрос о типографии для журналов, о бумаге, о гонорарах для сотрудников решили обсудить на ближайшем заседании. Тут же были утверждены членами «Ассоциации», по предложению Есенина — скульптор С. Т. Коненков, режиссер В. Э. Мейерхольд; по предложению Мариенгофа — режиссер А. Таиров; Шершеневич пытался провести в члены «Ассоциации» артиста Камерного театра О., читавшего стихи имажинистов, но его кандидатуру отклонили [10]. ⟨...⟩

4 ноября 1920 года в Большом зале консерватории состоялся суд над имажинистами. Билеты были распроданы задолго до вечера, в гардеробной было столпотворение вавилонское, хотя большинство посетителей из-за холода не рисковали снять шубу. Там я услыхал, как краснощекий очкастый толстяк авторитетно говорил:

— Давно пора имажинистов судить! Ручаюсь, что приговор будет один: всем принудиловка!

Другой — в шубе с хивинковым воротником, с бородой-эспаньолкой — как будто поддержал толстяка:

— Закуют в кандалы и погонят по Владимирке! — И, переменив тон, сердито добавил: — Это же литературный суд! Литературный! При чем тут принудиловка? Надо понимать, что к чему!

В зале, хотя и слегка натопленном, все-таки было прохладно. Народ не только стоял вдоль стен, но и сидел на ступенях между скамьями.

Имажинисты пришли на суд в полном составе. На эстраде стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол, а за ним сидели двенадцать судей, которые были выбраны из числа слушателей, а они, в свою очередь, из своей среды избрали председателя. Неподалеку от судей восседал литературный обвинитель — Валерий Брюсов, рядом с ним — гражданский истец Иван Аксенов; далее разместились свидетели обвинения и защиты.

Цитируя наизусть классиков поэзии и стихи имажинистов, Брюсов произнес обвинительную речь, окрасив ее изрядной долей иронии. Сущность речи сводилась к тому, что вот имажинисты пробились на передовые позиции советской поэзии, но это явление временное: или их оттуда вытеснят другие, или они... сами уйдут. Это покушение на крылатого Пегаса с негодными средствами.

Предъявляя иск имажинистам, И. А. Аксенов тоже иронизировал над стихами имажинистов, причем особенно досталось Шершеневичу и Кусикову. Но иногда ирония не удавалась Ивану Александровичу и, как бумеранг, возвращалась обратно... на его голову, что, естественно. вызывало смех над гражданским истцом. ⟨...⟩

Хорошо выступил Есенин, очень умно иронизируя над речью обвинителя Брюсова. Сергей говорил, что не видит. кто мог бы занять позицию имажинистов: голыми руками их не возьмешь! А крылатый Пегас ими давно оседлан, и имажинисты держат его в своем «Стойле». Они никуда не уйдут и еще покажут, где раки зимуют. Свою речь Сергей завершил с блеском:

— А судьи кто? — воскликнул он, припомнив «Горе от ума». И, показав пальцем на Аксенова, у которого была большая рыжая борода, продолжал: — Кто этот гражданский истец? Есть ли у него хорошие стихи? — И громко добавил: — Ничего не сделал в поэзии этот тип, утонувший в своей рыжей бороде!

Это был разящий есенинский образ. Мало того, что все сидящие за судейским столом и находящиеся в зале консерватории громко хохотали. Мало того! В следующие дни в клуб Союза поэтов стали приходить посетители и просили показать им гражданского истца, утонувшего в своей рыжей бороде. Число любопытных увеличивалось с каждым днем. Аксенов, зампред Союза поэтов, ежевечерне бывавший в клубе, узнал об этом и сбрил бороду!

Суд над имажинистами закончился предложением одного из свидетелей защиты о том, чтоб имажинисты выступили со своим последним словом, то есть прочитали свои новые стихи. Все члены «Ордена имажинистов» читали стихотворения и имели успех. Объяснялось это тем, что в нашем «ордене» был незыблемый закон Есенина: «Каждый поэт должен иметь свою рубашку». И у каждого из нас была своя тема, своя манера, может быть, плохие, но мы отличались друг от друга. Тем более мы совсем были непохожи на ту массу поэтов, которая обычно представляла свои литературные группы на олимпиадах или вечерах Всероссийского союза поэтов. Конечно, наши выступления увенчал чтением своих поэм Есенин, которого долго не отпускали с эстрады. Это и определило приговор двенадцати судей: имажинисты были оправданы.

В заключение четыре имажиниста — основные участники суда: Есенин, Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов — встали плечом к плечу и, как это всегда делалось

после выступления имажинистов, подняв вверх правые руки и поворачиваясь кругом, прочитали наш межпланетный марш:

Вы, что трубами слав не воспеты,
Чье имя не кружит толп бурун,—
Смотрите —
Четыре великих поэта
Играют в тарелки лун.

17 ноября того же года в Большом зале Политехнического музея был организован ответный вечер имажинистов: «Суд имажинистов над литературой». Не только аудитория была набита до отказа, но перед входом стояла толпа жаждущих попасть на вечер, и мы — весь «Орден имажинистов» — с помощью конной милиции с трудом пробились в здание.

Первым обвинителем русской литературы выступил Грузинов. Голос у него был тихий, а сам он спокойный, порой флегматичный,— недаром мы его прозвали Иваном Тишайшим. На этот раз он говорил с увлечением, громко, чеканно, обвиняя сперва символистов, потом акмеистов и особенно футуристов в том, что они пишут плохие стихи.

— Для доказательства я процитирую их вирши! — говорил он и, где только он их откопал, читал скверные строки наших литературных противников.

Уже встал со стула второй обвинитель — Вадим Шершеневич, когда в десятом ряду поднялась рука, и знакомый голос произнес:

— Маяковский просит слова!

Владимир Владимирович вышел на эстраду, положил руки на спину стула и стал говорить, обращаясь к аудитории:

— На днях я слушал дело в народном суде,— заявил он.— Дети убили свою мать. Они, не стесняясь, заявили на суде, что мать была дрянной женщиной. Однако преступление намного серьезней, чем это может показаться на первый взгляд. Мать — это поэзия, а сыночки-убийцы — имажинисты! [11]

Слушатели стали аплодировать Маяковскому. Шум не давал ему продолжать свое выступление. Напрасно председательствующий на суде Валерий Брюсов звонил в колокольчик — не помогало! Тогда поднялся с места Шершеневич и, покрывая все голоса, закричал во всю свою «луженую» глотку:

— Дайте говорить Маяковскому!

Слушатели замолкли, и оратор продолжал разносить имажинистов за то, что они пишут стихи, оторвавшись от жизни. Всем попало на орехи, но особенно досталось Кусикову, которого Маяковский обвинил в том, что он еще не постиг грамоты ученика второго класса. Как известно, поэт написал о Кусикове следующие строки:

На свете
много
вкусов
и вкусиков:
одним нравится
Маяковский,
другим —
Кусиков [12].

Потом выступил Шершеневич и начал громить футуристов, заявляя, что Маяковский валит с больной головы на здоровую. Это футуристы убили поэзию. Они же сбрасывали всех поэтов, которые были до них, с парохода современности. Маяковский с места крикнул Вадиму:

— Вы у меня украли штаны!

— Заявите в уголовный розыск! — ответил Шершеневич.— Нельзя, чтобы Маяковский ходил по Москве без штанов!

Не впервые вопрос шел о стихотворении Маяковского «Кофта фата», в котором он написал:

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.

Эти строки, где черные штаны были заменены полосатыми, попали в стихи Шершеневича.

Вадим выступил неплохо, и вдруг после него, блестящего оратора, Брюсов объявил Есенина. Мне трудно сосчитать, сколько раз я слышал выступления Сергея, но такого, как тот раз, никогда не было!

(Я должен оговориться: конечно, это была горячая полемика между Есениным и Маяковским. В беседах да и на заседании «ордена» Сергей говорил: хорошо бы иметь такую «политическую хватку», какая у Маяковского. Однажды, придя в «Новый мир» на прием к редактору, я сидел в приемной и слышал, как в секретариате Маяковский громко хвалил стихи Есенина, а в заключение сказал: «Смотрите, Есенину ни слова о том, что я говорил». Именно эта взаимная положительная оценка и способствовала их дружелюбным встречам в 1924 году.)

Есенин стоял без шапки, в распахнутой шубе серого драпа, его глаза горели синим огнем, он говорил, покачиваясь из стороны в сторону, говорил зло, без запинки.

— У этого дяденьки — достань воробышка хорошо привешен язык,— охарактеризовал Сергей Маяковского.— Он ловко пролез сквозь игольное ушко Велемира Хлебникова и теперь готов всех утопить в поганой луже, не замечая, что сам, сидит в ней. Его талантливый учитель Хлебников понял, что в России футуризму не пройти ни в какие ворота, и при всем честном народе, в Харькове, отрекся от футуризма. Этот председатель Земного шара торжественно вступил в «Орден имажинистов» и не только поместил свои стихи в сборнике «Харчевня зорь», но в нашем издательстве выпустил свою книгу «Ночь в окопе» [13]. ⟨...⟩

— А ученик Хлебникова Маяковский все еще куражится,— продолжал Есенин.— Смотрите, мол, на меня, какая я поэтическая звезда, как рекламирую Моссельпром и прочую бакалею [14]. А я без всяких прикрас говорю: сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитез!

— А каков закон судьбы ваших «кобылез»? — крикнул с места Маяковский.

— Моя кобыла рязанская, русская. А у вас облако в штанах! Это что, русский образ? Это подражание не Хлебникову, не Уитмену, а западным модернистам...

Перепалка на суде шла бесконечная. Аудитория была довольна: как же, в один вечер слушают Брюсова, Есенина, Маяковского, имажинистов, которые в заключение литературного судебного процесса стали читать стихи. Сергей начал свой «Сорокоуст», но на четвертой озорной строке, как всегда, начался шум, выкрики: «Стыдно! Позор» и т. д. По знаку Шершеневича мы подняли Есенина и поставили его на кафедру. В нас кто-то бросил недоеденным пирожком. Однако Сергей читал «Сорокоуст», по обыкновению поднимая вверх ладонью к себе правую разжатую руку и как бы крепко схватив в строфе основное слово, намертво сжимал ее и опускал. ⟨...⟩

Ночью Есенин ехал на извозчике домой, ветром у него сдуло шляпу. Он остановил возницу, полез за ней в проем полуподвального этажа, разбил стекло и глубоко поранил правую руку [15]. Его отвезли в Шереметевскую больницу (сейчас Институт имени Склифосовского). Первое время

к нему никого не пускали, а потом я и А. А. Берзина отправились его навестить.

В больнице мы узнали, что рана Сергея неглубокая, и опасение, что он не будет владеть рукой, отпало. Мы легко разыскали палату, где находился Есенин. Он лежал на кровати, покрытой серым одеялом. Правая забинтованная рука лежала под одеялом, здоровой левой он пожимал нам руки. Берзина положила на стоявший возле кровати стул привезенную завернутую в бумагу снедь, я — испеченный моей матерью торт.

Есенин осунулся, лицо приняло зеленоватый оттенок. Его все-таки мучила боль, он подергивался. Но глаза засияли радостным голубым светом.

Сергей стал подробно расспрашивать нас об интересующих его делах. В то время он мучился, не имея отдельной комнаты, и вопрос о жилище был для него самым насущным. Берзина сказала, что у него будет комната. Это успокоило его, и он стал говорить о работе над «Страной негодяев», где он собирался вывести атамана Махно. 〈...〉

Есенин попросил позвать к себе беспризорного мальчика, который повредил себе ногу и передвигался на костылях. 〈...〉

Берзина спросила Сергея, работал ли он над стихами. Он ответил утвердительно, подвинулся повыше на подушки и стал читать небольшое стихотворение «Папиросники». Я уже писал, какое тяжелое впечатление произвела на него встреча с беспризорным на Тверском бульваре, но, разумеется, он и раньше наблюдал жизнь этих несчастных детей, обездоленных войной.

Улицы печальные,
Сугробы да, мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

Очевидно, мальчик, бывая в палате у Сергея, рассказывал ему о своих мытарствах по белу свету, потому что в стихотворении были такие подробности, которые человек со стороны не узнает.

Беспризорный мальчик был потрясен. Ведь это песня о его несчастной доле. Чем больше он слушал, тем сильнее всхлипывал.

— Ну, чего ты, Мишка? — сказал Есенин ласково, закончив чтение.— Три к носу, все пройдет.

— Сергей Александрович,— попросила Берзина,— прочтите еще что-нибудь!

Есенин подумал и объявил, что прочтет «Черного человека». Еще до ссоры Сергея с Анатолием было назначено заседание «ордена». Я пришел в «Стойло» с опозданием и застал Есенина читающим конец «Черного человека». Слушающие его В. Шершеневич, А. Мариенгоф, И. Грузинов, Н. и Б. Эрдманы, Г. Якулов были восхищены поэмой. Я был рад, что теперь услышу всю поэму целиком.

В юности Сергей знал не только стихи и поэмы Пушкина наизусть, но и многие прозаические произведения. По форме «Пугачев» навеян маленькими трагедиями Александра Сергеевича. Эти же трагедии сыграли роль и в «Черном человеке», который гнался за Моцартом.

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится.

(А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»)

Сергей сел на кровати, положил правую забинтованную по локоть руку поверх одеяла, во время чтения «Черного человека» поднял ее левой, обхватил. Вероятно, потому, что не мог в такт, как обычно, поднимать и опускать забинтованную, раскачивался из стороны в сторону. Это напоминало то незабываемое место в пьесе М. Горького «На дне» (МХАТ), когда татарин, встав на колени и обняв левой рукой забинтованную правую, молится, раскачиваясь из стороны в сторону.

Поэма Есенина была длинней, чем ее окончательный вариант. В конце ее лирический герой как бы освобождался от галлюцинаций, приходил в себя. Последние строки Сергей прочитал почти шепотом.

Все — поза Есенина, его покачивание, баюкание забинтованной руки, проступающее на повязке в одном месте пятнышко крови, какое-то нечеловеческое чтение поэмы произвело душераздирающее впечатление. Беспризорный мальчик по-детски плакал, плакала, прижимая платок к глазам, Берзина. Я не мог унять слез, они текли по щекам.

Сергей, просветленный, казалось, выросший на наших глазах, господствующий над нами, смотрел поголубевшими глазами.

Когда мы прощались, он пожал мне левой рукой правую и сказал:

— Я здесь думал. Много я напутал. В «Вольнодумце» все исправлю... 〈...〉

7 апреля 1924 года около десяти часов утра в нашей квартире раздался звонок, я отпер входную дверь — передо мной стояли Сергей Есенин и Всеволод Иванов. Они сняли пальто. Оба были в серых костюмах светлого тона, полны безудержного веселья и солнечного дыханья весны. У Есенина в глазах сверкали голубые огни, с лица не сходила знакомая всем улыбка и делала его, в золотой шапке волос, обворожительным юношей. Иванов, видимо, хотел казаться солидным, хмурил брови, поджимал губы, но Сергей толкнул его локтем в бок, и Всеволод, не выдержав, засмеялся и сразу стал добродушным, привлекательным. Еще идя по коридору, они, перебивая друг друга, восклицали: «Теперь будет читать как миленький».— «Надо бы туда же и директора!» — «Он толстый, не влезет!» Усевшись в моей комнате в кресла, гости посвятили меня во вчерашнее их похождение.

Возвращаясь с именин, они проходили мимо Малого театра и увидели вывешенную при входе афишу с объявленным на две недели вперед репертуаром. Все это были старые русские и зарубежные драмы. Сергей и Всеволод возмутились: в театре не идет ни одна советская пьеса! Им часто жаловались драматурги на то, что театры не только не принимают советские вещи к постановке, но даже отказываются их читать. Есенин и Иванов решили поговорить по душам с заведующим литературной частью и прошли через артистический подъезд к нему в кабинет. Заведующий — благообразный, худощавый и спокойный человек, был удивлен и обрадован приходом известных писателей. Сперва беседа шла в мирном тоне, но, когда заведующий стал доказывать, что высокочтимые артисты не находят для себя в новых драматических произведениях выигрышных ролей, Всеволод любезно осведомился, читает ли он, заведующий, пьесы советских авторов. Тот закивал головой и даже слегка возмутился: что за вопрос! Тогда Есенин предложил своеобразную игру в фанты: заведующему будут названы пять советских пьес, если хотя бы одну он читал и расскажет содержание,— выигрыш на его стороне, если нет — победили они, писатели. Заведующий пересел с дивана на кресло, потер руки и согласился. Выяснилось, что ни одной из пяти пьес, которые ему назвали, он не читал. Только одна была известна ему — увы! — по названию.

— Признаетесь, что проиграли? — вежливо спросил Всеволод.

— Признаюсь! — вздохнул заведующий.

— А ну, взяли! — скомандовал Есенин.

В одно мгновение легковесный заведующий был аккуратно водворен под диван...

Рассказывая об этом, мои гости подошли к книжным шкафам. Всеволод полистал брошюру «Гудини — король цепей», потом вынул из книги Мюллера «Моя система» собранные мной программы чемпионата французской борьбы в цирке Р. Труцци с портретами налитых мускулами участников. Иванов сказал, что был борцом в цирке, и назвал еще две-три свои профессии. Но позднее я узнал, что до тех пор, пока он стал писателем, их было у него, пожалуй, больше, чем у Джека Лондона.

Покопавшись в сборниках стихов, Есенин извлек альманах 1915 года «На помощь жертвам войны. Клич». Он нашел стихотворение Александра Ширяевца «Зимнее» и прочитал его вслух.

Там — далече, в снежном поле
Бубенцы звенят.
А у месяца соколий
Ясный взгляд...

Во серебряном бору
Дрогнет Леший на ветру,
Караулит бубенцы...
— Берегитесь, молодцы!

— Хорошие стихи, а напечатали в подборку,— произнес с досадой Есенин, захлопывая сборник.— Такого безобразия в «Вольнодумце» не будет!

Я спросил, дано ли разрешение на издание «Вольнодумца». Он ответил, что теперь это его меньше всего волнует. Он подбирает основных сотрудников журнала, для чего встречается с многими писателями и поэтами. По его планам, в «Вольнодумце» будут участвовать не связанные ни с какими группами литераторы. Они должны вольно думать!

Он хотел печатать в «Вольнодумце» прозу и поэзию самого высокого мастерства, чтобы журнал поднялся на три головы выше «Красной нови» и стал образцом для толстых журналов. Конечно, в «Вольнодумце» обязательно будут помещаться произведения молодых авторов, только с большим отбором и с условием, если у них есть что-нибудь за душой.

Он говорил о журнале, то вскакивая с кресла, то снова опускаясь на него. Он распределял в «Вольнодумце» материал, сдавал его в типографию, корректировал, беседовал

с директором Госиздата, договаривался о распространении издания.

Иванов напомнил ему об отделе «Вольные думы», где должны помещаться статьи и письма критиков, читателей, авторов. Есенин привел воображаемый пример: вот на страницах журнала напечатана вещь, вот вокруг нее в отделе поднялась драка: одни хвалят, другие ругают, третьи — ни то ни се! Но перья скрипят, интерес подогревается. Редакция, автор, критик читают и на ус наматывают.

Я спросил, кто намечен в сотрудники «Вольнодумца». Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита: Иванов, Пильняк, Леонов. Для поэзии старая гвардия: Брюсов, Белый, Блок — посмертно. Еще Городецкий, Клюев.

— А новая гвардия?

— Будет! Надо договориться впрок!

— Значит, имажинистов отметаешь, Сережа?

— С чего ты взял?

Он сел в кресло, попросил бумагу. Я вынул мою записную книжку «День за днем», открыл чистую страницу с отрывными листочками и положил перед ним. Взяв карандаш, он стал писать:

«В правление Ассоциации Вольнодумцев.

Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом «Вольнодумец», в который и приглашаю всю группу...»

Он поднес карандаш ко рту, чтобы послюнявить его, но он был чернильный, и я отвел его руку. Он посмотрел на меня и одним взмахом написал следующее:

«В журнале же «Гостиница» из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более что он мариенгофский».

Сергей немного подумал и добавил:

«Я капризно заявляю, почему Мариенгоф напечатал себя на первой странице, а не меня».

Действительно, третий номер «Гостиницы» Мариенгоф открыл подборкой собственных стихов, а «Москва кабацкая» была напечатана на восьмой странице. До этого номера все произведения располагались по алфавиту авторов.

Сергей подписался, поставил дату. Я спросил, если кто-нибудь захочет послать ему свои вещи для «Вольнодумца», куда их направлять. Он на следующем отрывном листке моей записной книжки написал:

«Гагаринский пер., д. 1, кв. 12». Потом зачеркнул и снова вывел адрес: «Ленинград, Гагаринская ул., угол

Французской набережной, д. № 1, кв. 12. А. Сахаров, С. Есенину».

Это был ленинградский адрес приятеля Есенина А. М. Сахарова, и я спросил, будет ли Сергей привлекать к работе в «Вольнодумце» тамошний «Воинствующий орден имажинистов». Он ответил, что раньше посмотрит стихи, а потом решит.

Поглядев на наручные часы, Иванов заявил, что пора ехать: он собирался с Сергеем на три дня в село Константиново.

Оба стали пересчитывать деньги, и выяснилось, что их хватит только на дорогу. Я вспомнил, что «Ассоциация вольнодумцев» что-то должна Сергею за выступления. Полистав записную книжку, я нашел цифру: четыре червонца. Я выдал эти деньги Есенину, и он расписался на квитанции. Я проводил моих гостей и пожелал им счастливого пути.

Как же я изумился, когда на следующий день увидел в книжной лавке деятелей искусств Всеволода. Он объяснил, что, выйдя от меня, они сообразили, что на утренний поезд опоздали, а вечером ехать в Константиново поздно. Они отправились в ресторан-кабаре «Не рыдай!».

— Отличное заведение,— сказал Иванов,— но дорогое. А впрочем, мы не рыдали [16]. ⟨...⟩

Одиннадцатого апреля я пошел к трем часам в Клуб поэтов, куда обещал зайти Грузинов, чтобы потолковать о моих стихах: я готовил вторую книгу стихов «Пальма» и дал ему почитать десятка три вещей. Войдя в клуб, я увидел за столиком Есенина. Очевидно, пообедав, он пил лимонад. Перед ним с пачкой стихов в руках ерзала на стуле с разрисованным лицом поэтесса и щебетала, как синица:

— Ах, Сергей Александрович! Вам я поверю! Вы поймете женскую тоску. Ах, Сергей Александрович!

Увидев меня, Есенин спросил:

— Говорил?

— Да, со всеми!

— Ну как?

Я показал глазами на поэтессу, Сергей взял из ее рук стопку стихов, положил в карман пиджака.

— Прочту! — сказал он ей.— А сейчас мне надо поговорить!

Поэтесса защебетала и упорхнула, я сел на ее место, но не успел и рта раскрыть, как подошел Грузинов.

Иван поздоровался с Есениным, со мной, сел и сказал мне:

— Отобрал девятнадцать пьес. Неплохие. «Платан Пушкина» — отлично! Но надо доработать. 〈...〉

— Лентяй! — восклицает по моему адресу Сергей.

— Но я ж...

— В поэзии, как на войне, надо кровь проливать! — перебивает меня Есенин.

— Но я же, Сережа...— повторяю я.

Однако он опять не дает закончить:

— Ладно! — И обращается к Грузинову: — Что со статьей?

— Дам! О влиянии образа на современную поэзию.

— Органического!

— Понятно! И докажу, что некоторые поэты и на свет не родились бы, если б не твоя муза!

— Только полегче и потоньше! — предупреждает Сергей.

— Дипломатии мне не учиться!

— И посерьезней! Не так, как в «Гостинице»...

После этого Есенин спрашивает, что мне ответили остальные имажинисты. Когда я дохожу до Шершеневича, он говорит:

— Я лучше ему напишу.

Я протягиваю Сергею пол-листа чистой бумаги. Он пишет чернильным карандашом:

«Милый Вадим! Дай, пожалуйста, статью о совр〈еменном〉 сти〈хотворном〉, искус〈стве〉 и стихи для журнала «Вольнодумец».

Любящий тебя

Сергей

11/IV-24»

Вечером я прочитал по телефону эту записку Шершеневичу.

— Передай Сереже,— сказал Вадим,— напишу статью, все вольнодумцы облизнутся. А за стихами можно в любой день прислать!

Есенин уехал в Ленинград, и я узнал о его выступлении в зале Ф. Лассаля (бывшей Городской думе) из писем членов «Воинствующего ордена имажинистов» (В. Эрлиха, В. Ричиотти, Г. Шмерельсона). Сергей пытался говорить о «мерзости в литературе», сделать «Вызов непопутчикам»

и, кстати, во всеуслышание объявить о «Вольнодумце» [17]. Но его речь не имела того успеха, на который он рассчитывал, и, наоборот, чтение стихов было встречено грандиозной овацией.

Рассказал ли Сергей о «Вольнодумце» ленинградским имажинистам? Как сообщил мне Вольф Эрлих, Есенин говорил ему о затеваемом журнале, но без особых подробностей. Может быть, это происходило потому, что сами ленинградские имажинисты собирались издавать свой журнал: «Необычайное свидание друзей».

Однако, вернувшись в Москву, Сергей объяснил, что договорился кое с кем в Ленинграде, например, с Николаем Никитиным. ⟨...⟩

Есенин после ссоры с Мариенгофом не дал своих стихов в четвертый номер «Гостиницы». На заседании «ордена» было решено, что журнал, как и сборники, будет редактировать коллегия. В нее избрали Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. Правое крыло явно теряло свое влияние.

Грузинов сказал, чтоб я приготовил мою фотографию: Анатолий хочет поместить портреты всех имажинистов.

— Надо бы дать портрет Есенина! — сказал я.

— А где его поместить? — спросил Иван.— Ведь стихов Сергея нет!

— Напиши о нем статью!

— Ладно! Поставлю вопрос на коллегии!

— Ставь! С Вадимом я потолкую!

Шершеневич согласился с моим предложением, но, когда этот вопрос возник на коллегии, Мариенгоф заупрямился.

После выхода четвертого номера Грузинов ругался:

— Банный номер! Настоящий банный номер!

— Но ведь ты член редколлегии!

— Мариенгофа не переспоришь!

— Почему?

— Хочешь знать правду: теща Мариенгофа управляет имажинизмом!

Я знал эту безобидную старушку и удивился. Грузинов пояснил: у Анатолия большие расходы на семью, и ему нужно издаваться и издаваться.

Чем же отличался четвертый номер «Гостиницы» от прежних номеров? Раньше в журнале печатались стихи Есенина, его письма из-за границы, помещались рисунки Г. Якулова, братьев Г. и В. Стенберг, стихи Николая Эрдмана, статья потемкинца Константина Фельдмана, письмо из Парижа художника Ф. Леже, новеллы С. Кржижанов-

ского, стихи и статьи Рюрика Ивнева, Вадима Шершеневича, Вл. Соколова и др. А в четвертом номере были помещены портреты всех имажинистов, кроме Г. Якулова, братьев Эрдман и моего. В этом смысле журнал напоминал иллюстрированный прейскурант или журнал мод. Тем более что Анатолий снялся в цилиндре, Вадим со своей собакой на руках и т. п. Я до сих пор не понимаю, что случилось с Мариенгофом? Почему он не взял рисунков у Г. Якулова, у братьев Стенберг, почему поместил старую статью журналиста Б. Глубоковского, портреты имажинистов? Я не считал и не считаю Анатолия легкомысленным, и не мог же он ради того, чтобы показать, как он красив в цилиндре, напечатать всю эту галерею. Конечно, четвертый номер «Гостиницы» был более чем неудачный. А затем я же показал Анатолию записку Есенина о том, что он, Сергей, отказывается участвовать в «Гостинице». Однако в четвертом номере помещено такое объявление:

«1 сентября с/г.

ВОЛЬНОДУМЕЦ

10 печ. листов № 1. Роман, драма, поэмы, философия, теория: поэтика, живопись, музыка, театр: Россия, Зап. Европа, Америка, 30 репродукций.

Редактор: коллегия имажинистов».

Если бы это было сделано по желанию Есенина, это одно. Но Сергей к этому объявлению не имел ни малейшего отношения. Разумеется, он пришел в негодование, и это не замедлило сказаться.

Я сидел в комнате президиума Союза поэтов. Вдруг дверь с треском распахнулась настежь, и на пороге возник Есенин.

— Тебя мне и нужно,— сказал он сердито. Потом сел и спросил, глядя на меня в упор: — Читал «Гостиницу»?

— Читал, Сережа! Очень плохой номер!

Есенин вынул из бокового кармана письмо и положил передо мной. На конверте красными буквами было напечатано: «Секретарю «Ассоциации» имярек. Я знал, что Сергей прибегает к чернилам красного цвета, когда пишет важные, решающие письма.

— Надо созвать правление «Ассоциации» и огласить это письмо,— сказал он.

— А когда созвать?

— Это уж твоя забота.

— Разве ты не будешь председательствовать?

— Нет! Я занят «Вольнодумцем»!

— У меня могут быть к тебе вопросы. Разреши, я прочту письмо при тебе?

Подумав, он согласился.

Вот содержание этого письма:

«Всякое заимствование чужого названия или чужого образа наз⟨ывается⟩ заимствованием открыто. То, что выдается за свое, называется в литературе плагиатом.

Я очень рад, что мы разошлись. Но где у вас задница, где голова, понять трудно. Неужели вы не додумались (когда я вас вообще игнорировал за этот год), что, не желая работать с вами, я уступлю вам, как дурак. То, что было названо не мной одним, а многими из нас.

Уберите с ваших дел общее название «Ассоциация вольнодумцев», живите и богатейте, чтоб нам не встречаться и не ссориться.

С. Есенин
24/VIII-24.»

— Ты хочешь ликвидировать «Ассоциацию»? — спросил я.

— Да!

— А как же «Вольнодумец»?

— Он будет выходить под маркой Госиздата!

— Ну, хорошо. Я созову членов «Ассоциации». Ведь среди них будет Мейерхольд!

— Всеволоду я предложил вести в «Вольнодумце» театральный отдел.

— Тем более ему будет неприятно слушать такое письмо. Да и остальным. Ведь ты же пригласил три месяца назад всех имажинистов в сотрудники «Вольнодумца».

— Кроме Мариенгофа.

— «Ассоциацию» можно ликвидировать гораздо проще.

— А как?

Я сказал, что «Стойло Пегаса» закрывается. «Орден имажинистов» собирается открыть новое литературное кафе. Естественно, оно не будет работать под маркой «Ассоциации», и она сама собой отомрет.

Мое соображение Сергею понравилось, он потрепал мои волосы и засмеялся:

— Голова!

— Возьми письмо назад!

— Нет! Если не выйдет, придется огласить. ⟨...⟩

31 августа в газете «Правда» появилось письмо за подписью Есенина и Грузинова:

«Мы, создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа «имажинисты» в доселе известном составе объявляется нами распущенной».

Меня удивило, почему Сергей сперва настоял, чтобы я остался в группе, а потом поставил свою подпись под таким письмом. Грузинов же меня возмутил: он оставался в группе, бывал в «Калоше» [18] и т. д. А главное, никаким создателем имажинизма он не был. Может быть, он обиделся, что в сборнике «Имажинисты» не были опубликованы его уже напечатанные стихи, которые он предлагал [19]. Мои сомнения разрешил сам Иван, который, завидев меня на Петровке, пошел навстречу, давясь смехом.

— Здорово мы вас наподдели? — спросил он.

Я объяснил, что он, Грузинов, числясь в группе, «распустил» сам себя.

— Печатать тебя у нас не будут! — добавил я.

— Я выпускаю сборник стихов в «Современной России».

— Это кооперативное издательство недолго проживет,— сказал я.— А что ты будешь делать потом?

В этот момент я не вытерпел и заявил Ивану, что на этот литературный трюк именно он подбил Есенина. Грузинов не возражал, самодовольно улыбаясь. Он пояснил, что трюк направлен против Мариенгофа, который вообразил себя вождем.

Мы пошли каждый своей дорогой, но Иван окликнул меня, подошел и сообщил, что Есенин уехал на Кавказ и просил мне передать: как только вернется в Москву, встретится со мной. ⟨...⟩

В сентябре 1924 года я был в одном из московских театров, купил журнал «Новый зритель» № 35 и, листая его, наткнулся на письмо в редакцию:

«В «Правде» письмом в редакцию Сергей Есенин заявил, что он распускает группу имажинистов.

Развязность и безответственность этого заявления вынуждает нас опровергнуть это заявление. Хотя С. Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинизма, но он никогда не являлся идеологом имажинизма, свидетельством чему является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи.

Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, и мы никогда в нем, вечно отказывавшемся от своего слова, не были уверены, как в своем соратнике.

После известного всем инцидента, завершившегося судом ЦБ журналистов над Есениным и К°, у группы наметилось внутреннее расхождение с Есениным, и она принуждена была отмежеваться от него, что и сделала, передав письмо заведующему лит. отделом «Известий» Б. В. Гиммельфарбу 15 мая с/г. Есенин в нашем представлении безнадежно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков.

Детальное изложение взаимоотношений Есенина с имажинистами будет напечатано в № 5 «Гостиницы для путешествующих в прекрасном», официальном органе имажинистов, где, кстати, Есенин давно исключен из числа сотрудников.

Таким образом, «роспуск» имажинизма является лишь лишним доказательством собственной распущенности Есенина.

Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Матвей Ройзман, Вадим Шершеневич, Николай Эрдман».

Я перечитал это письмо еще раз и уставился на свою подпись.

Не стану описывать ссоры из-за этого письма, которые происходили в нашей группе. Перейду сразу к весне 1925 года, когда Есенин вернулся с Кавказа в Москву и зашел днем в клуб поэтов. Я проверял в буфете некоторые счета у нашего заведующего столовой. Сергей положил мне руку на плечо, я обернулся, он сделал знак, чтоб я шел за ним. Мы вошли в комнату президиума. Он запер дверь на ключ, повесил пальто на крючок и бросил свою шляпу на подоконник.

— Значит, или подписывай письмо против Есенина,— сказал он,— или уходи от нас? Так?

— Нет, Сережа, не так,— ответил я.— Я этого письма не подписывал!

— Да ты что?

— Рюрик тоже не подписывал!

Я вынул из ящика стола книжку с телефонами поэтов, нашел номер Ивнева, дал Есенину и подвинул к нему аппарат. Он позвонил, попросил к телефону Рюрика. Ему ответили, что Ивнев с середины июля уехал и вернется недели через две.

— Николай Эрдман тоже этого письма не подписывал,— продолжал я.— У него телефона на Генеральной улице * нет. Звони Борису!

Найдя нужный телефон, я сказал его Сергею — он позвонил. Трубку взяла жена Бориса, танцовщица Вера Друцкая, обрадовалась Есенину. Они немного поговорили, и она позвала Бориса. Эрдман объяснил, что Николай этого письма не подписывал. Предлагали его подписать Борису и Якулову, оба отказались.

— А Шершеневич? — спросил Сергей, положив трубку.

— Вадим дал карт-бланш Анатолию. В письме есть обычный каламбур Шершеневича: «Роспуск имажинистов является собственной распущенностью Есенина».

Сергей некоторое время сидел, раздумывая.

— В письме есть ссылка на другое письмо, написанное в «Известия» Гиммельфарбу? — задал он вопрос.

— Даю тебе честное слово, Сережа, что этого письма никто из нас в глаза не видал и ничего о нем не слыхал!

— Верю! — согласился он.— А в пятом номере «Гостиницы» меня разнесут?

— Я хлопотал об издательстве «Общества имажинистов». Не разрешили. «Гостиница» кончилась!

Он молчал.

— Мариенгоф хотел osрамить меня, как мальчишку! — сказал он тихо, и в его голосе появилась хрипота.

Я предложил ему выпить ситро.

— Содовой! — прохрипел он.

Я встал, отпер дверь, подошел к буфету, мне откупорили бутылку содовой воды и дали бокал. Я понес все это Есенину. Еще отворяя дверь, услыхал его громкий хриплый голос.

— Что же тут непонятного? — говорил он по телефону.— Разорвать «Прощание с Мариенгофом»... Да нет, к дьяволу!..[20]

С кем он разговаривал? С Галей Бениславской? С И. В. Евдокимовым, редактором его собрания сочинений в Госиздате?

Я налил Сергею бокал содовой, он жадно его выпил, потом осушил всю бутылку.

В это время в дверь постучали, и вошел недавно избранный председатель союза Шенгели. Георгий Аркадьевич сказал, что был на вечере Есенина в Союзе писателей (Дом

* Теперь Электрозаводская.

Герцена), слушал его поэму «Анна Снегина» и удивлен, что эта вещь большого мастерства не дошла до слушателей. Он просил Сергея выступить в клубе поэтов для членов союза. Есенин стал отказываться, потом согласился. 〈...〉

На дворе уже стоял морозный декабрь 1925 года. 〈...〉

Клинику на Большой Пироговской возглавлял выдающийся психиатр П. Б. Ганнушкин. Он был создателем концепции малой психиатрии и основоположником внебольничной психиатрической помощи. В его клинике впервые был открыт невропсихиатрический санаторий, где и находился Есенин.

Я приехал в клинику в тот час, когда прием посетителей закончился, и ассистент Ганнушкина доктор А. Я. Аронсон объяснил, что у Есенина уже было несколько посетителей, он волновался, устал, и больше никого к нему пускать нельзя. Я попросил доктора передать Сергею записку. Аронсон обещал это сделать и посоветовал приехать в клинику через три дня, чуть раньше приема посетителей, чтобы первым пройти к Есенину.

Через два дня я зашел по делам в «Мышиную нору» [21] и глазам своим не поверил: за столиком сидел Сергей, ел сосиски с тушеной капустой и запивал пивом. Разумеется, я поинтересовался, как он попал сюда.

— Сбежал! — признался он, сдувая пену с кружки пива.— Разве это жизнь? Все время в глазах мельтешат сумасшедшие. Того и гляди сам рехнешься.

Я спросил, как же он мог уйти из санатория. Оказалось, просто: оделся, пошел гулять в сад, а как только вышла из подъезда первая группа посетителей, пошел с ними, шагнул в ворота и очутился на улице.

Он плохо выглядел, в глазах стояла тусклая синева, только говорил азартно. Может быть, обрадовался свободе?

— Сейчас один толстомордый долбил мне, что поэты должны голодать, тогда они будут лучше писать,— сказал он.— Ну, я пустил такой загиб, что он сиганул от меня без оглядки!

— Я, Сережа, кое-что из наших разговоров записываю. Это запишу.

— А мои загибы тоже записываешь?

— Я их и так помню!

Желая его развеселить, я вспомнил, как он, выступая на Олимпиаде в Политехническом музее, читал «Исповедь хулигана» и дошел до озорных строк. Шум, крик, свист.

Кто-то запустил в Есенина мороженым яблоком. Он поймал его, откусил кусок, стал есть. Слушатели стали затихать, а он ел и приговаривал: «Рязань! Моя Рязань!» Дикий хохот! Аплодисменты!

Смеясь, Сергей напомнил мне: когда в консерватории по той же причине не дали ему читать «Сорокоуст», Шершеневич, как всегда, закричал во все горло, покрывая шум: «Меня не перекричите! Есенин все дочитает до конца!» Крики стали утихать, и кто-то громко сказал:

— Конечно, не перекричишь! Вы же — лошадь, как лошадь!..

Наверно, с полчаса мы вспоминали курьезные случаи прошлого, потом из часов выскочила кукушка и прокуковала время. Сергей сказал, что ему нужно идти. Я проводил его до дверей и увидел, как капельки пота выступили на его лбу.

Потом писали, что в санатории Есенин поправился и чувствовал себя хорошо. Не верю! Нужно быть нечутким, чтобы не видеть того трагического надлома, который сквозил в каждом жесте Сергея. Нет, санаторий не принес ему большой пользы! И это подтвердилось через несколько дней.

Ко мне пришел домой врач А. Я. Аронсон. Он был взволнован, озабочен, но говорил, осторожно подбирая слова. За эти дни он обошел все места, где, по мнению родственников, друзей и знакомых Есенина, мог он находиться. ⟨...⟩

Чтобы помочь доктору Аронсону поговорить с Есениным, я позвонил по телефону всем имажинистам и знакомым Сергея, но за последние дни никто его не видел. Оставался Мариенгоф, у которого телефона дома не было. Я знал, что он с женой навещал Сергея, когда тот находился в невропсихиатрическом санатории. Я пошел в Богословский переулок.

Двери открыла теща Мариенгофа — маленькая, низенькая, тщедушная, но очень симпатичная старушка. Она вызвала ко мне Мариенгофа, а потом сказала, что уходит в магазин, и чтобы он присмотрел за сынишкой Киром. Анатолий повел меня в свою комнату, и я увидел, что в уголке за небольшим круглым столом сидит Есенин. Был он очень бледен, его волосы свалялись, глаза поблекли. Я поздоровался, он ответил улыбкой. Я только сел на стул, как закричал Кир. Мариенгоф вскочил и побежал к сынишке.

— Мотя! — позвал меня Сергей.

Я подошел к нему и спросил:

— Ты опять собираешься в Константиново?

— Нет, подальше! — Он обнял меня и поцеловал.— Я тебе напишу письмо или пришлю телеграмму,— добавил он.

Вернулся Мариенгоф, лицо у него было светлое: он очень любил своего Кирилку.

Я поговорил с Анатолием о выступлении в «Лилипуте», попрощался с Есениным. Анатолий пошел меня провожать. Я спросил, был ли у него доктор Аронсон, он ответил, что заходил.

— Воспользуйся подходящей минутой, Толя, потолкуй с Сережей!

— Он и слышать не хочет о санатории,— ответил Мариенгоф.

— Ему же дадут изолированную комнату.

— Все равно флигель сумасшедших отовсюду виден!..

Это был последний раз, когда я видел Есенина...

1963—1970

И. И. СТАРЦЕВ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

С Сергеем Александровичем я встретился впервые в 1919 году. Приехав в Москву из провинции, я навестил своего однокашника и приятеля по гимназии поэта А. Б. Мариенгофа и познакомился с проживавшим у него в комнате Есениным. Имя Есенина мне было уже хорошо знакомо.

Знакомство состоялось, и я был приглашен на завтра, на именины Сергея Александровича [1].

Вскоре я из Москвы уехал. В 1920 году, летом, Есенин напомнил мне о себе маленькой весточкой, прислав в Пензу, где я в ту пору проживал, сборник своих стихов «Преображение», расписав по титульному листу: «Дорогому Старцеву. Да не старится душа пятками землю несущих. *С. Есенин*. М. 1920 г.».

Летом 1921 года я снова попал в Москву и не преминул опять навестить поэтов.

Есенин с Мариенгофом жили в Богословском переулке. При посещении в этот раз мне бросилась в глаза записка на дверях квартиры. Было написано приблизительно следующее: «Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить». И тут же были указаны дни и часы для приема друзей и знакомых. Не относя себя ни к одной из перечисленных категорий, я долго стоял в недоумении перед дверьми, не рискуя позвонить. Все же вошел. Есенин действительно в эту пору много работал. Он заканчивал «Пугачева».

Когда я пытался обратить внимание Есенина на установленный регламент в его жизни, он мне сказал:

— Знаешь, шляются все. Пропадают рукописи. Так лучше. А тебя, дурного, это не касается.

Усадил меня обедать и начал рассказывать, как они переименовали в свои имена улицы и раскрасили ночью стены Страстного монастыря [2].

В этот приезд я впервые слышал декламацию Есенина. Мейерхольд у себя в театре устроил читку «Заговора дураков» Мариенгофа и «Пугачева» Есенина. Мариенгоф читал первым. После его монотонного и однообразного чтения от есенинской декламации (читал первую половину «Пугачева») кидало в дрожь. Местами он заражал чтением и выразительностью своих жестов. Я в первый раз в жизни слышал такое мастерское чтение. По-моему, в чтении самого Есенина его вещи много выигрывали. Тотчас же после чтения я выразил ему свое восхищение. Он мне сказал:

— Вот приедешь осенью, услышишь вторую часть «Пугачева». Она должна быть лучше.

Осенью 1921 года я окончательно переселился в Москву. У Мариенгофа тогда же зародилась мысль пригласить меня заведующим «Стойлом Пегаса». Есенин эту мысль всячески поддерживал и однажды определенно высказался за то, чтобы я взялся за это дело. Самим им трудно было каждовечерне присутствовать в «Стойле» — нужен был свой человек. При переговорах об условиях работы Есениным попутно было предложено мне переселиться жить в их комнату с Мариенгофом в Богословский.

Несколько слов о пресловутом «Стойле Пегаса», наложившем немалый отпечаток как на личность, так и на творчество Есенина. Официально, так сказать,— клуб «Ассоциации вольнодумцев», запросто — «Литературное кафе» [3].

Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись художника Якулова и стихотворные лозунги имажинистов. С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами живописца лицо Есенина в надписях: «Плюйся, ветер, охапками листьев» [4].

Кого только не перебывало в «Стойле Пегаса»! Просматривая сохранившиеся у меня афиши о выступлениях и заметки о программах вечеров в «Стойле», нахожу имена Брюсова, Мейерхольда, Якулова, Есенина, Шершеневича, Мариенгофа и множество других [5].

Диспуты об искусстве, диспуты о кино, о театре, о живописи, о танце Дункан, вечера поэзии чередовались изо дня в день под немолчный говор столиков. Публику, особенно провинциалов, эпатировала как сама обстановка кафе, так и имена выступавших в нем поэтов, художников и театральных деятелей. Есенин играл главную роль как

председатель «Ассоциации вольнодумцев», как единоличный почти владелец кафе и как лучший из выступавших там поэтов.

Передавая мне руководство «Стойлом Пегаса», Есенин вводил меня в мельчайшие подробности дела.

Обязанность по составлению программы литературных выступлений в кафе лежала на мне. И мне немало пришлось повоевать с Есениным на этой почве. Есенин неизменно каждый раз, когда я его вставлял в программу и предупреждал утром о предстоящем выступлении, принимал в разговорах со мной официальный тон и начинал торговаться о плате за выступление, требуя обычно втридорога больше остальных участников. Когда я пытался ему доказать, что, по существу, он не может брать деньги за выступление, являясь хозяином кафе, он неизменно мне говорил одну и ту же фразу:

— Мы себе цену знаем! Дураков нет!

Обычный шум в кафе, пьяные выкрики и замечания со столиков при выступлении Есенина тотчас же прекращались. Слушали его с напряженным вниманием. Бывали вечера его выступлений, когда публика, забив буквально все щели кафе, слушала, затаясь при входе в открытых дверях на улице.

Излюбленными вещами, которые Есенин читал в эту зиму, были «Исповедь хулигана», «Сорокоуст», «Песнь о хлебе», глава о Хлопуше из «Пугачева», «Волчья гибель» [6], «Не жалею, не зову, не плачу».

В эту зиму он начал проявлять склонность к вину. Все чаще и чаще, возвращаясь домой из «Стойла», ссылаясь на скуку и усталость, предлагал он завернуть в тот или иной кабачок — выпить и освежиться. И странно, он не столько пьянел от вина, сколько досадовал на чье-нибудь не понравившееся ему в разговоре замечание, зажигая свои нервы, доходя до буйства и бешенства.

Читал Есенин в это время мало и неохотно. Бывало, принесешь книгу из магазина и покажешь ее Есенину. Он ее возьмет в руки, осмотрит со стороны корешка, заглянет на цифру последней страницы и одобрительно скажет:

— Ничего себе книжка.

И тут же спросит:

— Сколько стоит?

Но, видимо, он читал много раньше. «Слово о полку Игореве» знал почти наизусть. Из писателей самое большое впечатление на него производил Гоголь, особенно «Мертвые души».

— Замечательно! Умереть можно! Как хорошо! — цитировал он целые страницы наизусть.

Разбирая «Бесы» Достоевского, говорил:

— Ставрогин — бездарный бездельник. Верховенский — замечательный организатор.

С особым преклонением относился к Пушкину. Из стихов Пушкина любил декламировать «Деревню» и особенно «Роняет лес багряный свой убор».

— Видишь, как он! — добавлял всегда после чтения и щелкал от восторга пальцами.

Из современников любил Белого, Блока и какой-то двойственной любовью Клюева. Души не чаял в Клычкове и каждый раз обижал его. Несколько раз восторгался «Серебряным голубем» Белого.

— Знаешь, Белый замечательно понимает природу! Удивляться надо! — И читал наизусть описание дороги мимо села Гуголева, восхищаясь плотскими судорогами рябой Матрены.

Из левых своих современников почитал Маяковского.

— Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном,— говаривал он,— и многие о него споткнутся.

Возглавляя «Ассоциацию вольнодумцев» и литературную группу имажинистов, считаясь метром возглавляемой им школы, он редко говорил об имажинизме, расценивая его исключительно с точки зрения своего личного творчества. Школе имажинизма он не придавал особого значения в ряде других литературных течений, прекрасно сознавая свою силу и правоту как поэта прежде всего и затем уже как имажиниста. Модернизированную литературу Есенин не любил, разговоры о ней заминал, притворяясь из скромности непонимающим.

К остальным видам искусства относился равнодушно. Концертную музыку не любил, тянуло его к песням, очевидно, по деревенскому наследию.

Пел мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя наиболее выразительные места жестами, хватаясь за голову или разводя руками. Народных частушек и частушек собственного сочинения пел он бесконечное множество. Пел их не переставая, часами, особенно под аккомпанемент Сандро Кусикова на гитаре и под «зыканье» на губах Сахарова. Любил слушать игру Коненкова на гармонике или на гуслях. О живописи никогда не говорил. Любил коненковскую скульптуру. Восторгался до слез его «Березкой» и однажды, проходя со мной мимо музея по

Дмитровке, обратился ко мне с вопросом, был ли я в этом музее [7]. На отрицательный мой ответ сказал:

— Дурной ты! Как же это можно допустить, ведь тут Сергея Тимофеевича «Стенька Разин» — гениальная вещь!

Коненковым была выстругана из дерева голова Есенина. Схватившись рукой за волосы, с полуоткрытым ртом, был он похож, особенно в те моменты, когда читал стихи. В свое время она была выставлена в витрине книжного магазина «Артели художников слова» на Никитской. Есенин не раз выходил там на улицу — проверять впечатление — и умилительно улыбался.

В эту зиму ему на именины был подарен плакатный рисунок (художника не помню) — сельский пейзаж. На рисунке была изображена церковная колокольня с вьющимися над ней стрижами, проселочная дорога и трактир с надписью «Стойло». По дороге из церкви в «Стойло» шел Есенин, в цилиндре, под руку с овцой. «Картинка» много радовала Есенина. Показывая ее, он говорил:

— Смотри, вот дурной, с овцой нарисовал!

Уезжая за границу, он бережно передал ее на сохранение в числе других архивных мелочей, записок и писем А. М. Сахарову.

О творчестве своем распространяться не любил, но обижался, когда его вещи не нравились. Случалось, люди, скверно о нем отзывавшиеся, делались его врагами. Не обижался он только на одного Коненкова, которому считал обязанностью прочитывать все свои новые вещи. Коненков, хватаясь за бороду, подчас обрушивался на него криком,— и к поучениям его Есенин всегда прислушивался.

У Есенина была своеобразная манера в работе. Он брался за перо с заранее выношенными мыслями, легко и быстро облекая их в стихотворный наряд. Если это ему почему-либо не удавалось, стихотворение бросалось. Закинув руки за голову, он, бывало, часами лежал на кровати и не любил, когда его в такие моменты беспокоили. Застав однажды Есенина в таком состоянии, Сахаров его спросил, что с ним. Есенин ответил:

— Не мешай мне, я пишу.

Вот почему мне показалась однажды до поразительности странной та быстрота, с какой было написано (по существу, оформлено на бумаге) стихотворение «Волчья гибель».

Возвратясь домой усталый, я повалился на диван. Рядом со мной сидел Есенин. Не успел я задремать, как слышу, меня кто-то будит. Открываю глаза. Надо мной — склонившееся лицо Есенина.

— Вставай, гусар, послушай!

И прочитал написанную им с маху «Волчью гибель».

Стилистическая отделка записанного стихотворения производилась им уже спустя некоторое время, по мере того, как он прислушивался к собственному голосу в чтении.

В этот же день Есенин читал «Волчью гибель» в «Стойле Пегаса». Возвращаясь домой после чтения, он по дороге сделал замечание:

— Это я зря написал: «Из черных недр кто-то спустит сейчас курки». Непонятно. Надо — «Из пасмурных недр». Так звучит лучше.

И, придя домой, сейчас же исправил [8].

Сопоставляя два этих эпитета в стилистическом разряде описания травли волка, мы видим, что замена слова «черный» — «пасмурным» действительно оживляет и конкретизирует описание. Таким исправлениям подвергалось почти каждое его стихотворение. Запроданный Есениным в свое время Кожебаткину и не осуществленный издателем первый том собрания его сочинений должен хранить в корректурах следы таких исправлений [9].

Работал Есенин вообще уединенно и быстро. Бывало, возвращаешься домой и случайно застаешь его изогнувшимся за столом или забравшимся с ногами на подоконник за работой. Он сразу отрывался. В руках застывали листки бумаги и огрызок карандаша. Если стихотворение было хотя бы вчерне и даже частично только написано, Есенин его сейчас же вслух зачитывал целиком, на отзыв, зорко присматриваясь к слушателям.

Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры «Пугачева» и, уходя в «Стойло», забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеремонно, по обыкновению, приходивших к Есенину и рывшихся в его папке. И что же — в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валявшуюся на полу бумагу (корректуру «Пугачева») и сожгла ее. Корректура была выправлена на следующий день вновь.

«Пугачев» доставлял ему самое большое удовлетворение. Он долго ожидал от критики заслуженной оценки и был огорчен, когда критика не сумела оценить значительность этой вещи.

— Говорят, лирика, нет действия, одни описания,— что я им, театральный писатель, что ли? Да знают ли они, дурачье, что «Слово о полку Игореве» — все в природе! Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт. Лирика! Да знают ли они, что человек человека может зарезать в самом наилиричном состоянии? — негодовал Есенин.

Есенин, между прочим, не один раз говорил мне, что им выкинута из «Пугачева» глава о Суворове. На мои просьбы прочитать эту главу он по-разному отнекивался, ссылаясь каждый раз на то, что он запамятовал ее, или просто на то, что она его не удовлетворяет и он не хочет портить общее впечатление. Рукопись этой главы, по его словам, должна находиться у Г. А. Бениславской, которой он ее якобы подарил [10].

Есенин долго готовился к поэме «Страна негодяев», всесторонне обдумывая сюжет и порядок событий в ней. Мысль о написании этой поэмы появилась у него тотчас же по выходе «Пугачева». По первоначальному замыслу поэма должна была широко охватить революционные события в России с героическими эпизодами гражданской войны. Главными действующими лицами в поэме должны были быть Ленин, Махно и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих «кризисов» первых годов революции. Он мне читал тогда же набросанное вчерне вступление к этой поэме: приезд автора в глухую провинцию метельной ночью на постоялый двор, но аналогичное по схеме начало в «Пугачеве» его смущало, и он этот отрывок вскоре уничтожил. От этого отрывка осталось у меня в памяти сравнение поэта с синицей, которая хвасталась, но моря не зажгла. Обдумывая поэму, он опасался впасть в отвлеченность, намереваясь подойти конкретно и вплотную к описываемым событиям. Ссылаясь на «Двенадцать» Блока, он говорил о том, как легко надорваться над простой с первого взгляда и космической по существу темой. Поэму эту он так и не написал в ту зиму и только уже по возвращении из-за границы читал из нее один отрывок. Первоначальный замысел этой поэмы у него разбрелся по отдельным вещам: «Гуляй-поле» и «Страна негодяев» в существующем тексте [11].

Есенин мало заботился о внешности своих книг, не

разбирался в шрифтах, не любил рисованных обложек.

Памятью он обладал колоссальной. Схватывал и запоминал прочитанные однажды стихи. В сборнике «Явь» в 1918 году было помещено (единственное, написанное мной) стихотворение [12]. Сидя как-то в компании, он сказал улыбаясь:

— Знаешь, ты самый знаменитый из поэтов. Из каждого поэта я знаю по несколько стихотворений, а твое я помню полное собрание сочинений наизусть.

И тут же прочитал с утрированной манерой мое стихотворение, звонко рассмеявшись.

Не любил он поэтических разговоров и теорий. Отрицал выученность, называя ее «брюсовщиной», полагаясь всем своим поэтическим существом на интуицию и свободную походку слова. Поэтому придавал лишь организующую роль в словесном механизме. Однажды задумался над созданием «машины образов». Говорил о возможности изобретения такого механического приспособления, в котором слова будут располагаться по выбору поэта, как буквы в ремингтоне. Достаточно будет повернуть рычаг — и готовые стихотворения будут выбрасываться пачками. Старался это доказать. Делал из бумаги талоны, раздавал их присутствующим, заставляя писать на каждом талоне по одному произвольно взятому слову. Выпавшие на талонах слова немедленно дополнялись соответствующим содержанием, связывались в грамматические формулы и укладывались в стихотворные строфы. Получалось по-есенински очень талантливо, но не для всех убедительно. Есенин хотел написать о своей «машине образов» целое теоретическое исследование, потом охладел и совершенно забыл об этом.

К сожалению, я не записывал тогда и теперь не помню ни одного механического экспромта.

Возвращаемся однажды на извозчике из Политехнического музея. Разговорившись с извозчиком, Есенин спросил его, знает ли он Пушкина и Гоголя.

— А кто они такие будут, милой? — озадачился извозчик.

— Писатели, знаешь, памятники им поставлены на Тверском и Пречистенском бульварах.

— А, это чугунные-то? Как же, знаем! — отвечал простодушный извозчик.

— Боже, можно окаменеть от людского простодушия! Неужели, чтобы стать известным, надо превратиться в бронзу? — грустно заметил Есенин.

Весной 1922 года * Есенин отправился с Дункан в заграничное путешествие. Стояло туманное утро. Мы с Сахаровым спешили на аэродром попрощаться с улетавшими на аэроплане в Кенигсберг. У каждого из нас была затаенная в глубине надежда, что Есенин останется. Расставаясь с нами накануне, считаясь уже официально мужем Дункан, Есенин терялся и не находил нужных слов. На аэродром мы опоздали. Аэроплан был уже высоко в воздухе, удаляясь от Москвы. Уезжая за границу, Есенин хотел оставить А. М. Сахарову завещание на все свои печатные труды и неопубликованные рукописи. Не знаю, состоялось ли нотариальное оформление этого любопытного акта или нет [13].

Возвратился он из-за границы в августе 1923 года. В личной беседе редко вспоминал про свое европейское путешествие (ездил в Берлин, Париж, Нью-Йорк). Рассказывал между прочим о том, как они приехали в Берлин, отправились на какое-то литературное собрание, как там их приветствовали и как он, вскочив на столик, потребовал исполнить «Интернационал» ко всеобщему недоумению и возмущению. В Париже он устроил скандал русским белогвардейским офицерам, за что якобы тут же был жестоко избит [14]. Про Нью-Йорк говорил:

— Там негры на положении лошадей!

За границей он работал мало, написал несколько стихотворений, вошедших потом в «Москву кабацкую». Большею частью пил и скучал по России.

— Ты себе не можешь представить, как я скучал. Умереть можно. Знаешь, скука, по-моему, тоже профессия, и ею обладают только одни русские.

Выглядел скверно. Производил какое-то рассеянное впечатление. Внешне был европейски вылощен, меняя по нескольку костюмов в день. Вскоре после приезда читал «Москву кабацкую». Присутствовавший при чтении Я. Блюмкин начал протестовать, обвиняя Есенина в упадочности. Есенин стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта. Думается, что в большей своей части «Москва кабацкая» была отзвуком «Стойла Пегаса», тем более что в некоторых из стихотворений проскальзывают мысли, которые он тогда же высказывал и топил их в вине. За границей было переведено несколько его сборников — и это немало его радовало.

* 10 мая.

Вскоре по возвращении из-за границы он разошелся с Дункан. Переехал к себе на старую квартиру в Богословском. Назревал конфликт с имажинизмом и, в частности, с Мариенгофом.

После разрыва с Мариенгофом не пожелал оставаться в общей квартире и перекочевал временно ко мне на Оружейный.

У него не было квартиры. Мы с женой предлагали ему окончательно перебраться в нашу большую и светлую комнату, где бы он мог спокойно работать и отдыхать. Отнекивался. То собирался ехать в санаторий поправлять нервы, то говорил:

— Пойду, попрошу себе жилье. Что такое, хожу, как бездомный!

Бесприютность его очень тяготила. Не раз с обидой за себя заговаривал о своей прежней жене. Положение действительно было очень тяжелое. Вещи и рукописи были разбросаны по разным квартирам Москвы. Ночуя у меня и желая утром переодеться, он подчас бывал вынужден или одалживать необходимые ему вещи или тащиться за своими вещами в другой конец Москвы, где они были оставлены.

Летом 1924 года умер Ширяевец. Придя ко мне с этой печальной вестью, Есенин повалился на диван, разрыдался, заметив сквозь слезы:

— Боже мой, какой ужас! Пора и мне собираться в дорогу!

Укладываясь спать, он настойчиво просил жену разбудить его как можно раньше. Утром он попросил нашить ему на рукав траур. Собрал на похороны Ширяевца всех близких знакомых, пригласил священника. Вечером в «Стойле» после похорон Ширяевца вскочил на эстраду, сообщил находившейся в кафе публике о смерти своего лучшего друга и горько заметил:

— Оживают только черви. Лучшие существа уходят навсегда и безвозвратно.

15 марта 1926

Н. О. АЛЕКСАНДРОВА

ЕСЕНИН В РОСТОВЕ

Солнечным июльским днем 1920 года в книжную лавку ростовского Союза поэтов (она помещалась на Садовой) вошел стройный светлокудрый человек. Он приветливо улыбнулся, слегка прищуривая синие глаза. Лицо незнакомца, милое своей простотой, сразу располагало к себе.

— Сергей Есенин! — узнал пришельца кто-то из ростовских литераторов, и его тотчас же окружили, засыпали вопросами [1].

Есенин охотно отвечал: приехал из Москвы вместе с А. Б. Мариенгофом и Г. Р. Колобовым. Цель приезда — пропаганда советской поэзии. Вот мандат за подписью наркома А. В. Луначарского, вот афиши о предстоящем вечере поэзии, которые надо побыстрее расклеить. В подборе помещения для вечера просил помочь.

Прошло немногим более полугода после освобождения Ростова от белогвардейщины. Приезд к нам столичного поэта был свидетельством крепнущих литературных связей с Москвой, становлением нового в культурной жизни города.

В ту пору много ростовских школьников увлекались поэзией, с нетерпением ждали приезда В. В. Маяковского, стихи которого знали наизусть.

Но Есенин — это тоже было здорово! А когда Сергей Александрович рассказал, как вместе с друзьями-поэтами расписал стены Страстного монастыря стихами, мы были совсем покорены.

Вечер с участием С. Есенина состоялся вскоре в помещении кинотеатра «Колизей» (в доме, где теперь кинотеатр «Буревестник»). Сергей Александрович попросил меня прийти пораньше, до начала вечера. Я сидела рядом с ним и по его сжатым губам и напряженному взгляду видела, как серьезно он готовился к выступлению, словно к состязанию, из которого надо обязательно выйти победителем.

— Ведь в зале,— сказал он,— могут оказаться и люди враждебные молодой советской поэзии, всему новому. Таким надо дать бой.

Есенин читал ярко, своеобразно. В его исполнении не было плохих стихов: его сильный гибкий голос отлично передавал и гнев, и радость — все оттенки человеческих чувств. Огромный, переполненный людьми зал словно замер, покоренный обаянием есенинского таланта.

Бурей аплодисментов были встречены «Исповедь хулигана», «Кобыльи корабли», космическая концовка «Пантократора».

Лирическим стихам

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть

аплодировали так неуемно, что, казалось, Есенину никогда не уйти с эстрады.

Но вот его сменил А. Мариенгоф, прочитавший новую поэму. Г. Колобов не выступал, хотя в афише значился третьим участником вечера. Мы уже знали, что Григорий Романович не поэт, а работник транспорта, в служебном вагоне которого Есенин приехал в Ростов.

Назавтра, встретив Есенина в книжной лавке поэтов, я сказала ему, что стихи его очень хороши и нисколько не похожи на имажинистские. Он засмеялся и защищать имажинизм не стал.

Почти ежедневно в течение двух недель, проведенных в Ростове, Есенин бывал в доме моего отца по Социалистической улице, № 50. Здесь, окруженный поэтической молодежью, Сергей Александрович читал стихи, рассказывал о своей юности, о своих первых встречах с С. Городецким и А. Блоком.

— Очень люблю Блока,— говорил он,— у него глубокое чувство родины. А это — главное, без этого нет поэзии.

Как-то раз Есенин принес свою «ростовскую» фотографию, он снялся, присев на цоколь решетки городского сада. Ярко светило солнце, и глаза на фотографии получились сильно сощуренными.

Мы побывали в гостях у С. А. Есенина. Он жил на вокзале в том самом служебном вагоне, который доставил его в Ростов. И Колобов, и Мариенгоф были «дома». Все они гостеприимно хозяйничали, угощали нас абрикосами, поили сладким чаем. Ставить самовар пришлось Есенину,

была его очередь. Я удивилась, когда увидела, что Сергей Александрович переоделся и вместо серого щегольского пиджака на нем матросская белая блуза с голубым воротником. Мне объяснили: для того, чтобы разжечь самовар, надо добыть полешек, а вокзальная администрация охотнее сговаривается с моряками, чем с поэтами.

Из Ростова Есенин уезжал в Баку. Накануне была устроена прощальная встреча. Мы сдружились с московским гостем, жаль было, что он покидал Ростов. По нашей просьбе Есенин без устали читал свои стихи. Прочел полюбившееся нам, приветствующее революционную новь стихотворение, где есть строки:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Все были взволнованны, все молчали... И вдруг Есенин по-озорному сказал:

— А ведь есть продолжение!

И прочел:

Расступаются в небе тучи,
Петухи льют с крыльев рассвет...
Давно уже знаю, что я самый лучший,
Самый первый в России поэт!

Эти строки нигде не были напечатаны. Очевидно, экспромту-шутке Есенин не придал никакого значения. Но для нас в нем прозвучала большая доля правды. Посмеялись, пошутили, пожелали «лучшему поэту в России» доброго пути!

Второй приезд Есенина в Ростов в феврале 1922 года был очень коротким. Он провел в нашем городе всего один день в ожидании вагона, который должен был увезти его в Баку.

Настроение у него было неважное, ощущалось, что обстановка, сложившаяся в его личной жизни, тяготила его, что ему очень хотелось уехать куда-нибудь из Москвы.

Есенину не понравилась ростовская погода: подтаявший снег, туманный день.

Он с гордостью рассказывал, как работал над драматической поэмой «Пугачев», как много материалов и книг прочел он тогда. Показал на ладонях рубцы:

— Когда читаю «Пугачева», так сжимаю кулаки, что изранил ладони до крови...

Есенин прочел мне два отрывка из «Пугачева», прочел несколько стихотворений, написанных после первого приезда в Ростов. Стихи были великолепными, по-новому сильными. Особенно глубокое впечатление произвело на меня стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...». Я даже потеряла дар речи, ничего не смогла сказать.

Сергею Александровичу было приятно мое искреннее восхищение. Он сказал:

— А «Пугачев» — это уже эпос, но волнует, волнует меня сильней всего...

«Пугачев», бесспорно, одно из любимых творений Есенина, в которое он вложил всю свою творческую страсть...

Вагона не было, и намеченная Есениным поездка не состоялась.

⟨*1965*⟩

В. И. ВОЛЬПИН

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Я стращать мертвецом вас не стану,
Но должны ж вы, должны понять...

Есенин «Пугачев»

I

В своих воспоминаниях о Сергее Есенине я хотел бы главным образом остановиться на его кратком пребывании в Туркестане, которое отразилось в его творчестве («Пугачев») и вызвало к жизни книгу стихов «Персидские мотивы».

Несмотря на обилие персидских имен и географических наименований в «Персидских мотивах», Есенин в Персии по разным причинам не был, хотя и очень энергично туда собирался.

Материалом для «Персидских мотивов» послужили впечатления от путешествий в Туркестан и на Кавказ. Есенин мог писать, только переживая, только осязая предметно свою тему.

II

Познакомился я с Есениным в конце 1920 года. Я работал тогда в качестве представителя от Туркцентропечати в Москве при главном управлении Центропечати на Тверской. Имажинисты в то время почти монопольно, несмотря на острый бумажный кризис, ухитрялись издавать свои тощие книжки и часто бывали в Центропечати, экспедируя через ее аппарат свои издания в провинцию.

Там я впервые увидел Есенина, пришедшего туда по делу.

Наши встречи стали почти ежедневными. Встречались мы в кафе поэтов «Домино», в кафе имажинистов «Стойло Пегаса», на вечерах в консерватории и в Политехническом музее, в книжной лавке на Никитской, у него на квартире в Богословском пер. (рядом с театром б. Корша) № 3, кв. 48, где жил он вместе с Мариенгофом. ⟨...⟩

В то время Есенин был бодр. Он казался вождем какой-то воинствующей секты фанатиков, не желающих никому и ни в чем уступать. Особенно он был настроен против футуристов, отрицая за ними всякие заслуги и аттестуя их вождей весьма «крепкими» эпитетами.

Писал он в ту пору много, но выступал все время с одними и теми же вещами, главным образом с «Исповедью хулигана» и некоторыми стихами из «Трерядницы». ⟨...⟩

Помню, однажды уже перед самым моим отъездом в Ташкент Есенин, как бы по секрету, наклонясь над ухом, сообщил, что у него завтра будут блины, и пригласил меня к себе в Богословский переулок.

Когда я пришел, гости были уже в сборе. Помимо хозяев (Есенина и Мариенгофа) были Г. Р. Колобов, какая-то нарядная женщина — кажется, актриса — и не то родственник, не то земляк Есенина, приехавший из деревни, человек уже пожилой, исправно евший и пивший, но упорно молчавший.

Есенин был в хорошем настроении. Я впервые видел его в роли хозяина, усердно потчующего гостей, и внимательно присматривался к нему. Он был хорошо и со вкусом одет, гладко выбрит, от него пахло духами.

Есенин много ел, пил, в промежутках между едой курил, не забывал подгонять гостей и много говорил, говорил... Рассказывал, что пишет «Пугачева», что собирается поехать в киргизские степи и на Волгу, хочет проехать по тому историческому пути, который проделал Пугачев, двигаясь на Москву, а затем побывать в Туркестане, который, по его словам, давно уже его к себе манит.

— Там у меня друг большой живет, Шурка Ширяевец, которого я никогда не видел,— говорил он оживленно.

После обеда актриса пела песни, затем Есенин вместе с ней пел частушки, читал стихи и рассказывал анекдоты, над которыми все много и долго хохотали.

В то посещение я увидел на столике в комнате Есенина несколько книг о Пугачеве: очевидно, материалы к его трагедии. ⟨...⟩

III

Вскоре я уехал в Туркестан. Мы встретились с Есениным через три месяца в Ташкенте.

Есенина манил не «Ташкент — город хлебный», а Ташкент — столица Туркестана. Поездку Есенина в Туркестан следует рассматривать как путешествие на Восток, куда его очень давно, по его словам, тянуло. ⟨...⟩

Приехал Есенин в Ташкент в начале мая, когда весна уже начала переходить в лето. Приехал радостный, взволнованный, жадно на все глядел, как бы впивая в себя и пышную туркестанскую природу, необычайно синее небо, утренний вопль ишака, крик верблюда и весь тот необычный для европейца вид туземного города с его узкими улочками и безглазыми домами, с пестрой толпой и пряными запахами.

Он приехал в праздник уразы, когда мусульмане до заката солнца постятся, изнемогая от голода и жары, а с сумерек, когда солнце уйдет за горы, нагромождают на стойках под навесами у лавок целые горы «дастархана» для себя и для гостей: арбузы, дыни, виноград, персики, абрикосы, гранаты, финики, рахат-лукум, изюм, фисташки, халва... Цветы в это время одуряюще пахнут, а дикие туземные оркестры, в которых преобладают трубы и барабаны, неистово гремят.

В узких запутанных закоулках тысячи людей в пестрых, слепящих, ярких тонов халатах разгуливают, толкаются и обжираются жирным пилавом, сочным шашлыком, запивая зеленым ароматным кок-чаем из низеньких пиал, переходящих от одного к другому.

Чайханы, убранные пестрыми коврами и сюзане, залиты светом керосиновых ламп, а улички, словно вынырнувшие из столетий, ибо такими они были века назад, освещены тысячесвечными электрическими лампионами, свет которых как бы усиливает пышность этого незабываемого зрелища. Толпа разношерстная: здесь и местные узбеки, и приезжие таджики, и чарджуйские туркмены в страшных высоких шапках, и преклонных лет муллы в белоснежных чалмах, и смуглые юноши в золотых тюбетейках, и приезжие из «русского города», и разносчики с мороженым, мишалдой и прохладительными напитками. Все это неумолчно шевелится, толкается, течет, теряя основные цвета и вновь находя их, чтобы через секунду снова расколоться на тысячу оттенков.

И в такую обстановку попал Есенин — молодой рязанец, попал из голодной Москвы. Он сначала теряется, а затем начинает во все вглядываться, чтобы запомнить.

Я помню, мы пришли в старый город небольшой компанией, долго толкались в толпе, а затем уселись на верхней террасе какого-то ош-хане. Вровень с нами раскинулась пышная шапка высокого карагача — дерево, которое Есенин видел впервые. Сверху зрелище было еще ослепительнее, и мы долго не могли заставить Есенина приступить к еде.

В петлице у Есенина была большая желтая роза, на которую он все время бережно посматривал, боясь, очевидно, ее смять.

Когда мы поздно возвращались в город на трамвае, помню то волнение, которым он был в этот день пронизан. Говорил он много, горячо, а под конец заговорил все-таки о березках, о своей рязанской глуши, как бы желая подчеркнуть, что любовь к ним у него постоянна и неизменна.

IV

Литературная колония в Ташкенте встретила Есенина очень тепло и, пожалуй, с подчеркнутым уважением и предупредительностью как большого, признанного поэта, как метра. И это при враждебном к нему отношении как к вождю имажинизма — течению, которое было чуждо почти всей пишущей братии Ташкента.

Особенно часто и остро нападал на Есенина за его имажинизм Ширяевец, видевший в имажинисте Есенине поэта, отколовшегося от их мужицкого стана. Есенин долго и терпеливо объяснял своему другу основы имажинизма и тогда же начал писать письмо Р. В. Иванову-Разумнику с изложением этих основ, но так и не докончил его, оставив черновик письма Ширяевцу на память *.

С Ширяевцем Есенин встречался чаще, чем с другими. Их связывала почти шестилетняя заочная дружба, поддерживавшаяся редкими письмами, и Есенин не мог с ним наговориться.

Он позже, в Москве, уже после смерти Ширяевца, сильно подействовавшей на него, вспоминал их первую

---

* Письмо это опубликовано в журнале «Красная новь», № 2 за 1926 г.

личную встречу и говорил мне, что до поездки в Ташкент он почти не ценил Ширяевца и только личное знакомство и долгие беседы с ним открыли ему значение Ширяевца как поэта и близкого ему по духу человека, несмотря на все кажущиеся разногласия между ними.

Приехал Есенин в Туркестан со своим другом Колобовым, ответственным работником НКПС, в его вагоне, в котором они и жили во все время их пребывания в Ташкенте и в котором затем уехали дальше — в Самарканд, Бухару и Полторацк (бывш. Асхабад) [1].

Ташкентский Союз поэтов предложил Есенину устроить его вечер. Он согласился, но просил организовать его возможно скромнее, в более или менее интимной обстановке. Мы наметили помещение Туркестанской публичной библиотеки.

Вечер вскоре состоялся [2]. Небольшая зала библиотеки была полна. Преобладала молодежь. Лица у всех были напряженны.

Читал Есенин с обычным своим мастерством. На аплодисменты он отвечал все новыми и новыми стихами и умолк, совершенно обессиленный. Публика не хотела расходиться, а в перерыве раскупила все книги Есенина, выставленные Союзом для продажи. На все просьбы присутствовавших прочитать хотя бы отрывки из «Пугачева», к тому времени вчерне уже законченного, Есенин отвечал отказом.

Однако он почти целиком прочитал свою трагедию через два дня у меня на квартире. Долго тянулся обед, затем чай, и, только когда уже начало темнеть, Есенин стал читать. Помнил он всю трагедию на память и читал, видимо, с большим наслаждением для себя, еще не успев привыкнуть к вещи, только что законченной.

Читал он громко, и большой комнаты не хватало для его голоса. Я не знаю, сколько длилось чтение, но знаю, что, сколько бы оно ни продолжалось, мы, все присутствовавшие, не заметили бы времени. Вещь производила огромное впечатление. Когда он, устав, кончил чтение, произнеся заключительные строки трагедии, почувствовалось, что и сам поэт переживает трагедию, может быть, не менее большую по масштабу, чем его герой.

Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Он кончил... И вдруг раздались оглушающие аплодисменты. Аплодировали не мы, нам это в голову не пришло. Хлопки и крики неслись из-за открытых окон (моя квартира была в первом этаже), под которыми собралось несколько десятков человек, привлеченных громким голосом Есенина.

Эти приветствия незримых слушателей растрогали Есенина. Он сконфузился и заторопился уходить.

Через несколько дней он уехал дальше в глубь Туркестана, завоевав еще один город на своем пути.

21 марта 1926

И. Н. РОЗАНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Я не принадлежу к тем, кто был с Есениным на «ты», звал его Сережей и великолепно знал всю подноготную, всю его частную и домашнюю жизнь. И никогда я особенно не сетовал, что нет у меня неодолимой страсти непременно разбираться в закулисных интригах, заглядывать в чужие спальни. Я всегда думал, что есть известные границы, что́ можно говорить о писателе и чего не надо, не следует. Дела поэта — это прежде всего стихи его. Все остальное — постольку поскольку. Знание обыденной домашней обстановки может в некоторых случаях пояснить его творчество, но чаще только мешает, заслоняя главное, существенное и неповторимое, второстепенным, обыденным и заурядным.

Мои отношения к Есенину, как к человеку и к поэту, были живые, а все живое изменяется. Я с самого начала, как только о них узнал, стал ценить его стихи, но несколько предубежденно вначале относился к нему как к человеку, потому что замечал грим, позу. И не особенно стремился познакомиться с ним. Этим следует объяснить тот странный на первый взгляд факт, что я совершенно не помню, как и при каких обстоятельствах я в 1920 году познакомился с ним лично. Но когда познакомился, прежнее предубеждение против него стало быстро исчезать. Каждый писатель немного актер. Грим, поза — это главным образом для зрительного зала, а я попал в число тех привилегированных зрителей, которых в антракты пускают на сцену. В личных отношениях Есенин оказался милым, простым и совершенно очаровал меня.

В Риме в кинематографе в 1907 году случилось мне видеть историю из жизни русских революционеров. Тут были и тайные совещания заговорщиков, и покушение на

жизнь важной особы, и внезапный обыск, и одиночное заключение, наконец — высший момент нервного напряжения публики — бегство из тюрьмы на лихой тройке и неизбежная погоня. Была дана настоящая русская зима, великолепно ложились колеи на рыхлом снегу, тройка неслась, «бразды пушистые взрывая». Но одна подробность в этой истории из жизни русских революционеров с самого начала особенно бросалась в глаза и вызывала улыбку у русского зрителя: все революционеры одеты были совершенно одинаково — в русские кучерские костюмы, острижены все были в кружок, револьверы заткнуты за кушаки.

Этот римский кинематограф и этот наряд пришли мне на память, когда я в первый раз увидел Есенина.

В Москве такого поэта еще не знали. Начинался 1916 год, последний дореволюционный. В воздухе еще стоял угар войны. Национализм, подогреваемый войной и большею частью воинствующий, был одним из самых заметных мотивов в поэзии того времени.

21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в Обществе свободной эстетики [1]. Я не очень любил это общество и почти никогда там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже четыре года, как он обратил на себя всеобщее внимание. Он уже успел выпустить три книги стихов, и я был ими очень заинтересован.

Собрание Общества свободной эстетики на этот раз происходило в помещении картинной галереи Лемерсье на Петровке. Я прибыл в назначенное время, но тут всегда запаздывали, и я долго слонялся по залам, увешанным картинами, терпеливо ожидающими себе покупателей. Галерея Лемерсье была чем-то вроде художественно-комиссионной конторы. Потом я очутился в одной из последних комнат, где расставлены были стулья рядами и собралось уже порядочно публики. Я нашел знакомых, с которыми ранее уговорился встретиться. Стали дожидаться вместе. Наконец раздался шепот: «Приехал!»

И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые светлые волосы; прямые, широкие, спадающие, «моржовые» усы. Он в коричневой поддевке и высоких сапогах. Но он не один: за ним следом какой-то парень странного вида. На нем голубая шелковая рубашка, черная бархатная безрукавка и нарядные сапожки. Но особенно поражали пышные волосы. Он был совершенно белоголо-

вый, как бывают в деревнях малые ребята. Обыкновенно позднее такие волосы более или менее темнеют, а у нашего странного и нарядного парня остались, очевидно, и до сих пор. Они были необычайно кудрявы.

Распорядитель объявил, что стихи будет читать сначала Клюев, потом... последовала незнакомая фамилия. «Ясенин» послышалось мне. Это легко осмысливалось: «Ясень», «Ясюнинские»... И когда через полгода я купил только что вышедшую «Радуницу», я не без удивления увидал, что фамилия автора начинается с «е» и что происходит она не от «ясень», а от «осень», по-церковнославянски «есень».

Сначала Клюев читал большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешел к мелким, лирическим. Помню, как читал он свой длинный «Беседный наигрыш. Стих доброписный». Содержание было самое современное:

> Народилось железное царство
> Со Вильгельмищем, царищем поганым.—
> У него ли, нечестивца, войска — сила,
> Порядового народа — несусветно...

Клюев поражал своею густою красочностью и яркою образностью.

Очередь за другим поэтом. Он также начал с эпического. Читал о Евпатии Рязанском [2]. Этой былины я нигде потом в печати не видел и потому плохо ее помню. Во всяком случае, тут не было того воинствующего патриотизма, которым отличались некоторые вещи Клюева. Если тут и был патриотизм, то разве только краевой, рязанский. Потом Есенин перешел к мелким стихам, стихам о деревне. Читал он их очень много, разделял одно от другого короткими паузами, читал, как помнится, еще не размахивая руками, как было впоследствии. «Жарит, как из пулемета»,— сказал мой сосед слева. Большинство прочитанного поэтом вошло потом частью в «Радуницу», частью в «Голубень».

— Это что-то вроде Кольцова или Некрасова, которых я терпеть не могу! — сказала моя соседка справа, художница-футуристка, щеголявшая своей эксцентричностью.

Потом был перерыв, потом опять читали в том же порядке. В перерыве и по окончании в гардеробной слушатели обменивались впечатлениями о стихах и о наружности поэтов. Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева:

— Какая образность! Например: «солнце-колокол». Помните у Тютчева: «Раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей» [3].

Другой поэт, деревенский парень, ему не понравился.

Еще резче отнеслась к нему моя соседка справа, художница. Когда на лестнице к ней подошел Клюев, с которым она уже была раньше знакома, и спросил: «Ну как?», она с дерзостью избалованной женщины отвечала:

— Сначала я слушала, а потом перестала: ваш товарищ мне совсем не понравился.

— Как? Такой жавороночек? — И в тоне Клюева послышалась ласковость к своему «сынку» и сожаление.

— Впрочем, о вкусах не спорят,— смягчила свою резкость художница.— Может быть, кому-нибудь другому он и пришелся по вкусу.

Впоследствии, глядя на Есенина, я не раз вспоминал это определение Клюева: «жавороночек».

Но среди слушателей раздавались и голоса, отдававшие предпочтение безвестному до сих пор в Москве Есенину перед гремевшим в обеих столицах Клюевым. Я жадно прислушивался к этим толкам [4]. Мне лично Клюев показался слишком перегруженным образами, а местами и прямо риторичным. Нравились отдельные прекрасные эпитеты и сравнения, но ни одно стихотворение целиком. Есенина я, как и многие другие, находил проще и свежее. Тут были стихотворения, понравившиеся мне целиком, например «Корова», где уже сказалась столь характерная для позднейшего Есенина нежность к животным. «Песня о собаке», написанная на однородную тему, конечно, лучше, но и здесь типичный мотив: «Для зверей приятель я хороший» [5].

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Кажется, в первый раз в русской литературе поэт привлекал внимание к горю коровы.

Еще более произвело на меня впечатление «В хате» («Пахнет рыхлыми драченами...»), а особенно три последние строчки:

От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

И ночью, уже ложась спать, я все восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не могу припомнить всего стихотворения.

Это о стихах. Сами же поэты, главным образом их наряды, особенно внешность Есенина, возбудили во мне отрицательно ироническое отношение. Костюмы их мне показались маскарадными, и я определил их для себя словами: «опереточные пейзане» и «пряничные мужички». Тогда-то и вспомнился мне римский кинематограф и русские революционеры в кучерских кафтанах, остриженные в кружок. Конечно, не в таком костюме ходил Есенин, когда год или полтора тому назад посещал университет Шанявского, где, кажется, усердно занимался.

Впоследствии к этой стилизации я отнесся более терпимо. Надо принять во внимание, каково было большинство публики, перед которой они выступали. Тут много было показного, фальшивого и искусственного. Были тут, между прочим, какие-то грассирующие, лощеные юноши, у которых весь ум ушел в пробор, увильнувшие от призыва на войну «белобилетники», как их тогда называли; были разжиревшие и обрюзгшие меценаты с бриллиантовыми перстнями и свиными глазками.

Летом 1916 года вышла «Радуница», а вслед за тем в «Вестнике Европы» — первая критическая статья о Есенине профессора П. Н. Сакулина под заглавием «Народный златоцвет» [6]. Эта статья очень характерна для отношения критики к Есенину первого периода. Как и следовало ожидать, Есенин рассматривается вместе с Клюевым и последнему уделяется гораздо больше внимания.

Когда я в 1920 году познакомился с Есениным, он решительно ничем не напоминал того «пряничного мужичка», каким я увидел его впервые четырьмя годами раньше. Я стал присматриваться, и меня более всего поразили его глаза. Постоянно приходится слышать прилагаемый к нему эпитет «голубоглазый». Мне кажется, что это слишком мало передает: надо было видеть, как иногда загорались эти глаза. В такие минуты он становился поистине прекрасным. Это была красота живая, красота выражения. Чувствовалась большая внутренняя работа, чувствовался настоящий поэт.

1919—1920 годы были для Москвы тяжелыми, голодными. В литературном быту это отразилось на появлении целого ряда книжных лавок писателей. Тогда не разрешали

держать книжных магазинов частным лицам, а только организациям, политическим или литературным. Кроме «Лавки писателей», старейшей в Москве, появились лавки «Поэтов», «Деятелей искусства», «Художников слова» и др. За книжными прилавками можно было увидеть и известного беллетриста, и уважаемого профессора. Из названных лавок две принадлежали имажинистам. В одной, в Камергерском, торговали Шершеневич и Кусиков, в другой — «Художники слова», близ консерватории,— Есенин и Мариенгоф. Но если поэты из Камергерского действительно торговали, то в лавке «Художники слова» Есенин и Мариенгоф скорее только присутствовали. Есенин был тут вывеской, приманкой [7]. Книжное дело вели другие лица. К поэтам постоянно приходили их знакомые, большей частью тоже поэты, и лавка «Художники слова» превращалась в литературный клуб. В этом клубе царила бодрая, веселая атмосфера.

У Есенина была не только «легкая походка», о чем он говорил в своих стихах, но весь он был легкий, светлый, быстрый и всегда себе на уме. Иногда я заставал его, когда не было посетителей, за словарем Даля или за чтением стихов старых русских поэтов. Мне казалось, что Есенин дорожил своими друзьями-имажинистами, потому что они действительно были товарищами, ловкими и предприимчивыми, и не подавляли его своим авторитетом. Имажинизм давал ему возможность оттолкнуться от своего прошлого. Особенно открещивался он от того периода, когда его имя называли обыкновенно вслед за Клюевым. Он возмущался теми критиками и составителями хрестоматий, которые зачисляли его в крестьянские поэты. Это все равно, говорил он, что зрелого Пушкина продолжать называть «певцом Руслана и Людмилы».

В 1920 и 1921 годах я часто видался с Есениным. Я не был его близким приятелем. Сведения о себе сообщал он мне как человеку, интересующемуся его поэзией, который когда-нибудь будет о нем писать. В то время я работал над вторым томом своей «Русской лирики». Первый вышел в конце 1913 года и посвящен был лирике двадцати пяти старших современников Пушкина. Во втором должны были быть поэты — ближайшее окружение Пушкина. Есенин меня спросил: «О ком вы пишете сейчас?» Я отвечал, что сейчас пишу о забытых поэтах, Катенине и Плетневе, но когда-нибудь дойду и до современных поэтов. Есенин, смеясь, сказал: «Я войду, вероятно, только в ваш десятый том!»

Он много и охотно рассказывал о себе. То, что мне казалось наиболее интересным, я записывал.

Это было время «Сорокоуста», «Исповеди хулигана», работы над «Пугачевым». В эволюции славы Есенина момент довольно важный.

Если признан он был сразу, при первом появлении своем в литературной среде, если первая книга его, «Радуница», уже дала ему заметное имя, то необходимо указать, что им интересовались главным образом как новым социальным явлением, как поэтом из народа, не перепевающим Сурикова и Дрожжина, а с новыми мотивами и настроением.

1920 и 1921 годы важны в поэтической деятельности Есенина тем, что поэт резче, чем раньше, выразил свое поэтическое лицо, показал себя «нежным хулиганом», найдя новую, острую и никем еще не использованную тему.

Вместе с тем он отказался от присущего ему ранее обилия церковных и религиозных образов, с каждым годом терявших для его читателей свою эмоциональную значимость, освободился от той лампадности, которая шла к нему от его деда-старообрядца, которая поддерживалась годами учения в закрытой церковно-учительской школе, а потом влиянием Клюева.

Вместе с тем стихи Есенина приобрели большее общественное значение, чем раньше. В «Сорокоусте» (название еще в духе прежнего творчества) ему удалось дать образ необычайный и никому другому не удававшийся в такой степени по силе и широте обобщения: образ старой, уходящей деревянной Руси — красногривого жеребенка, бегущего за поездом.

Ни одно из произведений Есенина не вызвало такого шума, как «Сорокоуст». Истинная слава вообще неотделима от шума и скандала. Одни рукоплещут, другие свистят и шикают. Единодушное признание свидетельствует о том, что в данном произведении нет настоящего творческого дерзания, или это признание приходит позднее, когда страсти поулягутся.

Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота. Один за другим читают свои стихи представители различных поэтических групп и направлений. Многие из поэтов рисуются, кривляются, некоторые как откровения гения вещают свои убогие стишки и вызывают смех и иронические возгласы слушателей.

Публика явно утомилась и ищет повода пошуметь... пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов.

Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст». Уже четвертый или пятый стих вызывает кое-где свист и отдельные возгласы негодования. В стихах этих речь идет о блохах у мерина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканье, крики: «Довольно!» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется.

Часть публики хлопает, требуя, чтобы поэт продолжал. Между публикой явный раскол. С неимоверным трудом при помощи звучного и зычного голоса Шершеневича председателю удается наконец водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит:

— Вы услышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние два или три года.

Есенин начинает, по обыкновению размахивая руками, декламировать сначала. Но как только он опять доходит до мужицких слов, не принятых в салонах, поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. «Это безобразие!», «Сами вы хулиганы — что вы понимаете!» и т. д. Только Шершеневичу удается перекричать ревущую аудиторию. «А все-таки он прочтет до конца!» — кричит Шершеневич. Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он в третий раз читает свои стихи, читает долго, по обыкновению размахивая руками, но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум.

А через неделю-две не было, кажется, в Москве молодого поэта или просто любителя поэзии, следящего за новинками, который бы не декламировал «красногривого жеребенка». А потом и в печати стали цитировать эти строки, прицепив к Есенину ярлык: «поэт уходящей деревни».

Когда Есенин оказался в компании имажинистов, многие стали его оплакивать и пророчить гибель таланта. Особенно удивлялись, как четыре имажинистских кита — Есенин, Шершеневич, Мариенгоф и Кусиков — раздели-

Политехнический Музей

(Лубянский проезд, 4)

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 17-го ОКТЯБРЯ, в 7 ½ ЧАС. ВЕЧ.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

состоится **ВЕЧЕР** всех

ПОЭТИЧЕСКИХ

ШКОЛ и ГРУПП.

С ДЕКЛАРАЦИЯМИ и СО СТИХАМИ выступят:

НЕОКЛАССИКИ: М. Гальперин, О. Леонидов.

НЕОРОМАНТИКИ: Арго, А. Мареев.

СИМВОЛИСТЫ: А. Белый, В. Брюсов, И. Рукавишников.

НЕОКМЕИСТЫ: Адалис.

ФУТУРИСТЫ: И. Аксенов, С. Буданцев, В. Каменский, А. Крученых, В. Маяковский.

ИМАЖИНИСТЫ: И. Грузинов, С. Есенин, А. Кусиков, А. Мариенгоф, М. Ройзман, В. Шершеневич, Н. Эрдман.

ЭКСПРЕССИОНИСТЫ: С. Спасский, И. Соколов.

ПРЕЗАНТИСТЫ: А. Некрасов, Д. Туманный.

НИЧЕВОКИ: Б. Земенков, Р. Рок, С. Садиков.

ЭКЛЕКТИКИ: А. Алчутин, Н. Бенар.

ПОДРОБНОСТИ В ПРОГРАММАХ.

Билеты продаются заблаговременно в кассе Политехнического Музея (Лубянский пр. 4) с 4 до 9 час. вечера.

лись на две, пары.— Есенин более дружил с Мариенгофом, Шершеневич с Кусиковым. Казалось бы более естественной другая группировка: Шершеневич с Мариенгофом,— большинством они воспринимались как поэты надуманные, как словесные клоуны. Есенин же скорее ассоциировался с Кусиковым. У того и другого находили искренний лиризм, пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов.

Однажды я шел по Никитской с одним критиком, писавшим в то время статью об имажинистах. Навстречу — Есенин с Мариенгофом. Остановка [8].

— Я вас разведу,— сказал критик встретившимся.— Мариенгофа обвенчаю с Шершеневичем, а вам, Есенин, дам новую жену: Кусикова.

— Какой ужас! — засмеялся Есенин.— Нельзя ли кого другого, только не Кусикова.

На следующий день Есенин сказал мне:

— Не знаю, зачем нужно меня с кем-нибудь спаривать: я сам по себе. Достаточно того, что я принадлежу к имажинистам. Многие думают, что я совсем не имажинист, но это неправда: с самых первых шагов самостоятельности я чутьем стремился к тому, что нашел более или менее осознанным в имажинизме. Но беда в том, что приятели мои слишком уверовали в имажинизм, а я никогда не забываю, что это только одна сторона дела, что это внешность. Гораздо важнее поэтическое мироощущение.

Слава Есенина сделала крупный скачок. Уже многие стали мысленно соглашаться с гордым заявлением его, что сейчас в России он «самый лучший поэт». На таком уровне славы держался Есенин и несколько последующих лет. Даже, может быть, эта слава начала слегка колебаться: его «Пугачев» не имел успеха. Следующий скачок дала «Москва кабацкая», а настоящая, прочная, непроходящая слава связана с выходом в свет его стихов в издании «Круга» в 1924 году; особенное значение имел в книге отдел, озаглавленный «После скандалов» [9]. Поэт перерастает себя и как крестьянского поэта и как поэта-хулигана. Он забирается на такие вершины поэзии («Памяти Ширяевца» и т. д.), что оттуда уже недалеко и до обеспечения себе места в тесном и немногочисленном кругу классиков русской литературы.

Необходимо отметить, что Есенин вовсе не был равнодушен к своей славе и беззаботен насчет того, что о нем говорят. Из заграничной поездки он вывез целые ворохи газетных вырезок о себе, появлявшихся в иностранной прессе, даже из японских газет. И конечно, слава ему была дороже жизни. Об этом свидетельствует хотя бы его известное обращение к Пушкину перед памятником великому поэту на Тверском бульваре.

Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Есенину всегда была присуща высокая самооценка. В своей автобиографии он рассказывает, что, когда в 1915 году появился среди петербургских литераторов, он сразу был признан как талант. К этому он добавляет: «Я знал это лучше всех» [10].

И постепенно он все более рос в своих собственных глазах. Вначале он отводит себе почетное место в ряду крестьянских поэтов [11]. Опуская Никитина, Сурикова и всех других, он устанавливает такую последовательность: Кольцов, Клюев и он, Есенин. Но потом ему уже мало быть в числе первых имен из поэтов этой линии, и еще при жизни Блока, которого он очень любил, он называет себя «первым поэтом в России» [12].

Пишущему эти строки Есенин в 1921 году объяснял одно свое преимущество перед Блоком — это «ощущение родины»:

— Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая.

Преимущество свое перед Клюевым, которого Есенин считал тоже большим поэтом, он определял так: «Клюев не нашел чего-то самого нужного, и поэтому творчество его становится бесплодным». Другой раз он высказал свою мысль так: «У Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь».

Что же касается до своих друзей имажинистов, с которыми он тесно был связан в течение нескольких лет, то и в самый разгар дружбы с ними Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало. «Я же,— добавлял Есенин,— в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение».

Однажды Есенин сказал мне:

— Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться «Пугачев».

— А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи Пугачевского бунта?

— Нет.

Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагическою участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены, взял насильно: она его не любила; а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее, как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме.

— Ну, это совсем другое!

— А как вы относитесь к пушкинской «Капитанской дочке» и к его «Истории»?

— У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь.

И потом, немного помолчав, прибавил:

— В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии.

Я ответил, что тоже таких не припоминаю.

— Я несколько лет,— продолжал Есенин,— изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева.

Он немного помолчал.

— А знаете ли, это второе мое драматическое произведение. Первое — «Крестьянский пир» — должно было появиться в сборнике «Скифы»; начали уже набирать, но я раздумался, потребовал его в гранках, как бы для просмотра, и — уничтожил. Андрей Белый до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею.

Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно.

— Обратите внимание,— сказал он мне,— что у меня почти совсем нет любовных мотивов. «Маковые побаски» можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании «Радуницы». Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве.

Это говорилось в 1921 году. В последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» оставалось, конечно, верным.

— С детства,— говорил Есенин,— болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, например, знаете вы мою «Радуницу»?

— Да.

— Какое у вас издание?

— У меня есть и первое и второе.

— Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. «Что это такое значит,— спрашивали меня:

Я странник *улогий*
В *кубетке* сырой?»

Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов; целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный, рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил.

— Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано,— заметил я,— состав стихотворений другой.

— Да, я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал.

Как-то разговор зашел о влияниях и о любимых авторах.

— Знаете ли вы, какое произведение,— сказал Есенин,— произвело на меня необычайное впечатление? «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Какой язык! Из поэтов я рано узнал и полюбил Пушкина и Фета. Из современных поэтов я люблю больше других Блока. С течением времени все больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно оценили.

Эти слова Есенина припомнились мне впоследствии, когда я однажды встретил его в книжном магазине «Колос». Он был с Дункан и покупал полное собрание сочинений своего любимого Гоголя.

---

26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне перед этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и другие его рассказы о себе, относящиеся большей частью к концу 1920 года, не вполне совпадают с теми сведениями, которые он сообщает в двух автобиографиях, написанных им лично позднее и предназначавшихся тогда же для напечатания. Вот что было мною записано.

«Я — рязанец, и исследователи моей поэзии легко могут это заметить и по моим стихам. Первые мои книги стихов должны были больше говорить моим землякам, чем остальным читателям. Я крестьянин Рязанской губернии, Рязанского же уезда. Родился я в 1895 году по старому стилю 21 сентября, по новому, значит, 4 октября [13]. В нашем краю много сектантов и старообрядцев. Дед мой, замечательный человек, был старообрядским начетчиком [14].

Книга не была у нас совершенно исключительным и редким явлением, как во многих других избах. Насколько я себя помню, помню и толстые книги в кожаных переплетах. Но ни книжника, ни библиофила это из меня не

сделало. Вот и сейчас я служу в книжном магазине, а состав книг у нас знаю хуже, чем другие. И нет у меня страсти к книжному собирательству. У меня даже нет всех мною написанных книг.

Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо большую роль. Так было и в детстве, так и потом, когда я встречался с разными писателями. Например, Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной. То же и Иванов-Разумник.

А в детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии.

Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень рано узнал я стих о Миколе. Потом я и сам захотел по-своему изобразить «Миколу». Еще больше значения имел дед, который сам знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них.

Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Он говорил: плох он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут. И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед. Небесное — небесному, а земное — земному. Недаром он был зажиточным мужиком.

Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать.

И потом и в творчестве моем были такие же полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

Меня спрашивают, зачем я в стихах своих употребляю иногда непринятые в обществе слова — так скучно иногда бывает, так скучно, что вдруг и захочется что-нибудь такое выкинуть. А впрочем, что такое «неприличные слова»? Их употребляет вся Россия, почему не дать им права гражданства и в литературе.

Учился я в закрытой церковной школе в одном заштатном городе Рязанской же губернии. Оттуда я должен был поступить в Московский учительский институт. Хорошо, что этого не случилось: плохим бы я был учителем. Некоторое время я жил в Москве, посещал университет Шанявского. Потом я переехал в Петербург. Там меня более всего своею неожиданностью поразило существова-

ние на свете другого поэта из народа, уже обратившего на себя внимание,— Николая Клюева.

С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его «Песнослова» хуже первого. Резкое различие со многими петербургскими поэтами в ту эпоху сказалось в том, что они поддались воинствующему патриотизму, а я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически совершенно чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан [15]. Я уже раньше рассказывал вам о разных литературных знакомствах и влияниях. Да, влияния были. И я теперь во всех моих произведениях отлично сознаю, что в них мое и что не мое. Ценно, конечно, только первое. Вот почему я считаю неправильным, если кто-нибудь станет делить мое творчество по периодам. Нельзя же при делении брать признаком что-либо наносное. Периодов не было, если брать по существу мое основное. Тут все последовательно. Я всегда оставался самим собой.

Еще о нашей братии, поэтах. Недавно в Союзе поэтов были перевыборы. Забаллотирован Валерий Брюсов. В правление выбраны Андрей Белый, я и другие. Андрей Белый отказался, потому что уезжает в Петербург, я отговорился тем, что мне некогда. Это, конечно, вздор. Время бы нашлось. В действительности же я отказался потому, что я совершенно чужд этому союзу, как и всякому [16].

Вообще, чем больше я живу, тем более убеждаюсь, что наша братия, поэты,— преотвратительный народ.

Вы спрашиваете, целен ли был, прям и ровен мой житейский путь? Нет, такие были ломки, передряги и вывихи, что я удивляюсь, как это я до сих пор остался жив и цел.

Об этом расскажу вам подробно когда-нибудь другой раз».

Но это так и не случилось.

Есенина после его возвращения из Америки я стал видеть реже. Запомнились четыре отдельные встречи. Первая на каком-то спектакле в Камерном театре. Мы неожиданно встретились в фойе театра во время антракта и обменялись впечатлениями. Помню, как крепко, по-дружески пожал он мне руку.

Второй раз я видел Есенина в одну из суббот в литературном кружке «Никитинские субботники». Третий раз в Политехническом музее на «чистке поэтов» у Маяковского [17].

Особенно запомнилось мне выступление Есенина у памятника Пушкину в 1924 году, в день 125-летнего юбилея великого поэта. Есенин стоял на ступеньках пьедестала, светлые его кудри резко выделялись в толпе. В руках он держал букет цветов, который от Союза писателей он возложил к подножию памятника. Он читал свое известное стихотворение, посвященное Пушкину, громко и четко, размахивая, как обычно, руками:

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть [18].

Но петь пришлось недолго. Последняя моя встреча с Есениным состоялась уже 30 декабря 1925 года, когда мы, московские писатели, пришли в Дом печати встретить прибывший из Ленинграда гроб с телом покойного поэта. Был сырой зимний вечер. Подавленные бессмысленной смертью, молча стояли мы у гроба.

А на здании Дома печати порывистый ветер колыхал длинный белый плакат, на котором крупными буквами написано было: «Умер великий русский поэт».

⟨1926⟩

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Блок, I—VIII — Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. I—VIII. М.— Л., Гослитиздат, 1960—1963.

ВЛ — журн. «Вопросы литературы».

Воспоминания, 1926 — сб. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». М.— Л., Госиздат, 1926.

Воспоминания, 1965 — сб. «Воспоминания о Сергее Есенине». М., Московский рабочий, 1965.

Воспоминания, 1975 — сб. «Воспоминания о Сергее Есенине». М., Московский рабочий, 1975.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.

ГЛМ — Государственный литературный музей.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

ЛР — еженедельник «Литературная Россия».

ЛН — Литературное наследство.

РЛ — журн. «Русская литература».

Хроника, 1, 2 — Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. М., Советская Россия, ч. 1, 1969; ч. 2, 1970.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

Тексты С. А. Есенина, кроме специально оговоренных случаев, цитируются по изданию: Есенин С. А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. I—VI. М., Художественная литература, 1977—1980. При этом в тексте указывается только том и страница.

Настоящее издание — не первое собрание воспоминаний о Есенине. На следующий год после смерти поэта одновременно вышли в свет три сборника:

«Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Под редакцией И. В. Евдокимова. М.— Л., Госиздат, 1926;

«Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». Под редакцией Е. Ф. Никитиной. М., Работник просвещения, 1926;

«Памяти Есенина». М., Всероссийский союз поэтов, 1926.

В том же году отдельными брошюрами были выпущены воспоминания С. С. Виноградской, И. В. Грузинова, А. Б. Мариенгофа, И. Н. Розанова. В следующем, 1927 году также отдельной брошюрой вышли воспоминания В. Ф. Наседкина, появился и «Роман без вранья» А. Б. Мариенгофа. Эта книга вызвала резко отрицательную реакцию, что не могло не сказаться на отношении к мемуарам о Есенине в целом.

В 1965 году издательством «Московский рабочий» был выпущен сборник «Воспоминания о Сергее Есенине» (под общей редакцией Ю. Л. Прокушева). С небольшими изменениями в составе он был повторен в 1975 году. В этих сборниках впервые был отражен весь жизненный и творческий путь поэта. Благодаря им целый ряд воспоминаний впервые стал доступен читателям. В 1985 году издательством «Московский рабочий» был выпущен сборник «Сергей Есенин. Воспоминания родных», в который вошли очерки Е. А. и А. А. Есениных, А. Р. Изрядновой, В. Ф. Наседкина, Т. С. и К. С. Есениных.

Настоящее издание значительно шире предшествующих. Не входили раньше в подобные сборники воспоминания Т. Ф. Есениной, К. П. Воронцова, Г. А. Бениславской, В. А. Рождественского, А. К. Воронского, В. А. Мануйлова, В. А. Пяста и др. Ряд воспоминаний (И. В. Грузинова, И. Н. Розанова, В. С. Чернявского, В. И. Эрлиха и др.) публикуются в значительно более полном виде.

Серьезные трудности представило определение композиции сборника, порядка расположения мемуаров. Дело в том, что целый ряд мемуаров охватывает многие периоды жизни Есенина, нередко от первого знакомства до конца жизни поэта. Поэтому распределить воспоминания, как это чаще всего делается в подобных изданиях, по периодам жизни писателя не представлялось возможным.

Принцип, который положен в основу композиции сборника,— дата первого знакомства с Есениным. Однако формально следовать этому принципу во всех без исключения случаях представлялось не вполне оправданным. К примеру, воспоминания А. М. Горького пришлось бы поместить рядом с воспоминаниями о первом петроградском периоде 1915—1916 годов, хотя основное место в них занимает рассказ о встрече с Есениным в Берлине в 1922 году. Поэтому ряд воспоминаний размещены в соответствии с их основным содержанием, с учетом их близости к другим мемуарам, относящимся к этому же периоду творчества поэта.

Тексты воспоминаний проверены по печатным и архивным источникам, что позволило устранить ряд погрешностей в их воспроизведении. Обращение к архивам позволило также включить ряд новых источников текста. Ограниченные масштабы сборника не позволили воспроизвести все мемуары в полном объеме. Сокращения в основном касаются малозначащих эпизодов или не имеющих отношения к Есенину отступлений. Все купюры обозначены отточиями в угловых скобках.

Примечания включают преамбулы к каждому воспоминанию, в которых даны сведения об их авторах и указаны источники публикуемых текстов, а также реальные комментарии. В конце издания помещен аннотированный указатель имен.

Примечания и сноски, принадлежащие авторам мемуаров, даны в тексте под строкой.

Составитель выражает признательность за помощь в работе, оказанную ему сотрудниками Литературно-мемориального музея С. А. Есенина в Константинове, Государственного литературного музея, Института мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР, Центрального государственного архива литературы и искусства. Глубокую благодарность приносит составитель Т. С. и К. С. Есениным, Н. В. Есениной, Т. П. Флор и С. П. Митрофановой, Л. А. Архиповой, Г. Н. Кашину, К. Н. Марцишевской, И. Л. Повицкому за предоставленную ему возможность использовать хранящиеся у них документальные материалы и за ценные сведения, сообщенные ему.

Т. Ф. ЕСЕНИНА

О СЫНЕ

Татьяна Федоровна Есенина (1875—1955) — мать поэта.

Воспоминания Т. Ф. Есениной при ее жизни не были записаны и авторизованы. Сохранилась фонограмма с записью ее короткого рассказа. В наст. изд. публикуется текст, воспроизводящий часть этой фонограммы.

Е. А. ЕСЕНИНА

В КОНСТАНТИНОВЕ

Екатерина Александровна Есенина (1905—1977) — сестра поэта. До 1921 года она жила в Константинове, потом — в Москве. В 1923—1925 годах помогала брату в его литературно-издательских делах. Есенин посвятил ей рассказ «Бобыль и Дружок», к ней же обращено стихотворение «Письмо к сестре».

После смерти поэта Е. А. Есенина активно участвовала в пропаганде его творческого наследия, боролась с попытками приписать ему некоторые произведения, порочащие его имя. В 1926 году она опубликовала в «Правде» «Письмо в редакцию», в котором писала: «За последнее время в Москве частным образом распространяются стихи, приписываемые перу покойного брата моего Сергея Александровича Есенина. Из таких стихов мне известны два стихотворения с посвящением Айседоре Дункан и одно — «Послание Демьяну Бедному». По этому поводу считаю необходимым заявить, что стихи «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...» и «Пой же, пой. На проклятой гитаре...», якобы посвященные А. Дункан, написаны братом моим в 1923 году и не раз читались им на литературных вечерах. Эти стихотворения входят в цикл «Москвы кабацкой» и никогда никому не посвящались. Что касается «Послания Демьяну Бедному», то категорически утверждаю, что это стихотворение брату моему не принадлежит. Екатерина Есенина» (Правда, 1926, 4 апреля).

Е. А. Есенина явилась одним из основных организаторов Литературно-мемориального музея С. А. Есенина в Константинове. В 1960—1970-х годах она принимала участие в подготовке собраний сочинений и многих сборников поэта.

Воспоминания впервые напечатаны в альманахе «Литературная Рязань», 1957, кн. 2, с. 305—317. В значительно расширенном виде вошли в сб. *Воспоминания, 1965*. С новыми дополнениями — *ЛР*, 1965, 17 сентября. С небольшой стилистической правкой воспроизведены в сб. *Воспоминания, 1975*, по тексту которого печатаются в наст. изд.

[1] «Похвальный лист», выданный Есенину после окончания константиновского сельского училища, так и висел долгие годы на стене родительского дома. В настоящее время хранится в *ЦГАЛИ*.

[2] *Поповы* — деревенское прозвище семьи константиновского священника И. Я. Смирнова.

[3] В эту школу Есенин поступил в 1909 г. и окончил ее в 1912 г. В свидетельстве об окончании сказано, что ему присвоено звание «учителя школы грамоты».

[4] *Гриша Панфилов* — ближайший друг Есенина в годы

учебы в Спас-Клепиках. Когда Есенин в 1912 г. после окончания училища уехал в Москву, между ними завязалась оживленная переписка. Дошедшие до нас 19 писем Есенина к нему (*VI*, 7—51) — один из наиболее важных документальных источников, раскрывающих круг мыслей и интересов Есенина тех лет. Г. Панфилов умер от туберкулеза 25 февраля 1914 г.

[5] Есенин получил отпуск из Царскосельского военно-санитарного поезда № 143, к которому был причислен в качестве санитара, для поездки на родину с 15 по 30 июня 1916 г.

[6] Второй раз в 1916 г. Есенин приезжал в Константиново в ноябре, во время своей командировки в Москву, куда был отправлен «по делам вышеназванного поезда» сроком на 16 дней с 3 ноября 1916 г.

[7] Этот эпизод из жизни Есенина пока слабо документирован. В одной из автобиографий он писал: «Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя. Отказывался, советуясь и ища поддержки в Иванове-Разумнике» (*V*, 224). Поэт здесь несколько романтизирует обстоятельства своей военной службы: в дисциплинарном батальоне он не был, а 23 февраля 1917 г. был откомандирован из Петрограда в Могилев в распоряжение командира 2-го батальона сводного пехотного полка полковника Андреева. Видимо, вскоре после свержения самодержавия он вернулся в Петроград и 17 марта 1917 г. был направлен в распоряжение Воинской комиссии при Государственной думе. Подробнее о попытке побудить Есенина и Н. А. Клюева выпустить сборник верноподданнических стихотворений см. журн. «Научные доклады высшей школы. Филологические науки». М., 1964, № 1.

[8] В 1917 г. в Константиново Есенин приехал не раньше конца мая и пробыл там, видимо, июнь и июль.

[9] В действительности Н. П. Кашин был в то время преподавателем русской словесности; впоследствии — видный советский литературовед, наиболее известные его работы посвящены творчеству А. Н. Островского.

[10] Сын Л. И. Кашиной Георгий Николаевич рассказывал, что в Константиново их семья приезжала каждое лето, начиная с 1911 г. Бывали они там и зимой, на рождество.

«У дома был хороший сад с ухоженными клумбами,— вспоминал он,— была там и оранжерея. Но никакого специального садовника мы не выписывали, для работы приглашали кого-нибудь из местных крестьян. И все это было совсем не такого класса, чтобы зимой выращивать клубнику».

Он вспоминал также, что действительно летом 1916 г. Тимоша Данилин занимался с ним латынью. «Занятия продолжались

недолго, поскольку Т. Данилина вскоре призвали в армию. Этим же летом мы ставили какой-то водевиль, роли в котором разыгрывали я, моя сестра Нина и Тимоша Данилин. Вот на этот спектакль и послали меня пригласить Сергея Александровича. Я это хорошо помню,— вспоминал Г. Н. Кашин.— Возможно, мне дали с собой букет роз. У нас в саду их было много, и они прекрасно цвели. Но, пожалуй, это было только один раз. Если бы такие поручения мне давали несколько раз, я бы этого не мог не запомнить. Когда я пришел, Сергей Александрович усадил меня около окна в избе, дал мне в руки исписанный листок и сказал, что это стихи, которые он сочинил. Я, правда, не разобрал его почерка, но сказал, что стихи мне понравились» (запись беседы с Г. Н. Кашиным от 4 декабря 1983 г.).

[11] Е. А. Есенина справедливо пишет: «В память об этой весне...», потому что летом 1918 г., когда Есенин в Константинове написал стихотворение «Зеленая прическа...», Л. И. Кашиной там не было. Эпизод же с поездкой и бурей на Оке относится, видимо, к весне — началу лета 1917 г., когда Есенин жил в Константинове.

[12] В 1920 г. Есенин приезжал в Константиново во второй половине апреля — начале мая.

А. А. ЕСЕНИНА

РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ

Александра Александровна Есенина (1911—1981) — младшая сестра поэта, ей посвящены стихотворения «Я красивых таких не видел...», «Ах, как много на свете кошек...», «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «В этом мире я только прохожий...». Была одним из основных организаторов литературно-мемориального музея С. А. Есенина в Константинове.

А. Яшин писал о своей поездке на родину поэта:

«Дом ремонтировался, чтобы стать музеем. По существу, он давно уже был превращен в музей стараниями сестер Есенина. Сейчас все экспонаты — портреты, книги, фотоснимки, вещи — были сложены во дворе. Справа от есенинского дома сносили давно сгнившую избенку под соломенной крышей.

За всем следила сестра поэта, Александра Александровна Есенина 〈...〉. Лучшего проводника по есенинским местам желать не надо. Вместе с нею мы снова идем к крутым обрывам над Окой, на участок, отведенный недавно для постройки новой избы сестрам Есениным взамен той, что станет отныне музеем.

— Вон лес, видите? — показывает она.— Туда мы с Сергеем бегали по грибы, а там, на заболоченных низинах, морошку соби-

рали. А в этой вот излучине реки, на Глубоком, ершей много, я и сейчас оттуда по ведерку ершей ношу. Крупные ерши, жирные... ⟨...⟩

Много добрых слов в свое время будет сказано об Александре Александровне. Любовь к брату и к его поэзии она мужественно пронесла через все испытания. Энергия ее и сейчас не утихает...» (*ЛР*, 1965, 1 октября).

Воспоминания впервые напечатаны под заглавием «Это все мне родное и близкое...» в журн. «Молодая гвардия», М., 1960, № 7, с. 207—220; № 8, с. 206—221. В извлечениях и с дополнениями неоднократно публиковались в различных сборниках и периодических изданиях. Входили в сб.: *Воспоминания, 1965, Воспоминания, 1975*. В наст. изд. печатаются по тексту кн.: Есенина А. Родное и близкое. Изд. 2-е, дополненное. М., Советская Россия, 1979.

[1] Из стихотворения «Русь».

[2] Из стихотворения С. Д. Дрожжина «Первая борозда» (с неточностью).

[3] Из стихотворения А. Н. Майкова «Кто он?» (с неточностью).

[4] О времени и обстоятельствах личного знакомства Есенина с Г. А. Бениславской см. ее воспоминания и примеч. к ним в наст. изд.

[5] Из письма Г. А. Бениславской Есенину от 1 декабря 1924 г. (см. *РЛ*, 1970, № 3, с. 177). Г. А. Бениславская отвечала на фразу из письма Есенина от 20 октября 1924 г. «У Сашки я жить не буду. Мне удобней будет жить у Соколова, когда я буду в Питере» (*VI*, 157).

[6] В письме к И. И. Шнейдеру от 21 июня 1922 г. Есенин писал: «Ради бога, отыщите мою сестру через магазин (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги, по этому чеку в «Ара». Она, вероятно, очень нуждается. ⟨...⟩ Если сестры моей нет в Москве, то напишите ей письмо и передайте Мариенгофу, пусть он отошлет его ей. Кроме того, когда Вы поедете в Лондон, Вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы высылать ей деньги, без которых она погибнет» (*VI*, 121).

[7] Есенин вернулся в Москву с Кавказа 1 марта 1925 года и вновь уехал 27 марта.

[8] Г. А. Бениславская писала Есенину в одном из писем 1924 года: «Милый, хороший Сергей Александрович! Хоть немного пощадите Вы себя. Бросьте эту пьяную канитель. Ну, а то, что сейчас с Вами, все эти пьяные выходки, весь этот бред, все это выворачивание души перед «друзьями» и недругами, что это?..

Несчастье в том, что Вы себя не видите, какой Вы в такие моменты, знаете об этом только по рассказам, а ведь нельзя передать это словами, надо почувствовать. Иначе, если бы Вы по-настоящему поняли, до чего Вы себя доводите, Вы бы сразу же спрятались от всех...» (*РЛ*, 1970, № 3, с. 180).

[9] О. К. Толстая (рожд. Дитерихс) — жена сына Л. Н. Толстого — Андрея Львовича.

[10] Есенин уехал из Москвы в Константиново 9 июля и пробыл там до 16 июля.

К. П. ВОРОНЦОВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Клавдий Петрович Воронцов (1898—1962) — односельчанин Есенина, один из ближайших товарищей детства поэта; на известной фотографии константиновских ребятишек (см. наст. том) они стоят рядом. После революции К. П. Воронцов принимал участие в борьбе с бандитизмом, работал делопроизводителем Константиновского волисполкома. «Это он,— пишет исследователь,— приехал в дом местной помещицы, чтобы экспроприировать ее имущество, а под актом приема вещей перед своей фамилией вывел: «Секретарь Константиновского комитета Союза Коммунистической молодежи» (Прохоров С. Я, гражданин села... —*ЛР*, 1981, 30 октября). Впоследствии — советский служащий.

Воспоминания К. П. Воронцова — самые ранние из воспоминаний земляков Есенина и его школьных товарищей. Они были написаны буквально в первые дни после смерти поэта. На рукописи стоит регистрационный штамп редакции «Правды» 6 января 1926 г. В 50—60-е годы появился целый ряд воспоминаний односельчан Есенина и его товарищей школьных лет. Среди них воспоминания В. А. Гусева, Н. П. Калинкина, С. Н. Соколова, Н. И. Титова, Я. А. Трепалина, К. В. Цыбина, А. Н. Чернова, Г. Л. Черняева и др. Наиболее полный обзор их — в кн.: Прокушев Ю. Юность Есенина. М., 1963. Некоторые печатались самостоятельно: Н. И. Титова и С. Н. Соколова — в сб. *Воспоминания, 1965;* К. В. Цыбина и Я. А. Трепалина — в сб. «Сергей Есенин. Исследования. Мемуары. Выступления», М., 1967.

Воспоминания К. П. Воронцова использовались в работах о Есенине, но самостоятельно опубликованы не были. Фрагмент из них, по тексту, подготовленному для наст. изд., был напечатан в «Литературной газете», М., 1985, 2 октября. Печатаются по рукописи (*ИМЛИ*). В тексте с согласия наследников К. П. Воронцова проведена минимальная стилистическая правка.

[1] Слова из стихотворения «Все живое особой метой...».

[2] Об одной из таких историй вспоминает и К. В. Цыбин: «Однажды по пути к косе мы решили половить утят в одном из луговых озерец. Стремительный и ловкий Есенин был по этой части мастак. Поймав быстро одного за других трех утят, он передал их мне с наказом: «Держи крепко». Не успел Есенин отойти и несколько шагов, как один утенок, вырвавшись из рук, нырнул в воду и скрылся в камышах. Увидя это, Есенин взял у меня утят и начал распекать меня. Потом вдруг неожиданно подошел к берегу и... пустил одного, затем другого утенка в воду. И долго смотрел им вслед...» (сб. «Сергей Есенин. Исследования. Мемуары. Выступления». М., 1967, с. 227).

[3] Полный текст этого стихотворения неизвестен.

[4] Сохранилось только одно письмо Есенина к К. П. Воронцову от 10 мая 1912 года (см. *VI*, 7—8). Остальные письма неизвестны.

Н. А. САРДАНОВСКИЙ

«НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ»

Николай Алексеевич Сардановский (1893—1961) — товарищ Есенина по Константинову и первым годам жизни в Москве. В период знакомства с Есениным — учащийся, студент Коммерческого института (ныне Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова), впоследствии — советский работник, преподаватель музыки.

Сардановские — одна из наиболее близких Есенину семей среди его константиновских знакомых. Вера Васильевна Сардановская — сельская учительница, жила и работала в селе Дединове. На лето она часто приезжала с детьми к своему родственнику И. Я. Смирнову в Константиново. В его доме познакомился и подружился Есенин с Серафимой, Анной и Николаем Сардановскими. Анна Сардановская была одним из юношеских увлечений поэта, ей он посвятил в первой публикации стихотворение «За горами, за желтыми долами...». Были и другие стихи, обращенные к ней, но они не дошли до нас. По свидетельству ряда современников, Есенин переписывался с Анной Алексеевной, но его письма остаются не опубликованными.

Первые свои воспоминания о Есенине Н. А. Сардановский написал вскоре после его смерти, но в печати они тогда не появились. Рукопись хранится в *ИМЛИ*. Позже автор значительно переработал их. На основе этой редакции была подготовлена публикация в сб. *Воспоминания, 1965*. В наст. изд. воспоминания печатаются с сокращениями по машинописи *(ГЛМ)*.

[1] У А. И. Куприна: «Всегда облекал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело...» (Куприн А. И. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1912, с. 10—11).

[2] Когда в июне 1926 г. делегация писателей выезжала в село Константиново, остатки этой надписи еще были видны. В. Ф. Наседкин свидетельствует: «В целях сбора биографического материала делегация зашла к местному священнику — 80-летнему старику Ивану Смирнову, в доме которого Сергей Есенин бывал довольно часто. ⟨...⟩ На одной из дверей этого церковного дома хранится написанное Есениным в 1915 ⟨1914.— *А. К.*⟩ году стихотворение, которое, к сожалению, не разобрать, кроме последней строчки «Без ладьи вышли на берег скатистый» (Наседкин В. Село Есенино.— Журн. «Красная нива». М., 1926, 27 июня, № 26, с. 10).

[3] В Москву на постоянное жительство Есенин переехал не в 1913 г., а в июле 1912 г.

[4] В ранней редакции воспоминаний Н. А. Сардановский дополнял: «Сергей постоянно поддерживал меня: дарил билеты в театр и на концерты (в учительский дом на Ордынке), дарил ноты, устраивал мне обеды, помогал найти комнату и т. п.» В семье Н. А. Сардановского сохранялись ноты романса П. И. Чайковского «Ночь» с дарственной надписью Есенина: «На память дорогому Коле. *Сережа»*. Эти ноты в настоящее время переданы в Литературно-мемориальный музей С. А. Есенина в Константинове.

[5] Вероятно, имеется в виду посещение М. Горьким типографского музея И. Д. Сытина, которое состоялось 8 февраля 1914 г.

[6] Первое стихотворение, появившееся в печати («Береза» в журн. «Мирок». М., 1914, № 1), Есенин подписал псевдонимом «Аристон». Последующие публикации шли уже под его собственной фамилией. Один из исследователей высказал предположение, что источником псевдонима послужило не название «музыкального ящика», а строки из стихотворения Г. Р. Державина «К лире» (см.: Кошечкин С. Псевдоним мой Аристон...— Журн. «Смена». М., 1976, № 23, с. 18—19). Публикаций произведений Есенина с подписью «Ясенин» не найдено.

[7] Существенное дополнение к рассказу о взглядах Есенина той поры содержится в первой редакции воспоминаний: «Его общественные убеждения до 1913 года заключали в себе значительную долю толстовства с его преклонением перед образом русского крестьянина. Потом в Москве мне Есенин как-то в разговоре заявил, что его знакомство с рабочим классом заставило переменить прежнее мнение, и он горячо стал мне доказывать, что

наивысшую общественную ценность в государстве представляют рабочие».

[8] В журнале «Проталинка», выходившем не в Петрограде, а в Москве, Есенин выступил позже, чем в журнале «Мирок», опубликовав в октябрьском номере за 1914 г. стихотворение «Молитва матери».

[9] Стихотворение известно только в записи Н. А. Сардановского. Его полный текст — см. *Воспоминания, 1965,* с. 93.

С. Н. СОКОЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Сергей Николаевич Соколов (1897—1960) — преподаватель, затем директор школы в селе Константиново, заслуженный учитель РСФСР.

Впервые напечатано в сб. *Воспоминания, 1965*. Печатаются по этому тексту.

[1] Поэма была написана 1—7 августа 1924 г. В середине августа 1924 г. Есенин приезжал в Константиново. Видимо, тогда и состоялось это чтение.

[2] Письмо отца и ответ Есенина не сохранились.

[3] Из стихотворения С. Я. Надсона «Мать».

[4] Из стихотворения «Русь советская».

Е. М. ХИТРОВ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ В СПАС-КЛЕПИКОВСКОЙ ШКОЛЕ

Евгений Михайлович Хитров (1872—1932) — преподаватель русского языка и литературы в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе, в которой Есенин занимался в 1909—1912 годах.

Первые свои воспоминания о Есенине Е. М. Хитров написал еще при жизни поэта, в феврале 1924 года и тогда же поместил их в рукописном журнале «Спас-Клепиковский работник просвещения», № 1, который размножался на гектографе тиражом 30 экз. После смерти Есенина им были написаны еще одни воспоминания, которые лишь в небольшой степени повторяли первые. В наст. изд. печатаются оба мемуарных очерка; первый — публикуется впервые по тексту указанного журнала, экземпляр которого хранится в *ГЛМ,* второй — по тексту сб. *Воспоминания, 1965.*

[1] В журнале под заглавием «Ученические стихотворения Сергея Есенина, написанные в 1911—12 учебном году» помещены три стихотворения: «Воспоминание» («За окном, у ворот....»), «Звезды» и «И. Д. Рудинскому». Вслед за ними помещено стихотворение Егора Тиранова «Разбитое стекло».

[2] В типографии т-ва А. Ф. Маркс, которое выпускало журнал «Нива», Есенин не работал; вероятно, до Е. М. Хитрова доходили сведения о работе Есенина в типографии И. Д. Сытина.

[3] Дарственная надпись Есенина Е. М. Хитрову (ее текст приведен во втором очерке) датирована 29 января 1916 г., т. е. днем, когда автор впервые увидел готовым свой первый сборник. Книга хранится в Литературно-мемориальном музее С. А. Есенина в Константинове.

[4] С положительными отзывами на «Радуницу» выступили Н. Венгров (журн. «Современный мир». Пг., 1916, № 2); З. Бухарова (Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». Пг., 1916, № 5), П. Сакулин (журн. «Вестник Европы». Пг., 1916, № 5), С. Парнок (журн. «Северные записки». Пг., 1916, № 6) и др. См. также воспоминания И. Н. Розанова и примеч. 6 к ним.

[5] В свидетельстве об окончании Спас-Клепиковской школы указано, что по русскому языку, отечественной истории, географии и чистописанию Есенин имел пятерки, тройку — только по церковнославянскому языку, по остальным предметам — четверки (см. *Хроника, I,* 34).

[6] В этих тетрадях (хранятся в *ИМЛИ*) не девять, а десять стихотворений: «Воспоминание», «Моя жизнь», «Что прошло — не вернуть», «И. Д. Рудинскому», «Звезды», «Ночь», «Восход солнца», «К покойнику», «Зима», «Песня старика разбойника».

[7] В журнале «Нива» Есенин печатался только в 1917 (№ 10, 18 марта, стихотворение «Лисица») и 1918 гг. (№ 3, 20 января, стихотворение «Мечта»). В декабре 1915 г. три его стихотворения были напечатаны в приложениях к «Ниве». Шире он печатался в то время в «Биржевых ведомостях», «Ежемесячном журнале» и других петроградских изданиях.

А. Р. ИЗРЯДНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Анна Романовна Изряднова (1891—1946) — в годы знакомства с Есениным работала корректором в сытинской типографии, в 1914 году вступила в гражданский брак с Есениным.

Воспоминания впервые были опубликованы в сб. *Воспоминания, 1965* по рукописи, хранившейся у Е. А. Есениной. Имеется

еще одна редакция воспоминаний, отрывки из которой приведены в кн.: Прокушев Ю. Юность Есенина. М., 1963, с. 115, 127—129, 134, 168. Судя по приведенным отрывкам, эта редакция близка к публикуемому тексту.

В наст. изд. печатаются по тексту сб. *Воспоминания, 1965.* Датировано Е. А. Есениной.

[1] В январском номере этого детского журнала за 1914 г. Есенин под псевдонимом «Аристон» напечатал стихотворение «Береза». Затем, во втором номере, уже за его собственной подписью появилось стихотворение «Пороша», в № 3 — «Село» и т. д.

[2] Ни эти, ни упоминаемые далее письма Есенина к Изрядновой неизвестны.

[3] В газете «Новь», М., 1914, 23 ноября, № 122, было напечатано стихотворение Есенина «Богатырский посвист», в журнале «Парус». М., 1915, № 2,— стихотворение «О дитя, я долго плакал над судьбой твоей...», в журнале «Заря», М., 1916, 24 января, № 4,— стихотворение «Тебе одной плету венок...» (под заглавием «Руси»).

[4] Сын Есенина Юрий родился 21 декабря 1914 г.

[5] Имеется в виду выступление Есенина и Н. А. Клюева 21 января 1916 г. в «Обществе свободной эстетики» (подробнее о нем см. в воспоминаниях И. Н. Розанова). Даты других выступлений Есенина и Н. А. Клюева в Москве в январе 1916 г. не установлены.

Г. Д. ДЕЕВ-ХОМЯКОВСКИЙ

ПРАВДА О ЕСЕНИНЕ

Григорий Дмитриевич Деев-Хомяковский (1888—1946) — поэт, один из руководителей Суриковского литературно-музыкального кружка — первого литературного объединения, членом которого стал Есенин в самом начале своего творческого пути.

Суриковский кружок объединял писателей-самоучек, выходцев из народа. Подобные кружки существовали с 1870-х годов. «К началу 1900-х годов,— свидетельствует И. А. Белоусов,— писатели из народа стали объединяться в официальные, зарегистрированные кружки,— так, в 1902 году образовался «Московский товарищеский кружок писателей из народа», который в 1903 году переименовался в «Суриковский литературно-музыкальный кружок» (Белоусов И. А. Литературная Москва. М., 1926, с. 62). Устав Суриковского кружка был утвержден 28 мая 1905 года.

Точное время вступления Есенина в Суриковский кружок не установлено. В литературе (на основании мемуарных свиде-

тельств И. А. Белоусова и В. В. Горшкова) высказывалось предположение, что контакты с этим кружком возникли у Есенина еще летом 1911 года, когда, учась в Спас-Клепиковской школе, он на каникулах приезжал в Москву (см. *Хроника, 1,* 29—30). Однако никаких документальных подтверждений этого (протоколов, датированных заявлений и т. п.) не найдено. Не отразилось это примечательное для Есенина событие и в его переписке. Поэтому, видимо, данное предположение нельзя считать доказательным.

Вероятнее всего, знакомство с «суриковцами» произошло уже после того, как Есенин в августе 1912 года окончательно поселился в Москве. Наиболее активную роль в кружке Есенин играл в 1914-м — начале 1915 года. В это время кружок, и так немногочисленный, еще больше сузился, поскольку многие его участники были призваны в армию. В отчете о деятельности кружка за 1915-й первую половину 1916 года говорится: «К 1-му января 1915 года из состава членов кружка выбыло в действующую армию 19 действительных членов, живущих в Москве, и 15 человек провинциалов. Всего оставалось действительных членов, живущих в Москве, 27 человек, живущих в провинции — 14 человек» (журн. «Друг народа». М., 1916, октябрь, № 1).

Г. Д. Деев-Хомяковский односторонне рисует обстановку в кружке, не говорит о конфликтах, которые в нем периодически возникали. Так, например, из-за разногласий в оценке идейно-художественного уровня произведений, предназначавшихся для включения в первый номер проектировавшегося журнала «Друг народа», Есенин в феврале 1915 года даже подал заявление о выходе из кружка (подробнее см. *VI*, 255). Да и сам мемуарист в то время, о котором пишет, критичнее оценивал обстановку в кружке. 7 марта 1915 года он, например, писал Л. М. Клейнборту: «Ей-богу, никак не могу уяснить себе такое явление в жизни: все идут в наш кружок, знакомятся с ним, с членами и, побыв некоторое время, уходят. Куда? Зачем? Почему? Положим, к Олимпу литературы и искусства; но почему же не хотят работать с демократией, с рабочей самомыслящей силой?.. Вот у нас в кружке, должен вам сказать, перебывало довольно много людей по спискам — здесь были и гг. Белоусов, и Н. Д. Телешов и др.; но странно, почему же теперь эти люди даже не спросят — как живет и чем живет кружок?» *(ИРЛИ)*.

Более сдержанно относился мемуарист в то время и к творчеству самого Есенина. Он скупо и сухо откликнулся на появление «Радуницы», отметив в стихах Есенина лишь «собирательный материал, обработанный в красивые стихотворные формы из народных песен». «Гражданская скорбь», по его мнению, в стихах

Есенина не чувствуется (см. журн. «Друг народа». М., 1916, октябрь, № 1, с. 76).

Воспоминания впервые были напечатаны в журн. «На литературном посту», М., 1926, май, № 4, с. 33—35. Печатаются с сокращениями по этому тексту.

[1] На работу в сытинскую типографию Есенин поступил в марте 1913 г.

Один из первых биографов поэта, И. Г. Атюнин, собравший в 1926 г. интересный материал о юности поэта (работа осталась неопубликованной, рукопись хранится в *ИМЛИ*), пишет, что Есенин осенью 1912 г. «поступил в качестве продавца в одну книжную лавку, где проработав 6 месяцев, ушел вследствие ликвидации предприятия и уехал на родину. Его отец, желая устроить Сергея куда-либо на более прочное место, просил знакомого корректора фабрики Сытина Костелева Алексея Саввича оказать содействие, и в результате в марте 1913 г. Сергей Есенин поступил корректором на фабрику издательства Сытина».

[2] Вскоре после поступления на работу в типографию (до 22 марта 1913 г.) Есенин подписал «письмо пяти групп сознательных рабочих» на имя председателя фракции большевиков в Государственной думе. В письме выражалась солидарность с большевиками в их борьбе с ликвидаторами. Письмо попало в руки полиции, и за Есениным, как за одним из подписавших письмо, была установлена слежка.

Одновременно с этим Есенин принимал участие в распространении журнала «Огни», на очередной номер которого вскоре был наложен арест. В марте 1913 г. он писал своему другу Г. А. Панфилову: «Недавно я устраивал агитацию среди рабочих письмами. Я распространял среди них ежемесячный журнал «Огни» с демократическим направлением. Очень хорошая вещь» (*VI*, 22).

[3] Стихотворение «Королева», отрывок из которого приводит мемуарист, было напечатано в редактируемом им журнале «Доброе утро», правда, не в то время, о котором он пишет, а позже, в 1918 г. (№ 3—4, февраль-март).

[4] А. Ширяевец вступил в Суриковский кружок в конце 1914 г. Сохранилось его заявление: «Прошу о зачислении меня членом Суриковского литературно-музыкального кружка. Вместе с настоящим перевожу взнос в сумме пяти руб. Чарджуй, Закаспийск. Декабрь 23 дня. 1914 г. *Александр Васильевич Абрамов* (Александр Ширяевец)». На заявлении рекомендательная надпись С. Д. Фомина *(ЦГАЛИ)*.

[5] В архиве Л. М. Клейнборта *(ИРЛИ)* сохранилось немало писем Г. Д. Деева-Хомяковского, С. Д. Фомина, С. Н. Кошкарова

и других суриковцев, относящихся к 1914—1916 гг., однако среди них нет писем такого характера, о которых пишет мемуарист.

[6] Вероятно, имеется в виду одна из следующих статей Л. М. Клейнборта: «Поэты — пролетарии» (журн. «Современный мир», Пг., 1915, № 10) или «Поэты-пролетарии о войне» (там же, 1916, № 3).

[7] Решение об издании журнала «Друг народа» было принято на общем собрании членов Суриковского кружка 4 января 1915 г. (см. журн. «Друг народа». М., 1916, октябрь, № 1). Первый номер помечен 1 января 1915 г. Объявленный как двухнедельный литературно-общественный журнал, он сразу же начал выпускаться крайне нерегулярно. В 1915 г. вышло всего 5 номеров, в 1916 г. — один. Издание возобновилось в 1918 г. О противоречиях, которые возникли в редакции при его начале, см. выше.

[8] Дата цензурного запрещения поэмы «Галки» не установлена. Есенин и в последующем предпринимал попытки издать это произведение. Так, когда 12 марта 1915 г. с рекомендательным письмом С. М. Городецкого он впервые пришел к издателю «Ежемесячного журнала» В. С. Миролюбову, то первым произведением, врученным им редактору, были «Галки» (Книга регистрации рукописей, поступающих в «Ежемесячный журнал» — *ИРЛИ*). Однако В. С. Миролюбов это произведение не опубликовал. Затем, как об этом вспоминает вологодский краевед С. В. Клыпин, Есенин вместе с А. А. Ганиным приезжал 18 июля 1916 г. в Вологду и вел там переговоры об издании «Галок». «В итоге получасового разговора условились так: Есенин пришлет в типографию машинописную копию поэмы через неделю. Клыпин отправит ее в Москву, где в цензурном комитете, по его мнению, будет легче получить разрешение на опубликование поэмы в Вологде. Как только оно будет, начнется работа по изданию... Есенин, казалось, был доволен... Но снова в Вологду поэма так и не вернулась. Рукопись Есенин почему-то не выслал» (Парфенов Н. Сергей Есенин в Вологде.— Газ. «Красный Север», Вологда, 1965, 3 октября). Поэма осталась неопубликованной. Текст ее до настоящего времени не найден.

[9] Есенин действительно пытался установить связи с петроградскими литературными кругами еще до марта 1915 г. См. об этом, в частности, воспоминания Л. М. Клейнборта. Известно также, что еще 16 января 1915 г. его стихи были получены в редакции «Ежемесячного журнала». Однако в литературе нет сведений о какой-то специальной встрече Есенина с «петроградскими писателями». Напротив, и сам Есенин, и все остальные мемуаристы говорят о его отъезде в Петроград как о шаге, специально не подготовленном.

Д. Н. СЕМЕНОВСКИЙ

ЕСЕНИН

Дмитрий Николаевич Семеновский (1894—1960) — поэт и прозаик. В 1913—1915 годах учился в Народном университете им. А. Л. Шанявского, где встретился и подружился с Есениным. В своей последней автобиографии Есенин писал: «В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко» (*V*, 230).

Впервые о встречах с Есениным Д. Н. Семеновский рассказал в статье «Об Есенине» (газ. «Рабочий край». Иваново-Вознесенск, 1926, 31 января). Затем упомянул его, правда не называя его по имени, в своей книге «А. М. Горький. Письма и встречи». М., 1938. Рассказывая о визите к А. М. Горькому, видимо, осенью или зимой 1915 г., он пишет: «Терьян рассказал, что в литературных салонах Петрограда появился талантливый крестьянский поэт,— совсем еще юноша, он своими яркими, образными стихами возбудил общее внимание к себе. Поэта, о котором шла речь, я встречал в Университете Шанявского. Горький спросил:

— Ну, что он? Каков?

Через несколько дней я убедился, что интерес Алексея Максимовича к новому имени не был случайным любопытством» (указ. изд., с. 35).

Воспоминания впервые опубликованы в сб. «Теплый ветер», Ивановское книжное издательство, 1958, с. 184—209. Печатаются по этому тексту с сокращениями. Датируются по первой публикации.

[1] Д. Н. Семеновский был исключен из Владимирской духовной семинарии в ноябре 1912 г. за участие в забастовке. «Было исключено много народу,— вспоминал он.— Семерых начальство по этапу выслало из Владимира в родные села. К злополучной семерке был причислен и я. Как и другие, я получил волчий билет. Пути к дальнейшему учению оказались для нас закрытыми» (Семеновский Д. А. М. Горький. Письма и встречи. М., 1938, с. 4).

[2] Вероятно, имеется в виду стихотворение А. Ширяевца «Коньки» («У меня коньки, что лебеди...») (Новый журнал для всех. П., 1915, № 1).

[3] Имеется в виду статья Есенина «Ярославны плачут», опубликованная в иллюстрированном двухнедельном журн. «Женская жизнь», М., 1915, 22 февраля, № 4.

[4] Имеется в виду стихотворение Есенина «Богатырский посвист», которое было напечатано в газ. «Новь», М., 1914, 23 но-

ября, № 122. Его первые четыре строки были впоследствии в переработанном виде использованы Есениным в стихотворении «Русь».

[5] Это стихотворение было впервые напечатано именно в журнале «Млечный Путь», М., 1915, март, № 3.

[6] Имеется в виду «Пролетарский сборник», кн. I. М., изд. ВЦИК, 1918. В нем были напечатаны стихотворения Д. Н. Семеновского «Богородица» и «Святый боже», а также произведения И. Г. Филипченко, Б. А. Тимофеева, К. С. Еремеева, И. М. Касаткина и других авторов.

[7] О подготовке в начале 1919 г. в издательстве ВЦИК сборника стихотворений Есенина вспоминает также Г. Ф. Устинов: «...пришла некоторая поддержка от издательства ВЦИК, которое купило у Есенина томик стихов, а у меня два тома рассказов. Издательство деньги нам выдало, но не издало ни строки ни у меня, ни у Есенина» (*Воспоминания, 1926*, с. 152). Точное название, под которым этот сборник проектировался в издательстве ВЦИК, неизвестно. Но возможно, вариант этого заглавия повторился при подготовке в следующем, 1920 г. очередного сборника уже в Госиздате. Этот сборник должен был носить название «О земле русской, о чудесном госте» (см. *VI*, 449).

Н. Н. ЛИВКИН

В «МЛЕЧНОМ ПУТИ»

Николай Николаевич Ливкин (1894—1974) — поэт, автор сборников «Инок» (1916), «Полынь» (1925).

Его знакомство с Есениным было непродолжительным. Как отмечает сам мемуарист, они познакомились в начале 1915 года, а уже в первых числах марта того же года Есенин уехал в Петроград. Да и сам Есенин в письме к Н. Н. Ливкину пишет о нем и себе как о людях «два раза видящих друг друга» (*VI*, 73). Тем не менее воспоминания Н. Н. Ливкина представляют определенный интерес: во-первых, тем, что раскрывают обстоятельства, при которых было написано письмо Есенина от 12 августа 1916 года — один из наиболее значительных документов, рисующих обстановку столичных салонов, с которой Есенину пришлось столкнуться в первый период его петроградской жизни; во-вторых, описанием кружка журнала «Млечный Путь». Этот мелкий московский журнал выходил нерегулярно в 1914—1916 годах. В нем было напечатано два стихотворения Есенина («Зашумели над затоном тростники...» в № 2 и «Выткался на озере алый свет зари...» в № 3 за 1915 год),— лучшие из появившихся за годы московской жизни. Во втором, третьем и четвертом номерах жур-

нала за 1915 год имя Есенина значилось среди лиц, принимающих в нем участие.

Воспоминания были написаны в 1965 году. Впервые опубликованы в сб. *Воспоминания, 1965*, по тексту которого печатаются в наст. изд.

[1] Под этим заглавием в журн. «Млечный Путь», 1915, № 2, а затем в «Новом журнале для всех», 1915, № 4, было напечатано стихотворение «Зашумели над затоном тростники...».

[2] Письмо Есенина А. М. Чернышеву неизвестно. Написано оно было, видимо, раньше, не в 1916-м, а еще в апреле 1915 г. Скорее всего именно о нем сообщал Есенин И. К. Коробову 4 мая 1915 г.: «Я писал Алексею Михайловичу письмо, где извинялся, что напечатал в «Журнале для всех» свою «Кручину». Затем, рассказав о поступке Н. Н. Ливкина, Есенин продолжал: «Скажите Алексею Михайловичу, что если Ливкин будет в «Млечном Пути», то пусть мое имя будет вычеркнуто из списка сотрудников» (*VI*, 61). Инцидент на этом не завершился. Как рассказывает Н. Н. Ливкин в пояснениях к своим воспоминаниям *(ЦГАЛИ)*, приехав в Москву летом 1916 г., Есенин вновь поднял этот вопрос в разговоре с А. М. Чернышевым. Тогда по совету А. М. Чернышева и последовал обмен письмами между Н. Н. Ливкиным и Есениным.

[3] Письмо Есенина приведено неточно и с сокращениями. Его полный текст см. *VI*, 72—74.

Л. М. КЛЕЙНБОРТ

ВСТРЕЧИ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Лев Максимович Клейнборт (1875—1950) — литературный критик и публицист.

Судя по воспоминаниям, Л. М. Клейнборт располагал интересными и обширными документальными материалами Есенина. Среди них: письмо, отправленное Есениным из Москвы в конце 1914-го — начале 1915 года, и приложенная к нему тетрадь стихотворений; ответы Есенина на анкету о творчестве Л. Н. Толстого, Г. И. Успенского, В. Г. Короленко и А. М. Горького; «Радуница» (1916) с дарственной надписью «Дорогому Льву Максимовичу. На ласковом слове спасибо»; «Ключи Марии» тоже с дарственной надписью автора и др. Все эти документы до нас не дошли.

Хотя воспоминания были написаны в 1926 году, когда со времени описываемых событий прошло не так уж много времени,

автор допустил в них значительные неточности. Так, он утверждает: «Я был первый писатель, к которому пришел Есенин со своими стихами по своем приезде в Петроград. Знакомство его с Блоком, Городецким, Клюевым произошло уже на моих глазах». Это противоречит всем известным документальным и мемуарным свидетельствам.

Видимо, ошибочным является и рассказ Л. М. Клейнборта об истории издания первого сборника Есенина «Радуница». В воспоминаниях, а затем в книге «Молодая Белоруссия» (Минск, 1928, с. 186) он писал, что, когда Есенин прислал ему в рукописи свой первый сборник, то он предложил на выбор своему знакомому, высказавшему намерение способствовать изданию сборника одного из начинающих поэтов, две рукописи — Есенина и Янки Купалы. Этот знакомый выбрал сборник Янки Купалы, и таким образом была издана его книга «Шляхам жицця», П., 1913. Из этих сведений исследователями был сделан вывод, что Есенин отправил «Радуницу» Л. М. Клейнборту «во втором полугодии 1912 года» (см.: *Хроника, I*, 200—201). Однако, судя по письмам Янки Купалы к Л. М. Клейнборту, вопрос об издании этого сборника был полностью решен уже в сентябре 1912 года (см.: Купала Я. Собр. соч., т. 7. Минск, 1976, с. 412—413). Таким образом, если принять версию Л. М. Клейнборта, то получается, что Есенин, приехавший из Константинова в Москву не раньше второй половины июля 1912 года, должен был за полтора-два месяца познакомиться с С. Н. Кошкаровым, включиться в работу Суриковского кружка, списаться с Л. М. Клейнбортом, отправить ему рукопись и т. д. Это никак не согласуется и с содержанием письма Есенина, которое передает в своих воспоминаниях Л. М. Клейнборт.

Имеются и другие неточности в воспоминаниях Л. М. Клейнборта. Однако, несмотря на это, они являются важным источником сведений о попытках Есенина установить контакты с петроградскими литераторами, еще до своего приезда туда, и единственным материалом, где рассказывается о содержании ответов Есенина на проводившуюся Л. М. Клейнбортом анкету о творчестве Л. Толстого, Г. И. Успенского, В. Г. Короленко и др.

Впервые напечатаны в сб. *Воспоминания, 1965.* Печатаются с сокращениями по авторизованной машинописи *(ГЛМ).* Написаны в 1926 году.

[1] Автор неточно цитирует воспоминания Г. Д. Деева-Хомяковского «Правда о Есенине» (см. наст. т.).

[2] Ни тетрадь со стихотворениями Есенина, ни его письмо к Л. М. Клейнборту не разысканы. Судя по пересказу содержания письма, оно могло быть отправлено не раньше середины 1914 г.

[3] Н. А. Клюев начал публиковаться не в «Доле бедняка» (московская газета, выходившая нерегулярно в 1909—1914 гг.), а в 1904 г. в петербургском альманахе «Новые поэты».

[4] Из стихотворения «Узоры», опубликованного в журн. «Друг народа», М., 1915, № 1, 1 января.

[5] Имеется в виду стихотворение «Поет зима — аукает...». Под заглавием «Воробышки» оно публиковалось в журн. «Мирок», М., 1914, № 2, и детском альманахе «Творчество», М.— П., 1917, кн. 1.

[6] Стихотворение «Сыплет черемуха снегом...» было напечатано не в «Журнале для всех», а в «Ежемесячном журнале», П., 1915, июнь, № 6, с. 4.

[7] Это не вполне точно. Три стихотворения из перечисленных («Поет зима — аукает...», «Сыплет черемуха снегом...» и «Троицыно утро, утренний канон...») были введены Есениным в первый том Собрания стихотворений (1926). «Сыплет черемуха снегом...» еще раньше входило в сб. «Радуница» (1916 и 1921) и «О России и революции». «Троицыно утро, утренний канон...» — в сб. «Радуница» (1916).

[8] Вероятно, имеется в виду статья Л. М. Клейнборта «Печатные органы интеллигенции из народа» (журн. «Северные записки», П., 1915, июль-август, № 7—8), в которой автор, характеризуя журнал «Друг народа», цитирует стихотворение Есенина «Узоры». Поскольку Есенина в августе 1915 г., когда вышел этот номер журнала, в Петрограде не было (он уехал в Константиново в последних числах апреля, а вернулся в начале октября), данный разговор не мог состояться раньше осени 1915 г.

[9] Из ранней редакции стихотворения «Троицыно утро, утренний канон...».

[10] В журнале «Современный мир» стихотворения Есенина не публиковались.

[11] Подобные материалы Л. М. Клейнборт, судя по письмам к нему С. Д. Фомина, Г. Д. Деева-Хомяковского, С. Е. Ганьшина и др. *(ИРЛИ)*, начал собирать еще в 1914 г. и продолжал в 1915 г. Рукопись Есенина состояла из шести листов. Это доказывает авторская пагинация на единственной сохранившейся последней странице (хранится в *ИРЛИ;* текст — см. *V*, 160).

А. А. БЛОК

ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК И ПИСЕМ

Встреча с А. А. Блоком 9 марта 1915 года — один из важнейших рубежей в жизни Есенина. Сразу же после приезда в Петроград, он — по сути дела никому не известный девятнадцатилетний

юноша — передал А. А. Блоку записку: «Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением *С. Есенин*». Блок встретился с Есениным. И та оценка, которую стихи Есенина получили сначала у А. А. Блока, потом у С. М. Городецкого и других петроградских литераторов, положила начало его литературной известности.

Есенин во всех автобиографиях среди важнейших событий своей творческой жизни отмечал значение этой встречи. Он не раз рассказывал о ней знакомым, со временем все более романтизируя реальные обстоятельства. Один из таких рассказов передал в своих воспоминаниях Вс. А. Рождественский.

В 1915—1918 годах их встречи, случавшиеся и дома у А. А. Блока, и на различных литературных вечерах, были не столь уж часты, но интересны как для Есенина, так и для А. А. Блока. Суждения Есенина, его творчество не оставляли А. А. Блока равнодушным, вызывали у него живую ответную реакцию. А. А. Блок отмечал в дневниках и записных книжках личные встречи с Есениным, с интересом записывал суждения Есенина во время их беседы 3 января 1918 г., когда Есенин пытался объяснить свою определенную отчужденность от «питерских литераторов», особенность своего пути, как и пути крестьянских писателей вообще. О том, что суждения Есенина были далеко не безразличны для А. А. Блока, говорит и такой факт: после публикации «Двенадцати» в газете «Знамя труда» А. А. Блок вносит поправку в текст поэмы (в строке «Над старой башней тишина» слово «старой» заменено на «невской»), как он сам помечает на полях: «По совету С. Есенина».

Определенное отчуждение от поэзии А. А. Блока, которое произошло в период «скифских» увлечений Есенина (оно отразилось, например, в письмах А. Ширяевцу от 24 июня 1917 г. или Р. В. Иванову-Разумнику от мая 1921 г.), не изменило общей высокой оценки Есениным творчества А. А. Блока. С особой настойчивостью он говорил об этом после его смерти. Андрей Белый свидетельствует: «Бывший у меня студиец из Лито говорил о двух вечерах памяти Блока, устроенных имажинистами в Москве. На одном Сергей Есенин говорил, что говорить о смерти Блока нельзя: раз, в беседе с Блоком по поводу слухов о разрушенном Кремле, Блок сказал Есенину: «Кремля разрушить нельзя: он — во мне, и в вас; он — вечен; а о бренных формах я не горюю». То же применил Есенин о Блоке: он — наш, он — не умирает, он — вечен, а о бренном «Блоке» горевать нечего» (*ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 810).

Есенин резко отрицательно отнесся к антиблоковским выступлениям имажинистов, которые они устроили после его смер-

ти. Когда имажинисты организовали 28 августа 1921 года в свойственном им скандально-рекламном духе вечер «памяти» А. А. Блока, то Есенин долго не мог простить им развязных выступлений. Один из его знакомых вспоминал:

«На другой день после смерти в клубе поэтов «Домино» на Тверской, 18 московская богема собралась «почтить» память Блока. Выступали Шершеневич, Мариенгоф, Бобров и Аксенов.

Поименованная четверка назвала тему своего выступления «Словом о дохлом поэте» и кощунственно обливала помоями трагически погибшего поэта ⟨...⟩.

На другой день я искал Есенина, чтобы передать ему о том, как вчера в клубе от имени имажинистов «чтили» память его покойного друга — Блока. Я нашел его в лавке поэтов на Никитской улице. Есенин дежурил. Рассказав о вчерашнем безобразии, я задал ему такой вопрос:

— Сергей Александрович! Неужели Вы после всего этого не порвете с этой имажинистской ...?

— Обязательно порву... Обязательно,— прервал он меня,— ну, честное слово!» (Д а л ь н и й Степан (Самсонов Д.). Воспоминания о Есенине.— Газ. «Саратовские известия», 1926, 3 января).

Этот вечер Есенин снова вспомнил, выступая 25 октября 1923 года в Доме ученых (см. об этом в воспоминаниях В. А. Пяста).

Подробнее об истории взаимоотношений А. А. Блока и Есенина см.: Б е л ь с к а я Л. А. Роль А. Блока в становлении поэтики раннего Есенина.— *РЛ*, 1968, № 4, с. 120—130; П р а в д и н а И. С. Есенин и Блок.— Сб. «Есенин и русская поэзия». Л., 1967, с. 110—136. Свод документальных и мемуарных свидетельств о встречах А. А. Блока и Есенина опубликовал Ю. Юшкин (*ЛР*, 1980, 17 октября).

Тексты печатаются по изд.: *Блок, т. VII, VIII;* Б л о к Александр. Записные книжки. М., 1965. Текст пометок Блока на письме Есенина — по изд.: *Е с е н и н, VI*, 256.

[1] Помета А. А. Блока на записке Есенина.

[2] Рекомендательное письмо М. П. Мурашеву.

[3] Городецкому. Рекомендательное письмо А. А. Блока к нему не сохранилось.

[4] Предостережения А. А. Блока произвели на Есенина серьезное впечатление. Близко к этому письму со слов Есенина их передает в своих воспоминаниях В. С. Чернявский (см. наст. изд.). Надо учесть, что мемуарист явно не знал письма А. А. Блока, которое было опубликовано спустя много лет после того, как были написаны его воспоминания. В 1924—1925 гг. Есенин снова вспомнил об этих предостережениях А. А. Блока. В наброске

памфлета «Дама с лорнетом» он отметил, что А. А. Блок еще в 1915 г. предостерегал его от контактов с кругами Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус.

[5] Речь идет об ответах на анкету о праве литературного наследования (см. *Блок, VI*, с. 7, 496).

[6] На этот день было намечено открытие Учредительного собрания.

[7] Об этой беседе см. во вступительной статье. Многое из того, о чем говорил Есенин, нашло воплощение в его стихах. Сопоставление А. В. Кольцова, Н. А. Клюева и самого Есенина — в стихотворении «О Русь, взмахни крылами...». Слова: «Я выплевываю Причастие...» — находят отчетливую параллель в «Инонии»:

Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.

[8] Объясняя свое отношение к Н. А. Клюеву в письме к Р. В. Иванову-Разумнику, написанному, видимо, приблизительно в одно время с этой беседой, Есенин писал: «Поэтому я и сказал: «Он весь в резьбе молвы»,— то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель. А я «сшибаю камнем месяц» и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает» (*VI*, 86—87). Спустя несколько месяцев, он развивал эту же тему в «Ключах Марии»: «Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр... Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и, вместо голоса изпод камня Оптиной пустыни, он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея...» (*V*, 184—185).

[9] Этот образ Есенин использовал в статье «Отчее слово», посвященной роману А. Белого «Котик Летаев»: «Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина — «отворись». Мы бьемся в ней, как рыбы в воде, стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но просасываем этот лед и видим, что на нем ничего нет...» (*V*, 161).

[10] Речь идет о статье А. А. Блока «Интеллигенция и революция», которая была впервые напечатана в газете «Знамя труда» 19 января 1918 г. Статья вызвала огромный общественный резонанс. Реакционная часть писателей, в частности, Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус, выступили с злобными нападками на А. А. Блока.

[11] *«Знамя труда»* — газета, орган ЦК партии левых социалистов-революционеров, выходила с 23 августа 1917 г. по 6 июля 1918 г. Литературным отделом в ней руководил Р. В. Иванов-Разумник. В газете принимали участие Есенин, А. А. Блок,

А. Белый и др. *«Наш путь»* — журнал того же направления, в 1918 г. вышли два номера, в которых были напечатаны, в частности, «Октоих», «Пришествие», «Преображение» и «Инония» Есенина, «Двенадцать», «Скифы» и «Интеллигенция и революция» А. А. Блока. Участие в «Знамени труда», «Нашем пути» воспринималось в писательских кругах как наглядное доказательство сотрудничества с советской властью.

С. М. ГОРОДЕЦКИЙ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Сергей Митрофанович Городецкий (1884—1967) — поэт, беллетрист и переводчик.

Впервые встретился с Есениным 11 марта 1915 года, когда тот пришел с запиской от А. А. Блока (не сохранилась). В эту встречу С. М. Городецкий дал Есенину рекомендательные письма в редакции ряда петроградских изданий. Два из них (В. С. Миролюбову и С. Ф. Либровичу) сохранились и опубликованы. Есенин высоко ценил помощь С. М. Городецкого. В 1924 году он отмечал в автобиографии: «Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват» (*V*, 226—227). С. М. Городецкий способствовал появлению произведений Есенина не только в столичных, но и в провинциальных изданиях (см. об этом, в частности, в воспоминаниях П. А. Кузько в наст. томе). С. М. Городецкому Есенин посвятил при публикации в «Новом журнале для всех» (П., 1915, № 4) стихотворение «Зашумели над затоном тростники...». В первой редакции воспоминаний С. М. Городецкий сообщал, что ему также был посвящен первоначально весь первый сборник Есенина «Радуница» (см. «Новый мир». М., 1926, № 2, с. 140). В автобиографии «Мой путь» С. М. Городецкий отмечал: «В 1915 году ко мне пришел Сергей Есенин. «Из книги «Ярь» я узнал, что *так* можно писать стихи»,— сказал он мне. Появились в моем доме и Николай Клюев и Александр Ширяевец. Я организовал группу «Краса». Устраивали вечера» (сб. «Советские писатели. Автобиографии», т. I. М., 1959, с. 326).

Дружескими остались их отношения и во все последующие годы, хотя С. М. Городецкий не примыкал к тем литературным группировкам, в которых участвовал Есенин после 1916 г. Подробнее об отношениях Есенина и С. М. Городецкого см.: Енишерлов В. Его самородная стихия.— Газ. «Советская Россия». М., 1985, 8 сентября.

Воспоминания были впервые напечатаны в журн. «Новый мир», М., 1926, № 2, с. 137—146. В 1965 г. пересмотрены автором и включены в сб. *Воспоминания, 1965*, по тексту которого печатаются в наст. изд.

[1] Этот альманах был задуман С. М. Городецким и А. М. Ремизовым еще в 1909 г. как журнал. Он должен был быть посвящен искусству всех славянских народов. Журнал не состоялся. В 1913 г. под редакцией С. М. Городецкого и Янко Лаврина появился один выпуск альманаха. В нем было напечатано стихотворение Н. А. Клюева «Плясея» («Я вечор, млада, на пиру была...»). Это было отнюдь не первое выступление Н. А. Клюева в печати. Он начал публиковаться еще в 1904 г. В 1912 г. вышли два его сборника «Братские песни» и «Сосен перезвон», которые и принесли ему известность.

[2] Речь идет об известной фотографии Есенина и С. М. Городецкого (см. ее в наст. т.).

[3] Личное знакомство Есенина с Н. А. Клюевым состоялось, видимо, в октябре 1915 г., когда Есенин вернулся в Петроград после поездки в Константиново. Но еще до этого между ними завязалась переписка. 24 апреля 1915 г. Есенин отправил Н. А. Клюеву первое письмо. Он писал: «Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам» (*VI*, 59). Письма Н. А. Клюева к Есенину 1915 г.— см. в сб. «Есенин и современность». М., 1975. Развитие сложных и противоречивых взаимоотношений Есенина и Н. А. Клюева наиболее подробно исследовано в кн.: Б а з а н о в В. Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия. Л., 1982.

[4] Вечер состоялся 25 октября 1915 г. В одном из газетных отчетов говорилось: «Вечер открылся «зачальным присловьем» Сергея Городецкого и «словом» Алексея Ремизова. Затем молодым поэтом, крестьянином Рязанской губ., С. Есениным были прочитаны известная его поэма «Русь» и цикл стихов «Маковые побаски». Гвоздем вечера явилась былина Н. Клюева «Беседный наигрыш», которую поэт прочел с мощной выразительностью... Закончился вечер «Краса» исполнением современных народных рязанских и заонежских частушек, прибасок, веленок и «страданий» под ливенку» (газ. «Голос Руси». П., 1915, 26 октября). В другом отчете говорилось: «Жаль, что наша публика проявила слишком мало интереса к вечеру 25-го октября. Зал был неполон, несмотря на воскресный день. Как всегда, преобладали представители литературного и художественного мира. Из отдельных исполнителей, кроме Городецкого и Клюева, выделилась поэтесса А. Бел-Конь-Любомирская, прекрасно читавшая стихи...» (газ. «Биржевые ведомости», утр. вып. П., 1915, 30 октября).

[5] Объявление об издании этих книг было напечатано как реклама в единственной вышедшей под маркой «Книгоиздательство «Краса» книге: «А. С. Пушкину. Стихотворение С. Городецкого с примечаниями». Сборник «Краса» — не единственный, в который С. М. Городецкий предполагал включить стихи Есенина. Осенью 1915 г. было объявлено, в частности, об издании под редакцией С. М. Городецкого и А. М. Ремизова сборника «Скарб. Русские писатели польскому народу разоренному», в который наряду со стихами А. А. Ахматовой, К. Д. Бальмонта, А. А. Блока, Ю. К. Балтрушайтиса предполагалось включить и стихи Есенина (см. газ. «Речь». П., 1915, 21 октября). Как извещал С. М. Городецкий Ф. К. Сологуба 10 января 1916 г., Есенин в числе других поэтов дал свои стихи для этого сборника, но какие именно — не установлено (см. *ЛН*, т. 92, кн. 3, с. 448). Сборник из печати не вышел.

[6] С. М. Городецкий отправился на русско-турецкий фронт в качестве военного корреспондента газеты «Русское слово». Уехал он из Петрограда, как об этом свидетельствует его письмо к секретарю редакции этой газеты от 29 апреля 1916 г., не осенью, а весной 1916 г. (см. *ВЛ*, 1970, № 7, с. 167).

[7] В этой заметке, озаглавленной «Казненный дегенератами», Б. А. Лавренев резко обвинял имажинистское окружение Есенина, считая их виновниками трагической кончины поэта (см.: Красная газета, веч. вып. Л., 1925, 30 декабря).

[8] *«Четвертый Рим»* — цикл из шести стихотворений Н. А. Клюева, направленных против Есенина, против его имажинистских стихов. Выпущен отдельным изданием в 1922 г. Приведены начальные строки второго, третьего и четвертого стихотворений цикла.

[9] С. М. Городецкий приводит здесь лишь отдельные фразы из своей рецензии. Он писал: «...и вот мы имеем прекрасную поэму «Пугачев». Сработана она серьезно, написана ярким, могучим языком и полна драматизма. Все свое знание деревенской России, всю свою любовь к ее звериному быту, всю свою деревенскую тоску по бунту Есенин воплотил в этой поэме. Это — лучшая его вещь. Серьезность задания удержала поэта от крайностей имажинизма, который, если и принят, то, может быть, только как литературное развитие всегда стремившегося к изобразительности деревенского языка. Сцены, когда Пугачев объявляет себя Петром, когда он возбуждает к победе своих перепуганных товарищей и, особенно, когда они его предают,— очень сильны. Эта вещь не только должна быть поставлена на большой сцене, но она может послужить прекрасным материалом для работ в пролетстудиях... Одна из замечательных страниц русской революции нашла себе достойное воплощение в поэме Есенина. «Пугачев» написан

не для сегодняшнего дня. Он войдет в сокровищницу новой пролетарской литературы» (газ. «Труд». М., 1922, 5 апреля). С. М. Городецкий, видимо, не случайно, вспомнил о своей рецензии. После смерти Есенина вновь поднялись разговоры о несценичности «Пугачева». Профессор Н. Н. Фатов писал, например, что «Пугачев» — «самое неудачное создание Есенина», что «тайна стихотворного диалога не была открыта Есенину» (журн. «На литературном посту», М., 1926, № 2, 15 апреля, с. 50).

[10] А. В. Ширяевец умер 15 мая 1924 г. Его памяти Есенин посвятил стихотворение «Мы теперь уходим понемногу...».

М. П. МУРАШЕВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Михаил Павлович Мурашев (1884—1957) — журналист и издательский работник. В 1915 году жил в Петрограде, работал в редакции «Биржевых ведомостей», был связан с редакциями ряда других газет и журналов. Знакомство с Есениным, состоявшееся в марте 1915 года, быстро переросло в дружбу. После революции М. П. Мурашев переехал в Москву, где продолжал работать в различных редакциях и издательствах.

Первые два мемуарных очерка М. П. Мурашева были опубликованы в 1926 году «Сергей Есенин в Петрограде» — в сб. *Воспоминания, 1926* и «А. Блок и С. Есенин» — в сб. «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». М., 1926. Впоследствии эти очерки были пересмотрены и объединены автором. В этой редакции они опубликованы в сб. *Воспоминания, 1965*, по тексту которого печатаются в наст. изд.

М. П. Мурашевым написаны также обширные воспоминания «Встречи и книги», но они находятся в частном хранении и до настоящего времени не опубликованы.

[1] Среди опубликованных писем Есенина к М. П. Мурашеву нет письма, которое содержало бы подобную фразу.

[2] Это было 14 июля 1916 г. Речь идет о подготовке альманаха «Творчество», первая книга которого вышла в 1917 г. В ней были опубликованы два стихотворения А. А. Блока «Демон» («Иди, иди за мной — покорной...») и «Ночной туман застал меня в дороге...» (под заглавием «Ночью на коне»).

[3] Учредительное собрание общества «Страда» состоялось 17 октября 1915 г. С. М. Городецкий, избранный поначалу товарищем председателя общества (председателем был избран И. И. Ясинский), писал о его задачах: «...самым интересным является новое общество «Страда», имеющее целью содействие

развитию народной литературы. Это настолько важное и многообещающее дело, что о нем придется рассказать отдельно. Пока же можно сообщить, что «Страда» обладает редким правом, по уставу, открывать свои отделения всюду, где соберется десять ее членов. Пользуясь этим правом, «Страда» собирается покрыть всю Россию сетью чисто художественных организаций» (газ. «Кубанская мысль». Екатеринодар, 1915, 15 ноября). Подробнее об этом обществе и участии в нем Есенина см.: Вдовин В. А. Есенин и литературно-художественное общество «Страда».— Сб. «Есенин и русская поэзия». Л., 1967, с. 171—193.

[4] Этот заголовок имело в ранней редакции стихотворение «Гаснут красные крылья заката...».

[5] «Радуница» появилась в последних числах января, а первый сборник «Страда» — позже, в апреле 1916 г.

[6] Из стихотворения «В хате».

[7] Есенин был призван в армию 25 марта 1916 г. Подробное документальное исследование обстоятельств призыва и службы Есенина в качестве санитара Царскосельского полевого военно-санитарного поезда № 143 см.: Вдовин В. А. Сергей Есенин на военной службе (Научные доклады высшей школы. Филологические науки. М., 1964, № 1); Юшин П. Ф. Сергей Есенин. М., 1969; Вдовин В. А. Материалы к биографии Есенина (*ВЛ*, 1970, № 7).

[8] Имеется в виду стихотворение «Я снова здесь, в семье родной...».

[9] Начальные строки «Пролога» к поэме. Эта часть поэмы была к тому времени опубликована в газ. «Русское слово», П., 1914, 7 апреля.

В. С. ЧЕРНЯВСКИЙ

ТРИ ЭПОХИ ВСТРЕЧ

Владимир Степанович Чернявский (1889—1948) — один из ближайших друзей Есенина петроградского периода его жизни. В те годы — студент, начинающий поэт, впоследствии — актер, мастер художественного слова. В. А. Рождественский рассказывал, что В. С. Чернявский «был одним из самых добрых друзей Сергея Александровича — вне его богемного окружения. Есенин часто брал у него (как и у меня) книги и любил с нами вести «книжные разговоры». Чернявский впоследствии стал выдающимся и очень культурным чтецом, часто выступавшим в аудиториях Ленинграда. Его знал и уважал весь город» (письмо к составителю от 24 февраля 1964 г.).

В. С. Чернявскому Есенин посвятил стихотворение «Сельский часослов». Сохранился вырезанный из сб. «Красный звон»,

П., 1918, цикл стихотворений Есенина «Стихослов» с дарственной надписью: «Милому Володеньке за любовь и дружбу. Любящий *Сергей*. 1918. 7 марта» (*РЛ*, 1970, № 3, с. 160). По свидетельству дочери мемуариста, М. В. Чернявской, долгое время в их семье хранился сборник Есенина «Радуница» с дарственной надписью: «Разлюбезному товарищу Володе Чернявскому. С самыми искренними пожеланиями на добрую память. *Сергей Есенин.* Февраля 5. Петроград» (местонахождение книги в настоящее время неизвестно). Не дошли до нас и автографы писем Есенина к В. С. Чернявскому. Два письма 1915 года он включил в текст воспоминаний, и поэтому они нам известны, но письмо 1924 года, которое он упоминает в воспоминаниях, остается не найденным. «Письма Сережи украдены у меня уже лет 10 тому назад»,— сообщал В. С. Чернявский С. А. Толстой-Есениной 30 августа 1940 года *(ГЛМ)*.

В записных тетрадях В. С. Чернявского (хранятся у М. В. Чернявской) имеются автографы нескольких его стихотворений 1915—1916 годов, обращенных к Есенину. Среди них:

Не страшно знать, что и душа проходит,
Как первая, как лучшая любовь,
Что голос смерти над постелью бродит:
— Себя, себя люби и славословь.
Моей стране, где даже бог потерян,
Поверил я, услышав голос твой.
Она твоя, за то что ты ей верен —
И ласковый, и кровный, и живой.
. . . .

Отзвук одной из строк этого стихотворения можно увидеть в «Прощании с Мариенгофом» Есенина:

Мне страшно,— ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Воспоминания В. С. Чернявского были написаны в мае 1926 года. Рукопись, озаглавленная «К биографическим материалам о Сергее Есенине», хранится в *ГЛМ*. Часть воспоминаний, посвященная начальному периоду петроградской жизни Есенина, под заглавием «Первые шаги» была впервые опубликована в журн. «Звезда», М.— Л., 1926, № 4. Этот текст воспроизводился в сб. *Воспоминания, 1965* и *Воспоминания, 1975*.

Вскоре после публикации части своих воспоминаний в «Звезде» В. С. Чернявский вернулся к ним. Он заново отредактировал и проверил текст, уточнил ряд деталей, дал воспоминаниям загла-

вие «Три эпохи встреч». Значительно сокращенная, эта редакция была напечатана в журн. «Новый мир», М., 1965, № 10. В наст. изд. воспоминания печатаются по рукописи последней авторской редакции (хранится в *ГЛМ).*

[1] Имеется в виду «Поэза о Бельгии» Игоря Северянина.

[2] В газетном извещении вечер назван «Поэты — воинам» (газ. «Биржевые ведомости», утр. вып. П., 1915, 22 марта). В отчете сообщалось: «А. Блок в своей обычной благородно-сдержанной манере прочел три стихотворения с хорошим успехом. Горячо встречен был Ф. Сологуб, прочитавший свои новые стихотворения. Много аплодировали Ахматовой. Зал был полон» (газ. «День». П., 1915, 1 апреля). На вечере выступали также И. Северянин и ряд петроградских актеров.

[3] Вероятно, имеется в виду стихотворение Ф. К. Сологуба «Россия» («Еще играешь ты, еще невеста ты...»).

[4] В первой редакции воспоминаний В. С. Чернявский называет в данном случае П. Б. Струве. Следовательно, речь идет о журнале «Русская мысль», в июльском номере которого за 1915 г. были напечатаны три стихотворения Есенина: «Пойду в скуфье смиренным иноком...», «Калики» и «На лазоревые ткани...».

[5] Эти письма В. С. Чернявского к В. В. Гиппиусу, как сообщила М. В. Чернявская, погибли в годы Великой Отечественной войны.

[6] Имеется в виду «Альманах муз», вышедший в 1916 г. под маркой издательства «Фелана». Задумывался он как периодическое издание, вышел только один сборник. Одним из организаторов альманаха был К. Ю. Ляндау. В письме к В. Я. Брюсову от 12 марта 1916 г. он сообщал, что к участию приглашены А. А. Блок, З. Н. Гиппиус, В. А. Пяст, М. А. Кузмин, Ф. К. Сологуб, В. Ф. Ходасевич (см. *ЛН,* т. 92, кн. 3, с. 460). В альманахе напечатаны стихотворения А. А. Ахматовой, Вяч. Иванова, Р. Ивнева, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой, В. С. Чернявского и др. поэтов. Есенин и Н. А. Клюев в нем не участвовали.

[7] Слова из стихотворения «О Русь, взмахни крылами...». Фотографию, о которой идет речь, см. в наст. т.

[8] Так назвал эту светскую публику Есенин в 1925 г. в стихотворении «Мой путь»:

И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

[9] Речь идет о стихотворении «Запели тесаные дроги...». О визите к кому рассказывает автор, неизвестно. Вероятнее всего, имеется в виду А. Ф. Кони.

[10] В «Голосе жизни» произведения Есенина печатались только единожды (в № 17 от 22 апреля 1915 г.). В этом же номере была помещена статья З. Гиппиус «Земля и камень», посвященная Есенину. Со следующего, № 18 имя Есенина значилось среди лиц, принимающих участие в журнале.

Д. В. Философову Есениным было посвящено стихотворение «Черная, потом пропахшая выть!..» при его публикации в сборнике «Радуница» (1916). Посвящение было снято при переиздании сборника в 1918 г.

[11] Ответ на письмо В. С. Чернявского от 26 мая 1915 г., в котором он, в частности, писал: «Милый друг Сережа, все время хранил о тебе хорошую память, но сам знаешь, как беспутно живут твои петербургские знакомцы, а потому и извинишь, что я тебе не писал 〈...〉. Мне хотелось бы знать, чем разрешился вопрос о твоей воинской повинности; надеюсь, напишешь словечко. Твою открытку, пропитанную сибирской язвой и описывающую неслыханные обычаи, Костя слишком предусмотрительно сжег, не дав даже нам прочесть! Слышал, что уже объявлено о твоей книге в изд-ве «Краса». Что и как в этом смысле, поддерживаешь ли сношения с Городецким 〈...〉. Так я буду ждать от тебя письма и сведений о себе и непременно тебе отвечу, милый друг. Мы с тобой мало виделись в Питере, но ты, я думаю, знаешь, что я к тебе очень дружески отношусь и рад был, что ты встретился на моем пути» *(ЦГАЛИ)*.

Автографы приведенных В. С. Чернявским писем Есенина неизвестны. Тексты их всегда печатались по первой публикации воспоминаний В. С. Чернявского. Однако, готовя данную редакцию воспоминаний, он внес ряд поправок в текст писем, очевидно сверив их с подлинниками, находившимися в то время у него. Этим и объясняются расхождения между текстами писем в первой публикации (и их воспроизведением в собр. соч. Есенина) и текстами данного издания.

[12] Имеется в виду поездка Есенина и Н. А. Клюева в Москву в январе 1916 г. Об их выступлении в «Обществе свободной эстетики» см. в воспоминаниях И. Н. Розанова.

[13] В своей последней автобиографии, которую скорее всего и имеет в виду мемуарист, Есенин писал: «С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба» (*V*, 230).

[14] Из стихотворения А. А. Блока «Рожденные в года глухие...».

[15] Вспоминая о «дисциплинарной высылке» Есенина на юг, В. С. Чернявский, видимо, опирался на различные слухи, ходившие в Петрограде. В действительности Есенин, призванный на военную службу в марте 1916 г. и служивший с 20 апреля 1916 г. при Царскосельском полевом военно-санитарном поезде № 143 в качестве санитара, совершил вместе с поездом несколько поездок, в том числе и на юг (Крым, Киев). 23 февраля 1917 г. он был откомандирован из Петрограда в Могилев в «распоряжение командира 2-го батальона сводного пехотного полка полковника Андреева».

[16] Возможно, имеется в виду вечер, о котором газета «Дело народа» объявляла 11 апреля 1917 г.: «13 апреля художественное общество «Искусство для всех» ... устраивает в Тенишевском зале общедоступный «Вечер свободной поэзии» при участии поэтов и артистов Ф. Сологуба, Н. Клюева, Есенина, А. Ахматовой, Ю. М. Юрьева, Н. Н. Ходотова, Л. Вивьена, Тэффи, А. Мгеброва, В. Тизенгаузен, Н. С. Рашевской, Р. Ивнева, В. Пруссака и др. Впервые будут читаться публично доселе «запретные» стихотворения».

[17] Слова из «Двенадцати» А. А. Блока.

[18] В конце июля 1917 г. Есенин вместе с А. А. Ганиным и З. Н. Райх отправился в поездку на север. Во время этой поездки, 30 июля 1917 г. в Кирико-Иулиттовской церкви близ Вологды, он обвенчался с З. Н. Райх.

[19] Образы из стихотворений «Октоих» и «Инония».

[20] См. примеч. 8 к воспоминаниям С. М. Городецкого.

[21] Вечер состоялся 14 апреля 1924 г.

[22] По этому адресу жил А. М. Сахаров.

[23] Этот рассказ — одна из типичных мистификаций Есенина.

Как известно, балетная школа Дункан вместе с ней в зарубежную поездку не выезжала. Нет никаких данных и о намерении Есенина и А. Дункан побывать во время своей поездки в Греции.

[24] Речь идет о двухтомном собрании стихотворений, над которым Есенин работал в 1923—1924 гг. Для этого издания им было написано «Предисловие» (см. *V*, 205—206). Издание не состоялось. Кроме данного сообщения В. С. Чернявского, нет сведений о том, что оно было доведено до стадии корректуры. Возможно, что автор принял за корректуру подготовительные материалы к изданию.

[25] Речь идет о стихотворении «Цветы мне говорят — прощай...», которым завершался первый том собрания сочинений Есенина 1926—1927 гг. Однако, возможно, что поэт читал В. С. Чернявскому стихотворение «Цветы», написанное в конце 1924 г.

[26] Речь идет о кратковременной поездке Есенина в Ленинград 3—7 ноября 1925 г.

[27] Из последнего стихотворения Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...».

М. В. БАБЕНЧИКОВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Михаил Васильевич Бабенчиков (1890—1957) — искусствовед, преподаватель художественных учебных заведений, автор ряда работ по истории искусств. Ему принадлежат воспоминания о многих русских писателях и актерах — А. А. Блоке, В. Э. Мейерхольде, В. Ф. Комиссаржевской и др.

Впервые воспоминания были напечатаны в сб. *Воспоминания, 1926.* В 1955 году, к шестидесятилетию поэта они были значительно дополнены автором. Эта редакция воспоминаний была впервые опубликована в сб. «Встречи с прошлым», вып. 4. М., Советская Россия, 1982.

Печатаются по рукописи *(ЦГАЛИ).*

[1] Имеется в виду эпизод из «Войны и мира» с пленным французским мальчиком-барабанщиком, имя которого солдаты переделали из Vincent в «Весеннего» и «Висеню» (т. 4, ч. III, гл. VII).

[2] «Бродячая собака» — литературно-артистическое кабаре, существовавшее в Петрограде в 1912—1915 гг. Есенин в «Бродячей собаке» не выступал, да и вряд ли мог часто бывать, поскольку это кабаре закрылось весной 1915 г., то есть именно в то время, когда Есенин впервые появился в Петрограде. Вероятно, автор имел в виду не «Бродячую собаку», а другое кабаре такого же типа — «Привал комедиантов», где в 1916—1917 гг. выступали многие поэты и актеры, где, в частности, не раз читал стихи Н. А. Клюев.

З. И. ЯСИНСКАЯ

МОИ ВСТРЕЧИ С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Зоя Иеронимовна Ясинская (1896—1980) — дочь И. И. Ясинского; впоследствии — историк литературы, преподаватель.

И. И. Ясинский был в числе тех петроградских литераторов, кто доброжелательно встретил Есенина и помог ему на первых

порах освоиться в литературной среде. Зимой 1915—1916 годов Есенин часто бывал у него дома. На автографе стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...» он написал, например: «День прощенный, заботливый о грехах и любви и иже херувимы (у И. И. Ясинского за приятным собеседованием 1916 г. 21 февр.)». На «Радунице»: «Самому доброму, самому искреннейшему писателю и человеку во ипостаси дорогому Иерониму Иеронимовичу на добрую память от размычливых упевов сохи-дерехи и поемов Константиновских-Мещерских пеннозобных озер. *Сергей Есенин.* 1916. 7 февр. Пт.». В октябре 1915 года И. И. Ясинский был избран председателем литературно-художественного общества «Страда». Он вспоминал: «Группа молодых людей, посещавших меня,— Сергей Городецкий, Пимен Карпов, Мурашев, Игнатов, Клюев, Есенин, Горянский и еще несколько других, образовали литературный союз 〈...〉. Меня выбрали председателем, и общество получило разрешение устраивать публичные литературные чтения, спектакли, лекции, иметь свой клуб, издавать сборники и книги и носить название «Страда» 〈...〉. Я прочитал несколько лекций о Клюеве, о Горянском 〈...〉, об Есенине и др. Был составлен и уже напечатан первый сборник. Я написал к нему предисловие» (Ясинский И. Роман моей жизни. М.— Л., 1926, с. 319—320). Подробнее об этом обществе и участии в нем Есенина см.: Вдовин В. А. Есенин и литературно-художественное общество «Страда».— Сб. «Есенин и русская поэзия». Л., 1967, с. 171—193.

Воспоминания впервые напечатаны в журн. «Литературная Армения», Ереван, 1959, № 4, с. 81—88. Печатаются по тексту, пересмотренному и заново отредактированному автором в феврале 1970 года.

[1] Эта встреча с А. А. Ахматовой состоялась 25 декабря 1915 г. Она подарила Есенину свою поэму «У самого моря» (вырезка из журн. «Аполлон», 1915, № 3) с дарственной надписью: «Сергею Есенину — Анна Ахматова. Память встречи. Царское Село. 25 декабря 1915» (частное собрание, Москва). Тогда же Есенин познакомился и с Н. С. Гумилевым, который подарил ему свой сборник «Чужое небо» с дарственной надписью: «Сергею Александровичу Есенину. Память встречи. Н. Гумилев. 25 декабря 1915 г.» (частное собрание, Москва).

[2] Слова из стихотворения «На Кавказе».

[3] Из стихотворения «Я обманывать себя не стану...».

[4] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...».

[5] Речь идет о вечере общества «Краса», который состоялся 25 октября 1915 г.

П. В. ОРЕШИН

МОЕ ЗНАКОМСТВО С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Петр Васильевич Орешин (1887—1938) — поэт и прозаик. Выросший в бедной семье («Мой дом — лохмотья и заплаты»,— писал он в стихотворении «Детство»), он трудно входил в литературу. Хотя начал печататься еще до мировой войны, но получил известность как один из лидеров крестьянской поэзии только после возвращения с фронта в Петроград в 1917 году.

Как вспоминает сам П. В. Орешин, он познакомился с Есениным осенью 1917 года в Петрограде. Однако это расходится с свидетельством другого мемуариста (Р. Ивнева), который утверждает, что видел Есенина вместе в П. В. Орешиным в марте 1917 года. В предреволюционные месяцы они оба активно сотрудничали в таких петроградских газетах, как «Дело народа» и «Земля и воля», входили в неонародническую группу «Скифы». В 1918 году появился первый сборник стихотворений П. В. Орешина «Зарево». Есенин откликнулся на него рецензией, в которой прежде всего подчеркнул патриотический пафос стихов П. В. Орешина: «В наши дни, когда «бог смешал все языки», когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что искони составляло «родину», книга эта как-то особенно становится радостной» (*V*, 165).

После Октябрьской революции Есенин и П. В. Орешин вместе выступали на различных митингах. Об одном из таких выступлений (в декабре 1917 г.) вспоминает В. Т. Кириллов. В 1918 году, после переезда в Москву их встречи продолжались, в частности, в редакции газеты «Голос трудового крестьянства», в которой работал П. В. Орешин. Они явились инициаторами постановки вопроса об образовании крестьянской секции при московском Пролеткульте. В 1919 году П. В. Орешин уехал на родину, в Саратов, но его связи с Есениным не оборвались. В 1923 году П. В. Орешин вместе с Есениным и другими писателями поднимал вопрос о создании в Госиздате самостоятельной редакции для издания произведений писателей, «вышедших из недр трудового крестьянства» (*VI*, 216), в 1924 году они оба вошли в комиссию по литературному наследству А. Ширяевца. В этот период имя П. В. Орешина часто встречается в различных планах Есенина, связанных с намерением издавать альманах или журнал. После смерти Есенина П. В. Орешин вошел в состав бюро комитета по увековечению памяти Есенина, созданного при Всероссийском союзе писателей.

Воспоминания были написаны в 1926 году, к первой годовщине со дня смерти Есенина, и впервые напечатаны в журн. «Красная нива», М., 1926, 26 декабря, № 52, с. 19—20. Печатаются и датируются по первой публикации.

[1] Из стихотворения «В хате».

[2] Перефразированы строки из стихотворений: «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...» и «Не напрасно дули ветры...». Их никак нельзя отнести к числу «позднейших» — первое было написано в 1912, второе в 1917 г.

[3] Из стихотворения «Годы молодые с забубенной славой...».

[4] Из стихотворения «Товарищ».

[5] Из стихотворения «Преображение». Оно датировано автором ноябрем 1917 г., поэтому чтение его вряд ли могло состояться еще до революции, как вспоминает П. В. Орешин.

[6] Из стихотворения «Все живое особой метой...».

[7] Из стихотворения «Теперь любовь моя не та...».

[8] Из стихотворения «Не напрасно дули ветры...». Оно было написано не в 1918, а в 1917 г. и бесспорно раньше «Преображения».

[9] Из стихотворения «Иорданская голубица».

В. Т. КИРИЛЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Владимир Тимофеевич Кириллов (1890—1943) — поэт. Активный деятель революционного движения. В феврале 1917 года он во главе восставшего полка принимал участие в революционных событиях в Петрограде, после Октябрьской революции стал секретарем Московско-Заставского райкома партии Петрограда. Выступал в рабочей печати с 1913 года. Был одним из лидеров Пролеткульта. В 1921 году был избран председателем Всероссийской Ассоциации пролетарских писателей.

Многие его стихи в первые послереволюционные годы получили широкую известность, а строки из стихотворения «Мы» — «Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля, // Разрушим музеи, растопчем искусства цветы» — стали даже своего рода лозунгом настойчиво утверждавшегося Пролеткультом нигилистического отношения к классической культуре прошлых эпох. Эти строки В. Т. Кириллова вызвали ответную реакцию Есенина. Он отзывался о них как о «громких, но пустых» и замечал: «Мы не можем, конечно, не видеть и не понимать, что это сказано ради благословения грядущего. Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов... но все же это сказано

без всякого внутреннего оправдания...» (*V*, 192). Не приемля нигилистические идеи Пролеткульта, Есенин вместе с тем поддерживал со многими участниками этой организации личные дружеские отношения.

Воспоминания В. Т. Кириллова были впервые опубликованы в сб. *Воспоминания, 1926,* по тексту которого они печатаются в наст. изд. с сокращениями.

[1] Текст этого имажинистского «гимна» приводит в своих воспоминаниях М. Д. Ройзман.

[2] Это чтение состоялось 1 июля 1921 г. (см. газ. «Известия ВЦИК». М., 1921, 1 июля).

[3] А. В. Ширяевец умер 15 мая 1924 г. О том, какое тяжелое впечатление произвела на Есенина его смерть — см. также воспоминания С. М. Городецкого, Ц. И. Старцева и др.

[4] Стихотворение на смерть А. В. Ширяевца — «Мы теперь уходим понемногу...» известно только в одной, окончательной редакции. Правда, в черновике стихотворения *(ЦГАЛИ)* имеются две строфы, не вошедшие в окончательный текст. Одна из них шла перед последней строфой:

Оттого к земле моей с тоскою
Тысчи раз готов я припадать,
Что из лона вечного покоя
Никогда ее не увидать.

Возможно, автор читал В. Т. Кириллову стихотворение с этой строфой, что и создало впечатление двух вариантов.

[5] В Константиново, на свадьбу своего двоюродного брата А. Ф. Ерошина Есенин ездил на несколько дней в первых числах июня 1925 г. (см. воспоминания В. Ф. Наседкина в наст. изд.).

П. А. КУЗЬКО

ЕСЕНИН, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

Петр Авдеевич Кузько (1884—1968) — советский служащий, журналист и литературный критик. Познакомился с Есениным в январе 1918 года и поддерживал дружеские отношения до конца жизни поэта.

Воспоминания впервые напечатаны в сб. *Воспоминания, 1965,* по тексту которого печатаются в наст. изд. с сокращениями.

[1] В этой статье П. А. Кузько, в частности, писал: «Мы имеем еще очень мало стихов Есенина, и они разбросаны по периодическим изданиям, но то, что есть, уже дает возможность говорить

о значительности и силе поэтического таланта этого юноши, поэта-крестьянина, с золотистыми кудрями и светлой искренней улыбкой. И если в поэзии Клюева в первый период его развития горел огонь религиозного сознания, то в поэзии Есенина уже чувствуется загорающееся пламя любви к родине» (Кузько П. О поэтах из народа. Сергей Есенин.— Газ. «Кубанская мысль». Екатеринодар, 1915, 29 ноября).

[2] Надпись была сделана не на сборнике «Скифы», а на книге Есенина «Голубень» (1918). См. *РЛ*, 1970, № 3, с. 160.

[3] Воспоминания П. А. Кузько о В. И. Ленине опубликованы в журн. «Вопросы истории КПСС», М., 1964, № 4, с. 84—88.

[4] Вечер состоялся 20 февраля 1918 г. См. о нем запись А. А. Блока.

[5] Точное время переезда Есенина из Петрограда в Москву в 1918 г. не установлено, но пробыл он в Петрограде после 10 марта 1918 г. не «несколько дней». Документально фиксируется его пребывание там 20 марта (запись в дневнике М. А. Кузмина: «20 марта, среда... Побежали к Ляндау. Там Макс, Есенин и Чернявский» — *ЦГАЛИ*), 27 марта (Блок А. Записные книжки. М., 1965, с. 397), 23 апреля (*Хроника, 1*, 129). Правда, есть сведения, что в этот период он уезжал на время из Петрограда в Константиново. Окончательно перебрался Есенин в Москву, очевидно, не раньше мая. З. Н. Райх тоже приехала в Москву позже. Она ждала в это время ребенка и уехала к родителям в Орел. Там 29 мая у нее родилась дочь Татьяна.

[6] В этой рецензии В. Я. Брюсов писал: «В «Голубени» основные черты творчества С. Есенина выступают отчетливо. Иное хорошо задумано и смело исполнено. Не вполне оправдано автором изобилие религиозных и церковных образов. Нам лично впечатление портят неправильные рифмы и ряд сравнений и метафор, вряд ли жизненных, как «дождь пляшет, сняв порты», «на долину бед спадают шишки слов» и т. под.». О творчестве Есенина В. Я. Брюсов писал также в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии».

[7] Интересным свидетельством контактов Есенина с В. Э. Мейерхольдом, относящихся еще к петроградскому периоду, является сохранившаяся в архиве В. Э. Мейерхольда афиша вечера памяти декабристов, состоявшегося 14 декабря 1917 г., в котором принимал участие Есенин.

[8] Речь идет об авторском чтении «Пугачева» в Театре им. Вс. Мейерхольда, в связи с предполагавшейся постановкой этой пьесы. Подробнее — см. воспоминания И. В. Грузинова и И. И. Старцева в наст. изд.

С. Т. КОНЕНКОВ

ИЗ КНИГИ «МОЙ ВЕК»

Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971) — скульптор, народный художник СССР.

Время своей первой встречи с Есениным С. Т. Коненков в воспоминаниях точно не указывает, но относит ее к дореволюционному времени. Можно предположить, что Есенин впервые побывал в пресненской мастерской скульптора еще в январе — феврале 1915 года, до своего отъезда в Петроград, в период учебы в университете им. А. Л. Шанявского. Это подтверждается и тем, что оба стихотворения, которые, как вспоминает С. Т. Коненков, читал Есенин во время этой первой встречи («Наша вера не погасла...» и «На плетнях висят баранки...»), датируются 1915 годом.

Однако действительное сближение Есенина с С. Т. Коненковым и его частые визиты в мастерскую скульптора начались после переезда из Петрограда в Москву, в 1918 году. Встречи продолжались до мая 1922 года и затем, после возвращения Есенина из зарубежной поездки, в августе—ноябре 1923 года. 8 декабря 1923 года С. Т. Коненков уехал в США, и больше они не виделись. Перед отъездом С. Т. Коненков писал Есенину: «Очень грустно мне уезжать, не простившись с тобой. Несколько раз я заходил и писал тебе, но ты почему-то совсем забыл меня. Я по-прежнему люблю тебя и ценю как большого поэта» (*VI*, 380).

С. Т. Коненков тяжело воспринял известие о смерти поэта. 12 марта 1926 года он сообщал С. А. Толстой-Есениной из Нью-Йорка: «Я любил Сережу за его прекрасную чистую душу и за чудесные стихи его. Смерть Сережи произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я долго не верил этому. Чувствую, что поля и леса моей родины теперь осиротели. И тоскливо возвращаться туда» (*VI*, 380). В тот же день он писал И. М. Касаткину: «Я не нахожу слов выразить горе, когда все подтверждает смерть Сережи Есенина... Вначале, читая здешние газеты, я был потрясен и топал из угла в угол, не доверяя этому. Затем только понемногу я соображал, что Сережа давно уже говорил в своих стихах о приближающейся смерти, но ведь это в расчет никак не принималось, по крайней мере, мной. Одним словом, горе высказать я не сумею, и так его много, что нет сил» (*VI*, 381). В этих письмах он просил прислать материалы (фотографии, статьи, снимок могилы), поскольку намеревался создать памятник Есенину.

Впервые воспоминания под заглавием «Слово о друге» были напечатаны в газ. «Советская культура», М., 1965, 2 октября. В другой редакции — в сб. *Воспоминания, 1965*. Отдельной главой входили в книгу С. Т. Коненкова «Земля и люди», М.,

Молодая гвардия, 1968 и 1974. В расширенном и уточненном виде, без выделения в отдельную главу вошли в книгу С. Т. Коненкова «Мой век» (литературная запись Ю. А. Бычкова). В наст. изд. печатаются отрывки из этой книги по тексту: Коненков С. Т. Мой век. М., Политиздат, 1971, с. 191—192, 199—201, 220—224, 240—244.

[1] Родная деревня С. Т. Коненкова на Смоленщине.

[2] Вот как описывал пение под лиру Есенина и С. Т. Коненкова в 1921 г. их общий знакомый С. Т. Григорьев: «Коненков, утвердивши лиру на коленях, крутит ручку, крепит колки-сосцы и доит из лиры скрипучий струнный звук... Еще Коненков не настроил, а уж Есенин тянет голосом... И вот запели. О блудном сыне. Есенин тенорком, немного в нос под стать скрипучей лире, Коненков приглушенным басом. И не сводит с Есенина, горя глазами, взора, пытает...» (Григорьев С. Образ Коненкова. М., 1921, с. 19).

[3] В другой редакции своих воспоминаний С. Т. Коненков добавляет: «Не раз приходили сюда Есенин, Клычков и Герасимов. Авторы кантаты с большим вниманием слушали мои объяснения, подолгу вглядывались в символические образы мемориального рельефа. Мы вместе ждали торжественного часа» (газ. «Советская культура». М., 1965, 2 октября).

[4] Приведена часть текста «Кантаты», написанная Есениным. Первую часть написал М. П. Герасимов, третью — С. А. Клычков (см. *IV*, 292—293).

[5] Автором слов романса «Удалец» («Живет моя отрада в высоком терему...») является не С. А. Клычков, а С. Ф. Рыскин (см. журн. «Волга». Саратов, 1985, № 3, с. 169).

[6] Мысль о монографии, посвященной творчеству С. Т. Коненкова, долго не оставляла Есенина. Позже он предполагал написать ее вместе с А. Б. Мариенгофом. В 1921 г. она была даже объявлена среди книг, готовившихся издательством «Имажинисты», но так и не была создана.

[7] Этот документ озаглавлен «Заявление инициативной группы крестьянских поэтов и писателей об образовании крестьянской секции при московском Пролеткульте» (см. *VI*, 211—213). Он был подготовлен, видимо, в сентябре 1918 г.

[8] В предшествующих редакциях воспоминаний С. Т. Коненков относил эту встречу и выступление Есенина к первым дням после Октябрьской революции (см., напр., его кн. «Земля и люди». М., Молодая гвардия, 1974, с. 117—118). Дата, указанная в данных воспоминаниях, видимо, более точная, поскольку никаких сведений о пребывании Есенина в Москве в октябре — ноябре 1917 г. нет.

[9] Из стихотворения «О верю, верю, счастье есть!..».

[10] Из стихотворения «Пантократор».

[11] Из стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...».

[12] В ранних редакциях воспоминаний автор приводил несколько иной текст этого экспромта (см., напр., газ. «Советская культура». М., 1965, 2 октября).

[13] Из стихотворения «Сорокоуст».

Н. Г. ПОЛЕТАЕВ

ЕСЕНИН ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Николай Гаврилович Полетаев (1889—1935) — поэт и прозаик. Познакомился с Есениным в 1918 году на занятиях Литературной студии московского Пролеткульта, одним из активных участников которой он был. В то время Есенин тоже принимал участие в деятельности этой организации, хотя и не разделял основных теоретических положений руководителей этого движения (см. примеч. к воспоминаниям Н. А. Павлович в наст. т.). С 1920 года Н. Г. Полетаев вошел в литературное объединение «Кузница».

Воспоминания Н. Г. Полетаева были впервые напечатаны в сб. *Воспоминания, 1926,* по тексту которого они публикуются в наст. изд. с сокращениями.

[1] Из стихотворения «Песни, песни, о чем вы кричите?..».

[2] Во «Вступлении» к сборнику «Стихи скандалиста» Есенин писал: «Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе» (*V*, 204).

Н. А. ПАВЛОВИЧ

КАК СОЗДАВАЛСЯ КИНОСЦЕНАРИЙ «ЗОВУЩИЕ ЗОРИ»

Надежда Александровна Павлович (1895—1980) — поэтесса. Она начала свой литературный путь в одно время с Есениным, их стихи в 1914—1916 годах иногда печатались в одних и тех же московских журналах, в частности, в «Млечном Пути», «Заре» и т. п. Однако непосредственно соприкоснулись их пути только в 1918—1919 годах, когда Н. А. Павлович стала секретарем литературного отдела московского Пролеткульта.

В то время Есенин испытывал известный интерес к деятельности Пролеткульта, бывал на собраниях, выступал с чтением стихотворений. Участвуя в пролеткультовских мероприятиях, Есенин вместе с тем не разделял основных теоретических посту-

латов этого движения, критически оценивал и творчество большинства писателей, примыкавших к нему. Рецензируя два сборника пролетарских писателей, он замечал, что их проза пока «еще не нашла своих путей, как поэзия» и что «дорога их в целом пока еще не намечена» (*V*, 197). Основные теоретики и вожди Пролеткульта, со своей стороны, непримиримо относились к Есенину, давали отрицательные оценки многим его произведениям.

Есенин быстро отошел от Пролеткульта, сохранив, правда, дружеские отношения с рядом его участников — В. Т. Кирилловым, Н. Г. Полетаевым, М. П. Герасимовым и др. поэтами. Свидетельством его временной близости с группой поэтов-пролеткультовцев остались: «Кантата», написанная совместно с М. П. Герасимовым и С. А. Клычковым, и киносценарий «Зовущие зори», написанный вместе с М. П. Герасимовым, С. А. Клычковым и Н. А. Павлович. Подробнее об отношении Есенина к Пролеткульту см.: Коржан В. Есенин и Пролеткульт (1917—1920).— Сб. «Сергей Есенин. Проблемы творчества». М., 1978, с. 79—96.

Воспоминания Н. А. Павлович были впервые напечатаны в сб. «Литературная Рязань. Литературно-художественный и публицистический альманах», кн. 2. Рязань, 1957, с. 301—304. Повторены в сб. *Воспоминания, 1965* и *Воспоминания. 1975*. По этому тексту они печатаются в наст. изд. Датируются по первой публикации.

[1] Здесь и далее Н. А. Павлович цитирует (не всегда точно) киносценарий «Зовущие зори» (см. *V*, 237—251).

Л. В. НИКУЛИН

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

Лев Вениаминович Никулин (1891—1967) — писатель.

Воспоминания впервые напечатаны в журн. «Дон», Ростов-на-Дону, 1957, № 4, с. 174—180. Включены в кн.: Никулин Л. Люди и странствия. Воспоминания и встречи. М., 1962. С некоторыми уточнениями и поправками вошли в сб. *Воспоминания, 1965,* по тексту которого печатаются в наст. изд. Датировано автором.

[1] Из стихотворения О. Э. Мандельштама «Отчего душа так певуча...».

[2] Названия сборников стихов М. М. Шкапской и Б. В. Смиренского, вышедших в 1922 г.

[3] Из стихотворения «Я иду долиной. На затылке кепи...».

[4] Из поэмы «Ленин».

А. Б. МАРИЕНГОФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897—1962) — поэт, один из основателей и теоретиков имажинизма. Он познакомился с Есениным в конце лета 1918 года, и поначалу между ними установились тесные дружеские отношения. В 1919—1921 годах они часто выступали вместе на различных вечерах, совместно организовали книжную лавку на Никитской, одно время даже жили вдвоем в Богословском переулке (ныне — ул. Москвина). Вдвоем они подписали один из имажинистских манифестов (см. *V*, 259—260), собирались вместе писать монографии о Г. Б. Якулове и С. Т. Коненкове. В этот период Есенин посвятил А. Б. Мариенгофу стихотворение «Я последний поэт деревни...», поэму «Пугачев» и статью «Ключи Марии».

Однако творчество обоих поэтов было и в те годы глубоко различным по своей природе. Паясничание и показной цинизм в стихах А. Б. Мариенгофа причудливо переплетались со строками вроде «Святость хлещем свистящей нагайкой» и призывами к массовому террору. Все это не имело ничего общего с творчеством Есенина. Об этом нередко говорили критики уже и в то время. Один из них даже писал: «Никакая каторга с ее железными цепями не укрепит и не свяжет этих заклятых врагов не на жизнь, а на смерть. Сам же Мариенгоф проводит резкую непереходимую черту между творчеством обоих мнимых друзей» (Львов-Рогачевский В. Л. Имажинизм и его образоносцы. М., 1921, с. 46). С течением времени несовместимость идейно-творческих установок поэтов давала себя знать все острее. И хотя статья Есенина «Быт и искусство», в которой он сделал резкий выпад против своих «собратьев»-имажинистов, была конкретно направлена в значительной мере против В. Г. Шершеневича, он явно имел в ней в виду и А. Б. Мариенгофа.

Резко обострились их отношения после возвращения Есенина из-за рубежа. Отказываясь печататься в имажинистском журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном», Есенин презрительно именовал его «мариенгофским» (*VI*, 142). Полный разрыв в отношениях произошел летом 1924 года. В октябре 1925 года Есенин сам пришел к А. Б. Мариенгофу «мириться», было еще несколько эпизодических встреч, в декабре А. Б. Мариенгоф и его жена А. Б. Никритина навестили Есенина в клинике, но все это было лишь формальным примирением, дружеские отношения не восстановились.

Впервые воспоминания А. Б. Мариенгофа о Есенине были опубликованы в 1926 году отдельным изданием в «Библиотеке «Огонька». Они были в целом благожелательно встречены крити-

кой. Даже такой журнал, как «На литературном посту» (1926, № 7—8), отмечал, что воспоминания «написаны с большой нежностью и дают ряд интересных черт из жизни покойного поэта». Но в следующем, 1927 году появился «Роман без вранья», который был воспринят всеми знавшими Есенина как клевета на него.

В 1950-е годы А. Б. Мариенгоф написал новые воспоминания «Роман с друзьями». Несколько вариантов этой рукописи хранится в различных архивах страны. Фрагменты были опубликованы в *РЛ*, 1964, № 4, и журн. «Октябрь», М., 1965, № 10, 11.

В наст. изд. включены отрывки из кн.: Мариенгоф А. Воспоминания о Есенине. М., 1926. Печатаются по тексту этого издания с учетом исправлений, внесенных автором при включении соответствующих фрагментов в «Роман без вранья». Датируются по первой публикации.

[1] *Гимназический товарищ* — Г. Р. Колобов, в те годы — ответственный сотрудник Наркомата путей сообщения. А. Б. Мариенгоф зашифровал в воспоминаниях его подлинное имя под псевдонимом «Михаил Молабух» или дружеским прозвищем «Почем-Соль».

[2] Перечислены отдельные темы, которые Есенин развивал в статье «Ключи Марии».

[3] «Утлым суденышком» А. Б. Мариенгоф называет книжный магазин на Большой Никитской (ныне — ул. Герцена), который был им и Есениным создан на кооперативных началах в 1919 г. «В первые годы революции,— вспоминал Н. С. Ашукин,— когда было открыто несколько книжных лавок на кооперативных началах, Д. С. ⟨Айзенштат⟩ организовал книжную лавку поэтов-имажинистов на Большой Никитской. Пайщиками лавки были Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф и А. М. Кожебаткин, но душой всего дела был Д. С. В эту пору у Д. С. установились дружеские отношения с Сергеем Есениным. Памятью этих отношений являются надписи, сделанные Есениным на книгах своих стихов, подаренных им Д. С. в 1921 году. На книге «Сельский часослов» написано: «Давиду Самойловичу Айзенштату на добрую память *С. Есенин*». На книге «Исповедь хулигана»: «Дорогому Давиду Самойловичу. Доброй няненьке с любовью *С. Есенин*» (сб. «Книга», кн. 46. М., 1983, с. 138).

[4] Рассказ об этом эпизоде содержался в утраченной ныне рукописи первой автобиографии Есенина. Видевший эту рукопись журналист свидетельствует, что при публикации было «пропущено описание того, как к Есенину пришли гости и так как не было щепок, то самовар поставили, расколов для этого две иконы, и «мой друг не мог пить этого чая» («Литературное прило-

жение» № 11 к газ. «Накануне», Берлин, 1922, 30 июля). См. также примеч. 1 к воспоминаниям И. И. Старцева.

[5] Из стихотворения «В том краю, где желтая крапива...».

[6] Из стихотворения «Хорошо под осеннюю свежесть...». Стихотворение датировано автором не 1919-м, а 1918 г.

[7] В Харьков Есенин вместе с А. Б. Мариенгофом и А. М. Сахаровым выехал 23 марта 1920 г. и вернулся в Москву в середине апреля.

[8] Из письма к Л. И. Повицкому 1919 г. В письме Есенин приводит (с неточностями) отрывок из поэмы А. Е. Крученых «Пустынники».

[9] Евгения Исааковна Лившиц, ее сестра Маргарита Исааковна и их подруги.

[10] Шуточное прозвище Есенина. А. Б. Мариенгоф рассказывает, что художник Дид Ладо читал доклад и «карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми: Есенин — Вятка, Шершеневич — Орловский, я — Гунтер».

[11] Другую версию возникновения этого стихотворения приводит в своих воспоминаниях Л. И. Повицкий.

[12] На Кавказ Есенин вместе с А. Б. Мариенгофом выехал около 5 июля 1920 г. С 8—11 июля до 5 августа они были в Ростове-на-Дону. Затем выехали в Пятигорск и Кисловодск и оттуда отправились в Баку. В Москву Есенин вернулся в первой половине (до 19) сентября.

[13] Эта встреча Есенина и А. Дункан состоялась, видимо, 3 октября 1921 г. «Сегодня год, как он увидел А.»,— записала в своем дневнике Г. А. Бениславская 3 октября 1922 г.

[14] В «Романе без вранья» А. Б. Мариенгоф рассказывает, что этот обмен стихотворениями состоялся за три дня до вылета Есенина и А. Дункан в Германию, т. е. не 10-го, а 7 мая 1922 г. В этот день А. Б. Мариенгоф и А. Б. Никритина уезжали на Кавказ.

РЮРИК ИВНЕВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Рюрик Ивнев (псевдоним Михаила Александровича Ковалева; 1891—1981) — поэт, прозаик и переводчик. Выступал в печати с 1909 года. В предреволюционные годы примыкал к литературной группе эгофутуристов. В январе 1919 года его подпись появилась под «Декларацией» имажинистов — первым манифестом этой группы. Вскоре (в марте того же года) вышел из ее состава, вернулся в группу в декабре 1920 года и оставался ее членом вплоть до распада имажинистского объединения в 1927 году.

Впервые воспоминания были опубликованы в сб. *Воспоминания, 1926.* В 1964 году автор значительно их переработал. Отрывок этой новой редакции под заглавием «Московские встречи» был опубликован в сб. *Воспоминания, 1965.* Полностью новая редакция воспоминаний была напечатана в журн. «Волга», 1967, № 5, с. 165—181. В наст. изд. воспоминания печатаются с сокращениями по тексту кн.: Ивнев Рюрик. Часы и голоса. М., Советская Россия, 1978, с. 144—201.

[1] Считалось, что Р. Ивнев познакомился с Есениным 28 марта 1915 г. на том поэтическом вечере, о котором пишет в своих воспоминаниях В. С. Чернявский. Это как бы подтверждают и слова самого Р. Ивнева, указавшего, что знакомство произошло в Зале армии и флота, то есть именно там, где проходил данный вечер. Однако это не согласуется с датой, имеющейся на автографе стихотворения, которое Р. Ивнев подарил Есенину (см. примеч. 3). Очевидно, знакомство состоялось раньше 28 марта.

[2] Так Р. Ивнев называет «подвал» К. Ю. Ляндау, о котором рассказывают В. С. Чернявский и М. В. Бабенчиков.

[3] Р. Ивнев преподнес Есенину автограф своего стихотворения «Я тусклый, городской, больной...». Рукопись, переписанная на особой, плотной бумаге, озаглавлена «Сергею Александровичу Есенину». Под стихотворением дата 27 марта 1915 г. *(ИМЛИ).* Начальная и конечная строфы этого стихотворения:

Я тусклый, городской, больной,
Изнеженный, продажный, черный.
Тебя увидел и кругом
Запахло молоком, весной,
Травой густой, листвой узорной,
Сосновым свежим ветерком.
. . . .
Пусть уничтоженный, больной,
Весь в язвах и на костылях,
Но я пойду на зов кликуш.
Спаси меня своей весной,
Веди меня в свои поля,
В хлеба, в хор божьих, стройных душ.

Они нашли явный отзвук в ответном послании Есенина.

[4] Об этой встрече Р. Ивнев писал еще в 1921 г:

«Помнишь, мы встретились на Невском, через несколько дней после февральской революции. Ты шел с Клюевым и еще с каким-то поэтом.

Набросились на меня будто пьяные, широкочубые, страшные. Кололись злыми словами.

Клюев шипел: «Наше время пришло».

Я спросил: «Сережа, что с тобой?»

Ты засмеялся. В голубых глазах твоих прыгали бесенята. Говорил что-то злое, а украдкой жал руку. ⟨...⟩

Я никогда не забуду этой мартовской петербургской оттепели. И тогда, и потом, и теперь ты возбуждал и возбуждаешь во мне самые разнообразные чувства» (Ивнев Р. Четыре выстрела в Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича. Изд. «Имажинисты» [М., 1921], с. 8—9).

[5] Автор имеет в виду «Декларацию» имажинистов — первое совместное заявление о характере образованного ими литературно-художественного объединения. Она была опубликована в журн. «Сирена», Воронеж, 1919, 30 января, № 4—5, и газ. «Советская страна», М., 1919, 10 февраля.

[6] Речь идет о стихотворении «Радость, как плотвица быстрая...». Акростих Р. Ивнева «Сергею Есенину» («Суровая жизнь — и все ж она...») см. в его кн. «Избранные стихи». М., 1965, с. 38.

[7] Вышло всего четыре номера этой газеты — 27 января, 3,10, и 17 февраля 1919 г. В ней была напечатана не только «Декларация» имажинистов, но и целый ряд их поэтических произведений (в том числе «Магдалина» А. Б. Мариенгофа) и критических статей. Отстаивая правомерность возникновения имажинизма, Р. Ивнев писал, например, в этой газете: «Явление имажинистов слишком серьезно и слишком сильные его корни, чтобы плоды, которые ему суждено принести, пострадали от скороспелых выпадов впавших в заблуждение критиков... Груз прошлого и величие настоящего создали теорию образа как центра поэтического действа, и это, может быть, слабо, может быть, еще недостаточно полновесно выявил имажинизм!» (Ивнев Р. Литературное одичание.— Газ. «Советская страна». М., 1919, 17 февраля). Посвящение Р. Ивневу, с которым появился в «Советской стране» «Пантократор» Есенина, было при последующих перепечатках автором снято.

[8] Это письмо было напечатано в «Известиях ВЦИК» не 12-го, а 16 марта 1919 г. В нем говорилось: «Уважаемый товарищ редактор! Позвольте мне через посредство вашей газеты заявить о моем выходе из литературной группы «имажинистов», вследствие моего полного несогласия с образом действий этой группы. *Рюрик Ивнев*. Москва, 12 марта 1919 г.». Раньше, в другой статье, Р. Ивнев писал: «...я не могу, однако, отнестись одобрительно к хаотическим уклонам левого крыла имажинистов в лице молодого поэта А. Мариенгофа и отчасти неугомонного Вадима Шершеневича...» (газ. «Советская страна». М., 1919, 17 февраля).

[9] Есенин и А. Б. Мариенгоф жили тогда не в Козицком, а в расположенном поблизости Богословском переулке (ныне — ул. Москвина).

[10] См. примеч. 22 к воспоминаниям И. В. Грузинова.

[11] Это обращение Р. Ивнева под заглавием «Открытое письмо Сергею Есенину и Анатолию Мариенгофу» было напечатано в сб. «Имажинисты», 1921. Вот его текст: «Дорогие Сережа и Толя! Причины, заставившие меня уйти от вас в 1919 году, ныне отпали. Я снова с вами. *Рюрик Ивнев.* Кисловка. 3 декабря 1920. Москва».

[12] Вечер состоялся в Большом зале консерватории 6 декабря 1920 г.

[13] Вечер состоялся не 24, а 21 августа 1923 г. В газетной информации сообщалось: «Во вторник, 21 августа в Политехническом музее состоится первое выступление Сергея Есенина по возвращению из-за границы. В программе: «Впечатления о литературе, театре и живописи в Америке и Европе»; новые стихи «Берлин — Милан — Париж — Нью-Йорк». В вечере участвуют также поэты Грузинов, Ивнев, Мариенгоф, Ройзман, Шершеневич и Эрдман» (газ. «Известия ВЦИК». М., 1923, 21 августа). В отчете говорилось: «Доклад» С. Есенина на вечере 21 августа в переполненной аудитории Политехнического музея — впечатления о заграничной поездке, — по существу, не являлся докладом, а беседой на разные темы. Нужно отметить, что меньше было впечатлений, а больше раздражений по поводу «Лефа». Увы, это раздражение и полемические выпады покоились не на критической базе, а на шатком фундаменте поэтической конкуренции... Но все же по докладу можно признать, что поездка произвела сдвиг в мироощущении поэта... После доклада поэт читал свои последние стихи... Необходимо отметить, что в первом цикле — «Москва кабацкая» — ...чувствуется новая большая струя в поэзии Есенина. Сила языка и образа оставляет за собой далеко позади родственную ему по романтизму поэзию Блока. Следующие стихи «Страна негодяев» относятся еще к старым работам и слабее первых» («Известия ВЦИК». М., 1923, 23 августа).

[14] В вышедшем в начале 1924 г. третьем номере журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (М., 1924, № 1⟨3⟩) под общим заглавием «Москва кабацкая» были напечатаны стихотворения Есенина «Да! Теперь решено. Без возврата...», «Мне осталась одна забава...» и «Я усталым таким еще не был...».

[15] В «больнице на Полянке» Есенин, как сообщает Г. А. Бениславская, лечился с 17 декабря 1923 г. до конца января 1924 г. В первой редакции своих воспоминаний Р. Ивнев несколько иначе рассказывал об обстоятельствах этой встречи с Есениным: «...готовился № 3 журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном». После долгих колебаний Есенин

дал туда свою «Москву кабацкую». Но уже в четвертом номере того же журнала Есенин не согласился печататься. Я ездил к нему «выяснить его позиции» на Полянку. Он лежал там в каком-то санатории... Я пытался выяснить его отношение к имажинизму и к работе в группе... В этом разговоре он мне прямо сказал, что ему не по пути с «имажинизмом в том виде, в каком он теперь» (сб. *Воспоминания, 1926,* с. 30—31).

[16] Р. Ивнев имеет в виду следующее место из своих ранних воспоминаний: «Есенин был, несомненно, натурой исключительной. К нему нельзя было подходить с общей меркой. Он был очень умным, расчетливым, с «характером» и внутренне сухим. Многие чувства были ему совсем чужды, и то, что другие делали от сердца, он делал механически. Несмотря на это, в нем была какая-то «изюминка» очарования. Он производил обаятельное впечатление, и все, кто с ним встречались, хорошо это знают. Он же никого никогда не любил простой, согревающей человеческой любовью» (*Воспоминания, 1926,* с. 33—34).

И. В. ГРУЗИНОВ

ЕСЕНИН

С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Иван Васильевич Грузинов (1893—1942) — поэт, выступал в печати с 1912 года, в 1915—1926 годах выпустил ряд поэтических сборников («Бубны боли», «Избяная Русь», «Малиновая шаль» и др.).

Познакомился с Есениным в 1918 году, в 1919 году вошел в группу имажинистов. Пытался выступать как теоретик этой группы («Имажинизма основное», М., 1921; ряд статей в журн. «Гостиница для путешествующих в прекрасном»), но никогда не играл главенствующей роли, признанными «теоретиками» имажинизма неизменно считались А. Б. Мариенгоф и В. Г. Шершеневич. Поэтическое творчество И. В. Грузинова тоже не очень вписывалось в имажинистские каноны. В августе 1924 г. вместе с Есениным подписал письмо в «Правду» о роспуске группы имажинистов «в доселе известном составе».

В марте — апреле 1926 г. И. В. Грузинов написал воспоминания о Есенине для сборника, выходившего под редакцией И. В. Евдокимова в Госиздате, и в июне того же года существенно дополнил их другим очерком «С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве». В наст. изд. включены с сокращениями оба эти материала. Тексты печатаются по изданиям: первая часть — по сб. *Воспоминания, 1926* (с проверкой по рукописи — *ИМЛИ*),

вторая часть — по кн.: Грузинов Иван. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве. М., книгоиздательство Всероссийского союза поэтов, 1926 (с проверкой по рукописи — *ГЛМ*).

[1] В первой публикации «Кобыльих кораблей» (сб. «Харчевня зорь», 1920) эта строфа читалась:

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Череп с плеч — только слов мешок,
В мир великий поэт пришел.

Окончательная редакция строфы действительно впервые появилась в «Трерядднице» (1920). Приведенная мемуаристом редакция в имеющихся источниках не зафиксирована.

[2] Эти наброски Есенина не сохранились.

[3] Речь идет (конечно, в сильно романтизированном виде) об А. А. Сардановской, сестре Н. А. Сардановского, которой Есенин был увлечен в юности (см. примеч. к его воспоминаниям). Она жила в селе Дединове (ныне Луховицкого района Московской обл.), преподавала в школе. Как сообщила А. П. Олоновская, Анна Алексеевна в 1918 г. вышла замуж за учителя местной школы В. А. Олоновского, скончалась 7 апреля 1921 г.

[4] В рукописи автор добавлял: «...рассказывает о милой персиянке Шаганэ — значит, персиянка Шаганэ факт». Имеются в виду соответствующие строки из стихотворений «На Кавказе», «Стансы», «Видно, так заведено навеки...», «Сорокоуст» и из цикла «Персидские мотивы».

[5] Об этом эпизоде, состоявшемся 10 июня 1921 г., подробно рассказывают А. Б. Мариенгоф (Роман без вранья, Л., 1927, с. 100—101) и М. Д. Ройзман (Все, что помню о Есенине, М., 1973, с. 140—142).

[6] Есенин был знаком с М. Артамоновой и увлекался ее искусством. И. Ром-Лебедев вспоминал:

«В конце выступала Мария Артамонова. Если бы вы встретили ее на улице, то увидели бы ничем не примечательную женщину, мало похожую на цыганку. 〈...〉

Вава и я начинаем вступление к «Венгерке». Из-за кулис, уже танцуя, появляется пленительная цыганка. Ее движения плавны, четки. В линиях вытянутых рук что-то индийское или египетское, каждый жест запоминается. Вся она полна обаяния, все в ней «берет в полон». Она была основоположницей городского эстрадного цыганского танца. Целое поколение цыганских танцовщиц учились у нее, и до сих пор в их танцах чувствуется почерк Маши Артамоновой.

Среди многочисленных поклонников таланта Артамоновой

был и Сергей Есенин. В то время Маша жила в Петровском парке, в бывшей даче коннозаводчика Телегина. Есенин приезжал к ней. Под гитару Вавы Полякова Маша танцевала «Венгерку». Взволнованный танцем Есенин читал стихи и называл Машу Мариулой» (Ром-Лебедев И. Записки московского цыгана.— Журн. «Театр». М., 1985, № 7, с. 106—107).

[7] В рукописи И. В. Грузинов добавлял: «Не знаю, была ли записана Сергеем эта поэма. После я не видал ее ни в рукописи, ни в печати, если не считать маленьких отрывков, появившихся в журналах».

Начало работы над поэмой из эпохи гражданской войны относится еще к зиме 1921—1922 гг. (см. об этом в воспоминаниях И. И. Старцева). По первоначальному замыслу поэма должна была называться «Страна негодяев». Работу, видимо, прервала зарубежная поездка, и Есенин вернулся к этому замыслу после возвращения на родину. В начале 1924 г. он пишет стихотворение «Ленин» и дает ему подзаголовок «Отрывок из поэмы «Гуляйполе» (видимо, именно это стихотворение имеет в виду И. В. Грузинов, говоря об отрывках, появлявшихся в журналах). Летом 1924 г. работа продолжалась. Об этом свидетельствует и другой мемуарист — В. И. Эрлих. Была ли завершена эта поэма — неясно, рукопись ее неизвестна. В архивах имеется только несколько черновых набросков, которые печатаются обычно среди вариантов стихотворения «Ленин» (см. *II*, 181—184).

[8] Далее в рукописи И. В. Грузинов продолжал: «Забыл первую строчку стихотворения Баратынского, послужившего Пушкину прототипом для «Вновь я посетил...». Вот забыл. И все забыли». М. Д. Ройзман, в квартире которого происходил этот разговор, несколько иначе передает его. М. Д. Ройзман пишет, что в ответ на реплику И. В. Грузинова он прочитал имевшееся в виду стихотворение Е. А. Баратынского «Судьбой наложенные цепи...» и сказал, что оно с его точки зрения «холодновато», и что И. В. Грузинов зря считает «Возвращение на родину» подражанием Пушкину (см.: Ройзман М. Д. Все, что помню о Есенине. М., 1973, с. 96—98).

[9] Из стихотворения «Да! Теперь решено. Без возврата...».

[10] *«Мышиная нора»* — новое кафе имажинистов, организованное ими после ликвидации «Стойла Пегаса». Встреча эта не могла состояться осенью, поскольку в Константиново Есенин ездил в середине августа, а 3 сентября 1924 г. уехал в Баку.

[11] В издательстве «Современная Россия» в 1925 г. были изданы сборники Есенина «О России и революции» и «Персидские мотивы». Вышли они соответственно в мае и июне этого года.

[12] А. Е. Крученых в своей книжке «Гибель Есенина» (М., 1926) приводит полный текст этой записи Есенина: «Крученых

перекрутил (перевернул) литературу. Я говорю это с гордостью. *С. Есенин.* 21/XI—25 г.».

[13] Строки из стихотворения «Хулиган».

[14] Из стихотворения «Я усталым таким еще не был...».

[15] Из стихотворения «Не ругайтесь. Такое дело!..».

[16] Эта рифма встречается в стихотворениях А. Белого «Младенцу» и «Родине».

[17] Рифма из стихотворения «Никогда я не был на Босфоре...».

[18] О другом случае, связанном со стихами Л. А. Мея, вспоминал П. И. Чагин: «Как-то меня спросил Сергей Александрович, какая может быть рифма к слову «зеркало». Я подумал и сказал ему, что у Мея есть стихи:

Посмотрись, разбойник, в зеркало,
Эк те рожу исковеркало.

Сергей применил эту рифму в «Черном человеке». В его душе уже тогда, видимо, бродили трагические, самобичующие строки этой поэмы» (Чагина М. А. У истоков «Персидских мотивов».— *ЛР,* 1970, 2 октября).

[19] Мысль о воздействии произведений И. Гебеля на Есенина И. В. Грузинов подробно развил в статье «О смерти Есенина». Приведя запись своего разговора с Есениным, он затем писал: «В настоящее время пристально всматриваясь в произведения Гебеля и Есенина, заметил многое, чего раньше не замечал. Меня поразили некоторые черты сходства в творчестве обоих поэтов». Далее он сопоставлял некоторые произведения И. Гебеля и Есенина (см. сб. «Памяти Есенина». М., 1926, с. 98—106).

[20] Явно тенденциозное суждение автора. Об отношении Есенина к В. Я. Брюсову гораздо точнее можно судить по его собственным словам: «Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха. Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы. 〈...〉 Много есть у него прекраснейших стихов, на которых мы воспитывались» (*V*, 213). Иным было и отношение В. Я. Брюсова к Есенину. Об оценке им «Голубени» см. примеч. 6 к воспоминаниям П. А. Кузько. Недоброжелательные слова И. В. Грузинова о В. Я. Брюсове можно объяснить тем, что В. Я. Брюсов, высоко оценивая поэзию Есенина, одним из первых сказал о его чужеродности имажинизму. Он, отмечая в 1922 г. «прекрасные стихотворения» Есенина, писал: «...у Есенина четкие образы, певучий стих и легкие, хотя однообразные, ритмы; но все эти достоинства противоречат имажинизму, и его влияние было скорее

вредным для поэзии Есенина» (Брюсов В. Собр. соч., т. 6. М., 1975, с. 521).

[21] Этот вечер проходил 4 ноября 1920 г. в Большом зале консерватории. См. о нем также в воспоминаниях Г. А. Бениславской и М. Д. Ройзмана.

[22] Совместное с имажинистами выступление В. В. Хлебникова состоялось в харьковском городском театре 19 апреля 1920 г. Тогда же в имажинистском сборнике «Харчевня зорь» появилось написанное в апреле 1920 г. стихотворение В. В. Хлебникова «Москвы колымага...», в котором упоминались А. Б. Мариенгоф и Есенин. В следующем, 1921 г. под маркой издательства «Имажинисты» была выпущена поэма В. В. Хлебникова «Ночь в окопе». Но, разумеется, никаких постоянных связей с имажинистами у В. В. Хлебникова не установилось. Н. И. Харджиев пишет: «Знакомство Хлебникова с С. Есениным относится к концу 1917 г. В записной книжке Хлебникова 1916—1918 гг. есть следующие записи, датируемые маем 1918 г.: «...Есенин... Казань ехать с Есениным... Есенину статьи...». Совместная поездка с Есениным в Казань не состоялась» (Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940, с. 413).

[23] Из стихотворения В. В. Маяковского «Мама и убитый немцами вечер». Подробнее об отношении Есенина к В. В. Маяковскому см. в наст. изд. отрывок из статьи В. В. Маяковского «Как делать стихи?», воспоминания Н. Н. Асеева и примеч. к ним.

[24] «Ничевоки» — одна из литературных группировок нигилистического толка, существовавшая в 1920—1923 гг. Она не оставила сколько-нибудь заметного следа в истории литературного движения тех лет. «Манифест от ничевоков» был напечатан в сб. «Вам. От ничевоков чтение», М., 1920. В группу входили Рюрик Рок, С. В. Садиков и др.

[25] Имеется в виду антология современной русской поэзии, составленная А. Ярмолинским и Б. Дейч. Она вышла в Нью-Йорке в 1921 г. В антологию вошло несколько стихотворений Есенина.

[26] Речь идет об очерке «Железный Миргород». Рукопись второй части очерка заканчивается словами: «Об этой среде поговорим особо» (*V*, 269), что свидетельствует о намерении Есенина продолжить его. Намерение не было осуществлено.

[27] Осенью 1923 г. у Есенина возникло намерение издавать литературный альманах. Он думал назвать его «Россияне». В относящемся к этому времени макете сборника «Москва кабацкая» среди намеченных к выпуску изданий указано: «Россияне. При участии Есенина, Клюева, Ганина и других» (*Хроника, 2,* 266). С. Д. Фомин вспоминает:

«По возвращении Есенина из заграничных путешествий встречаюсь с ним в 1923 г. в Успенском переулке, в редакции «Красной нови». Есенин в это время затевает издавать альманах «Россияне». Идут долгие споры с Сергеем Клычковым по поводу издания этого альманаха. Есенин хотел быть единоличным редактором, на что Клычков не соглашался.

— Тогда я уеду в Питер и буду работать с Миколаем, — сказал, улыбаясь, Есенин. Вынул из бокового кармана серой меховой куртки письмо и протянул мне:

— Читай.

Письмо это было от поэта Н. Клюева, который жаловался Есенину на свое тяжелое положение, упоминая про гроб, заступ и могилу.

Действительно, Есенин уехал в Ленинград к Н. Клюеву, но издание альманаха там не осуществилось. Недели через три Есенин вернулся из Ленинграда с Клюевым в Москву...» (Фомин Семен. Из воспоминаний.— Сб. «Памяти Есенина». М., 1926, с. 133).

[28] Из статьи А. С. Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург».

[29] Об одном из таких выступлений — 25 октября 1923 г.— см. воспоминания Вл. Пяста.

[30] «Гитарная» («Вырастает и на теле лебеда...») Н. А. Клюева была напечатана в «Красной газете», веч. вып. Л., 1925, 22 октября.

[31] Этот набросок сохранился. Его воспроизведение см.: журн. «Литературная Грузия». Тбилиси, 1968, № 10. Поскольку И. В. Грузинов приводит его текст с некоторыми неточностями, в данном издании внесены уточнения по подлиннику.

[32] Намерение не осуществилось.

М. Д. РОЙЗМАН

ИЗ КНИГИ «ВСЕ, ЧТО ПОМНЮ О ЕСЕНИНЕ»

Матвей Давидович Ройзман (1896—1973) — писатель. С 1918 года выступал в печати как поэт, впоследствии прозаик. С 1919 года — участник имажинистского объединения.

Первые, краткие воспоминания о Есенине, озаглавленные «То, о чем помню», М. Д. Ройзман написал в январе 1926 года. Они были опубликованы в сб. «Памяти Есенина», М., 1926, с. 116—125. В 1964 году М. Д. Ройзманом был написан очерк «Вольнодумец» Есенина», который вошел в сб. *Воспоминания, 1965.* В эти годы появилось еще несколько фрагментов из его мемуаров. В 1973 году в издательстве «Советская Россия» вышла

книга М. Д. Ройзмана «Все, что помню о Есенине». В наст. изд. публикуются отрывки из этой книги.

Сопоставление первых, ранних воспоминаний М. Д. Ройзмана о Есенине и данной книги показывает, что автор не только дополнил свои воспоминания большим количеством фактов, эпизодов, сообщениями о многих встречах с поэтом, о которых он раньше не говорил, но и дал ряду моментов иное истолкование. Наиболее существенные расхождения отмечены в примечаниях.

1 Измененная цитата из поэмы В. В. Каменского «Стенька Разин».

2 Из стихотворения «Кобыльи корабли».

3 Полный текст устава «Ассоциации вольнодумцев в Москве» — см.: Есенин С. Собр. соч., т. 5. М., 1968, с. 212—214.

4 Из стихотворения «Пушкину».

5 Эти и следующие две строки — из стихотворения «Кобыльи корабли».

6 Из поэмы А. Б. Мариенгофа «Магдалина».

7 Из стихотворения В. Г. Шершеневича.

8 Из стихотворения «Хулиган».

9 Над росписью этого кафе, находившегося в Москве, на Кузнецком мосту, Г. Б. Якулов работал не в 1919 г., а раньше. Он писал: «Октябрьская революция застала меня за трудом над созданием конструктивного мюзик-холла «Питтореск», он же «Красный петух», который был закончен в январе 1918 г.» (Костина Е. М. Георгий Якулов. М., 1979, с. 75).

10 Имеется в виду А. Б. Оленин.

11 О выступлении В. В. Маяковского и его пикировке с Есениным на этом вечере рассказывают в своих воспоминаниях также Л. Н. Сейфуллина (см. сб. «В. Маяковский в воспоминаниях современников». М., 1963, с. 486—487) и Г. А. Бениславская.

12 Эта эпиграмма В. В. Маяковского известна в записи ряда современников поэта, но передают они ее по-разному (см., напр., запись С. Д. Спасского — там же, с. 168).

13 См. примеч. 22 к воспоминаниям И. В. Грузинова. Поэма В. В. Хлебникова «Ночь в окопе» была выпущена под маркой издательства «Имажинисты» в 1921 г., поэтому Есенин никак не мог в ноябре 1920 г. сказать об этой книге как об уже вышедшей.

14 Над рекламными текстами В. В. Маяковский начал работать в 1922 г., для Моссельпрома — во второй половине 1923 г. Поэтому в ноябре 1920 г., когда проходил этот вечер, Есенин не мог говорить об этом. Тогда не был еще создан даже сам Моссельпром, который образовался только в 1922 г.

[15] Это произошло в феврале 1924 г. В первой редакции воспоминаний М. Д. Ройзман добавлял, что в тот день, когда случилось это несчастье, Есенин участвовал в очередном совещании имажинистов «и, по обыкновению, первым поставил свою характерную подпись». Рассказывая в этих воспоминаниях о своей встрече с Есениным в Шереметевской больнице, он не говорил ни о чтении «Черного человека», ни о чтении других стихов. Упомянул только о том, что Есенин «стал мечтать о работе над «Страной негодяев» и над Махно, образ которого его очень интересовал» (сб. «Памяти Есенина». М., 1926, с. 118—120).

[16] Завершив рассказ о встрече 7 апреля 1924 г., когда состоялся разговор о журнале «Вольнодумец», в первой редакции своих воспоминаний М. Д. Ройзман продолжал: «С Сергеем мне не пришлось скоро встретиться». Далее он писал о последней встрече, которая состоялась, по его словам, летом 1925 г.

[17] М. Д. Ройзман приводит тезисы выступления Есенина, которые были напечатаны на афише этого вечера, состоявшегося 14 апреля 1924 г.

[18] Так называлось новое кафе имажинистов, организованное после выхода из этой группы Есенина.

[19] В сборнике «Имажинисты» — единственном выпущенном группой после ухода Есенина — участвовали Р. Ивнев, А. Б. Мариенгоф, М. Д. Ройзман и В. Г. Шершеневич. Сборник был подготовлен в 1924 г., вышел в 1925 г. с пометой «издание авторов». Поэтому И. В. Грузинов никак не мог, как предполагает М. Д. Ройзман, поставить свою подпись под письмом в «Правду», обидевшись на то, что его не напечатали в этом альманахе.

[20] Это единственный рассказ участника группы имажинистов об обстоятельствах возникновения писем в журнал «Новый зритель» и газету «Известия». А. Б. Мариенгоф и В. Г. Шершеневич в своих воспоминаниях обходят этот инцидент молчанием. В своей книге М. Д. Ройзман приводит письмо Р. Ивнева от 20 мая 1965 г., в котором тот сообщает, что «никогда не подписывал да и не мог подписать этого бредового письма, даже если бы в то время был в Москве, а меня как раз в это время в Москве не было» (с. 244), однако в воспоминаниях сам Р. Ивнев этого эпизода не касается. Следует также отметить, что в своих первых воспоминаниях, написанных в 1926 г., М. Д. Ройзман упоминал только об одной краткой встрече с Есениным, относящейся к 1925 г., которая состоялась, очевидно, в июле в Доме печати. М. Д. Ройзман писал: «Отойдя в сторону, я минут пятнадцать беседовал с ним. И что больше всего меня поразило, — его глаза. Они всегда у него во время разговора расцветали; теперь же были тусклые, но

по-прежнему внимательно глядевшие на собеседника» (сб. «Памяти Есенина». М., 1926, с. 124). Тогда он прямо указал, что эта встреча была последней.

[21] Одно из кафе, организованных в то время имажинистами. Оно находилось на углу Кузнецкого моста.

И. И. СТАРЦЕВ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Иван Иванович Старцев (1896—1967) — журналист, издательский работник. В годы встреч с Есениным — один из участников имажинистского объединения; его подпись стоит в ряду других под уставом «Ассоциации вольнодумцев». Впоследствии работал в Госиздате, издательстве «Молодая гвардия», «Союзкниге», известен как один из ведущих библиографов в области детской и юношеской литературы.

Впервые опубликовано в сб. *Воспоминания, 1926,* с авторской переработкой — в сб. *Воспоминания, 1965.* Печатается по этому изданию. Авторская дата — в первопечатном тексте.

[1] В первой редакции воспоминаний автор добавлял: «Помню одну маленькую подробность этих именин, которая много тогда же и впоследствии смешила Сергея Александровича. Когда ставили на кухне самовар, — не оказалось углей и поджиги. Предполагавшийся чай с именинным пирогом расстраивался. Узнав об этом, Есенин вдруг сорвался с места в коридор и принес с веселым смехом икону какого-то святого, похищенную им у хозяйки. Расколол ее на мелкие щепки и начал разжигать самовар. Один из гостей в паническом ужасе перед кощунством наотрез отказался пить приготовленный на «святом угоднике» чай» (*Воспоминания, 1926*, с. 62—63).

[2] Об этих имажинистских выходках подробно рассказывает М. Д. Ройзман (см. Ройзман М. Д. Все, что помню о Есенине. М., 1973, с. 53—56 и 143—146).

[3] «Ассоциация вольнодумцев» — официальное наименование объединения имажинистов. В уставе Ассоциации говорилось, что она ставит целью «духовное и экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции». Уставом определялось, что Ассоциация имеет «образцовую студию, редакцию с библиотекой-читальней, имеет свое помещение, столовую, а также устраивает митинги, лекции, чтения, беседы, спектакли, концерты, выставки и т. п.». Из доходов от этих мероприятий складывались средства Ассоциации. Устав был утвержден народным комиссаром по просвещению

А. В. Луначарским 24 сентября 1919 г. (см.: Есенин С. Собр. соч., т. 5. М., 1968, с. 212—214). При Ассоциации было организовано литературное кафе «Стойло Пегаса», отчисления от доходов с которого поступали в кассу Ассоциации и распределялись между ее членами. Поэтому не следует понимать буквально, когда И. И. Старцев дальше именует Есенина «хозяином кафе» или «единоличным почти владельцем кафе».

[4] Строка из стихотворения «Хулиган».

[5] Эти документы в архиве И. И. Старцева не сохранились. Единственный документ, который и поныне хранится у наследников И. И. Старцева, — ордер на складское помещение для книжной лавки на 1921 год, выданный на имя Есенина 29 октября 1921 г.

[6] Так называлось в рукописи и первых публикациях стихотворение «Мир таинственный, мир мой древний...».

[7] Имеется в виду существовавший в то время «Первый Пролетарский музей», который находился на Большой Дмитровке (ныне — Пушкинская ул.). В этот музей была перенесена с Красной площади скульптурная композиция С. Т. Коненкова «Степан Разин с ватагою».

[8] В сохранившемся автографе этого стихотворения (*ЦГАЛИ*) данная строка написана в окончательной редакции («...из пасмурных недр»). Автограф, о котором рассказывает И. И. Старцев, неизвестен. Другую версию создания этого стихотворения приводит в своих воспоминаниях И. И. Шнейдер.

[9] Имеется в виду сборник Есенина «Руссеянь», который был подготовлен им в 1920 г. для издательства «Альциона». Выпущен не был. Рукопись хранится в *ИМЛИ*.

[10] Известен список не вошедшей в окончательный текст «Пугачева» картины «Лунный парус над саратовской крепостной стеной» (см. *III*, 219—221). Видимо, в данном случае речь идет именно о нем. Известно, что в 1922 г., когда Есенин был за границей, А. Б. Мариенгоф предпринимал попытку опубликовать этот фрагмент, но Г. А. Бениславская отказала ему.

[11] О дальнейшей истории этого замысла — см. примеч. 7 к воспоминаниям И. В. Грузинова.

[12] Сборник «Явь» вышел не в 1918-м, а в 1919 г. В нем напечатано посвященное А. Б. Мариенгофу стихотворение И. И. Старцева «Что Данте...». Там же — стихотворение А. Б. Мариенгофа, посвященное И. И. Старцеву, — «Даже грязными, как торговок...».

[13] Такой документ неизвестен.

[14] Об этом инциденте см. примеч. 4 к воспоминаниям И. И. Шнейдера.

Н. О. АЛЕКСАНДРОВА

ЕСЕНИН В РОСТОВЕ

Нина Осиповна Александрова — в 20-е годы выступала в печати с поэтическими произведениями под псевдонимом Н. Грацианская. В 1922 году вышел сборник ее стихотворений «Сейф сердец». В письме к составителю от 3 марта 1970 года она сообщила, что у нее хранилась книга Есенина «Голубень» (1920) с его дарственной надписью: «Утешаюсь тем, что и я был когда-то таким же юным, как Нина Грацианская. *С. Есенин*». «Была еще маленькая фотография 1920 года,— писала она,— Есенин и Мариенгоф снялись в Ростове у ограды городского сада,— ее подарил мне Есенин. В начале 1926 года, уже после смерти С. А., из Батума мне прислал два его стихотворения, написанные на газетном «срыве», Лев Осипович Повицкий. Стихи эти — «Шаганэ» и «В Хороссане есть такие двери...» — были написаны Есениным от руки набело. С Повицким меня в 1920 году в Ростове познакомил Сергей Александрович. Все эти материалы погибли во время моей эвакуации из Ростова в июле 1942 года».

Воспоминания Н. О. Александровой под псевдонимом Н. Грацианская были впервые напечатаны в 1926 году в сб. «Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина», Ростов-на-Дону, 1926, с. 57—59. В переработанном виде опубликованы в газ. «Молот», Ростов-на-Дону, 1965, 2 октября. В наст. изд. печатаются по рукописи, заново пересмотренной и дополненной автором.

[1] В Ростов-на-Дону Есенин вместе с А. Б. Мариенгофом и Г. Р. Колобовым приехал между 8 и 11 июля 1920 г. и пробыл там до 5 августа, выезжая для выступлений в Новочеркасск и Таганрог.

В. И. ВОЛЬПИН

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Валентин Иванович Вольпин (1891—1956) — издательский и книготорговый работник, выступал в печати как поэт и переводчик. В 1921—1923 годах работал в Ташкенте в Туркцентропечати, встречался с Есениным во время его приезда в Ташкент в мае 1921 года. Во второй половине 1923 года В. И. Вольпин переехал в Москву и с этого времени принимал участие в издательских делах Есенина. Пытался помочь поэту в выпуске «Москвы кабацкой». В 1926 году издал «Памятку о Сергее Есенине» — небольшой сборник, в котором были помещены несколько автобиографий поэта, ряд его портретов и дана краткая библио-

графия. Сохранился сборник «Персидские мотивы» с надписью: «Милому Вольпину — люблю, люблю. *С. Е.*» (*РЛ*, 1970, № 3, с. 167).

Воспоминания были впервые напечатаны в сб. *Воспоминания, 1926,* по тексту которого с сокращениями печатаются в наст. изд. Датированы автором.

[1] Ныне Ашхабад. До 1919 г. носил название Асхабад, с 1919 до 1927 г.— Полторацк. Достоверных сведений о том, что Есенин во время своей поездки в мае 1921 г. побывал в этом городе, нет. Вероятнее всего, он успел доехать только до Бухары.

[2] Вечер Есенина в Туркестанской публичной библиотеке состоялся 25 мая 1921 г. (Темкина И., Тартаковский П. Из истории русской литературы Узбекистана (1917—1930).— Журн. «Звезда Востока». Ташкент, 1966, № 6, с. 153—154).

И. Н. РОЗАНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Иван Никанорович Розанов (1874—1959) — литературовед, историк русской поэзии, автор большого числа работ о русских поэтах XVIII—XX вв. Он познакомился с Есениным в 1920 году и часто встречался с ним в 1920—1921 годах. Сохранились две книги с дарственными надписями Есенина: «Исповедь хулигана». М., 1921 — «Ивану Никаноровичу Розанову. *С. Есенин.* 1921» и сб. «Звездный бык». М., Имажинисты, 1921 — «Ивану Никаноровичу с приязнью *С. Есенин.* 26 февраля 1921» (Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова. М., 1975, с. 155 и 243).

Воспоминания И. Н. Розанова были написаны в 1926 году и тогда же опубликованы в виде трех различных очерков — «Мое знакомство с Есениным» (в сб. «Памяти Есенина». М., 1926), «Есенин и его спутники» (в сб. «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». М., 1926), «Есенин о себе и других» (отд. изд. М., 1926). Все эти очерки частично повторяли друг друга. Незадолго до смерти И. Н. Розанов предпринял попытку создать сводный, единый текст своих воспоминаний о Есенине. Имеется несколько близких друг другу вариантов этой рукописи. Он провел их общую редактуру, но полностью работа не была завершена и ни один из вариантов нельзя признать окончательным. Остались незамеченными некоторые повторы, видны также колебания автора в отборе отдельных фрагментов. В основу наст. изд. положена одна из этих рукописей И. Н. Розанова, ряд исправлений внесен по первопечатным текстам.

[1] Объявление о выступлении Н. А. Клюева и Есенина в помещении картинной галереи Лемерсье было напечатано в газ. «Утро России», М., 1916, 21 января.

[2] Речь идет о стихотворении Есенина «Песнь о Евпатии Коловрате». При жизни Есенина оно было напечатано в газ. «Голос трудового крестьянства» (М., 1918, 23 июня) под заглавием «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, о цвете троеручице, о черном идолище и спасе нашем Иисусе Христе». Затем вошло во второй том «Собрания стихотворений» Есенина (М., 1926), вышедший уже после того, как были написаны воспоминания И. Н. Розанова.

[3] Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Молчит сомнительно Восток...».

[4] В газетном отчете об этом вечере говорилось: «Вчера Общество свободной эстетики устроило вечер народных поэтов Н. Клюева и С. Есенина. Поэты еще до чтения своих стихов привлекли внимание собравшихся своими своеобразными костюмами: оба были в черных бархатных кафтанах, цветных рубахах и желтых сапогах. После небольшого выступления И. И. Трояновского, указавшего, что Н. Клюев слушателям уже известен, а г. Есенин выступает в Обществе свободной эстетики первый раз, поэты начали чтение стихов. Н. Клюев прочел былину-сказание «О Вильгельмище, царе поганыем», а г. Есенин — сказание о Евпатии Коловрате. Затем поэты читали поочередно лирические стихотворения. В произведениях обоих поэтов в значительной мере нашла свое отражение современная война. Оба поэта имели у слушателей успех» (газ. «Утро России». М., 1916, 22 января).

[5] Строка из стихотворения «Я обманывать себя не стану...».

[6] «Радуница» была выпущена в свет 1 февраля 1916 года. Статья П. Н. Сакулина «Народный златоцвет» появилась в майской книге «Вестника Европы» за 1916 год. Ей предшествовала рецензия на «Радуницу» Н. Венгрова (журн. «Современный мир». Пг., 1916, февраль, № 2, с. 159). Затем появилась рецензия З. Бухаровой («Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». Пг., 1916, май, № 5, стлб. 148—150), С. Парнок (под псевдонимом «Андрей Полянин» — журн. «Северные записки». Пг., 1916, № 6, с. 219—220) и др. Однако имя Есенина начало фигурировать в критике довольно широко еще в 1915 г. в связи с его петроградскими выступлениями, встречалось оно в критике и до этого, еще в пору его московской жизни. Так, он упоминался в статье «Обзор журналов для детского чтения за 1914 год» (журн. «Новости детской литературы». М., 1915, февраль, № 2).

[7] См. примеч. 3 к воспоминаниям А. Б. Мариенгофа.

[8] В дневнике И. Н. Розанова (хранится у К. А. Марцишев-

ской) отмечено, что эта встреча состоялась 9 февраля 1921 г. *Критик* — В. Л. Львов-Рогачевский, который готовил в то время работу «Имажинизм и его образоносцы». Он, в частности, писал: «Вадим Шершеневич и Анатолий Мариенгоф, а рядом Сергей Есенин и Александр Кусиков — что может быть нелепее, безобразнее этого сочетания? Вот уж подлинно «пара нечистых» и «пара чистых» (Львов-Рогачевский В. Имажинизм и его образоносцы. Изд. «Орднас», 1921, с. 46; название издательства — перевернутое слово «Сандро» — дружеское прозвище поэта А. Б. Кусикова).

[9] Имеется в виду сборник Есенина «Стихи (1920—24)». М.— Л., Круг, 1924. В раздел «После скандалов» вошли стихотворения «Пушкину», «Годы молодые с забубенной славой...», «Я усталым таким еще не был...», «Письмо матери», «Мы теперь уходим понемногу...», «Возвращение на родину».

[10] И. Н. Розанов имеет в виду автобиографию Есенина 1923 г. Она была написана Есениным еще в духе имажинистских эпатажей, некоторые фразы в ней были явно рассчитаны на то, чтобы шокировать читателя (см. *V*, 223; у Есенина — «Я знал это лучше других»).

[11] Имеется в виду стихотворение «О Русь, взмахни крылами...».

[12] Перефразировка из «Исповеди хулигана» (у Есенина: «...сын ваш в России // Самый лучший поэт!»).

[13] Дата рождения Есенина по новому стилю —3 октября.

[14] Это любимая Есениным, не раз повторенная им разным лицам легенда о «деде-старообрядце». См. об этом во вступит. статье.

5—6 июня 1926 г. в составе делегации Союза писателей И. Н. Розанов приезжал в Константиново и беседовал с дедом поэта Ф. А. Титовым и его дядей Александром Федоровичем. В своем дневнике И. Н. Розанов записал:

«Утром к деду. Встретил приветливо...

— Сколько вам лет?— спросил Львов-Рогачевский.

— Восемьдесят два.

— А внук писал, что девяносто. Это он, значит, неправду сказал.

— Правду. Я ему так тогда сказал, что мне девяносто. Он и написал, как сказано было.

Стал вспоминать свою жизнь.

— Жил светло. Без тысячи домой не ездил. Сорок годов в Питере хозяйствовал. Как министра, тут меня встречали. Известно, в деревне кто богат — тому и почет. Приеду, сейчас к отцу Ивану. Мы все с ним. Нужды не имел... Песни я мастер играть. Я был веселый. Выпью, и старость пройдет...»

Затем в дневнике И. Н. Розанов пишет, что он и В. Л. Львов-Рогачевский стали расспрашивать деда и А. Ф. Титова о раскольниках.

«Дед отрицал, а дядя Александр Федорович заметил, что в Константинове раскольников нет, и в Спас-Клепиках раскольников нет...

Дед и дядя стали говорить, что как Сережа приедет, так и начинает с дедом песни вместе петь. Любимые были:

«Прощай, жизнь, радость моя.
Слышу, едет мой Сережа от меня...»

«Ночью темною не спится...»

Уходя я спросил:

— А стихи духовные, дедушка, знаете?

— Знаю,— потом опасливо, как мне показалось, подумал и сказал:— Но только плохо. Нет, духовные стихи знаю плохо». (Дневник И. Н. Розанова, хранится у К. А. Марцишевской).

[15] Речь идет, разумеется, не о патриотических стихах, а о стихах, которые Есенина понуждали писать в пору его службы в Царском Селе в честь Николая II. «Гром победы раздавайся» — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Хор для кадрили».

[16] Всероссийский союз поэтов образовался в ноябре — декабре 1918 года. Первым председателем президиума союза был В. В. Каменский, которого вскоре сменил В. Я. Брюсов. В 1919—1922 гг. и состав президиума, и председатели союза неоднократно менялись. В разное время председателями были В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев, И. А. Аксенов, и др. В. Я. Брюсов, в частности, возглавлял союз с июля 1920 г. до середины февраля 1921 г. Есенин входил в состав президиума, избранного общим собранием 24 августа 1919 года. Кроме него, в данный состав президиума входили Ю. К. Балтрушайтис, А. Белый, П. С. Коган, А. Б. Кусиков, Р. Ю. Рок, В. Г. Шершеневич и др. (подробнее см.: *ЛН*, т. 85, с. 232—233).

[17] Два вечера В. В. Маяковского в Политехническом музее «Чистка современной поэзии» состоялись 19 января и 17 февраля 1922 г., т. е. еще до зарубежной поездки Есенина.

[18] Из стихотворения «Пушкину».

СОДЕРЖАНИЕ

С. А. Есенин в воспоминаниях современников.
Е82 В 2-х т. Т. 1./Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского.— М.: Худож. лит., 1986.— 511 с. (Лит. мемуары)

В первый том включены воспоминания близких поэта, друзей, писателей: Е. А. и А. А. Есениных, А. А. Блока, С. М. Городецкого, С. Т. Коненкова и других.

Е $\frac{4702010200\text{-}315}{028(01)\text{-}86}$ 62-86 **ББК 84Р7**

С. А. ЕСЕНИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том первый

Составитель *Алексей Алексеевич Козловский*

Редакторы *Ч. Залилова, К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Платонова*

Корректоры *Г. Володина, Т. Горбунова*

ИБ № 4010

Сдано в набор 26.02.86. Подписано к печати 28.09.86. А 10655. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88+1 вкл.+альбом= =27,77. Усл. кр.-отт. 29,08. Уч.-изд. л. 29,35+1 вкл.+альбом= =30,08. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-1720. Заказ № 281. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15